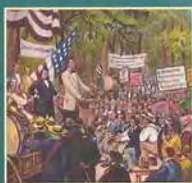


ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В XX ВЕКЕ



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В XX ВЕКЕ

СБОРНИК СТАТЕЙ

Под редакцией
Александра Павлова

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»
МОСКВА 2008

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

В. В. Анашвили, А. Л. Погорельский

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

В. Л. Глазычев, Г. М. Дерлугьян, Л. Г. Ионин,
А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов

П 50 Политическая теория в XX веке: Сборник статей / Под ред. А. Павлова. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). – 416 с.

В антологии собраны статьи известных зарубежных политических теоретиков и политических ученых. Каждый из них представляет то или иное направление в исследовании теории политики. Читатель найдет статьи представителей бихевиоральной школы политических исследований, приверженцев аналитической философии, сциентистов, нормативистов и историков политического знания. Всех авторов объединяет то, что они пытались приоткрыть завесу над «великой тайной», что же такое политическая теория, каков ее предмет и метод, каково ее институциональное место в системе политического знания, а также каковы ее отношения с политической наукой.

Книга будет полезна политологам, философам, методологам науки, социологам, исследователям социальной теории, а также всем тем, кто всегда хотел понять, что такое политическая теория.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Александр Павлов. Гражданская война политической теории</i>	7
--	---

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

<i>Джон Ганнел. Политическая теория: эволюция дисциплины</i>	41
--	----

У ИСТОКОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

<i>Джордж Сэйбин. Что такое политическая теория?</i>	67
<i>Эрик Фёггелин. Политическая теория и паттерн общей истории</i>	83
<i>Майкл Оукшот. Что такое политическая теория?</i>	94

БИХЕВИОРАЛЬНОЕ ПОКУШЕНИЕ

<i>Джордж Катлин. Политическая теория: что это такое?</i>	107
<i>Роберт Алан Даль. Политическая теория: истина и последствия</i>	137
<i>Карл Дойч. О политической теории и политическом действии</i>	156

СТРАННАЯ СМЕРТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

<i>Дэвид Истон. Упадок современной политической теории</i>	195
<i>Альфред Коббан. Закат политической теории</i>	219
<i>Ларри Д. Спенс. Политическая теория в отставке</i>	237

РЕАНИМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

<i>Г. Р. Г. Гривз. Политическая теория нашего времени</i>	259
<i>Шелдон Уолли. Политическая теория как призвание</i>	277

ИДЕОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

<i>Лео Штраус. Социальная наука и гуманизм</i>	325
<i>Данте Джермино. Возрождение политической теории</i>	336
<i>Ричард Эшкрафт. Политическая теория и проблема идеологии</i>	364

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

<i>Теренс Болл. Куда идет политическая теория?</i>	387
Сведения об авторах	412

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Что такое политическая теория? Это теория властных отношений или рационального выбора участников политического процесса, это история политической философии от Платона до Хабермаса или спекуляции на тему справедливости в духе Джона Ролза, это постмодернистские рассуждения либерального ироника Ричарда Рорти или феминистская критика существующей традиции политического мышления? Все эти подходы к политической теории и ответы на вопрос, чем является «политическая теория», разнятся не только по своему значению и той роли, которую они сыграли в истории политического знания, но и по своему методологическому инструментарию, а также предмету, который каждый из этих подходов ставит во главу угла. Если исходить из того, что все вышеозначенные ответы на вопрос о том, что представляет собой «политическая теория», верны или, по крайней мере, заслуживают права на существование, то сказать наверняка, что же такое политическая теория, не представляется возможным¹.

Так что такое политическая теория и каков ее предмет? Дело в том, что политическая теория, равно как и политическая наука, никогда не была универсальной отраслью знания, будучи всегда чрезвычайно фрагментированной. Даже когда в середине XX столетия большинство ученых как будто договорились считать политическую теорию научно обоснованной гипотезой, подкрепляемой эмпирическими доказательствами, были исследователи, категорически не согласные с подобным положением дел. На протяжении всего периода своего существования (впрочем, не такого уж и долгого) политическую тео-

¹ Более того, наличие в этой антологии статей с названием «Что такое политическая теория?», а также совершенно разные ответы на этот вопрос, только добавляют аргументов в пользу этого тезиса.

рию раздирали разнообразные противоречия, что, с одной стороны, тормозило ее развитие в определенном направлении (в данном случае имеется в виду «бихевиоральная революция»), которое впоследствии могло стать «исследовательской парадигмой»² этой области знания, а с другой — позволяло не «зацикливаться» на одних и тех же вещах и сохранить цветущее многообразие разных точек зрения, постоянно конкурирующих друг с другом. Этот «конфликт» внутри самой политической теории, между прочим, мог служить хорошим стимулом развития, и многие социологи, такие как сэр Ральф Дарендорф, конечно, согласились бы с такой точкой зрения. Однако в действительности, чем больше развивалась и совершенствовалась свое знание политическая теория, тем более ее раздирали противоречия, и тем более она становилась фрагментарной.

БОРЬБА — ОТЕЦ ВСЕГО И МАТЬ ВСЕХ

Все это не могло не привести к тому, что Брайан Бэрри весьма удачно назвал «скрытой интеллектуальной гражданской войной политической теории». Конечно, на самом деле эта война не настолько скрыта, чтобы ее совершенно нельзя было заметить, но все же она не вполне очевидна, будучи при этом не менее безжалостной, чем ее классический вариант. Если придерживаться этой метафоры, то можно было бы сказать, что политическая теория сегодня находится и большую часть своего существования находилась в «конфликте низкой интенсивности». То есть трения о статусе и роли политической теории существовали всегда, но они не были настолько сильными, чтобы выйти за рамки единого дискурса.

Вот один пример. В середине 1990-х американские и европейские политические ученые собрались для того, чтобы написать книгу, в которой были бы отражены новейшие на тот период тенденции в развитии политической науки. В русском переводе кни-

² Могло, но не стало. Сравнивать «бихевиоральную революцию» в политической науке с «научной революцией», предлагаемой Куном в качестве объяснения быстрых скачков научного знания, совершенно некорректно. Прежде всего, «бихевиоральная революция» не была научной по одной простой причине: она не устранила своих основных конкурентов, что, несомненно, является одним из обязательных условий куновской научной революции. Эта точка зрения подробно излагается в: Уоллин III. Политическая теория как призвание // Наст. изд.

га стала известна как «Политическая наука: новые направления»³. Вся работа делится на несколько разделов, каждый из которых посвящен отдельной дисциплине, входящей в корпус политических наук. Каждый раздел, в свою очередь, делится на несколько глав, посвященных тому или иному аспекту отдельной подотрасли политического знания. Помимо всего прочего, в книге, разумеется, есть и раздел, посвященный «политической теории». В этом разделе четыре главы.

Первую главу «Политическая теория: общие проблемы» написала Айрис Марион Янг. В своем очерке автор перечислила основные исследовательские направления в этой области: понятие социальной справедливости, теория демократии, феминистский подход к политической теории, постмодернизм, новые общественные движения и гражданское общество, а также известная полемика между либералами и коммунитаристами⁴. Эта статья имеет чисто описательный характер и не претендует на великие открытия в политической теории. Однако она замечательна тем, что после ее прочтения становится очевидным, насколько размытым и неопределенным является понятие «политической теории», в объем которого попадают и постмодернисты, и феминистки, и коммунитаристы.

Еще одна глава посвящена «эмпирической политической теории». Автор статьи — Клаус фон Байме — обратил внимание на то, что американцы в своих работах практически не упоминают иностранных авторов, что, по его мнению, является роковой ошибкой для дальнейших исследований в области политической теории⁵. Он также указал на то, что существует три стиля политического теоретизирования: французский, который, прежде всего, обращает свое внимание на проблемы языка и искусства; тевтонский, в прошлом опирающийся на марксистскую методологию, а сегодня эволюционировавший в сторону правой идеологии (этот стиль предельно абстрактен, и, кажется, немцы подумывают вообще отказаться от понятия «политическая теория»); англо-американский стиль, основой которого автор почему-то называет прагматизм, воплощенный в аксиоматическом и дедуктивном стиле политического философствования. Ис-

³ Политическая наука: новые направления. — М., 1999. Англоязычное издание см.: *A New Handbook of Political Science*. — Oxford, 1996.

⁴ Подробнее см.: Янг Ай. М. Политическая теория: общие проблемы // Политическая наука: новые направления. — М., 1999. С. 453–477.

⁵ Напомним, что сам Байме — профессор политических наук Гейдельбергского университета.

ходя из собственных критериев⁶, Байме квалифицировал в качестве эмпирических теории Лумана, Хабермаса и Вебера, теорию рационального выбора, фрейд-марксизм и ортодоксальный поведенческий подход. Тем не менее, несмотря на свои достоинства, данная статья Байме не выражает ни настроений какой-либо группы политических ученых, ни определенного ортодоксального подхода к политической теории. Это собственный взгляд автора, который может показаться занятым, но который не оказывает и самого малого влияния на политическую теорию.

Совершенно в ином ключе написаны работы представителя английской традиции политической философии Бхику Пареха и американского исследователя Брайна Бэрри, работающего в рамках ролзовского подхода к политической философии. Парех⁷ обращается к политико-философским традициям политической теории⁸, а именно к сочинениям тех мыслителей, которые оказали наибольшее влияние на политическую теорию в XX столетии: Оукшоту, Штраусу, Попперу, Берлину, Фёгелину и Маркузе, исследователям, изучавшим различные явления и тенденции, приведшие в XX веке к ужасающим последствиям — Второй мировой войне, нацизму и тоталитаризму. Истоки этих политических феноменов они видели в рационализме (Оукшот), релятивизме (Штраус), историцизме (Поппер), моральном монизме (Берлин), гностицизме⁹ (Фёгелин) и капитализме (Маркузе)¹⁰.

⁶ См.: Байме Ф. К. Политическая теория: эмпирическая политическая теория // Политическая наука: новые направления. — М., 1999. С. 495–506.

⁷ Парех Б. Политическая теория: политико-философские традиции // Политическая наука: новые направления. — М., 1999. С. 478–494.

⁸ В контексте данной статьи позволительно употреблять термины «политическая теория» и «политическая философия» как синонимы, однако в других случаях это, конечно, было бы неверным. Оба понятия имеют отличительные признаки, собственные предметы и специфические функции. Хотя в некоторых моментах эти термины и тождественны между собой, все же они остаются разными категориями политического знания.

⁹ Термин, который Фёгелин использует в своей философии, несколько отличается от понятия «гностицизм» в том значении, которое он имел в Средние века. Для объяснения своей позиции мыслитель ввел специальный терминологический аппарат. «Гностицизмом» Эрик Фёгелин называл «ересь», утверждающую возможность земного рая, а именно претензию правительств на возможность и способность осчастливить людей посредством своего управления.

¹⁰ Парех Б. Политическая теория: политико-философские традиции // Политическая наука: новые направления. — М., 1999. С. 481.

Точка зрения Бхику Пареха сводилась к следующему. Уже обыкновением стало считать, что до 1971 года политическая философия если и не была мертва, то, по крайней мере, находилась на пути в мир иной. После публикации книги Джона Ролза положение вещей изменилось. Мы еще вернемся к теме «Ролз и возрождения политической философии», а пока следует сказать, что Парех воспева�, по его же собственным словам, «золотое время» для политической философии — 1950–1960-е годы. Работы Майкла Оукшота, Карла Поппера, Людвиг фон Мизеса, Исайи Берлина, Эрика Фёгелина, Ханны Арендт и Лео Штрауса¹¹, относящиеся именно к этому периоду, позволяют говорить о том, что политическая теория не была мертва, а расцветала пышным цветом.

По мнению Пареха, источником мнений о гибели теории служил следующий факт: все эти мыслители были в определенном смысле «гуру политической философии», все они имели множество учеников и последователей и даже создавали свои школы. Однако, несмотря на это, а также на то, что часто эти мыслители либо общались друг с другом, либо были хорошо осведомлены о деятельности коллег, они не чувствовали потребности ссылаться на сочинения друг друга. Таким образом, эта тенденция, разумеется, не могла не оказать дурное влияние на эволюцию политического знания, или, если говорить точнее, не породить иллюзию того, что политическая философия находилась при смерти.

Однако, пишет Парех, в 1970-х роль «гуру» неуклонно падала, и было необходимо чем-то заполнить эту лауну. Так появилась работа Джона Ролза «Теория справедливости», которая произвела фурор в англосаксонском мире политической теории, и после 1971 года для политических теоретиков не ссылаться на нее стало дурным тоном. Более того, она явилась стимулом для написания таких бестселлеров по политической теории, как «Анархия, государство и утопия» Роберта Нозика и «О правах всерьез» Рональда Дворкина¹². Однако, как утверждает Парех, Ролз отнюдь не продолжал великой традиции англоязычной политической философии, идущей от Томаса Гоббса, но, напротив, радикально порывал с ней. Вместе с тем Парех продолжает высоко ценить своих героев и с некоторым скептицизмом отзывается о тех, кто принял подход Джона Ролза.

¹¹ Все эти имена перечисляет автор статьи.

¹² К счастью, не так давно обе работы были переведены на русский язык. См.: Дворкин Р. О правах всерьез. — М., 2004; Нозик Р. Анархия, государство и утопия. — М., 2007.

Бэрри, являясь последователем Ролза, резко отреагировал на эти суждения Пареха¹³. Статья Брайана Бэрри «Политическая теория: вчера и сегодня» по жанру является ответом на очерк Бхику Пареха и Айрис Янг. Бэрри указал, что если Ролз не делает ссылки на обожаемых Парехом Штрауса, Арендт, Фёгелина, Поппера, Оукшота, то обильно цитирует Бентама, Милля, Юма и Канта. Другими словами, Ролз опирался на определенную традицию философского мышления — кантианство и утилитаризм, — и его не слишком-то заботило, что там до него наговорили какие-то гуру¹⁴.

Все эти мысли, изложенные в четырех главах раздела «Политическая теория», хорошо иллюстрируют сложные отношения представителей того или иного лагеря политической мысли, отношения, которые с полным правом можно назвать «гражданской войной». Обратим внимание, что для середины 1990-х годов эти дебаты являлись последним словом в политической теории. Какое же слово из этих четырех в результате все же стало последним? Кто на самом деле был прав или, по крайней мере, приближался к истине? По всей видимости, похоже, никто. Дискуссии о статусе политической теории ведутся политическими теоретиками до сих пор. Они расширяются и углубляются, обретают новые формы, находят новые пространства, но от этого не становятся менее жаркими. В результате политическая теория сегодня, по-видимому, становится все более фрагментарной.

Однако мы не будем выходить за рамки середины 1990-х годов. Цель этой книги — пунктирно показать, каким образом политическая теория пробивала себе дорогу в жизнь в XX столетии, какие тенденции имели место в ходе ее развития, с какими вызовами она столкнулась, и какие проблемы ее заботили больше всего. Другими словами, во многом эта книга является «археологической» и главной задачей ставит знакомство отечественного читателя с дискуссиями об институциональном положении политической теории в XX столетии¹⁵. Статьи, вошедшие в данную антологию, — конкретные примеры непрекращающейся острой полемики о статусе политической

¹³ Бэрри Б. Политическая теория: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления. — М., 1999. С. 507–523.

¹⁴ Бэрри Б. Политическая теория: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления. — М., 1999. С. 514.

¹⁵ В некотором смысле антология — хороший пример истории конкретной научной дисциплины, что могло бы вызвать интерес у историков и методологов гуманитарной и социальной науки.

теории. В книге речь идет именно о тех исследователях, которые пытались понять, что представляет собой политическая теория и каково ее институциональное положение в структуре академической политической науки и, шире, в современном политическом дискурсе. Последний текст относится к середине 1990-х; в нем даны некоторые прогнозы развития этой области знания. Его публикация — хорошая возможность узнать, сбылись ли эти прогнозы по прошествии десятилетия. Для того чтобы ввести неискушенного читателя в курс дела, далее последует «краткая история англоязычной политической теории», а затем будет дано обобщение основных проблем, которыми были обеспокоены ученые и специалисты, занимавшиеся исследованием статуса политической теории как отдельной отрасли политической науки в XX веке.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Кратко писать об истории политической теории — дело чрезвычайно непростое. Не той истории политической теории, которая берет начало еще в трудах Платона и Аристотеля, но той, что появляется в США в начале XX столетия (ведь, в конце концов, «историю политической теории от Платона и до наших дней» изобрели именно американцы) как особая область политического и одновременно теоретического знания.

Дискуссии о статусе и характере политической теории возникли лишь в 1940–1950-х годах. До тех пор, особенно в самом начале века, политическую теорию считали тождественной историческому и сравнительному изучению государства. Такой точки зрения ученые придерживались относительно долгое время. Главным трудом, на который должны были опираться все без исключения исследователи политической теории, была трехтомная «История политических теорий» Уильяма Арчибалда Даннинга¹⁶. В течение двадцати лет никто не смел поставить под сомнение предмет (изменение политического сознания, происходящего вследствие трансформации институтов и идей на Западе) и метод книги (описание западных политических теорий с элементами концептуального анализа).

В начале 1920-х настоящее покушение на политическую теорию предпринял Чарльз Мэрриам, которого не устраивало положение дел не только в теории, но и в политической науке в целом. Он пред-

¹⁶ См.: *Dunning W. A. A History of Political Theories: In 3 Vols.* — NY, 1902, 1905, 1920.

ложил программу «взаимного оплодотворения политики и науки», причем под «наукой», надо сказать, он понимал ориентацию на количественные методы, а также на данные естественных наук. Он считал, что вся отрасль политического знания в США в то время необходимо должна была свестись к наблюдению, обзору и измерению политических явлений, событий и процессов. Между тем любопытно, что хотя Мэрриам и критиковал историко-сравнительный метод в политической науке, это не сопровождалось конфронтацией с историей политической теории, трактуемой в духе Даннинга, Геттела и Макилвейна¹⁷. Более того, Мэрриам, привлекая «революционные» методы строгой науки в политические исследования, вполне мог позволить себе писать книги по истории политической теории в традиционном ключе.

Однако в том виде, в каком ей позволил еще какое-то время существовать Мэрриам, политическая теория оставаться больше не могла. Этого требовали как социально-политические условия того времени, так и развитие политической мысли и философских идей. В результате уже в 1930-е годы история политической теории стала отдельным литературным жанром. И у этой литературы была очень серьезная и великая задача — продемонстрировать развитие либеральной идеологии в течение всей истории политической мысли, показать ее отличия от фашизма и коммунизма, а также доказать ее превосходство и преимущества по сравнению с конкурирующими системами политических идей того периода. Именно с этими целями в 1930-е годы издавались многие книги, пожалуй, главной среди которых стала *«История политической теории»* Джорджа Сэйбина (1937 год¹⁸), в течение последующих 20 лет считавшаяся одной из самых серьезных работ в этой области политического знания. Другими небезынтересными примерами такого рода сочинений являются работы Томаса Куку¹⁹ и Джорджа Катлина²⁰. Последний был особенно активен в том, что касается апологии либеральных ценностей.

Таким образом, к концу 1930-х, сама того не замечая, политическая теория артикулировала две крупнейшие проблемы, которые, во-первых, можно рассматривать как предмет ее анализа, а во-вторых, как

¹⁷ См.: Ганнел Д. Политическая теория: эволюция дисциплины // Наст. изд. С. 50.

¹⁸ Эта книга стала чрезвычайно популярной и долгое время оставалась одним из главных источников по истории политической теории. Она выдержала, по крайней мере, еще два издания в 1950 и 1961 годах.

¹⁹ Cook T. I. History of Political Philosophy from Plato to Burke. — London, 1936.

²⁰ Catrin G. The History of the Political Philosophers. — NY, 1939.

те «пунктики», которые стали для нее роковыми в более позднее время — это «научное покушение» на саму политическую теорию и проблема идеологии.

Уже к концу 1930-х — началу 1940-х годов политическую теорию ожидало очередное покушение со стороны «строгой науки», и на этот раз покушение было сильнее и безжалостнее предыдущего. Продолжая традиции, заложенные Чарльзом Мэрриамом, настоящая легенда политической науки и одна из первых ласточек «бихевиоральной революции» Гарольд Лассуэлл задумал «отвоевать» теорию у историков и превратить ее из описательной дисциплины, поющей дифирамбы американскому либерализму, в предмет, который мог бы стать по-настоящему «научным» (надо ли напоминать, что идеалом научности для него оставалась психология). Лассуэлл предложил оставить этику философам и занять себя преимущественно анализом политического поведения. В итоге «теория» стала строго научным, хорошо обоснованным, эмпирически проверяемым набором гипотез относительно политического поведения субъектов политики.

Одним словом, теория стала тем, чем Гарольд Лассуэлл пытался ее сделать уже в течение 1930-х годов. Однако тогда, на волне критики фашизма и коммунизма, его исследования вызвали некоторое неодобрение и со стороны «политических ученых», и со стороны «политических теоретиков», так как он придавал слишком большое значение проверке гипотез и радикализировал методы психологии, отстаиваемые Мэрриамом. Вместе с тем именно Лассуэлл сделал очень много для становления политической науки как «науки». И, что особенно важно, все эти изменения в политической науке происходили одновременно с изменениями в политической теории. Последняя все реже прибегала к историко-сравнительному методу и все меньше опиралась на этику и философию. Хотя в действительности мнение о том, что политическая теория — это преимущественно история идей, было в течение долгого времени непреложным для большей части университетских программ, посвященных политической теории. Например, если исключить лишь некоторые теоретические и методологические курсы, то еще в середине 1960-х годов такое положение было характерно для большинства высших учебных заведений.

Весьма примечательным остается следующий факт: та политическая теория, которую проповедовал Джордж Сэйбин и которая постепенно вытеснялась «онаученной поведенческой теорией», в значительной мере оставалась тождественной истории политических идей. Отечественная исследовательница из Санкт-Петербурга в своей ценной монографии «Феномен политического знания» отмеча-

ет то же самое: «В этот период все меньше используется понятие политической теории, а сфера ее ограничивается только историей политической мысли — ситуация, сохранившаяся отчасти и поныне»²¹. И даже несмотря на этот факт, все же она не была враждебной к ставшему уже почти такой же традиционной приверженности к науке и методу. Конфликтовать научная политическая теория и историческая политическая теория стали лишь в 1940-х, когда вся американская политическая наука обогатилась континентальными философско-политическими идеями²². Например, никто из американцев не посмел бы поставить под сомнение ценность *истории* политической теории, будучи сам приверженцем этого подхода. Однако для эмигрантов такой вызов мог быть сравнительно легким. Одним из таких критиков исторического подхода стал в то время еще историк политических идей австрийского происхождения Эрик Фёгелин.

Критика Эриком Фёгелином²³ современной ему политической теории (или истории политической теории) была очень меткой и имела достаточно глубокие для того времени основания. Фёгелин указал на слабые места главных корифеев истории политической философии, а также продемонстрировал большую путаницу — и вследствие этого сложность — в определении понятия «политической теории». Во-первых, история политической теории была ориентирована лишь на Запад. Хорошей иллюстрацией этого тезиса могла бы стать «История политических философов»²⁴ позитивистски ориентированного Джорджа Катлина, считавшего восточную политическую мысль лишь прелюдией к гениальным прозрениям Платона и Аристотеля. Фёгелин пытался показать американским историкам все достоинства восточной политической мысли и то, как эта мысль могла бы быть полезной коллегам-соотечественникам. Во-вторых, все авторы, по мнению Фёгелина, понимали под политической теорией слишком разные вещи и настолько неаккуратно обращались с материалом, над которым работали, что сам термин во многом перестал быть адекватным. Именно поэтому Фёгелин пошел на то, чтобы заменить его на другой, с его точки зрения, более подходящий

²¹ Сморгунова В. Ю. Феномен политического знания. — СПб., 1996. С. 242.

²² Например, Сморгунова считает, что «понятие политической теории было разработано еще в 40-е годы, ее развитие связано с эмиграцией из США немецких ученых». См.: Сморгунова В. Ю. Феномен политического знания. — СПб., 1996. С. 286.

²³ См.: Фёгелин Э. Политическая теория и паттерн общей истории // Наст. изд.

²⁴ Catlin G. The History of the Political Philosophers. — NY, 1939.

термин — «история политических идей», по-видимому, более точно отражавший тенденции, наметившиеся в исследованиях предмета на тот период.

С 1939 и по 1950 год он писал свою грандиозную «Историю политических идей», которая, впрочем, не была опубликована при жизни автора²⁵. Однако восемь томов «политических идей» не были лишь «историей», и с методологической точки зрения — что являлось одним из главных пунктов критики Фёгелином его предшественников — были еще более уязвимыми, чем работа пионеров истории политической теории. Это был личный проект Фёгелина²⁶. Конечно, туда вошла древневосточная политическая мысль, более того, Фёгелин выказал уважение к русской политической мысли и уделил особое внимание исследованию творчества Михаила Бакунина, однако в восьми томах нет подробного анализа идей Руссо, Канта, Гегеля, Милля и Токвиля, в то время как разбор наследия Шеллинга и Маркса присутствует. И если Даннингу, исключившему из своего анализа Средние века, было простительно быть столь небрежным, то Фёгелину, придирчивому и педантичному австрийцу, обойти вниманием Токвиля — нет. Как бы то ни было, Фёгелин эмигрировал в США лишь в 1938 году, и в первой половине 1940-х он еще только начинал свой творческий путь, а значит, не имел должного влияния, и предложенная им вполне конструктивная критика осталась гласом вопиющего в пустыне.

Фёгелин был лишь одним из ярких примеров немецкоязычных эмигрантов, среди которых свои достойные места занимают такие авторы, как Карл Дойч, Герберт Маркузе и Ханна Арендт. Все они в тот период оказали большое влияние на дискурс политической теории. Джон Ганнел аргументировал, что политическая теория (в том виде, в котором она стала известна в 1960-е) была рождена самосознанием эмигрантов. До них проблемы позитивизма, релятивизма и историцизма не были такими популярными в политической науке, какими стали в 1950-е. Вот почему одним из ключевых пунктов для англоязычной (и, прежде всего, американской) политической теории стало влияние европейцев. При этом «влияние» это было чрезвычайно разнообразным. Это могла быть оксфордская лингвистическая философия, феноменологический подход к поли-

²⁵ Voegelin E. The History of Political Ideas // The Collected Works of Eric Voegelin. — Columbia, 1997–1999 Vols. 19–26.

²⁶ Szakolczai A. Eric Voegelin's «History of Political Ideas» // European Journal of Social Theory. 2001. 4 (3). P. 352.

тической философии, «ценностный плюрализм» и другие направления исследований.

Более удачливым в предприятии покушения на основы «истории политической теории» оказался другой немецкоязычный эмигрант Лео Штраус (хотя, и об этом речь пойдет позже, история политической философии не была единственным направлением его деятельности). Здесь надо оговориться, что Штраус всегда делал особый упор на то, что он занимался именно историей *политической философии*, а не историей *политической теории*, которую он определял как «всестороннее размышление о политической ситуации, ведущее к предложению общего политического курса»²⁷. Вместе с тем то, чем он занимался, все же в определенном смысле было «политической теорией», особенно если вспомнить о некотором терминологическом уточнении, предложенном Джоном Ганнелом. Так, последний настаивал, что «необходимо проводить различие между *Политической теорией* как особой отраслью политической науки (ПТ) и *политической теорией* как более общей междисциплинарной областью, в которой пересекаются сферы деятельности интеллектуального сообщества (пт)»²⁸. Это замечание проливает свет на некоторое недопонимание, а также ошибочную интерпретацию эволюции политической теории второй половины XX века, а также указывает на то, что, хотя Штраус почти всегда избегал термина «политическая теория» в узком смысле этого слова (того, что Ганнел назвал *Политической теорией*), все-таки он всегда оставался политическим теоретиком в более широком значении (том, что Ганнел назвал *политической теорией*). Неслучайно большинство американцев считают Штрауса выдающимся политическим теоретиком, но не философом²⁹.

В начале 1940-х Лео Штраус приехал в США и обосновался в Чикаго — именно в том месте, откуда ведет свое происхождение «бихевиоральная революция»³⁰, где долгое время преподавали и проводили исследования Чарльз Мэрриам и Гарольд Лассуэлл. Более того,

²⁷ См.: Штраус Л. Что такое политическая философия? // Штраус Л. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 12.

²⁸ Ганнел Д. Политическая теория: эволюция дисциплины // Наст. изд. С. 44.

²⁹ Например, см. статью Ларри Спенса, представленную в настоящем издании: Спенс Л. Политическая теория в отставке // Наст. изд. Примечание № 5. Автор упоминаемой статьи вносит некоторую терминологическую путаницу: то, что сам Штраус называл «политической философией», Ларри Спенс без каких-либо оговорок выдает за «политическую теорию».

³⁰ Более подробно о «бихевиоральной революции» см. ниже.

Штраус занял место на факультете политических наук, которое ранее принадлежало не кому иному, как Чарльзу Мэрриаму³¹. Наконец, заслуга Штрауса заключалась в том, что он, в отличие от Эрика Фёгелина, сумел увлечь целое поколение политических исследователей. Его исторический проект заключался в следующем. Во-первых, он указал на значимость исследования истории политической теории самой по себе. По его мнению, ответы на вечные вопросы уже были даны, нужно только правильно читать классических политических философов и правильно интерпретировать их учения. Прежде всего, Штраус обращался к Платону и Аристотелю, однако его также интересовали такие фигуры, как Николо Макиавелли и Томас Гоббс. Во-вторых, Штраус стимулировал интерес к исследованиям истории незападной политической мысли — Аль Фараби, Маймонида и другим экзотическим персонажам. В этом отношении Штраус весьма преуспел. Вместе со своим учеником Джозефом Кропси он отредактировал «Историю политической философии»³², которая сильно отличалась от других уже упоминаемых работ того же жанра. Энн Нортон так пишет об этом: «до „Истории политической философии“ Штрауса и Кропси главной работой по истории политической теории оставалась книга Джорджа Сэйбина. Однако работа Сэйбина была посвящена главным образом Европе в узком смысле этого слова. В ней не были рассмотрены ни мусульманские, ни еврейские философы»³³. Предприятие Штрауса навсегда поменяло положение дел.

Кроме того, хотя до 1970-х ведущую роль в политической теории играли эмигранты³⁴, такие как Лео Штраус, Ханна Арендт и Эрик Фё-

³¹ В одной из самых интересных книг Джона Ганнела, посвященных политической теории, есть эпиграф, слова которого принадлежат Чарльзу Мэрриаму: «Кто такой Лео Штраус?». Этот вопрос показывает то смятение и удивление, которое испытали американские политические ученые, когда эмигранты из Европы активизировали свою деятельность на поприще политической науки. Штраус стал одним из лидеров этого движения. *Gunnell J. G. The Descent of Political Theory. The Genealogy of an American Vocation. — Chicago and London, 1993. P. 175.*

³² См.: *History of Political Philosophy / Ed. By Strauss Leo. Cropsey Joseph. — Chicago, 1963.*

³³ *Norton A. Leo Strauss and Politics of American Empire. — New Haven and London, 224. P. 224.*

³⁴ Следует сказать, что далеко не все эмигранты в исследованиях политической теории были ориентированы на исторический и нормативный подходы. Многие ученые-эмигранты с удовольствием приняли «бихевиорализм» за основу

геллин, или европейские мыслители, такие как Майкл Оукшот, Исайя Берлин и Раймон Арон, среди американцев также были серьезные исследователи, которые могли составить серьезную конкуренцию этим мыслителям. Одним из самых видных американских ученых был Шелдон Уолин, выпустивший в 1960-м свой главный труд «Политика и предвидение. Традиция и инновация в западной политической мысли»³⁵. Более того, находились и те, кто мог бросить достаточно смелый вызов чрезвычайно влиятельной на тот момент штраусианской школе истории политической философии. Например, в Британии, прежде всего, в Кембридже, свою научную деятельность активизировали такие крупные историки мысли, как Джон Дан, Джон Поуккок и Квентин Скиннер³⁶, каждый из которых был отличным специалистом в области истории политической теории и предлагал свое собственное прочтение истории политических идей.

Таким образом, самый важный вывод из всего этого заключается в следующем. Американские исследователи не конфликтовали между собой, даже если это касалось фундаментального различия между «научным» и историческим изучением политики. Несмотря на то, что ранние бихевиоралисты стремились всевозможными способами «онаучить» политическую науку, они позволяли историкам спокойно заниматься своей деятельностью, тогда как послевоенные эмигранты не просто бросились размыывать основы «поведенческого подхода» к политической науке, но и покушались на методологические основы самой истории политической теории. Вероятно, это столкновение континентальной и англосаксонской политической теории на фоне американской политической науки и стало одним из главных источников достаточно серьезного конфликта внутри политической теории. Более позднее столкновение континентальной и аме-

исследований в политической науке и с жаром отстаивали эту теоретическую и методологическую основу. Одним из ярких примеров был Карл Дойч. См.: Дойч К. О политической теории и политическом действии // Наст. изд.

³⁵ Не так давно эта работа была переиздана. Уолин дополнил ее более чем на половину. См.: *Wolin S. S. Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political Thought.* — Oxford, 2004. Вместе с тем обратим внимание, что он, как и прочие американские ученые, продолжал игнорировать незападную политическую мысль.

³⁶ Об этих представителях британской политической теории и их противостоянии штраусианскому подходу к политической теории см.: *Major R. The Cambridge School and Leo Strauss: Texts and Context of American Political Science* // *Political Research Quarterly*. 2005. Vol. 58. No. 3. P. 477–485.

риканской мысли мы уже имели возможность увидеть на примерах дискуссий между англичанином Бхикью Парсхем и американцем Брайаном Бэрри: примечательно, что первый отстаивал традиции, заложенные Штраусом и прочими европейскими мыслителями, в то время как второй все заслуги в эволюции политической теории приписывает Джону Ролзу и его американским последователям.

ВЫЗОВ БИХЕВИОРАЛИЗМА

Однако это было столкновением лишь на почве истории политической теории. Конфликт усугубился, когда американцы решили полностью поставить политическую науку на научную основу и посвятить всю свою деятельность лишь микротеориям. Суть собственно бихевиорализма всем хорошо известна, чтобы говорить о нем здесь подробно. Однако не будет лишним привести цитату из статьи Шелдона Уолина, хорошо описавшего некоторые моменты «поведенческой революции»: «На самом деле в политической науке произошла революция — та, что является отражением той традиции политики, которая гордится своей прагматичностью и сосредоточенностью на работающих техниках. Подобно всякой технической ориентированной деятельности, бихевиоральное движение предполагает, что фундаментальные цели и договоренности, которые эта техника обслуживает, уже установлены и что, следовательно, она усиливает молчаливо или открыто эти цели и установления и действует исходя из того, что альтернативы строго ограничены этими же самыми целями и установлениями. Упор на методы не обозначает простое приобретение „набора“ новых „инструментов“, но предполагает точку зрения, имеющую значимые импликации для эмпирического мира, призвания и образования политического ученого, а также тех ресурсов, которые питают теоретическое воображение»³⁷. Ни больше ни меньше. Прагматизм, эмпиризм и полный отказ от ценностных суждений были основными пунктами программы бихевиоралистов.

Эмпирическая политическая теория тесно связывалась с политической наукой в ее классическом американском варианте (надо сказать, она и по сей день остается востребованной отраслью теоретического знания). Она, используя методы естественных наук, сама могла быть объяснена по образу и подобию этих наук. Вместе с тем, после признания многих своих ошибок эмпирическая политическая

³⁷ Уолин Ш. Политическая теория как призвание // Наст. изд. С. 280.

теория, основываясь на разработанных ею приемах и процедурах, заявила, что фактически могла бы выполнять функции нормативной и исторической политических теорий. Это объясняет резко негативное отношение эмпирических «политических ученых» к нормативным «политическим теоретикам». Бихевиорализм выступал против «простого фактуализма, метафизики и абстрактных спекуляций, дедуктивности, против принятых как должное интерпретаций истории, построения грандиозных будущих перспектив, против установления связи политической науки с моральными и этическими проблемами»³⁸.

Многочисленные и язвительные заявления бихевиоралистов о выдающейся роли науки и научной теории в итоге раздробили и политическую науку, и политическую теорию, отстаиваемую европейскими эмигрантами и британскими политическими мыслителями. Вместе с тем, как справедливо пишет Джон Ганнел, аргументы «за» и «против» бихевиорализма потребовали от теоретиков политики серьезных и глубоких философских и метатеоретических обоснований. Более того, именно в период «бихевиоральной революции» как никогда ярко проявились достаточно сильные различия между «*Политической теорией*» и «*политической теорией*», а следовательно, и проблема непростых отношений между ними. «Для большинства бихевиоралистов первым делом была научная перестройка дисциплины». «Бихевиоральная революция была теоретической революцией в различных смыслах. Во-первых, она стала революцией в теории науки, сформировала беспрецедентное метатеоретическое сознание о научной теории и научном объяснении. Во-вторых, значительная энергия бихевиоралистов пошла на пропаганду, создание и применение того, что они считали теориями. В-третьих, делался отчетливый акцент на чистой или теоретической науке и осуществлялся поворот от идеи либеральной реформы и социального управления как цели социальной науки»³⁹.

Отныне политические ученые могли не стесняться в выражениях: политическая теория находилась под обаянием все тех же эмигрантов, и отстоять право называть политической теорией то, что хотят именно они, а не то, что желают только что приехавшие «философы», было для американских бихевиоралистов делом чести. Теперь они могли не стесняться в выражениях, ведь история политической философии уже практически вышла из-под влияния американских

³⁸ Сморгунова В. Ю. Феномен политического знания. — СПб., 1996. С. 252.

³⁹ Ганнел Д. Политическая теория: эволюция дисциплины // Наст. изд. С. 56.

теоретиков, стремящихся продемонстрировать прогресс либерализма и демократии, а не рассуждающих о том, что такое благо и лучший политический режим. Американские политические ученые клеймили теорию как телеологическую, моралистскую, историческую и этическую, более того, с их точки зрения, она вообще осталась в том же положении, в котором ее оставил Аристотель⁴⁰. А раз так, то какую эвристическую ценность она должна была представлять для демократических США, как она могла повлиять на штудии «политической психопатологии», на изучение поведения избирателей во время голосования, на исследования теории административного управления? К тому же излишнее морализаторство — а именно таковым бихевиоралисты считали современную им политическую теорию — и спекулятивные размышления, традиционно связываемые с европейской философской традицией, не могли не раздражать эмпирических политических ученых. В результате им стало проще похоронить политическую теорию, чем отвоевывать ее у нормативистов.

Например, один из самых видных «научных политических теоретиков», начинавший, кстати, как исследователь политической теории в ее традиционном понимании, печально констатировал: «В англоязычном мире, решившем множество интересных политических проблем (пускай и поверхностно), политическая теория умерла. В коммунистических странах она под замком. Она угасает повсеместно. На Западе процветает эра текстологической критики и исторического анализа, предполагающих, что исследователь политической теории прокладывает свой путь, заново открывая некоторые заслуженно оставленные в тени тексты или давая новые интерпретации уже известным»⁴¹. В этом пассаже хорошо прочитывается неприязнь к «текстологической критике» и «историческому анализу» политической теории, — между прочим, главные пункты в подходах Штрауса, Фёгелина, Поукока и Скиннера.

Придерживаясь позиций, схожих с позицией Даля, отдававшего должное иностранцам там, где это было возможно⁴², многие другие бихевиоральные критики чрезмерно радикализировали свои взгляды

⁴⁰ Подробнее см.: Ганнел Д. Политическая теория: эволюция дисциплины // Наст. изд.; Gunnell J. G. In Search of the Political Object: Beyond Methodology and Transcendentalism // What Should Political Theory Be Now. Ed. by Nelson J. S. — Albany, 1983. P. 25–52.

⁴¹ Даль Р. Политическая теория: истина и последствия // Наст. изд. С. 137.

⁴² Свой текст о политической теории он писал в виде рецензии на книгу Бертра-
на де Жувенеля «Суверенитет. Исследование политического блага». См.: Jouve-

ды. В своих исследованиях они делали упор на проблемах суверенитета, политических системах, культурах, поведении политических акторов и т.д. И этот «ограниченный интерес» выдавал в них чрезмерную увлеченность американскими политическими ценностями, а также абсолютизацию этих ценностей. Все исследователи были убеждены, что главными достижениями политической науки являются либерализм и демократия американского типа, и что это следует принять за образец любого исследования, неважно чему оно посвящено — режимам, культуре или сравнительной политологии.

«Задача политической науки состояла в постоянной рационализации демократических установок и принципов, заложенных в основу американской политической системы, а также в подпитывании общественного сознания новыми аргументами в пользу состоятельности идеалов либеральной демократии»⁴³. Альтернативный подход к предмету и методу политической науки или политической теории мог расцениваться ими как самое страшное предательство ценностей самого демократического и самого либерального государства в мире. Между тем любопытно, что феномен тоталитаризма исследовали и критиковали именно европейские политические теоретики — Ханна Арендт, Эрик Фёгелин, Карл Поппер, Раймон Арон и Лео Штраус. То ли, для того чтобы позлить американских ученых, то ли, для того чтобы открыть новые грани истории политической теории Штраус вообще сделал предметом своего анализа «тиранию». При чем он не рассматривал ее как однозначно негативный политический режим. В результате конфликт усугубился еще больше. Исследования политических теоретиков приобрели резкий критический тон не только по отношению к современности, но теперь уже и по отношению к либеральному видению науки и демократии.

Строгая научность, эмпиризм и свобода от ценностей были лишь прикрытием американских политических ученых. Однако они не замечали, что их собственный подход был ничуть не менее «ценностным», чем у политических философов. Таким образом, конфликт происходил не на уровне научных и интеллектуальных дискуссий, а на уровне ценностей. Идеи свободной от ценностей науки, занимающейся поиском законов политического поведения, стали противоположными «более ценностному набору» рассуждений политических теоретиков, не принимавших «бихевиоральных установок».

nel B. de. Sovereignty: An Inquiry into the Political Good. — Chicago: University of Chicago Press, 1957.

⁴³ Сморгунова В. Ю. Феномен политического знания. — СПб., 1996. С. 228.

И здесь мы подошли к главному и самому трагическому пункту истории политической теории. К тому времени уже вполне сформировались три вида политической теории — «историческая», «нормативная» и «эмпирическая»⁴⁴. В 1968 году Ассоциация американской политической науки попросила политических теоретиков определиться со своей «идентичностью». Они могли выбирать из трех предложенных пунктов. Понимание того, что существуют разнопорядковые подходы к исследованию политической теории, пришло относительно поздно, и, как было показано выше, до 1950-х политическая теория воспринималась как нечто цельное. Вместе с тем, похоже, на тот момент было трудно осознать тот факт, что существовал еще один «вид политической теории», кардинально отличавшийся от трех предложенных. Это была «идеологическая политическая теория», которую никак нельзя было приравнивать к «нормативизму». Суть «идеологической политической теории» заключается в том, что политическая теория не рассматривала идеологию в качестве своего

⁴⁴ Биографический справочник Американской ассоциации политической науки. 1968. См. об этом: *Gunnell J. G. The Descent of Political Theory. The Genealogy of an American Vocation.* — Chicago and London, 1993. P. 251.

Шелдон Уолин назвал это кризисом идентичности политической теории: «Ассоциация американской политической науки распространила опросник, который [...] помог поднять вопрос: „В чем заключается призвание политического теоретика?“. Политических теоретиков призвали идентифицировать себя и обозначить собственный эмпирический статус, выбрав между политической теорией и философией, исторический статус, выбрав между политической теорией и философией, и, наконец, нормативный статус собственной деятельности, выбрав между политической теорией и философией. Несмотря на то, что предложенный перечень вариантов ответов может обозначать некую жизненность и разнообразие, также он может свидетельствовать о значительной путанице в отношении природы политической теории. В свою очередь, политические теоретики могут считать это кризисом идентичности, вызванным тем, что они обнаруживают себя помещенными в классификацию, составленную другими, — классификацию, которую можно разложить на ряд допущений о природе теоретической жизни, которые, наверно, не покажутся близкими по духу многим теоретикам». См.: *Уолин Ш. Политическая теория как призвание* // Наст. изд. С. 278. Существует также точка зрения, согласно которой не было никакого кризиса, так как целостной традиции политической теории никогда не существовало. То, что называли традицией политической теории, было на самом деле набором противоречащих концепций, постоянно конфликтующих друг с другом.

предмета, но сама была насквозь идеологичной. В конце концов можно сделать вывод, что политическая теория может предстать перед нами в нескольких ипостасях. Как минимум мы можем говорить о ее четырех различных вариантах, не сводимых друг к другу. Это нормативная политическая теория, эмпирическая политическая теория, историческая политическая теория и идеологическая политическая теория⁴⁵. Что касается нормативной теории политики, то она неоднородна и также может делиться как минимум на классическую и неклассическую. Вообще, мало кто из исследователей политической теории считает ее однородной и универсальной.

ПРОБЛЕМЫ С ИДЕОЛОГИЕЙ

В конце 1950-х — начале 1960-х годов в США в социологической и политологической среде очень популярной темой стала идея «конца идеологии». Западные интеллектуалы пришли к выводу о том, что социализм и капитализм настолько похожи друг на друга в своих самых существенных чертах, что, кажется, почти перестали различаться между собой. Все значимые вопросы свелись лишь к политической технике и принятию решений, идеи же отошли на задний план и лишились интереса со стороны ученых. Общество стало гомогенным, а политический процесс — предсказуемым и прогнозируемым.

Однако если вспомнить хотя бы идеологии студенческого радикализма, негритянского протеста, феминистских выступлений, рост антивоенного движения, всплеск консервативного интеллектуального и политического движения, в рамках которого насчитывалась не одна и даже не пять противоборствующих групп, а также политический либерализм в его самых разных изданиях, от «Новых рубежей» Кеннеди до «Великого общества» Джонсона, то можно убедиться, что в провозглашении «конца идеологии» было что-то фальшивое. Разве можно было так сильно заблуждаться, имея перед собой столь очевидные доказательства утверждений, обратных провозглашению «конца идеологии»?

⁴⁵ Политический ученый из Австралии Эндрю Винсент считает, что ипостасей политической теории не четыре, а пять. К вышеперечисленным он добавляет «институциональную политическую теорию». Как представляется, она во многом пересекается с «эмпирической» политической теорией и не заслуживает отдельного упоминания, по крайней мере, в этом контексте. См.: Vincent A. The Nature of Political Theory. — Oxford, 2004. Part 1. P. 19–83.

Тем не менее мало кто может спорить с тем, что на тот момент их идеи могли показаться верными кому угодно. Например, известный ныне «технократ» Дэниэл Бэлл по прошествии многих лет сказал, что он не заблуждался, когда говорил о «конце идеологии», ибо на тот момент действительно было очевидно, что она умирает, однако согласился с тем, что теперешнее положение дел полностью опровергает его прежнюю точку зрения, и сегодня можно говорить о том, что она переживает ренессанс⁴⁶.

Один из самых видных «научно ориентированных» политических ученых США Сеймур Мартин Липсет также считал, что идеологии больше не существует. Он плакал, когда писал, как на одной из пыльных конференций под названием «Будущее свободы», проходившей в 1955 году в Италии, собралось множество интеллектуалов, представлявших либерализм, социализм и консерватизм, однако громких ученых баталий, которых жаждали западные демократофилы, так и не произошло. Лишь изредка все оживали, когда кто-то кого-то обвинял в «суррогатном коммунизме», подразумевая, что «коммунист» с чересчур большой симпатией относится к СССР⁴⁷. В целом же все участники мероприятия зевали, соглашаясь с каждым докладчиком. И даже когда «архиконсервативный экономист», как назвал его сам Липсет, Фридрих фон Хайек выступил с заключительным словом, рассуждая о необходимости свободы, с ним никто не поспорил. Коммунисты больше не защищали социализм. «Все идеологические споры, разделявшие левых и правых, ни много ни мало свелись к вопросам о планировании и государственной собственности»⁴⁸.

⁴⁶ Бэлл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — М., 1999.

⁴⁷ См.: *Lipset S. M. Political Man: The Social Bases of Politics.* — Garden City, NY, 1960. P. 401–417.

⁴⁸ Вместе с тем справедливым будет отметить, что вопрос о собственности — ключевой в современном противостоянии идеологий. Например, один из современных консервативных экономистов Том Бетелл, редактор журнала «*American Spectator*», в 1998 году написал книгу-апологию частной собственности «Собственность и процветание». См.: Бетелл Т. Собственность и процветание. — М., 2008. Труд демонстрирует кредо американских консервативных экономистов, причем пункт о неприкосновенности частной собственности сближает и даже отождествляет консерваторов с либертарианцами. На наш вопрос, не произошло ли каких-либо трансформаций в отношении самого Бетелла к собственности, он ответил: «Что ж... Не изменились ли мои взгляды в отношении важности прав на частную собственность? Нет. Они остались все теми же. Я поинтересовался, не ответил ли кто-нибудь на мою книгу серьезным возражением,

Следует отметить, что Липсет и Бэлл не были одиночками. За несколько лет до них вопросом «конца идеологии» занялся Эдвард Шилз. Кстати, именно из этого источника Бэлл и Липсет черпали свои ценные идеи. Таким образом, «певцы конца идеологии» были сплоченной группой социологов и политических ученых, мыслящих в одном ключе. Когда современный философ и политический теоретик Аласдэр Макинтайр⁴⁹ назвал идеи этих социологов «идеологией конца идеологии», он был прав, потому что с таким пылом отстаивать идею о том, что идеология утратила свою состоятельность и полностью себя исчерпала, могли только самые ангажированные идеологи. Бэлл, Липсет и Шилз хотели видеть, как прежние идеи, владевшие умами людей, заставляли совершать революции или идти добровольцем на фронт, а вместо этого они наблюдали, как сторонники консерватизма, либерализма и социализма (по крайней мере, на Западе), теряясь в либеральном хоре, в унисон пели песню о том, что свобода — чрезвычайно важная вещь, и все мы должны любить ее и оберегать от всяких покушений.

Тем не менее никто сегодня больше не отрицает того, что идеология жива. С середины 1960-х, равно как и сегодня, стало очевидным, что идеологическая борьба не закончилась и что она и не должна была закончиться. Более того, практика показывает, что все попытки умертвить политические идеи, объединив их под одной шапкой, всякий раз терпят неудачу. Они не приносят авторам ничего, кроме сомнительной популярности. Так, еще один профессиональный плакальщик, «певец конца», но на этот раз истории, также ошибся в своих преждевременных похоронах, провозгласив, что гомогенное либеральное государство стало единственной формой существования людей. Что ж, в итоге ему пришлось признать ошибочность своих утверждений. В рамках политической теории очень удачно сравнила проблему «конца истории» с «концом идеологии» Шадия Друри⁵⁰, указав влияние этих идей на развитие американской политической науки.

Наряду с вышеозначенными «концами» существовал и еще один — смерть политической теории. В период «бихевиоральной револю-

предложив аргументы за коллективизм или государственную собственность: пока этого никто не сделал». Хотя во времена, когда писал Липсет, этот пункт политико-экономической программы мог показаться и пустячным по сравнению с баталиями, предшествовавшими 1950 годам.

⁴⁹ MacIntyre A. Against the Self-Images of the Age. — Notre Dame, 1971. Ch. 1.
⁵⁰ См.: Drury S. Alexandre Kojève. The Roots of Postmodern Politics. — NY, 1994. P. 180–181.

ции» критика политической теории шла по нескольким направлениям. Характерно, что удары сыпались и со стороны «научных» политических теоретиков, и со стороны корифеев политической философии, придерживавшихся нормативного подхода в исследовании проблем политики (что не могло, конечно, не влиять и на без того чрезвычайно фрагментированную область знания), и со стороны исследователей, вовсе имеющих к политической теории опосредованное отношение. Появились профессиональные плакальщики по безвременно покинувшей этот мир политической теории. Свои профессиональные некрологи написали «научно ориентированные» Роберт Даль и Дэвид Истон⁵¹.

Альфред Коббан, в свое время весьма известный и уважаемый историк политической теории, не преминул написать о закате того предмета, которым непосредственно занимался⁵². Упадок политической теории он видел в том, что она все сильнее дистанцировалась от практической политики, а также в том, что она не занималась исследованием идей тех теоретиков, которые того более всего заслуживали (для него таким идеалом был Эдмунд Бёрк). Один из немецкоязычных эмигрантов Арнольд Брехт хотя и использовал термин «политическая теория», но в своей книге⁵³ поднимал исключительно философские проблемы континентальной мысли. Опираясь, прежде всего, на идеи Эдмунда Гуссерля о кризисе европейских наук и европейской философии, он давал понять, что западная политическая теория основывается на том, что называется релятивизмом, а это как раз та болезнь, от которой сложно излечиться. Беда же западных политических ученых в том, что их устраивает подобное положение дел. А раз так, то и европейская, и американская политическая теория находится в кризисе.

Многое для погребения политической теории сделали так называемые представители «лингвистической философии»⁵⁴. Первым из таких был Питер Ласлет, британский историк политической мысли и издатель нескольких томов очень популярной серии «Философия. Политика. Общество», в которой, как правило, публиковались тексты, посвященные проблемам лингвистического подхода к поли-

⁵¹ Истон Д. Упадок современной политической теории // Наст. изд.

⁵² Коббан А. Закат политической теории // Наст. изд.

⁵³ См. его книгу: *Brecht A. Political Theory.* — Princeton, 1959.

⁵⁴ Отличным примером лингвистического подхода к политической философии может служить статья Майкла Оукшота, представленная в данной антологии.

См.: Оукшот М. Что такое политическая теория? // Наст. изд.

тической философии и анализу понятий. Частыми гостями сборников были Герберт Харт, разработавший «лингвистическую теорию права», и Уэлдон, в середине XX столетия также написавший эпитафию политической теории. Он считал, что «проблемы социальной и политической философии возникают из-за особенностей языка, на котором мы пытаемся описать социальные и политические институты, а не благодаря чему-то таинственному в самих этих институтах»⁵⁵. Он также настаивал, что большая часть историков политической философии заблуждалась в своих исследованиях, так как основывались на «ошибочных моральных суждениях»⁵⁶.

Современный британский политический теоретик Джон Грей хорошо описал это чрезмерное и повальное увлечение философией и анализом языка: «В этот период складывается впечатление, что единственное, чем еще можно заняться в данной области, — так это различного рода изыскания в жанре „анализа понятий“, которые представляют собой не что иное, как кабинетное исследование современных и частных смыслов слов, обязанное своим значением или влиянием тому, что оно обращается к лингвистическим или моральным интуициям кабинетных философов, а не пользователей языка, — исследование, подобное тому, что было осуществлено в 1965 году Брайаном Бэрри в книге „Политический аргумент“^{57, 58}.

Многие в ряду хора поющих отходную молитву политической теории хотели показаться оригинальными и поэтому продлевали жизнь политической теории на неопределенный срок. Так, Ларри Спенс объявил о том, что «политическая теория» находится в интеллектуальной отставке (хотя, чтобы продолжить такую красивую и оригинальную метафору смерти, ему следовало бы сказать: «в коме»), но,

⁵⁵ Однако так считали далеко не все британцы, большинство из которых находилось под обаянием лингвистической философии. Так, один из ведущих историков политических идей Джон Дан отметил в своем эссе об «Истории политической теории», что, несмотря ни на какие прогнозы Истона, Ласлета и Уэлдона, у нее есть будущее. См.: *Dunn J. The History of Political Theory and Other Essays.* — Cambridge, 1998. P. 12.

⁵⁶ *Weldon T. D. The Vocabulary of Politics.* — London, 1953.

⁵⁷ Упомянутое исследование Брайана Бэрри явилось предтечей ролзовского ренессанса в политической философии. Фактически он писал о том же, о чем и Джон Ролз, но за несколько лет до него. Однако именно работа Ролза стала определяющей. Книга же Бэрри осталась практически незамеченной. См.: *Макаренко В. П. Аналитическая политическая философия.* — М., 2002. С. 23–24.

⁵⁸ *Грей Д. Поминки по Просвещению.* — М., 2003. С. 15.

остается надеяться, писал он, что наступит день, и она вновь вернется к своей деятельности, но не будет ориентироваться только на историю, а обратит свое внимание также и на вопросы практической политики⁵⁹.

Парадоксально, но все эти многочисленные попытки покончить с политической теорией стимулировали движение по ее возрождению. С целью отстоять право на существование предмета, который был одним из главных его интересов, британский мыслитель Исайя Берлин написал статью с названием «Существует ли еще политическая теория?». Обратим внимание, что очень немногие отваживались поставить вопрос так прямо, как это сделал Берлин. После долгих и пространных рассуждений о позитивизме, инструментализме и эмпиризме, проповедуемых политическими теоретиками, он написал: «Неомарксизм, неотомизм, историцизм, экзистенциализм, антиэссенциалистский либерализм и социализм, перевод учений о естественных правах и естественном законе на язык эмпирических терминов, открытия, сделанные благодаря искусному применению моделей, заимствованных у экономики и родственных ей технических наук, к социальному поведению, коллизии, комбинации и практические последствия этих идей, не свидетельствуют о смерти великой традиции; если о чем они и свидетельствуют, то о новых и непредсказуемых путях развития»⁶⁰. Обратим внимание, с какой легкостью Берлин объединил под одной крышей множество противоречащих друг другу подходов к политической теории.

Прямым выпадом против эссе Альфреда Коббана и Дэвида Исто-на была статья Данте Джермино «Возрождение политической теории»⁶¹. Джермино совершенно верно показал, что появление и развитие идеологии в конце концов лишь привело к упадку политической теории, потому что идеология конфликтует с исторической, нормативной и тем более с эмпирической политическими теориями. Так, конкретно-политический и политико-философский дискурс стало различать все сложнее. Кстати, совершенно неосознанно Джермино совершает выпад против некоторых из «историков политических идей». Хотя известно, что идеология — сравнительно молодое понятие, появившееся лишь в самом начале XIX столетия и получившее распространение лишь во второй половине того же века, многие ис-

⁵⁹ Спенс Л. Политическая теория в отставке // Наст. изд.

⁶⁰ Берлин И. Существует ли еще политическая теория? // Берлин И. Подлинная цель познания. — М., 2002. С. 123.

⁶¹ См.: Джермино Д. Возрождение политической теории // Наст. изд.

следователи пытаются посредством него изучать более ранние политические теории. Они помещают теории в исторический и, как они сами это называют, идеологический контекст. Например, таких взглядов придерживается британский историк политической мысли Квинтин Скиннер⁶². Джермино указывал, что ценность политической мысли Жан-Жака Руссо состояла не в том, что французские революционеры многое позаимствовали из его социальной философии, а в том, что безотносительно к чему-либо, сама по себе эта философия чрезвычайно важна в истории развития политической теории.

Критикуя Коббана, Джермино совершенно точно указал на моменты, в которых автор ошибался. Действительно, когда Коббан описывал упадок политической теории, то он говорил скорее о кризисе позитивистской политической науки, ориентированной на отказ от ценностных суждений, чем о политической теории, всегда остававшейся предельно идеологичной. Более того, Коббан не был настолько прозорлив, чтобы разделить настоящих политических теоретиков от публицистов, то есть он не проводил различия между уровнями политической теории. Политическими теоретиками принято считать как Платона, Фому Аквинского и Гоббса, так и Бёрка, Маркса и Милля. Определенно, что вторые «гораздо более идеологические теоретики», чем первые.

Однако это была лишь одна сторона критики Джермино. Другой было еще более важное покушение. В начале 1960-х, когда бихевиоральное движение постепенно начало сходить на нет, а политическая наука переходила, по словам Дэвида Истона, в «постбихевиоральную стадию», многие занялись поиском причин упадка столь популярного некогда движения. Само собой, одним из пунктов неудачи бихевиоралистов был тот самый пресловутый отказ от ценностей, который они сделали чуть ли не главным пунктом своей программы.

Отталкиваясь от этого, такие ученые, как Дэвид Истон, очень умело трансформировали некогда вражескую концепцию в своих собственных интересах. Истон продолжал клеймить историческую политическую теорию, однако, кажется, согласился с некоторыми допущениями нормативизма. Он обезопасил себя тем, что в позитивистски ориентированную политическую теорию он включил пункт «о ценностях» и с пафосом провозгласил: «История политических ценностей привела к сосредоточению внимания исследователей на отно-

⁶² Так называемое рассмотрение идеи или текста в контексте. См., например: Скиннер К. Свобода до либерализма. — СПб., 2006.

шении ценностей к окружающей среде, в которой они проявляются, а не на попытках создать новые концепции ценностей, соответствующих нуждам человека. Политические ученые посвящали себя тому, что являлось по существу эмпирической проблемой, а не проблемой ценности, по крайней мере, в терминах традиционного разделения фактов и ценностей. Совершая это, они включили теорию ценностей в эмпирическую или каузальную социальную науку и таким образом оставили традиционную задачу теории по переформулированию содержания ценностей»⁶³. Карл Дойч также с легкостью нашел способ приспособить ценности к эмпирической политической теории: он просто сделал их предметом количественного анализа⁶⁴.

Сегодня, когда все уже давно признали, что бихевиорализм представлял собой лишь определенный вид «идеологии» (конечно, не в традиционном значении этого слова) и транслирования определенных ценностей, если в каком пункте и сходятся оппоненты, так это в том, что политическая теория без идеологии слишком теоретична. Разночтения остаются лишь в вопросах, нужно ли политической теории оставаться абстрактной и непрacticной областью знания, или же она должна покинуть свою башню из слоновой кости и заняться актуальными политическими вещами. Другими словами, идеология увязывает политическую теорию с вопросами практической политики, а согласятся ли специалисты на подобный союз, зависит исключительно от них. Данте Джермино не согласился, заявив, что «теорией следует заниматься лишь ради неё самой. [...] Ныне пришло самое время обратиться внутрь себя и вновь ощутить все величие такой жизни»⁶⁵. Вместе с тем Данте Джермино лишь отстаивал точку зрения, предложенную его учителями — Эриком Фёгелином и Лео Штраусом.

В самом деле, ни Фёгелин, ни Штраус никогда не позиционировали себя как представители того или иного политического течения. Более того, Фёгелин всегда резко реагировал, когда его самого или его друга кто-то по каким-либо причинам записывал в лагерь консервативно мыслящих интеллектуалов⁶⁶. Оба они всегда занимались исключительно теоретическими вещами. Однако когда дело доходило до их взглядов на политическую науку, то они предпринимали на-

⁶³ Истон Д. Упадок современной политической теории // Наст. изд. С. 200.

⁶⁴ Дойч К. О политической теории и политическом действии // Наст. изд.

⁶⁵ Джермино Д. Возрождение политической теории // Наст. изд. С. 362–363.

⁶⁶ Подробнее об этом см.: Павлов А. В. Прагматичные наследники политической философии Лео Штрауса // История философии. 2008. № 13. С. 98–109.

стоящий поход против позитивистов. В дискредитации позитивистского и «поведенческого движения» в политической науке Штраус также преуспел больше Фёгелина⁶⁷.

Можно сказать, что Лео Штраус стал главным противником ценностной нейтральности политической науки. Для того чтобы нанести бихевиорализму решающий удар, он выбрал очень удачное время. В начале 1960-х Штраус собрал своих самых преданных учеников и объявил, что наступила пора принять решающий бой. Вместе они написали и издали книгу с названием «Эссе о научном изучении политики»⁶⁸. Книга состояла из пяти статей: об исследовании голосования, о науке администрирования, разработанной Гербертом Сайманом, о групповом подходе, развиваемом Артуром Бентли, о научной пропаганде Гарольда Лассуэлла. Последнее эссе было посвящено не конкретной теме научного изучения политики, а политической «науке» как таковой. Оно имело название «Эпилог» и принадлежало перу Лео Штрауса. Как пишет Нассер Бенегар, исследователь творчества Лео Штрауса, это не был эпилог к книге, это был «Эпилог» американской политической науки⁶⁹. Вот каким образом Штраус закончил свое эссе: про политическую науку «можно сказать, что она играет на лире в то время, когда Рим горит. Ее извиняют два обстоятельства: она не знает, что играет на лире, и не знает, что Рим горит»⁷⁰.

И хотя эта книга вызвала бурную полемику и долгое время обсуждалась в журналах, тем не менее последнее слово было сказано. Нормативная и историческая политическая теория одержала верх над позитивистской политической наукой. Также стало очевидным, что еще рано списывать со счетов «идеологическую политическую теорию». Вместе с тем никто, кажется, не обратил внимания на то, что интеллектуальный мир послевоенных эмигрантов, точно так же, как и американская политическая наука, играл на лире, не обращая внимания на горящий Рим. С момента выхода «Эссе о научном изучении политики» прошло чуть менее десяти лет, а все были поглощены новым словом в политической теории — «Теорией справедливости» американского философа Джона Ролза.

⁶⁷ Более подробно о проблеме идеологии в политической теории см.: Эшкрафт Р. Политическая теория и проблема идеологии // Наст. изд.

⁶⁸ См.: Essays on the Scientific Study of Politics / Ed. by Storing H. J. — Chicago, 1962.

⁶⁹ Benhegar N. Leo Strauss, Max Weber and Scientific Study of Politics. — Chicago, 2004. P. 143.

⁷⁰ Штраус Л. Эпилог // Штраус Л. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 161.

ОТЧУЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Может быть, «Теория справедливости» Ролза и была новым словом в политической теории, но это были лишь абстракции, не имеющие никакого отношения к политике, как бы тому не сопротивлялись другие исследователи. Ролз сыграл свою роль в истории политической философии определенного типа, однако к политической теории его рассуждения имеют опосредованное отношение. В конце концов, он, как никто другой, и все его более поздние последователи сделали очень много для «отчуждения политической теории».

Как видно из всех предшествующих примеров и рассуждений, не существовало никакой «традиции политической теории». Точнее, она была, но настолько молодой, что скорее ее следовало бы назвать тем, что английский историк Эрик Хобсбаум считает «традицией изобретенной». Как сказал Альфред Коббан: «Должен признаться, что то, что обычно называется политической теорией, кажется мне средством, изобретенным университетскими преподавателями, во избежание этого опасного предмета политики, в итоге не ставшим также и наукой»⁷¹. Та легкость, с какой Ролз порвал со всеми предыдущими политическими теориями, свидетельствовала в пользу этого тезиса как нельзя лучше. Однако стремление Ролза заниматься определенными темами политической философии все же не позволяло ему быть более практичным, чем все те, кого так нещадно критиковал Коббан. Теория Ролза, несмотря на то, что сам он позиционировал себя как либерала, оставалась предельно абстрактной и фактически не касалась реального политического процесса. Это было как раз таким подходом, который, по мнению Коббана, и привел к упадку политической теории.

Вместе с тем до 1971 года все конфликты были сравнительно легкими и поверхностными. Политической теории всегда оставляли шанс вернуться на попрание истории, порассуждать о политическом благе или же исследовать смысл и значение языка в политической жизни. Что бы ни говорили Дэвид Истон или Альфред Коббан, они критиковали политическую теорию внутри общего дискурса самой «политической теории». Конечно, они высказывали свою точку зрения на то, какой ей следовало быть в то время, но той политической теории, которая всем была знакома уже с начала XX века. Однако эти вопросы уже не слишком интересовали Джона Ролза и его последующих комментаторов. Их совершенно не заботил институ-

⁷¹ См.: Коббан А. Закат политической теории // Наст. изд. С. 293.

циональный статус политической философии. Они действовали так, будто до них не было вообще никаких парабатов в области теории политики. Причем это касается не только предшественников Ролза — Штрауса, Берлина, Арендт, Маркузе и Оукшота, но и вообще большинства выдающихся представителей истории политической философии (исключение, как об этом говорилось в начале статьи, составляли только Кант и утилитаристы).

После странной смерти политической теории, объявленной многими исследователями, стремящимися продвинуть собственный проект «политической теории», книга Ролза, разумеется, воспринималась не чем иным, как возрождением Феникса. Однако подобное положение дел совершенно не устраивало тех, кто придерживался старых добрых тем политической теории. Одним из тех, кто не хотел мириться с таким положением вещей, был Джон Грей, написавший: «Возможно, политическая философия и возродилась в 1971 году, но она была мертворожденной». И добавил: «На самом деле 50-е и 60-е годы XX века были ознаменованы целым рядом исследований, которые внесли значительный вклад в политическую философию: Берлина — по проблеме свободы, Харта — по вопросам права, Хайека — по проблеме сущности либерального государства, Оукшота — по проблеме рационализма в политике, если упоминать только самые заметные имена»⁷². Однако такие суждения только выдавали меланхолическую тоску по безвозвратно утерянной «традиции» политической теории.

Более сдержанную оценку значения Ролза дал Теренс Болл, написавший, что «Политическая теория получила заметную поддержку в начале 1970-х публикацией „Теории справедливости“ (1971) Джоном Ролзом. В отличие от тех, кто приписывает ему одному возрождение политической теории, я не хочу преувеличивать важность Ролза, хотя он был и остается значительной фигурой. Однако я убежден, что его размышления о справедливости были особенно важными и привлекательными для тех, кто вложил свою жизнь, размышлял и принимал участие в антивоенном движении и в движении за гражданские права». Ролз на самом деле сформулировал основные идеи, легшие в основу либерально-коммунитарных дебатов⁷³. Однако эти

⁷² Грей Д. Поминки по Просвещению. — М., 2003. С. 13.

⁷³ Лучший и, пожалуй, единственный сборник на русском языке, посвященный этой теме: Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор. Уолдрон. — М., 1997. См. также замечательную вступительную статью: Макаева Л. Б. Предисловие // Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон. — М., 1997. С. 7–18. Также стоит упомянуть работу Т. А. Алек-

дебаты уже совершенно не были той политической теорией, которая имела место в 1950–1960-х годах. Интеллектуальный мир послевоенных эмигрантов был небезопасным, поэтому и те проблемы в этике, политике и философии, которые они обсуждали, и те принципы, которых они придерживались, стали выражением их бессилия. В результате во многом и по этой причине у американцев получилось серьезно пошатнуть позиции континентальной политической философии на попроще «политической теории» и подорвать ее влияние, которое, казалось бы, было таким сильным.

Сегодня наблюдаются попытки синтезировать и взаимно дополнить эти противоречащие друг другу типы политического теоретизирования. Например, книга Кори Робина «Страх. История политической идеи»⁷⁴, снискавшая в 2004 году огромное количество хвалебных откликов, представляет собой попытку сплавить оригинальную историю политической теории и рассуждения в стиле либералов и коммуитаристов 1980-х годов. Однако эта попытка все-таки неудачна. Создается впечатление, что работа механически поделена на две части: историю политической идеи и попытку оценить современную политическую ситуацию в США сквозь призму подходов политических теоретиков второй половины XX столетия. По отдельности обе части выглядели бы восхитительно, вместе же они кажутся оксюмороном.

Таким образом, долго тлеющий идеологический конфликт между несколькими политическими теориями, обозначивший себя уже в самом начале 1950-х, к середине 1980-х привел к тому, что «политическая теория» как таковая фактически полностью отделилась от политической науки и стала самостоятельной областью научного и политического знания. Джон Ганнел, внимательно следивший за судьбой политической философии, быстро отреагировал на перемены и издал книгу «Между философией и политикой. Отчуждение политической теории»⁷⁵, в которой рассказал о сильнейшем влиянии послевоенных эмигрантов на процесс эволюции политической теории и о том, каким образом новый подход к ее осмыслению и пониманию привел к ее отделению от политической науки.

Деятельность Ролза лишь усугубила кризис в среде политических теоретиков, ориентировавшихся на послевоенных эмигрантов. Не-

сеевой. См. Современные политические теории. — М., 2000. О Ролзе: С. 136–168; о коммуитаристах: С. 201–220.

⁷⁴ Робин К. Страх. История политической идеи. — М., 2007.

⁷⁵ Gunnell J. G. Between Philosophy and Politics. The Alienation of Political Theory. — Amherst, 1986.

смотря на то, что еще оставались приверженцы доролзовской политической теории, большинство книг стали строиться так, будто Ролза вообще не существовало никакой политической теории. Хорошим примером в данном случае могут быть монографии Рафаэля и Норманна Бэрри⁷⁶. В последнее время и эта «традиция» политической теории сталкивается с новыми вызовами. Прежде всего стоит отметить феминистскую критику⁷⁷ и чрезмерную увлеченность постмодернизмом. Например, в последнее время на Западе стало модно писать философские комментарии к произведениям популярной культуры. Не отстают от философов и политические теоретики⁷⁸. Хотя такой подход и может быть плодотворным, все же он свидетельствует о кризисе в современной политической теории. Все эти попытки найти новые горизонты политической теории или опровергнуть ее за счет новых методов и подходов социальных наук определенно не идут ей на пользу. Кажется, что самым плодотворным периодом существования политической теории все-таки были безвозвратно ушедшие 1950–1970-е годы. Представляется, что наиболее верным решением было бы развивать политическую теорию именно этого периода, то есть вновь обратиться к своему взгляду на политическую мысль Карла Шмитта, Лео Штрауса, Эрика Фёгелина, Ханны Арендт, Исая Берлина, Майкла Оукшота, Шелдона Уолина — мыслителей, более всего сделавших для формирования политико-философского климата США и Западной Европы.

⁷⁶ *Raphael D. D. Problems of Political Philosophy*. — Amherst, 1990; *Barry N. An Introduction to Modern Political Theory*. — NY, 2000. Обе книги выдержали несколько изданий. Первая — в 1976 и 1990, вторая — в 1981, 1989, 1995 и 2000.

⁷⁷ На русском, например, см.: *Брайсон В. Политическая теория феминизма*. — М., 2001; *Феминистская критика и история политической философии*. — М., 2005.

⁷⁸ На русском, например, см.: *Кантор П. «Симпсоны»: Атомистическая политика и нуклеарная семья // «Симпсоны» как философия*. — М., 2005; *Уоллис Д. М. Маркс (Карл, не Гручо) в Спрингфилде // «Симпсоны» как философия*. — М., 2005; *Баунт Д. Сверххоббиты: Толкин, Ницше и воля к власти // «Властелин колец» как философия*. — М., 2005.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ¹

Необходимо проводить различие между *Политической теорией* как особой отраслью политической науки (*ПТ*) и *политической теорией* как более общей междисциплинарной областью, в которой пересекаются сферы деятельности интеллектуального сообщества (*пт*). Важно также различать те аспекты *ПТ*, которые тесно связаны с *пт*, и те, которые более непосредственно относятся к различным исследовательским программам в политической науке. Это не свидетельствует об отсутствии значимых отношений, точек соприкосновения и пересечения как между *ПТ* и *пт*, так и между элементами внутри *ПТ*. Однако для исследования политической теории в целом и для понимания дискуссий, ожививших ее, важно определить ее границы. Например, как считают некоторые исследователи политики, одна из проблем состоит в том, чтобы сделать *Теорию* относящейся скорее к отрасли политической науки, чем к выводам истории, этики и других областей знания, которые способствуют образованию *пт*. С другой стороны, некоторые ученые, профессионально исследующие политическую науку, интеллектуально отождествляют себя более тесно с *пт*.

Несмотря на то что в наличии имеется ряд недавно опубликованных работ, в которых сделаны попытки охарактеризовать и описать современное состояние политической теории и в которых можно встретить рассуждения о том, чем она может или должна быть²,

¹ За основу перевода взят текст, опубликованный в «Вестнике Московского университета». См.: Ганнел Д. Г. Политическая теория: эволюция отрасли // Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политические исследования. 1993. № 1. Gunnell G. J. Political Theory: The Evolution of Sub-Field // A. W. Finifter (ed.). Political Science. The State of the Discipline. Washington, 1983. P. 3–16. — *Прим. ред.*

² Nelson J. S. Natures and Futures for Political Theory // J. S. Nelson (ed.). What Should Political Theory Be Now? — Albany, 1983.

«одиссея» политической теории в американской политической науке уделяется гораздо меньше внимания³. В последнее время многие пытались дать политической теории общую характеристику, имеющую критический или апологетический оттенок. Моим же основным методом исследования будет археологический. Я затрудняюсь сказать — историческим, поскольку во многих отношениях это больше похоже на раскопки или демонстрацию результатов деятельности археолога, чем на то, что многие могут условно считать историей. Хотя я представляю содержание своей статьи в стандартной хронологической форме, я начал с поверхности и копал вниз. Несмотря на то что в ходе внимательного прочтения этого насыщенного материала могут быть обнаружены мои собственные интересы, я больше касаюсь нераскрытых ранее участков политической теории, чем даю оценки их содержания и достижений.

Характерной чертой исследуемого мною предмета являются едва определенные его границы. Еще не достигнув «начала» *Политической теории* как отрасли науки, я остановился, когда результаты поисков казались слишком размытыми, чтобы гарантировать дальнейшее продвижение вглубь. Однако осадки накапливались так быстро, что любой определенный вывод немедленно становился отжившим: я смог сделать немного больше, чем обозначить, что дало мне первоначальное исследование поверхности и на что ориентирован мой особый угол зрения.

В 1980-е годы состояние как *ПТ*, так и *пт* являлось одинаково дисперсным, и я рискну заявить, что на некоторое время это оставалось их доминантной характеристикой. В определенном смысле такое состояние — результат перемещений внутри политической науки в целом, но также отражение и следствие тенденции внутри самой отрасли и ее отношений с *пт*. *ПТ* была взорвана и разбросана в различных направлениях и приняла разные формы выражения. Однако спектр, который можно различить, не является преломлением какого-либо одного основного вопроса или их группы. Дисперсия менее всего является симптомом происходящих изменений: скорее она выражает действительное состояние науки. Это положение выросло из событий 1960-х годов, явно выразилось в 1970-е и определилось как состояние науки к началу 1980-х годов.

Одни могут предполагать, что эта дисперсия является в основном результатом как возросшей специализации в политической науке

³ Toth K. Method and value: Lessons from the Odyssey of Political Theory. Presented at American Political Science Association Annual Meeting. — Denver, Colorado, 1982.

в целом, так и значимых междисциплинарных исследований. Другие будут рассматривать случившееся в стиле куповской ныне популярной терминологии как парадигмальное разрушение или трансформацию. Каждое из этих заявлений отчасти может быть уточнено или, по крайней мере, может рассматриваться как выражение определенных аспектов ситуации; я же пытаюсь вместо причинного объяснения воспроизвести основные контуры эволюции *Политической теории*. Но сначала уместно остановиться немного подробнее на характере этой предполагаемой дисперсии.

Последние годы ознаменовались энтузиазмом по поводу будущего политической теории. В определенном смысле эта ситуация резко контрастирует с некоторыми установками, которые характеризовали 1950-е и 1960-е годы, когда политическая теория в определенных своих сегментах, по крайней мере в форме политической философии, была «мыслью на грани угасания»⁴. С тех пор в течение длительного периода она рассматривалась как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В то время как политическая теория, понимаемая как часть научного изучения политики, энергично распространялась, иные виды теории, казалось, пришли в упадок. Теперь кажется, что приверженность к «научности» даже среди многих прежних адвокатов и сторонников политической теории является сама собой разумеющейся, и многие бы согласились, что и сейчас, и в дальнейшем будет сохраняться значительная взаимодополняемость между эмпирической и нормативной политическими теориями. Например, идея политической науки как изучения публичной политики, которая в последние годы формировала образ дисциплины, подразумевала более тесные связи между *ПТ* и *пт*, или между политической наукой и политической философией. Но также заявляли, что «огромная жизнеспособность политической теории в течение последних пятнадцати или двадцати лет» является результатом расхождения между *ПТ* и *пт* — тот факт, что значительная часть политической теории «отвернулась от» и стала «индифферентной ко многому из академической политической науки». Обе могут процветать, но не взаимозависимо»⁵.

Это требует более подробного рассмотрения, но сейчас достаточно заметить, что существует постоянная амбивалентность, характеризующая отношения между политической теорией и политической

⁴ Richter M. Introduction // M. Richter (ed.). *Political Theory and Political Education*. — Princeton, 1980. P. 6.

⁵ Kates G. The Condition of Political Theory // *American Behavioral Scientist*. 1977. № 21. P. 135, 136.

павкой, которая укоренилась после Второй мировой войны. Имеем место пастросные выходы и изоляции, но также унификации и интеграции. Сегодня ясно, что, по крайней мере, в *пт*, так же как и в литературе, касающейся *ПТ* и обладающей наиболее тесными связями с *пт*, существует чувство движения, источник которого сравнительно легко установить, но значение и направление которого представляется не вполне понятным.

Бытует широко распространенное мнение, что в 1970-е годы наблюдался «рост интереса к политической и социальной теории» и что «политическая философия» теперь «явно расцветает во всем англоязычном мире, а также за его пределами»⁶. Этот рост обычно связывают с публикацией работы Джона Ролза «Теория справедливости» (1971 г.) и родственными ей работами — с книгой Роберта Нозика «Анархия, государство и утопия» (1974 г.); с популярностью так называемой критической теории и работ таких авторов, как Юрген Хабермас; с многообразием критических, обзорных и комментаторских публикаций, посвященных данному феномену, а также с поиском подобных тем. Были предложены различные объяснения этого «подъема в творческой политической теории»⁷. В их числе — освобождение моральной философии от тисков позитивизма и шок от политических событий конца 1960-х годов, но в общем это было осознание того, что политическая теория возродилась вновь. Такое понимание преодоления прошлого стало совершенно очевидным к концу 1970-х годов, но существующее построение и будущая форма *пт* были далеки от ясности. Ситуация в *ПТ* не была яснее. Поскольку значительная часть обстоятельств, характерных для *пт*, отражалась и в ней, то литература, посвященная ей, столь же разнообразна. Дисперсия не означает, что мир политической теории не может быть очерчен: трудно лишь выявить некую общую форму. Работы, предназначенные для установления «границ» политической теории, некоторых оставляют в сомнении как относительно территории, которую эти границы очерчивают, так и относительно природы местности, ею захваченной. Предполагают, что наблюдается «в большей степени возврат к политической теории», но он является теперь «плюралистическим» в беспрецедентных размерах и может быть единственно охарактеризован посредством наблюдения за тем, что «теоретики политики делают»⁸. Попытка журнала *Political Theory* спроектировать

⁶ Laslett P., Fishkin J. (eds.) *Philosophy, Politics and Society*. — New Haven, 1979. P. 2. 5.
⁷ Freeman M., Robertson D. (eds.). *The Frontiers of Political Theory*. — NY, 1980. P. 11.
⁸ Ibid. P. 1. 11.

«Перспективы и темы» «политической теории в 1980-е годы» была направлена на получение некоторых положительных или отрицательных выводов. Издатель решил просто «пригласить некоторых вдумчивых старших коллег [...] для обсуждения того, что они об этом думают», и заявил, что получены разные результаты «из обеих отраслей в соответствии с их интересами и границами»⁹.

РАННИЕ ГОДЫ: ДО 1899

Идея политической теории как особого рода деятельности, профессии и результатов научных исследований возникла относительно недавно. Концепция политической теории в ее современном смысле (или смыслах) в значительной мере не является лишь творением особой отрасли Политической теории в политической науке, а выступает итогом конвенции, которую можно отнести к дискуссиям о характере и статусе политической теории, начавшимся в 1940–1950-е годы. Понятия теории, появившиеся в это время, были выделены из прошлого и спроецированы в будущее. Даже после образования Американской ассоциации политической науки (ААПН) и конструирования Политической теории в качестве официальной отрасли политической теории и (или) политической философии были в основном категориями, которые относились к определенным типам суждений и публикаций, различным элементам или функциям в политике, к некоторым соображениям, касающимся изучения политики.

О том, почему политическая наука официально родилась в 1903 году с отраслью, названной Политической теорией, и как случилось, что последняя получила это наименование, сказать трудно. Отчасти эта ситуация отразила традиционное размежевание теории и практики в философии XIX столетия и идею социальной науки, связанной с теорией государства. Но в некотором роде политическая наука во время образования ААПН была менее определенной дисциплиной, чем другие науки, объединяющие множество направлений посредством ведущей отрасли. В политической науке Политическая теория отчасти выполняла подобную функцию.

С конца XVII века изучение этики и моральной философии включало политику и политическую философию. Когда Френсис Лейбер — основатель систематического исследования политики в Соединен-

⁹ Barber B. (ed.). Political Theory in the 1980s: Prospects and Topics // Political Theory. 1980. № 9. P. 291.

ных Штатах»¹⁰ — в 1857 году был назначен профессором истории и политической экономии в Колумбийском университете, он начал излагать и читать лекции по политической философии, которые затрагивали и теории государства и политической этики. После того как политическая наука превратилась в самостоятельную дисциплину во многих университетах после гражданской войны, политическая теория стала занимать даже более определенное место, и в начале 1890-х годов курс «История политических теорий» появился в Гарварде¹¹. Исследователи политики, ведя поиски своих предшественников, находили их среди классиков моральной философии, которая была связана с политикой. Таким образом, зародилась идея о том, что в политической мысли имелась традиция, к которой исследователи политики могли бы себя относить.

В 1876 году Джон Бёрджесс сменил Лейбера в Колумбийском университете и основал там высшую школу политической науки, открывшуюся в 1880 году. К 1891 году она состояла из трех подразделений, включая факультет истории и политической философии. Здесь и в других университетах появились курсы истории политической теории и философии государства. Очевидным было влияние «Теории государства» Блунтчи, равно как и повсеместно читаемого текста Теодора Вулси из Йельского университета «Политическая наука, или Государство, рассматриваемое с теоретической и практической точек зрения» (1878 г.). Уиллогби, одна из наиболее значительных фигур в период становления политической науки и особенно Политической теории, в 1894 году подготовил курсы для Стэнфорда и затем в 1895 году для университета Джона Хопкинса; в 1896 году он опубликовал «Исследование природы государства», «Изучение политической философии». С образованием ААПН общее развитие содержания ПТ получило соответствующую форму.

НАЧАЛО ДИСЦИПЛИНЫ: 1900–1919

В первые годы своего существования политическая теория все еще рассматривалась как в значительной степени определенный предмет, а не метод анализа. В 1886 году в первом выпуске *Political Science Quarterly* Манрой Смит утверждал, что «центральный вопросом по-

¹⁰ Haddow A. *Political Science in American Colleges and Universities, 1636–1900*. — NY. 1939. P. 139.

¹¹ Ibid. P. 175.

литической науки» является историческое и сравнительное изучение государства, и это включало также и все то, что люди об этом думали¹². Написать историю политической теории означало написать об истории демократических институтов, о развитии политической науки, которая уже с самого начала пронизывала классические тексты, начиная с греков и заканчивая современностью. Сильным было влияние эволюционных теорий Конта и Спенсера, а также гегелевского анализа государства с его объективным и субъективным делением, и это составило основной интеллектуальный контекст, в границах которого появились и политическая наука, и изучение истории политических теорий.

ААПН была организована с целью «развития научного исследования политики в Соединенных Штатах»; с соответствующими комитетами были также созданы шесть отраслей науки, включая Политическую теорию. Первый комитет по Политической теории состоял из Уиллогби, Чарльза Мэрриама и Уильяма Даннинга. В своем президентском обращении к ААПН в 1904 году Фрэнк Гуднау говорил, что политическая наука занимается изучением государства и «реализации государственной воли», а политическую теорию он рассматривал как особую отрасль науки, касающуюся авторитетов, выражающих эту волю. Далее он указывал, что, «несмотря на некоторое неверие в практическую ценность изучения политической теории, истина тем не менее заключается в том, что каждая правящая система основана на некоторой более или менее хорошо разработанной политической теории»¹³. Политическая теория так или иначе понималась как связанная с идеями в и о политике. В 1904 году в статье Уиллогби, посвященной созданию ААПН, утверждалось, что сфера политической науки включала три основные части, и первой из них была «область политической теории и философии», нацеленная на «анализ и точное определение понятий, разрабатываемых в политической мысли», а также на рассмотрение «природы государства»¹⁴. Большая часть материалов, опубликованных в 1920-е годы по Политической теории, была исторической, в духе парадигмальных трактовок «истории политических теорий»

¹² Smith M. The Domain of Political Science // Political Science Quarterly. № 1. 1886. P. 1–8.

¹³ Goodnow F. J. The Work of the APSA. Proceedings of the American Political Science Association. 1905. P. 37–38.

¹⁴ Willoughby W. W. The Political Science Association // Political Science Quarterly. 1904. № 19. P. 118.

Даннинга¹⁵. История политической теории была преимущественно американским жанром, хотя имелись прецеденты и параллели и в европейской литературе¹⁶.

Для Даннинга изучение политической теории означало исследование трансформаций в политическом сознании и было способом научного описания динамического характера политики, определяемого взаимодействием институтов и идей. Не только наука и история понимались как интегрально связанные, но и идея политической науки как науки практической стала регулятивным допущением. Это было истиной как в старом смысле — обеспечение политического или гражданского образования, так и в каком-то новом — участие в социальной реформе и социальном управлении, что характеризовало большую часть социальных наук данного периода. В 1900–1920 годы прогрессистская идеология постоянно находила выражение в социальной науке, которая многими рассматривалась как связующее звено между познанием и политикой. Генри Джонс Форд (1906 г.) утверждал, что политическая наука должна быть универсальной в своей сфере, опираться на «объективную основу» и «пройти через реконструкцию, которой подвергалась вся наука в руках индуктивной философии», но цель состояла в том, чтобы «политическая наука стала авторитетом для практической политики»¹⁷.

После 1910 года политическая теория как особый предмет все более и более отрицалась, так как исследователи политики сосредоточивались на практических вопросах внутренней и международной политики, хотя и сохранялись взгляды периода формирования. Геттел, который написал один из наиболее популярных текстов по политической науке¹⁸ и одну из центральных работ по истории политической теории¹⁹, представил обширный анализ природы и сферы политической теории, в котором выражался преобладающий взгляд на эту отрасль науки. Политическая теория в целом понималась как отражение институционального государства или «объективной» фазы государства, которая определялась необходимостью борьбы с внешней средой. Таким образом, политическая теория являлась не окончательной истиной, а «относительной по природе».

¹⁵ Dunning W. A. A History of Political Theories: In 3 Vols. — NY, 1902, 1905, 1920.

¹⁶ Gunnell J. G. Political Theory: Tradition and Interpretation. — Boston, 1979.

¹⁷ Ford H. J. The Scope of Political Science. Proceedings of the American Political Science Association. 1906. P. 203–206.

¹⁸ Gettell R. G. Introduction to Political Science. — Boston, 1910.

¹⁹ Gettell R. G. History of Political Thought. — NY, 1924.

и по этой причине она одновременно оказывала влияние на политику и являлась ее зеркальным отражением²⁰. В то же время, отмечал Геттел, эти фундаментальные и революционные изменения в политической теории имели место там, где она переходила от дедуктивного, нормативного и идеалистического подходов к индуктивному и реалистическому, связанным с наблюдением, классификацией, описанием и обобщением. Он выделял три различных, но взаимосвязанных между собой элемента политической теории: исторический, аналитический (или описательный) и прикладной²¹.

ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: 1920–1929

В 1921 году Мэрриам в своем президентском докладе, обращенном к ААПН, заявил, что, вместо того чтобы обозревать развитие политической науки за последние четыре десятилетия, он решил сказать о более настоятельной проблеме — о «реконструкции методов политического исследования»²². Для этого необходима трансформация «теории политики» таким образом, чтобы она выразила как сущностную современную доктрину, согласно которой «политические идеи и системы являются результатом среды», так и методологические подходы, которые сделали бы возможным «статистическое наблюдение» и более точное измерение «фактов и сил»²³. Особо Мэрриам остановился на развитии теоретического «медиума» для отбора и классификации множества фактов, которые социальная наука накопила, на освобождении политической теории от идеологии или «обслуживания класса, расы или группы»²⁴. Основной целью для него была не чистая наука, а скорее «взаимное оплодотворение политики и науки» и более эффективное управление практическими вопросами, а также их организация во внутренней и международной политике. Цель политической науки состояла в том, чтобы «интерпретировать, объяснять и эффективно управлять силами человеческой природы»²⁵. Мэрриам также ве-

²⁰ *Gettell R. G. Nature and Scope of Present Political Theory. Proceedings of the American Political Science Association. 1914. P. 48, 50.*

²¹ *Ibid. 1914. P. 52, 54.*

²² *Merriam Ch. The Present State of the Study of Politics // American Political Science Review. 1921. № 15. P. 174.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid. P. 175, 178.*

²⁵ *Ibid. P. 183.*

рил, что до того, как «процессы социального и политического управления» могут быть познаны, необходимо отыскать «лучшую организацию нашего политического исследования». Было бы невозможно содействие «политической расчетливости», если бы «в социальной науке была анархия, а в теории политического порядка — хаос»²⁶.

Заявления и заботы Мэрриам не получили одобрения в политической науке. В ней он был центральной фигурой того времени, влиял как на современные, так и на более поздние фазы в развитии этой дисциплины. Но его идеи не отражали преобладающих подходов, публикаций и программ. Однако легко ошибиться в степени, которая отличала мэрриамовские понятия теории и науки от его предшественников и современников. Что впечатляет при сравнении с более поздними напругами отношениями между идеями науки и истории, так это то, что, хотя Мэрриам и атаковал историко-сравнительный метод в политической науке, это не сопровождалось конфронтацией с историей политической теории, трактуемой в духе Даннинга, Геттела и Макилвейна. Все они соглашались с допущениями относительности идей и институтов, с эволюцией политической мысли к науке и демократии, с практической миссией политической науки. В 1923 году Комитет по политическому исследованию ААПН под руководством Мэрриам определил социальную методологию как «современную историю политического мышления»²⁷, и Мэрриам подчеркнул необходимость в политическом исследовании опираться на методы экономики, статистики, истории, антропологии, географии и психологии как на базис для «наблюдения и описания актуального процесса управления» и предотвращения от старых «априорных спекуляций», юридических и историко-сравнительных методов²⁸. Здесь впервые он предложил свою знаменитую историческую типологию развития политического исследования, которая появилась в «Новых аспектах политики»: априорно-дедуктивная стадия до 1850 года; историческая и сравнительная стадия в период между 1850 и 1900 годами; тенденция к наблюдению, обзору и измерению начиная с 1900 года и по настоящее время; будущее в направлении «психологической обработки политики» (выражение, взятое из работы Грэхэма Уолласа и Уолтера Липмана)²⁹. Подобно недавним попыткам трансформировать политическую науку и отделить

²⁶ Ibid. P. 184, 185.

²⁷ Merriam Ch. Progress Report of the Committee on Political Research // American Political Science Review. 1923. № 17. P. 275.

²⁸ Ibid. P. 281–283.

²⁹ Ibid. P. 286.

нововведения от наследия прошлого, представление о прошлом было каким-то выдуманным, но риторический взгляд был ясным.

В 1924 году в «Докладе Национальной конференции по политической науке» (предыдущие конференции прошли в 1922 и 1923 годах) подчеркивалось, что «настоятельной необходимостью времени для политической науки является развитие научной техники и методологии»³⁰. Но это все еще понималось как научное обслуживание законодательных и административных органов, которые правительство не имело ни времени, ни способности развивать. Если политическая наука собиралась выполнять практическую роль, то нужен был интеллектуальный авторитет, а следовательно, и «техника поиска фактов, которая создаст адекватный базис для надежного обобщения» и переведет «политическое исследование на научную объективную основу»³¹. Мэрриам утверждал, что «совершенство социальной науки является необходимым для различного предохранения той самой цивилизации», которая создала современную науку.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ: 1930–1939

И по существу, и методологически 1930-е годы были годами утверждения науки, демократии и их последствий. Политическая теория оставалась все еще в значительной степени функциональной или аналитической категорией, и в своей функции классификации литературы она имела подчиненное познавательное и идеологическое значение. Эта тенденция обрела дополнительную поддержку и, возможно, некоторый новый смысл в связи с психологическими интересами Мэрриама и других исследователей в 1920-е годы. Длительное время диссертации по Политической теории проходили классификацию в ААПН под рубрикой «Политическая теория и психология».

До 1930 года не было случая, чтобы Политическая теория не предлагалась в качестве отдельной секции на ежегодном собрании ААПН, но уже к концу 1930-х Политическая теория как особая категория исчезла из ежегодной программы в результате растущего давления внутренних и международных дел, отвлекающих внимание от вопросов компетенции и метода политической науки. Интерес к политической теории ограничивался двумя областями.

³⁰ Merriam Ch. Report of the National Conference on the Science of Politics // American Political Science Review. 1924. № 18. P. 119.

³¹ Ibid. P. 120–121.

В 1930-е годы история политической теории полностью выделилась как жанр литературы, и эта литература в значительной части воплощала стремления продемонстрировать и отметить развитие либерализма и его отличий от фашизма и коммунизма. В 1930-е годы с подобными намерениями вышли многие публикации. Этот жанр нашел кульминационное выражение в «Истории политической теории» Джорджа Сэйбина (1937 год), которая, как отмечал Дэвид Истон, «оказала более глубокое влияние на изучение политической теории в Соединенных Штатах [...], чем любая другая самостоятельная работа»³².

Исследователи данного периода не беспокоились об одновременной приверженности к изучению истории политической теории и к развитию научного изучения политики. Для сторонников сциентизма, подобных Джорджу Катлину, усилия в обоих направлениях были совершенно одинаковы³³.

Что касается тенденций, инициированных Мэрриамом, то никто в 1930-е годы не способствовал их увековечиванию более, чем Гарольд Лассуэлл. Обсуждение идеи науки, которая могла бы играть роль в реформации общества, было не только поддержано, но в определенных отношениях радикализировано. Лассуэлл меньше внимания акцентировал на образовании и больше сил уделял развитию теорий и проверке гипотез, которые позволили бы раскрыть реальность, находящуюся за политикой и политической идеологией, — в значительной мере психологическую реальность — и обеспечить основу «терапевтической» политической науке³⁴. Некоторые из работ Лассуэлла в 1930-е годы отступали от предмета дисциплинарного интереса, но его бихевиоральный реализм так же, как и акцент на науке и политике, придавал значительное выражение чаяниям политической науки как науки. Сэйбин утверждал, что политические теории обычно состоят из трех логически отличных родов предложений: фактуальных, каузальных и оценочных³⁵. Он подчеркивал необходимость различать эти аспекты как в понимании прошлого, так и при анализе современных утверждений. Вопрос статуса, отношений и приоритетности данных аспектов занимал как политическую теорию, так и недовольные многие исследователи политики были недовольны имеющимися результатами относительно достигнутого видения науки.

³² Easton D. The Political System. — NY, 1953. P. 249.

³³ Callin G. The History of the Political Philosophers. — NY, 1939.

³⁴ Lasswell H. Democracy through Public Opinion. — Menacha, 1941.

³⁵ Sabine G. What is a Political Theory // Journal of Politics. 1939. № 1.

Некоторые исследователи рассматривали подобную ситуацию как банкротство науки, другие — как неудачу стремления политической науки быть адекватно научной. Для последних, кто, в конце концов, стал доминировать в обсуждении, проблема все более сосредоточивалась вокруг вопроса теории. Того, чего они достигали как теоретики в других дисциплинах, казалось, недостает политической науке. К 1950-м годам многие вновь подчеркнули, что политическая наука нуждалась в теоретической революции и что семена этой второй революции были посеяны в более ранний период.

ПРЕЛЮДИЯ К ВИХЕВИОРАЛИЗМУ: 1940–1949

Суждения о теории и науке, которые были распространены в 1930-х годах, не появились так внезапно, как это получилось в итоге. Бэнджамин Липпинкот заявлял, что в значительной мере исследователи политики все еще продолжают уравнивать эмпиризм с коллекционированием фактов, что таковым было положение с начала столетия. Исследователи все еще смотрят на «теории или идеи о фактах как на не только ненужные, но и положительно опасные»³⁶. Липпинкот указывал, однако, что теории всегда имплицитно включены в отбор фактов, и соответственно пристрастия дисциплины часто скрыты. Но если теория была необходима, то это должна была быть теория особого рода. Уильям Фут Уайт представлял становящуюся популярной точку зрения, когда он заявлял, что исследователи политики должны «оставить этику философам и занять себя преимущественно писанием и анализом политического поведения»³⁷.

В 1940-е годы выявился новый, сконцентрированный интерес к теории, и с самого начала делался неодинаковый акцент на ее содержании и отношении к политической науке. Тяготы, связанные с ранним периодом войны, ограничили профессиональную дискуссию о политической науке и политической теории, но к 1943 году проблемная группа по Политической теории исследовательского комитета ААПН попыталась выдвинуть и рассортировать соответствующие вопросы. Хотя из этих дискуссий не выросла уникально новая идея теории, все же выявлялся смысл «глубокого расхождения»

³⁶ Lippincott B. The Bias of American Political Science // Journal of Politics. 1940. № 2. P. 130.

³⁷ White W. F. A Challenge to Political Scientists // American Political Science Review. 1943. № 37. P. 692.

по «основному вопросу» — расхождение, которое даже участниками дискуссий с трудом выражалось³⁸. Это расхождение состояло в различном понимании терминов «философской» рефлексии в исследовании политики в противоположность «логическому анализу»; «теоретического метода» против «эмпирической» или очень популярной «позитивистской» научной или *либеральной* техники социального исследования; идеи свободной от ценностей науки, занимающейся поиском законов политического поведения, в противоположность более ценностному набору значений; в конфликте между «философией истории» и акцентом на «отношении цели — средства»³⁹.

Несмотря на то что в 1950-е годы бихевиоральная атака на историю политической теории часто характеризовалась как «агрессивная», есть основание считать, что она была следствием начавшейся ранее забастовки или консервативной реакции в защиту традиционной «либеральной техники социального исследования», которая доминировала задолго до войны. Под влиянием ученых-эмигрантов, таких как Эрик Фёгелин и Лео Штраус, на обсуждение были вынесены новые и в чем-то «иностранные» вопросы, связанные с Естественным правом, релятивизмом и позитивизмом. Нет сомнения в том, что в это время Политическая теория стала тождественной в значительной мере истории политической теории, но традиция, частью которой был Сэйбин, не была враждебной к равно традиционной приверженности к науке. Что-то новое происходило в Политической теории, и это новое было нелегко определить. Можно указать на очень немногое конкретное в литературе, но такие исследователи, как Фёгелин, стали активными в этой профессиональной сфере. Деятельность Маркузе не оказывала большого влияния на политическую теорию до конца 1960-х — начала 1970-х годов, в то же время следует заметить, что его работа «*Разум и революция*», имевшая антисциентистскую направленность, появилась уже в 1941 году. Хотя в американской политической науке была глубоко внедрена великая традиция политической теории, новое поколение историков философии скоро придало ей другой смысл, а исследование приняло иное значение, менее всего связанное с прославлением современных ценностей и социальной науки. Исследование приобрело характер критики не только современности, но и либерального видения науки и демократии. Вопрос можно было бы считать несущественным, если бы угро-

³⁸ Wilson F. G. The Work of the Political Theory Panel // American Political Science Review. 1944. № 38. P. 726.

³⁹ Ibid. P. 727.

за конфликта между «научной» и «традиционной» теорией не являлась бы также следствием возвращающейся перемены во взгляде на чистую науку как на противоположную прикладной науке и если бы не ощущалась потребность, возникшая в силу разных причин, поставить теорию на твердую основу путем демонстрирования ее «научности». Тем не менее дискуссия о политической теории в 1940-е годы в американской политической науке усиленно вращалась вокруг вопросов этики, релятивизма и позитивизма, которые вели к изменению определений и реконструкции многих спорных проблем⁴⁰.

Исторически эти спорные проблемы не были предметом большого интереса среди американских ученых. В то время как в Европе фундаментальный ценностный подход и основания для него являлись проблемами и практическими, и философскими, американское согласие, вера в прогресс ставили прагматизм и инструментализм на приемлемые позиции. Историками политической теории от Даннинга до Сэйбина, научными школами, подобными мэрриамовской, их последователями постоянно подчеркивался релятивизм политических ценностей и убеждений. Хотя атмосфера накануне и во время Второй мировой войны порождала вопросы об основах демократических ценностей, релятивизм в целом рассматривался некоторым образом как нечто присущее либерализму. Для многих же европейцев и тех, кто увлекался трансцендентальными проблемами, выход состоял в чем-то ином. Их философская почва испытывала большое подозрение к той самой инициативе современной науки, которой американцы так сильно доверились, особенно к ее воздействию на политику и общество. Проблемы, касающиеся позитивизма, релятивизма и историцизма, были всемирно-историческими проблемами политической и философской значимости, что проявилось в современных событиях.

Десятилетие закончилось растущим убеждением многих исследователей политики в том, что имела определенная потребность в усилении работы в «области научного метода», которая создала бы «основу для проверяемости гипотез о политической природе и активности человека, годную для всего мира» и «во все времена», что возможным результатом могла бы явиться наука о «человеческом политическом поведении»⁴¹. В этом концентрировался руководя-

⁴⁰ *Hallowell J. H. Politics and Ethics // American Political Science Review. 1944. № 38. P. 639-655; Brecht A. Beyond Relativism in Political Theory // American Political Science Review. 1947. № 41. P. 470-488.*

⁴¹ *Anderson W. Political Science North and South // Journal of Politics. 1949. № 11. P. 309-314, 315.*

иций мотив растущего бихевиорального движения, по это являлось также и переменной основной веры. Возбужденное снова научное построение все еще пыталось иметь дело с осуществлением либеральных ценностей; эта связь становилась если не более ослабленной, то, по крайней мере, более скрытой. Возросшее понимание того, что в послевоенный период политическая наука должна стать более чем наукой об американской политике, что либерализм стал более чем американской миссией, продвинуло дисциплину дальше к отчетливому осознанию универсальной концепции политической науки.

БИХЕВИОРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 1950–1959

Бихевиоральная революция была теоретической революцией в различных смыслах. Во-первых, она стала революцией в теории науки, сформировала беспрецедентное метатеоретическое сознание о научной теории и научном объяснении. Во-вторых, значительная энергия бихевиоралистов пошла на пропаганду, создание и применение того, что они считали теориями. В-третьих, делался отчетливый акцент на чистой или теоретической науке и осуществлялся поворот от идеи либеральной реформы и социального управления как цели социальной науки. Наконец, многие из тех, кто находился в центре бихевиоральной революции, являлись учениками политических теоретиков исторического и нормативного направлений; они были из тех, кого они должны были заменить. В эту группу ученых, кто, по крайней мере, написал диссертации по традиционной политической теории, входили Дэвид Истон, Роберт Даль, Ханц Эллау, Джон Уолк, Карл Дойч, Герберт Макклоски, Альберт Сомит, Итьель де Сола Пул, Альфред и Себастьян де Грация и Остин Рэнней, а также немногие другие.

1950-е годы были решающими в развитии как *ПТ*, так и *пт*. Несмотря на то что имелись отзвуки движения к сциентизму 1920-х годов, были и некоторые важные отличия. Во-первых, модель науки, принятая бихевиорализмом, обладала значительно большим влиянием на исследовательские программы. В 1940-е годы и позже в науке действительно доминировали исторические, юридические и описательные институциональные исследования; в начале 1950-х годов некоторые были убеждены в том, что практика политической науки не согласуется с собственными научными претензиями. Самуэль Эльдерсвельд отмечал, что нет необходимости снимать мэрриамовское утверждение 1925 года о том, что имеются «сигналы надежды на подлинное продвижение в недалеком будущем к раскрытию научных от-

ношений в сфере политики»⁴². Во-вторых, хотя некоторые все еще связывали необходимость «глубокого понимания политического поведения» с практическими проблемами и прогрессом демократии, немногие явно были привержены этому старому альянсу. Лассвелл продолжал напоминать, что основной целью политической науки было «понижение неопределенности важных политических суждений» и повышение шансов для рационального демократического общества⁴⁴, но для большинства бихевиоралистов первым делом была научная перестройка дисциплины. В-третьих, дискуссии сосредоточивались на более специфическом вопросе: о понятии теории и месте теории в науке. Точка зрения состояла в том, что любое изменение в направлении научного прогресса потребовало бы изменения в природе теории соответствующей дисциплины. В-четвертых, заявления бихевиоралистов о науке и теории раздробили и политическую науку, и область политической теории. В-пятых, аргументы за и против бихевиорализма потребовали от теоретиков политики широкого набора философских и метатеоретических обоснований. Наконец, стали очевидными различия между *PT* и *pt* и проблема отношений между ними.

В 1950 году Липпикот попытался критически проанализировать сферу политической теории. Он рассматривал ее как «наиболее научную ветвь» политической науки при условии, что теория определялась бы, а он верил, что так оно и должно быть, как «систематический анализ политических отношений»; но в этой сфере ученые «сделали немного»⁴⁵. Методы политической теории были в основном историческими, и «акцент, поставленный на историю политических идей, означает в большой степени отказ от цели науки»⁴⁶. Некоторые из недостатков политической теории могли быть еще отнесены к «несоответствию эмпиризма» или к незрелому индуктивистскому неверному пониманию эмпиризма, избегающему оценки и обобщения⁴⁷. Теоретики политики немного сделали для понимания великих политических проблем и событий этого столетия.

⁴² Eldersveld S. Theory and Method in Voting Behavior // Journal of Politics. 1951. № 13. P. 87.

⁴³ White L. D. Political Science, Mid-Century // Journal of Politics. 1950. № 12. P. 18.

⁴⁴ Lasswell H., Kaplan A. Power and Society. — New Haven, 1950. P. 425.

⁴⁵ Lippincott B. Political Theory in the United States. Contemporary Political Science. — Paris, 1950. P. 208.

⁴⁶ Ibid. P. 214.

⁴⁷ Ibid. P. 218.

Призыв к научной теории часто объединялся с атакой на текущую практику политической науки, особенно на политическую теорию. Теория характеризовалась как телеологическая, моралистская, историческая, этическая и в основном как сохранившаяся в том же положении, в котором ее оставил Аристотель. Герберт Симон один из первых утверждал, что большинство из предшествующих работ в этой области не заслуживает названия теории, что настало «время, когда мы достигали твердого различия между политической теорией (т. е. научными суждениями о феномене политики) и историей политической мысли (т. е. суждениями о том, что люди говорили о политической теории и о политической этике)»⁴⁸. Он настаивал на необходимости иметь междисциплинарную конструкцию, которая бы производила прогностические обобщения и внимательно проверяемые предложения.

Именно то, что было включено в это требование к науке и методу, звучало не очень определенно. Большая часть утверждений о науке делалась в терминах чрезмерно абстрактных требований необходимости наблюдения, обобщения, рефлексированных вариантов аргументации, требований логики и теории познания науки, которые проистекали вторичным или третичным образом из философии науки. Новый научный взгляд наполнялся — или, возможно, более точно, подкреплялся — «существующей эмпирической философией науки», основанной на «логическом позитивизме, операционализме, инструментализме»⁴⁹. Но никто прямо не подошел к пониманию вопроса, как точно эти философские требования относились к социальной научной практике.

Ставший теперь классическим истоновский анализ «упадка политической теории»⁵⁰, рассмотренный в исторической перспективе, не кажется поразительным. Его обвинение Политической теории в историцизме и в вовлечении как в созидательное и соответствующее оценочное теоретизирование, так и в каузальную научную теорию о развитии, отражало формирующееся конкретное ощущение и давало ему импульс. Первоначальный очерк Истоны появился в сборнике, посвященном вопросу отношения политической теории к политическому исследованию. Во всех очерках защищалась идея резкого разрыва с прежними типами теоретизирования; «интегра-

⁴⁸ Simon H. Discussion // *American Political Science Review*. № 44. 1950. P. 411.

⁴⁹ *Lasswell H., Kaplan A. Power and Society*. — New Haven, 1950. P. XII, XIV.

⁵⁰ *Easton D. The Decline of Modern Political Theory* // *Journal of Politics*. 1951. № 13. P. 36–58.

ция теории, методологии и исследования; междисциплинарная кооперация и трактовка теории как значительно большего, чем утопической добродетели»⁵¹. Хотя из этих критических очерков 1950-х годов можно получить некоторое общее представление о характерных чертах прошлых воззрений, совершенно ясно, что в них неточно давалась характеристика ни мотивов, ни практики большинства прежних теоретиков политики. Частично критика была нацелена на создание образа, оправдывающего различные направления в конкретных исследовательских программах в политической науке. Но оказалось, что проблема еще состояла в том, что политическая теория опасалась быть тем, чем она становилась; ее обвиняли в морализме и антиварианизме, но с прежних, а не новых позиций.

Я указал на этот «консервативный» аспект бихевиоральной критики, так как он отрицается, но необходимо осознать, что проводимое исследование в политической науке никогда не совпадало с научным образом дисциплины, и критика предназначалась для изменения практики. Чтобы осуществить это, требовался образ как прошлого, так и будущего. Хотя было бы ошибкой пытаться проводить истолкование исключительно в терминах социологии знания (отражение базисных оснований, необходимость очищения политической науки от идеологического пристрастия и т. д.), но бесполезно заметить, что это касалось исследователей политики, которые «в Национальном реестре научного и профессионального персонала, талантливо составленном во время Второй мировой войны, классифицировали по совету ААПН политическую теорию как отрасль, занимающуюся политической этикой и историей политических идей»⁵². Понимание того, что политическая теория — это в основном история идей, было, вероятно, истинным для части университетских программ, посвященных политической теории, за исключением некоторых теоретических и методических курсов, в середине 1960-х годов такое положение оставалось в основном верным для большинства учреждений.

Два обстоятельства становятся совершенно очевидными в 1950-е годы. Во-первых, утвердился главный спор между сторонниками «нового» и «старого» способов теоретизирования, что было основано на менее чем точных представлениях, принятых протагонистами по обе стороны. Во-вторых, ПТ медленно, но постоянно дифферен-

⁵¹ de Grazia A. Preface to Four Essays on the Relation of Political Theory to Research // Journal of Politics. 1951. № 13. P. 35.

⁵² Smithburg D. W. Political Theory and Public Administration // Journal of Politics. 1951. № 13. P. 61, 68.

щивалась от более широкой сферы и вместе с вовлечением ее элементов, что находилось в процессе формулировки.

Такое внимание к понятию теории способствовало в 1950-е годы переходу от ее понимания как категории и предметного обозначения политики к термину, который допускал отнесение определенного элемента и к науке, и к политике. Кроме того, акцент на теории создал целую область рассуждений и споров о «теории теории», что породило чрезмерную трудность для выделения теории самой по себе и что оказало значительное влияние на теоретическую практику. В начале 1950-х годов спор о науке и теории стал уже трансформироваться в спор о философском позитивизме. В сборнике «Современная американская политическая теория» комментарии Симона к статье Дуайта Уэлдо менее всего касались существенных вопросов, связанных с донаучной концепцией роли ученого, однако отражали мнение самого Симона об Уэлдо как политическом теоретике. Симон утверждал, что статья являлась «характеристикой тех писателей, кто называет себя „теоретиками политики“ и кто готов даже начать битву криком против позитивизма и эмпиризма», как опасности для демократии, но продолжает писать в «неопределенном, литературном, метафизическом стиле»⁵³.

Одной из наиболее ранних попыток определить содержание бихевиорального влияния политического исследования был доклад 1952 года, представленный Советом по социальному научному исследованию на семинаре, посвященном политическому поведению. Подход, предложенный здесь, «отличался попыткой описать власть как процесс, произведенный действиями и взаимодействиями людей и их групп», и «определить степень и природу подобия явлений»⁵⁴. Эти цели должны были быть достигнуты в результате формулирования систематических понятий и гипотез; развития объяснительных обобщений, которые бы поднимали исследование над простым фактуальным эмпиризмом; междисциплинарного заимствования; эмпирических методов исследования; прямого наблюдения; отрицания вопросов о том, «как человек должен действовать»⁵⁵. Все это нашло выражение к середине 1960-х годов в бихевиоральном кредо⁵⁶.

Значительным элементом в этом бихевиоральном утверждении

⁵³ *Waldo D. Political science in the United States: Afrend Reprt.* — Paris, 1956. P. 494, 496.

⁵⁴ *Research in Political Behavior // American Political Science Review.* № 46. 1952. P. 1004.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Easton D. A Framework for Political Analysis.* Englewood Cliffs. — NY, 1965. P. 9.

была проблема, поставленная развитием сравнительной политики, которая, казалось, более, чем любой другой аспект политической науки, требовала теоретического продвижения, чтобы иметь дело с новыми и сложными данными. В докладе Совета по социальному научному исследованию в 1952 году подчеркивалось, что «проблема сравнительного метода вращается вокруг поиска подобий» и «необходимости занять определенную методологическую позицию до или в процессе сбора и описания фактов»⁵⁷. Это ощущение овладения фактами было едва ли новым в истории политической науки. Хотя ответ на заданную задачу — о политической теории — был не новым, но обязательство ответить в форме развивающейся «схемы исследований» или «аналитической схемы», которая задавала бы направление исследованию и форму данным, было беспрецедентным. Овладение оформленной или концептуальной структурой стало символом эмпирических политических исследователей в 1960-е годы.

Полюса аргументации в политической науке в значительной мере были представлены с точки зрения нормативных интересов и изучения истории политической теории, а не с точки зрения теории как части эмпирической науки о политике⁵⁸. Одновременно «теоретические» споры вскоре приобрели характер метатеоретических дискуссий. К середине 1950-х годов политическая теория являлась предметом анализа с целым набором таких символов и категорий, которые были бы с трудом поняты в 1930-е годы⁵⁹. Для исследователей политики бихевиорального направления проблема состояла в том, чтобы обнаружить, какие теории существовали в науке и какую роль они играли, а также чтобы создать или сконструировать новые теории. Таким образом, методология включала не только технику исследования, но и понимание «эпистемологии, логики, философии науки»⁶⁰. Возврат к этой литературе или, попросту говоря, к ее вторичным оценкам означал почти полное подчинение логическому позитивизму и логическому эмпиризму; затем это было отражено и в полити-

⁵⁷ Research in Comparative Politics // American Political Science Review. 1953. № 47. P. 643.

⁵⁸ Easton D. The Political System. — NY, 1953; Hacker A. Capital and Caruncles: The Great Books Reappraised // American Political Science Review. 1954. № 48; Driscoll J. M., Hyneman Ch. S. Methods for Political Scientists // American Political Science Review. 1955. № 49 и др.

⁵⁹ Jenkin Th. The Study of Political Theory. — NY, 1955.

⁶⁰ Driscoll J. M., Hyneman Ch. S. Methods for Political Scientists // American Political Science Review. № 59. 1955. P. 192, 193.

ческой науке, и в самой модели науки, воспринятой как защитника-мни, так и оппонентами бихевиорализма.

Даже на конференции по вопросу о месте политической теории в исследовании политики, где никак не доминировали сторонники бихевиорализма, говорилось об обогащении согласия, о том, что «все типы исследования включают создание теории» и «что название „политическая теория“ неправомерно присвоено историками политической мысли»⁶¹. Смысл конференции, казалось, состоял в том, чтобы продемонстрировать имеющееся ложное противоречие между «бихевиоралистами» и «теоретиками», но обсуждение было неспособно его разрешить. Имелась глубокая трещина между «бихевиоралистами» (они не были полностью объединены), которые хотели «трансформировать политические исследования в подлинную научную дисциплину», и «антибихевиоралистами» (или политическими философами), верившими, что «целью изучения политики было то, что называлось политической мудростью»⁶².

К концу 1950-х годов было достигнуто согласие в том, что политическая теория «подошла ко времени тревог». С одной стороны, имелись те, кто анализировал теорию как «историческую, рефлексивную и „литературную“ дисциплину, более родственную моральной философии, чем науке»⁶³, а с другой — были те, кто рассматривал ее как набор систематических обобщений, имеющих дело с эмпирическими данными. Для некоторых теоретическая инициатива означала поиск политической мудрости, а для других она основывалась на «все большем прояснении эпистемологических оснований науки» и «обучении теоретическому конструированию»⁶⁴.

Анализ становления политической науки, проведенный Кеєм в 1958 году, сосредоточивался на этой дилемме. Кей утверждал, что большая часть «забот о становлении нашей дисциплины связана так или иначе с местом политической теории в наших исследованиях»⁶⁵. В то время как теория понималась в значительной степени как исто-

⁶¹ *Eckstein H. Political Theory and the Study of Politics // American Political Science Review. 1956. № 50. P. 476.*
⁶² *Ibid. P. 476, 477.*
⁶³ *Smith D. G. Political Science and Political Theory // American Political Science Review. 1957. № 51. P. 734, 743.*
⁶⁴ *Apter D. E. Theory and the Study of Politics // American Political Science Review. 1957. № 51. P. 761.*
⁶⁵ *Key V. O. Jr. The State of the Discipline // American Political Science Review. 1958. № 52. P. 967.*

рия политической мысли и обладала относительно независимым местом внутри политической науки, бихевиоральная унификация поставила вопрос о том, «что политическая теория имеет релевантность для других отраслей политической науки». Многие были убеждены в том, что радикальная реконструкция политической теории была необходима. Кей заявлял о ясности относительно того, что имелось «странное отношение» между «теоретической и эмпирической деятельностью», которое вело к «антагонизму, если не враждебности» и которое «оказывало большое влияние на будущее политической науки»⁶⁶. Некоторым исследователям, подобным Норману Якобсону, считали, что к концу 1950-х годов автономия политической теории стала подвергаться опасности. Это была опасность растворения политической теории между полюсами сциентизма и морализма как следствие роста дистанции между «научной» и «этической политической теорией»⁶⁷.

Иной взгляд на судьбу политической теории предложил Роберт Даль. В обширном обзоре книги Бертрана де Жувенеля «Суверенитет: исследование политического блага» он трактовал возникшую ситуацию как «серьезное», но во многих случаях призрачное «усилие создать общую политическую теорию. В англоязычном мире, где было так много решено интересных политических проблем (пусть и поверхностно), политическая теория умерла. В коммунистических странах она находится в заточении. Она угасает повсеместно»⁶⁸. Даль был убежден в том, что политическая теория превратилась в политической науке в паразитическую форму «текстологической критики и исторического анализа», что, «хотя попытки возвратиться к общей политической теории в нынешнем веке можно было бы приветствовать, они столкнулись с внутренней невозможностью удовлетворения научной функции политической теории»⁶⁹.

Многие из тех, кто работал внутри традиционной отрасли политической теории, были по своей склонности или по принуждению оттеснены от главного направления политической науки. К концу 1950-х годов, однако, исследователи политики, кто чувствовал отчуждение, получили небольшую поддержку от увеличившейся литературы по политической теории. Сегодня мы привыкли к мысли, что политическая теория является главной отраслью, порожденной и кон-

⁶⁶ Ibid. P. 967, 968.

⁶⁷ Jakobson N. The Unity of Political Theory // R. Young (ed.) Approaches to the Study of Politics. — Evanston, 1958.

⁶⁸ Dahl R. Political theory: Truth and Consequences // World Politics. 1958. № 11. P. 89.

⁶⁹ Ibid. P. 95.

ституированной различными дисциплинами, включая политическую науку, историю и философию. В 1950-е годы такой отрасли просто не существовало или, по крайней мере, она редко воспринималась, как существующая. В той степени, в которой она воспринималась, ситуация рассматривалась как угасание теории, и это оказывало не-большую поддержку теоретикам политики. Для исследователей, подобных Штраусу, то понятие теории в современной социальной нау-ке, примером чего служило бихевиоральное движение, выражало «упадок политической философии», тогда как для Истона симпто-мом «упадка» являлось отождествление теории с историей полити-ческой теории. Но аргументы, касающиеся упадка, также приходи-ли с других сторон. Арнольд Брехт разрабатывал свои ранние взгля-ды о релятивизме и кризисе политической теории⁷⁰; Джудит Скляр в упадке отчасти видела синдром слепопросвещенческой мысли⁷¹; Альфред Коббан был убежден, что упадок выражался в отчуждении политической теории от политики, в ее трансформации в академи-ческую дисциплину, а также в тенденции историцизма⁷². Наконец, идея упадка политической философии и (или) теории стала прояв-ляться вне политической науки. Она явилась продуктом ощущений претензий позитивистской этической теории на статус морального объяснения и представлений рациональности в нормативном рас-суждении. Такие философы, как Уэлдон⁷³, в сущности, утверждали, что значительная часть традиционной политической философии ос-новывалась на ошибочной вере в то, что моральные и политические принципы являлись, подобно эмпирическим научным утверждени-ям, в некотором содержательном смысле демонстрабельными. В на-чале 1950-х годов философы действительно не имели достаточно ос-нований для обсуждения позитивистской модели ни науки, ни этики, и, когда возможность существования политической философии ста-ла связываться с верой в обоснованные ценностные суждения, Пит-тер Ласлет сделал вывод, что «традиция разрушилась» и «политиче-ская философия умерла»⁷⁴.

⁷⁰ Brecht A. Political Theory. — Princeton, 1959.

⁷¹ Shklar J. After Utopia. — Princeton, 1957.

⁷² Cobban A. The Decline of Political Theory // Political Science Quarterly. 1953. № 68; Cobban A. In Search of Humanity. — NY, 1959.

⁷³ Weldon T. D. The Vocabulary of Politics. — L., 1953; Weldon T. D. Political principles // P. Laslett (ed.) Philosophy, Politics and Society. — NY, 1956.

⁷⁴ Laslett P. (ed.) Philosophy, Politics and Society. — NY, 1956.

У ИСТОКОВ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ?

В течение многих веков философия в Западной Европе рассматривалась в качестве одной из дисциплин, изучающих не только природу, но и гражданское общество, т. е. психологию, этику, природу и бытие человека. С самого начала этот интерес к политическому сообществу был созданием греческой цивилизации. Он был инициирован гуманистической реакцией, усиленной софистами и нашедшей окончательное оформление в величайшей личности Сократа, который кардинальным образом изменил направление развития греческой философии в конце V века до н. э. Политическая философия появилась в Афинах и по времени совпала с рождением социальных наук, таких как лингвистика, история и литературная критика, описательный анализ политических и экономических институтов, и критической, отличной от повествовательной, истории. Эта гуманистическая взаимосвязь, господствовавшая в философии в течение многих веков, не исчезла даже тогда, когда восход современных естественных наук в XVII веке поставил предмет физики и математики в центр идейных поисков философов. Вероятно, маргинальная, в том смысле, что она существовала на грани точных и технических дисциплин, политическая философия до сих пор существует как дисциплина, основывающаяся на долгих философских поисках.

Бесперспективно — спекулятивно или аргю — спорить о формах и целях, которые должна принимать и которым должна следовать та или иная ветвь науки или философии. Обсуждение научных методов, как и любое другое обсуждение, требует предмета обсуждения, а в случае политической философии оно должно быть сопряжено изучением истории дисциплины. На вопрос «Что такое политическая философия?» следует ответить, применив метод описания, поскольку в действительности политическая философия — это все то,

¹ Перевод сделан по: *Sabine G. What is a Political Theory? // Journal of Politics. 1939. № 1. P. 1–16.*

что философы говорили о гражданском обществе и обозначали данным термином. Очевидно, что любое практическое описание не будет завершенным, т. к. в течение своей истории политическая философия осмыслялась различными образами, служила многим целям и подвергалась большому числу процедур научной и философской верификации. Однако до сих пор данная дисциплина в течение всей истории своего существования демонстрировала сущностное единство, вот почему существует возможность выделить и описать ее наиболее заметные характеристики. Хотя описание независимо от истории, сам объект описания имеет не исторический характер. Человек, желающий узнать, что такое политическая философия, если он не любитель древностей, должен вопрошать о ее истинности, определенности или достоверности и тех способностях к критике, которые необходимо использовать для определения соответствия политической философии всем этим качествам. Очевидно, что эти вопросы не имеют никакого отношения к истории, поскольку сама теория ничего не говорит о своей истинности.

Именно поэтому в данном докладе преследуются две цели. Прежде всего определение тех свойств, которые присущи политическим теориям. Это важно, поскольку часто те свойства, которые кажутся важными, — всего лишь продукт фактуального анализа того, что претендует на звание политической теории. Во-вторых, необходимо рассматривать истинность и правомерность политических теорий. Можно ли описать их как истинные или ложные? Можно ли при анализе использовать категории значение, истина, правомерность, достоверность? И, наконец, практический вопрос, касающийся применения того или иногда метода критики для более точного разделения истинных и ложных высказываний?

Когда человек поверхностно знакомится с литературой, которую традиционно относят к политической философии, он немедленно сталкивается с фактом, что эта литература не является продуктом творчества живущих в башне из слоновой кости. Даже трактаты по естествознанию прежде всего посвящены рассмотрению соперничающих мнений. Создание же значительного корпуса произведений по политической философии — это верный симптом того, что общество переживает период волнений и напряжения. Замечательный факт — в последние 25 столетий значительная часть наиболее выдающихся произведений по политической философии была создана в два периода, длительностью около 50 лет и локализованных в двух ограниченных географических зонах. Первое из этих мест — Афины второй половины IV века до н. э. Именно тогда появи-

лись «Государство» и «Законы» Платона, а также «Политика» Аристотеля. Второй период — Англия второй половины XVII века, между 1640 и 1690 годами. К этому периоду относится появление работ Гоббса и Локка, равно как и массы менее значимых работ. Следует отметить, что в эти периоды происходили важные изменения в социальной и интеллектуальной истории Европы. Первый случай характеризует отказ греческого полиса от принципов, обеспечивших культурное лидерство Греции, — несомненно, главный моральный переворот древнего мира — и готовность к смешению греческой и азиатской цивилизаций, которое определили будущее развитие европейской культуры. Второй период иллюстрируется формированием первого конституционного государства национального типа и подготовкой интеллектуальных и научных изменений, которые имели принципиальное значение для развития западного мира, по крайней мере, до 1914 года.

Два этих случая — главные примеры типичных качеств политической философии, иллюстрации которых можно приводить практически бесконечно. Политические теории скрыты, перефразируя знаменитое сопоставление субстантивного и процессуального права, в промежутках политических и социальных кризисов. Они создаются не кризисами как таковыми, но воздействием кризиса на сознания в достаточной степени чувствительных и интеллектуально развитых для того, чтобы осознать его наступление. Поэтому каждая политическая теория содержит ссылку на конкретную ситуацию, которую необходимо постичь для того, чтобы понять то, о чем действительно размышлял философ. Он всегда размышляет о чем-то, что существует в реальности и что стимулирует его размышления. Понимание ситуации и оценка ее влияния на интеллектуала может быть сложной задачей для исторического воображения, если теория была создана в отделенном историческом периоде и географической зоне. Но реконструкция времени, места и обстоятельств создания политической теории доступны почти каждому исследователю, что является важным фактором в ее понимании. Поэтому это одна из характеристик философии, которая является частью или эпизодом политики как таковой. Она — элемент той самой интеллектуальной и социальной жизни, еще одним элементом которой является политика.

Безусловная истина состоит в том, что существующую связь с конкретной ситуацией не следует преувеличивать. Только из-за того, что политическая теория связана с историческим случаем, дающем ей жизнь, ее нельзя применять для объяснения только этого случая. Политические проблемы и ситуации более или менее схожи в различ-

ные исторические периоды и в различных географических зонах, то что служит объектом осмысления в одном случае, — фактор, влияющий на то, что осмысляется в другом. По очевидным причинам живая политическая философия есть только то, что отклоняется от магистральной линии в развитии традиции дисциплины. Величайшее политическое теоретизирование — то, которое выделяется в двух отклонениях, в анализе текущей ситуации и в эвристической ценности относительно анализа будущего. В соответствии с этим стандартом «Политика» Аристотеля — наиболее важный из когда-либо написанных трактатов по политической философии. Редко формы правления подвергались более глубокому анализу, чем греческий полис в четвертой и пятой книгах «Политики»; возможно, никогда политический трактат, написанный в одну историческую эпоху, не играл такой роли в другую, как «Политика» в XIV или в XIX веках.

Так как политическая теория зависит от специальной структуры фактов, то она повернута к прошлому. Однако в то же самое время она ориентирована на будущее, поскольку интерес, который порождает политическая теория, в общем отличен от интереса любителя древностей. Характерно, что политическая теория вскармливается интересом, который заставляет людей желать активного участия в изменении ситуации, которая рассматривается ими как плохая. Но даже наиболее консервативная теория — теория, ориентированная на сохранение статус-кво, — в сознании своих создателей также будет направлена в будущее, так как политика воздержания от действия — это тоже политика. Политическая теория практически всегда содержит или предполагает политику. Она одобряет определенные способы деятельности или критикует их; она защищает или критикует то, что было сделано, и требует продолжения или изменения линии поведения. Можно привести обстоятельные примеры. Локк, как известно каждому, писал «для утверждения трона нашего великого избавителя, правящего нами короля Вильгельма», а показал обоснованность представительного правления, основанного на согласии народа. Часто его версия естественного права служила консолидации целей успешной революции или защите легитимности революционных программ. Равным образом наиболее значимый оппонент теории Локка, теория династической легитимности или божественного права королей, был использован для одобрения ценностей политической стабильности и национального единства, равно как для нейтрализации революционной пропаганды. Очень часто, даже всегда, политические теории характеризуются следованием той или иной идеологии: революционной, либеральной, консервативной или реакционной.

ной. Даже наиболее оторванные от действительности философские системы появились из ангажированного прочтения фактов, некоторые устанавливают факты, значимые для будущего, а некоторые анализируют метод формирования событий.

Поэтому такого феномена, как незаинтересованная политическая теория, если использовать слово «незаинтересованная» для обозначения того, что возникает из равнодушия, не существует. Это так, поскольку те, кто искренне безразличен к будущему, не заботятся о том, чтобы создать какую-либо политическую теорию, а те, кого действительно волнует будущее, обычно чрезвычайно озабочены этим. Подобное отношение к будущему необходимо проанализировать и классифицировать. Оно всегда должно включать ярко или имплицитно выраженные суждения относительно того, что возможно, и суждение относительно того, что желаемо. Говоря короче, политическая теория содержит оценку возможностей и оценку ценностей. Едва ли в ней может наблюдаться недостаток первых, если, конечно, теоретик не совершенный доктринер, поскольку любое ответственное решение, касающееся будущего, должно принимать в расчет возможности или, более точно, различные степени вероятности, которые относятся к различным проектам действия. Определенно не могут отсутствовать и вторые, потому что любой интерес к будущему содержит предпочтения, выбор, чувство морального императива, веру в то, что один исход лучше другого. Слово «политика» бессмысленно без осмысления того, что желаемо или обязательно, однако некоторые предпочитают называть это актом оценки.

Политическая теория, подвергаемая дальнейшему анализу, маскирует три типа факторов: она содержит фактуальные утверждения о текущих отношениях, которые ее порождают; она содержит утверждения относительно того, что может быть грубо названо каузальной природой, то есть действие, которое одно положение вещей более склонно производить, или может легче вызываться, нежели другое; наконец, она содержит утверждения, касающиеся того, чему следует случиться, или о том, что считающееся правильным и желаемым, несомненно, произойдет. Этот анализ, как будет показано ниже, близок описанию рефлексивного мышления прагматистами, особенно профессором Дьюи и Джорджем Гербертом Мидом. Прагматисты действительно генерализуют описание, доказывая, что эта соединительная связь прошлого и будущего, а также соединительная связь причин и ценностей являются характеристикой каждого заверщенного акта мысли, неважно совершается ли он относительно политики или чего-то иного. Для прагматистов любая теория — это

план действия, предназначенный для регулирования напряжения между в действительности конфликтующими, но потенциально гармоничными нуждами; данное определение базируется на более общем принципе, согласно которому ни одно понятие не может приобрести значимость, не будучи фактором поведения. Истинна ли или нет эта общая психологическая теория мышления, данное описание достаточно точно отвечает нуждам теорий политики.

Признание того, что типичные политические теории содержат факторы упомянутых трех типов — фактуальные, каузальные, оценочные, — поднимает вопрос о том, каковы логические отношения между тремя этими типами суждений. Прагматист делает вывод, что сколько три типа суждений всегда (или как он думает — всегда) имеют место в одной и той же психологической ситуации, они должны быть объединены в некоторой логической форме синтеза. Иными словами, то, что он называет завершенным актом мысли, является завершенным как в логическом, так и в психологическом смысле. Обоснованность этого заключения — философская проблема (или одна из ее форм), постановка которой является целью данной статьи, поскольку, как кажется, это основная проблема современной мысли. Таким образом, защищаемое заключение состоит в том, что логически эти три типа суждений различны; или вероятность события, которое случилось, и желательность того, чтобы оно случилось, логически не коррелируют между собой. Данное заключение предполагает разрушительную критику прагматизма настолько, насколько прагматизм полагает себя чем-то большим, чем составной частью социальной психологии. Это общее заключение будет несколько более прояснено, что придаст ему несколько больше убедительности в дальнейшем, но сейчас будет лучше закончить описание политической теории.

Описание, данное к настоящему моменту, применяется к тому, что может быть названо логической структурой политической теории: содержащиеся в ней элементы, которые служат составными частями суждений, впоследствии могут быть или приняты, или отринуты. Очень часто, возможно даже всегда, политические теории имеют или только претендуют на это как психологическое, так и логическое влияние. Так как они имеют дело с практическими социальными вопросами и являются производными конфликтов, они претендуют на обладание аппаратом принуждения и убеждения. Даже наиболее абстрактная политическая теория, возможно, никогда не свободна от подобных целей, и даже наиболее здравомыслящий ученый едва ли может остаться безразличным к принятию курса, который,

с его точки зрения, мудр и благостен. В народном политическом георетизировании элемент принуждения обычно наиболее легко уловим. Когда Томас Джефферсон писал знаменитый второй параграф Декларации независимости, он установил главные аксиомы философии естественного права как оправдание — для Америки и всего мира — того действия, которое уже совершил Конгресс, проголосовав за резолюцию, в соответствии с которой «наши соединенные колонии отныне являются, и по праву должны быть, свободными и независимыми Штатами». Годы спустя, когда Джон Адамс раздраженно объявил, что в этом документе нет ни одной идеи, которая бы не была трюизмом, Джефферсон разумно возразил, что Конгресс не давал ему полномочий «изобретать новые идеи». Он должен был утвердить прецедент для Конгресса и Колоний в той форме, которая бы содержала кредо, согласно которому все люди разумны и обладают доброй волей. Учение, согласно которому все люди имеют неотчуждаемые права, а их действия по защите этих прав вооруженным путем оправданны, было убедительным, поскольку рассматривалось в качестве преемника вековых верований.

Проект принуждения открывает больше возможностей, чем кажется непосредственно. По крайней мере, по форме, Декларация независимости, хотя, конечно, и тенденциозно, но, в сущности, еще была логичной, возможно потому, что обращалась к эпохе, когда любовь к рациональному была страстью самой по себе. Но, по сути, страсть любого рода принудительна. Она порождает внутреннюю веру в исполнимость собственных желаний и проектов, предпочтений и опровержений восприятий фактов прошлого и будущего. Если бы объект политической теории просто создавал верования, возможно, было бы пустой тратой времени и усилий рассматривать факты и аргументы. Очевидный — и должно быть признано — эффективный — метод состоит в порождении страстей и обеспечении их психологическим аппаратом не критических убеждений, которые увековечивают их и оказывают на них влияние. Роль, которую играет создание политической философии в современной диктатуре, может быть описана как детально разработанный эксперимент в прикладной психиатрии, она демонстрирует, что данное умение не только применимо, но и для своего применения не требует больших затрат. В данном случае можно поразмышлять о роли, которую играло понятие расы в современных немецких политических трактатах. С научной точки зрения, вряд ли найдется компетентный антрополог, серьезно воспринимавший идею, что европейская раса — это чистая раса. Равным образом нельзя думать, что преследование евреев — результат

реально присущих этой группе, проживающей в Германии, характеристик, таких как более высокая степень процветания или предполагаемая неспособность мыслить, чувствовать или действовать, как другие немцы. Просто они подходили — эмоционально, а не по реальным причинам — для того, чтобы играть роль национального козла отпущения. Идеал расовой чистоты имел строго мистическое значение. Он служил символом, объектом поклонения, соединяющим чашу к власти», которую Гитлер описал как ключ к национальному величию. Раса — это «миф», в том смысле, который этому слову придавал Жорж Сорель.

Однако на самом деле не диктатура открыла то, что может быть названо фольклором политической теории. Психологи-фрейдисты и психологи других школ исследовали влияние, которое интересы, желания и страсти оказывали на убеждения и присущую им тенденцию к «рационализации», обладающую возможностью маскироваться под действенные теории. Будучи способом нападок на позиции оппонентов, этот тип критики стал стандартной частью оснащения современного полемиста, о чем свидетельствует господство таких слов, как «идеология» в словаре современной политической критики. Нельзя отрицать, что интересы сторонников создают их убеждения, а убеждения утверждают несомненность факта или логическую необходимость. Возможно, что ни один человек, несмотря на честность его намерений или желание быть честным, не может взвесить свои собственные интересы на равных весах с интересами, которые ему не нравятся или которым он не доверяет. Но необходимо сказать, что одни политические теории иногда служат тем же самым целям, что и фольклор, а другие предполагают, как это иногда кажется излишне увлеченным психологам и социологам, что они не служат никаким иным целям, кроме этих, или что теория — это не более чем тактический маневр в классовой или национальной борьбе за власть. Эта игра идеологической критики позволительна любому числу игроков, и когда игра доиграна до конца и каждая точка зрения доводится до абсурда, тогда серьезная политика, осмысленная таким образом, может спровоцировать разбивание голов вместо того, чтобы служить ответом на аргументы сторон.

Нельзя отрицать, что любая политическая теория — это факт, достаточно важный факт, который находит свое выражение в гамме фактов, составляющих конкретную политическую ситуацию. Как у тако- вой, у нее есть свои причины и, без сомнения, свои последствия. Более того, ее, истинные или ложные, последствия, поскольку в любом

случае она существует в объективном смысле, воздействуют на поведение людей. Всегда существует возможность того, что люди по-разному ведут себя в каждой конкретной ситуации, просто потому что принимают в расчет теории, анализирующие их существование и ситуации, в которых они себя обнаруживают. Это любопытная сложность, которая обнаруживается в любой социальной теории и чему отсутствует аналогия в теориях естественных наук, за исключением тех случаев, которые проливают свет на принцип индетерминизма, где простой факт наблюдения вызывает изменения в самом наблюдаемом объекте. Где данный феномен имеет место, естествоиспытатель скромно признает, что достиг тех границ, за которыми он не может помыслить дальнейшего улучшения теории. Социальные теоретики определенно должны, будучи интеллектуально честными, делать то же самое. Поскольку теории оцениваются как факты, находящиеся в каузальном отношении с другими фактами, и поскольку они рассматриваются как данные человеческого поведения, которые теоретики должны сами обнаруживать среди данных ситуации, которую они исследуют, теории должны быть приняты так же, как и все иные данные, просто как элементы исследуемой реальности. Их воздействие никоим образом не коррелирует с их истинностью, так как ложные теории могут влиять на поведение человека. Их каузальное влияние как существующих фактов просто иррелевантно их истинности или ложности. Но в каждой конкретной ситуации и в каждое конкретное время исследователь должен мирить свое сознание с тем языком, который он использует. Если он принимает теорию как самость *bona fide* попытки изложить истину, он должен соответствовать тому, что представляет из себя такая попытка. Он должен в этом плане познакомиться с логикой, он должен признать или отвергнуть ее, показав ее соответствие или несоответствие, ее способность или неспособность объяснить факты. Когда он начинает обсуждать ее влияние, он делает это среди существующих вещей, в мире событий и объектов, но события не являются сами по себе истинными или ложными; они просто есть.

Пример сделает значение, высказанное выше, более ясным. Критик имеет два различных пути объяснения доктрины, которую описал Джефферсон в Декларации независимости. Можно обсудить применимость предложений неотчуждаемости и неотъемлемости естественных прав, применить рациональную критику к оценке того, что все люди рождаются равными, проанализировать значение этих предложений, показать, как они согласуются с господствующей концепцией научного метода, и отметить недостаток критерия самоочевид-

пости, которому Джефферсон придавал столь большое значение. Но такая критика возможна лишь постольку, поскольку критик стремится к рассмотрению фактуальной истины или логической связности теории. Однако при такой постановке вопроса не учитывается тот факт, что Джефферсон и его соратники по Континентальному конгрессу действительно верили в теорию естественного права. Возможно, они предприняли бы иные действия, если бы их убеждения были иными. Вероятно, что, обладая такими убеждениями, они неосознанно стали агентами воинственного среднего класса, стремящегося к завоеванию политической власти, которую гарантировало их экономическая значимость. Если это и оказывало какое-либо каузальное влияние на их деятельность, нет каких-либо последствий того, являлось ли то, во что они верили, истинным или ложным. Епископ Батлер сказал: «Каждая вещь является тем, что она есть, а не иной вещью», и убеждения могут оказывать влияние, несмотря на то, являются они истинными или ложными. Но очевидно, что ни один критик не сможет применить оба критерия в один и тот же момент. Его может заботить корректность доктрины, и тогда ее последствия не относятся к делу; или его может заботить то влияние, которое она оказала на развитие событий, и тогда неважна истинность доктрины.

Таким образом, политические теории живут в двух измерениях, или играют двойную роль. Они являются теориями, или логическими сущностями, принадлежащими к абстрактному мысленному миру, но они также являются убеждениями, событиями в восприятии людей и детерминантами их поведения. Во втором случае, они влиятельны (если обладают подобным качеством) не потому, что они истинны, но потому, что в них верят. В этом случае они функционируют как события, или актуальные факторы в исторических ситуациях, и, будучи таковыми, составляют часть данных, которыми оперирует история политики. Но эта историческая реальность, очевидно, не представляет интереса для того, кто искренне убежден в истинности теории; таким людям теория интересна не самим фактом своего существования, а тем, что, как они верят, она предоставляет обоснованное объяснение чего-то. Создатели Декларации независимости искали в ней «декларацию причин», которые позволяли им разорвать политические отношения, связывающие колонии с Англией, объяснение, востребованное «уважением к мнению человечества». Поэтому они установили в качестве главного условия утверждения неотчуждаемости естественных прав, а в качестве наименьшей предпосылки длинный список покушений на их свободу, которые

они приписали королю Англии и интерпретировали в качестве свидетельства его непоколебимого стремления к тирании. Для них эти установления были не просто убеждениями; они были частью того, целью чего были истинные утверждения о фактах и правомерные выводы из этих фактов. Рациональная критика, в отличие от познания исторических причин, склонна воспринимать эти утверждения *bona fide*², хотя это и может привести к заключению, что они крайне иллюзорны.

Но вернемся к началу статьи; очевидно, что вопрос, тогда поднятый, отсылает к рациональной критике политических теорий. Вопрос же состоит в следующем: могут ли политические теории, и если да, то в каком смысле, утверждать логические свойства истинности и обоснованности. Необходимо также помнить, что при описании политических теорий говорилось, что они объединяют два типа факторов. На первом месте стоят элементы фактуальной и каузальной природы: понимание действительного существования определенного положения вещей, расчет важности различных факторов в этой ситуации и оценка будущих возможностей. На втором месте стоят элементы оценки: оценка важности, не в смысле того, какова вероятность события, но того, чему следует случиться, отделение лучшего исхода от наихудшего, понимание того, что некоторые действия морально обязательны, выражение выбора или предпочтений, вырастающие из желания, страха или уверенности в том, что существует в настоящем и что может принести будущее. Вопрос, таким образом, состоит в том, может ли теория, объединяющая два этих фактора, быть оценена рационально как истинная или ложная; или иными словами — существует ли общая мера, которая может быть использована для подтверждения истинности теории как таковой.

Сейчас единственное общее требование рациональной критики состоит в правиле, согласно которому в теории не должно содержаться взаимно противоречивых предложений. Человек, который размышляет о политике, обязан размышлять согласованно, как и любой, кто рассматривает иной предмет; а обвинение в непоследовательности столь же пагубно для политического теоретика, как и для любого другого ученого. Более того, требование безошибочного, логически последовательного стиля мышления применимо как к размышлениям, которые в качестве своего предмета рассматривают факты, так и к размышлениям, предметом которых являются ценности. Мыслитель, который утверждает взаимную противоре-

² По доброй вере (лат.). — Прим. пер.

чивость обязанностей или же приписывает взаимную несовместимость свойствам и объектам, одинаково неправ и тогда, когда делает первое, и тогда, когда грешит вторым, поскольку исключение противоречия — общий принцип, используемый во всех правомерных интеллектуальных операциях. Как бы то ни было, простое отсутствие противоречий не может быть рассмотрено как эквивалент истины, за исключением возможно чистой логики и математики. Более того, если бы теория была самосогласованной, все равно оставался бы вопрос, является ли то, что случается в действительности, тем, что предполагается в теории, и даже если ценностная теория всецело гармонична, все равно встает вопрос, являются ли ценности, описанные в теории, целью, к которой стремятся и которой, если это возможно, достигают. После признания верной возможности признания обязательной силы логической последовательности все еще необходимо согласиться с тем, что это лишь начало пути к обоснованию теории любого типа, политической или какой-либо иной.

Но если отсутствие противоречий, хотя и обязательное, не является достаточным принципом критики, существует ли другой принцип, который может сблизить два типа предложений — обоснование факта и предписание ценности, — которые содержатся в любой политической теории? Очевидно, что ответ должен быть «нет». Соединяя эти два типа факторов, политическая теория компилирует предложения, в которых отсутствует общая логическая мера и на которые в соответствии с правилами чистого мышления они должны быть по необходимости разделены. А поскольку политическая теория зависит от утверждения, выраженного или подразумеваемого, что некоторое положение фактов является таким-то и таким-то, единственная проверка, которая может быть применена к нему, состоит в постижении того, являлись ли факты такими, как было заявлено, или же были иными. Так как это предполагает, что определенное течение событий возможно более, нежели другое, оно может быть проверено только в свете действительной вероятности и отчасти возможности, с помощью оценки того, насколько событие удовлетворяет ожиданиям. Случай суждения, будто событие случилось, и случай суждения о том, как должно было случиться событие, просто различны, и потому их не следует смешивать. Похожим образом говорят, что событие будущего, возможно, совершенно отличны от того, что рассматривалось как желаемое, благое или как неудача. Два типа утверждений логически несоизмеримы в том смысле, что любое утверждение, содержащее такой соединительный глагол, как «следует быть», требует допущения стандарта ценности, который как таковой никогда

не представлен в чистой фактической ситуации или в чисто каузальной последовательности событий. Когда эти два типа утверждений пересекаются, как это в течение продолжительного времени случалось в политических теориях, тогда начало критического суждения состоит в анализе, различении двух типов суждений и в применении к каждому из них приемов анализа, которые им соответствуют.

Анализ и различение в этом смысле не предполагают поверхностную идею, будто отсутствие отсылок к нравственным или иным формам оценки делает политические теории «научными». Подобная идея обычно поκειται не на вычлениении ценностей в качестве элемента теории, но только на туповатой бессознательной оценке, которая стала привычной. Она поκειται на том типе интеллектуальной простоты, который Шопенгауэр приписывал своему оппоненту: он воображал, говорил Шопенгауэр, что те знания, которые он получил до наступления пятнадцатилетия, составляют врожденные принципы человеческого разума. Поистине с человеческой точки зрения невозможно даже описать политическую или социальную ситуацию без, по крайней мере, скрытых допущений о важности элементов, которые и должны быть подвергнуты процедуре описания; а выбрать предстоит из скрытых допущений и эксплицитных заявлений относительно предполагаемого. Более того, отсутствуют возражения, по крайней мере со стороны логики, против явных допущений относительно желаемого; политика или цель могут рассматриваться столь же здраво, как и многое иное. Достаточно ложной посылкой является то, что люди в большей мере дискутируют относительно ценностей, нежели иных предметов. В любом случае нет логической причины, почему социальный философ не должен теоретически допускать те ценности, которые он выбрал, при единственном условии, что он открыто признает, что он делает это и не пытается доказать то, что он принимает как должное. То, что он не может логически сделать (даже если он отдает себе отчет в том, что делает), так это оставить без внимания свои ценности, как если бы они были неизбежными фактами.

Конечно, остается практический вопрос, действительно ли возможно совершить акт анализа, по крайней мере постольку, поскольку политическая теория — это элемент жизненной ситуации. Бросив взгляд в прошлое, можно легко заметить, как часто на суждения людей о фактах имеют влияние их интересы, или насколько они искажаются силой их нравственных убеждений, но необходимо признать, что никто никогда не мог и, возможно, не сможет избежать этой ошибки. Общее использование языка предполагает подобную

путаницы. Наиболее простые выражения, такие как «существует» или «должен быть», постоянно используются в двух смыслах: для обозначения как логической, так и нравственной необходимости, существования или предикации, а точное значение должно быть дедуцировано, если это возможно, из контекста. Поэтому, снова обратимся к Декларации независимости, когда Джефферсон заявляет, будто должно быть «самоочевидным, что все люди рождаются равными», он, должно быть, предполагал, что данное суждение — аналогия тех самоочевидных суждений, которые можно обнаружить, открыв Евклида. В свете строгого анализа этих суждений, однако, никто не может представить, что он просто предоставил правила управления символами. Вряд ли возможно — что полагал Джефферсон — фактическое равенство всех людей; определено нравственному воздействию этой сентенции наносится вред, если кто-либо проведет параллель с, несомненно, истинным утверждением, касающимся рождения людей, например, все люди рождаются младенцами. Общеизвестно, что Джефферсон действительно выражал нравственную убежденность в том, что неправильно лишать людей свободы выбора, а это в некотором смысле составляет насущную потребность человека. Можно принять или отвергнуть это утверждение, но нельзя, как говорит разум, совершить то и другое одновременно, за исключением случая, когда обнаружишь то, что имелось в виду. В известном смысле неизбежность путаницы или ошибки не относится к делу, даже если ее наличие — факт. В целом никто не может избежать непоследовательности, но непоследовательность все-таки является ошибкой. Если при объединении фактов и ценностей путаница неустранима, то она будет сохраняться, даже если весь мир сговорится против нее. Конечно, никто не сомневается в том, что в этом отношении люди действительно мыслят более ясно, когда они последовательно пытаются избежать этой путаницы.

Вместе с тем было бы нечестно предполагать, что слияние суждений о ценностях и суждений о фактах или логических импликациях имеет репутацию обычной, но общепризнанной, известной путаницы. Напротив, это слияние систематически наблюдается в конкретных философских системах, которые представляют собой значительную часть современных философских изысканий. Представитель людским уделанным утверждением, что предложения, утверждающие факты, и предложения, предписывающие ценности, логически несопоставимы, и согласился бы, что возможно объединить их во всеобъемлющем логическом синтезе. Исторически это соперничество восходит

к Гегелю, который полагал, что идея саморазвивающегося государства в логике может удалить дуализм рационализма и эмпиризма и опровергнуть революционную доктрину естественного права, а также конвенционализм или позитивизм, который был представлен в критике естественного права Юмом. Именно это было бы не так, если бы диалектики, как он полагал, можно показать, что определенные ценности должны проявляться в истории, и наоборот, что каузальные процессы истории направляются врожденным стремлением защищать и сохранить ценности. Таким образом, диалектика была инструментом каузального познания и имманентной этической критикой. Можно утверждать, что убеждение, согласно которому такое сочетание ценности и факта является поддающейся решению проблемой, остается лучшим признаком влияния Гегеля на позднейшую философию. Оно обнаруживается в работах английских неогегельянцев, при всех различиях наблюдается в фундаментальных притязаниях марксистов, чей диалектический материализм — это, в сущности, утверждение того, что каузальная и нравственная необходимость могут быть объединены. В более мягкой форме целей, если не методологического аппарата, гегелевская диалектика воспроизвела себя в прагматизме профессора Дьюи и профессора Мида, к которым мы уже обращались выше. Таким образом, от заявлений, что значения можно обнаружить только в исполнении целей и что рефлексивное мышление — единственный поведенческий фактор прямого действия, диалектика, кажется, сместилась к утверждению, что логическая полнота должна включать в себя как фактуальную продуктивность, так и осуществление цели.

Было бы глупо заниматься кратким опровержением гегельянства и всех его представителей в конце данной статьи, и без того уже слишком длинной. Ведь цель, которая стояла перед нами, состояла в определении проблемы и в выделении варианта ее решения, а не в опровержении тех решений, которые уже были предложены. Именно эта цель была поставлена, поскольку между философскими точками зрения существуют систематические различия, коренящиеся, вероятно, в разнообразии теорий познания. Описательно обнаруживается, в размышлениях человека — говоря о проблемах, которые оспариваются политической теорией — то, что кажется различием факторов, которые отвечают различным стандартам критики. Это обоснование фактов и причин; это инсинуация ценности или обязательства; это результат, важный для поведения человека, веры или неверия в теорию. Но будет ли это случай, когда некоторые критерии истины до-

статочно влиятельны для того, чтобы связать эти факторы в данной проблеме? Если предлагается подобный критерий — скажем, «логичность», — выполняет ли он возложенные на него задачи просто потому, что привносит стандарт, который может быть использован для анализа проблем всех типов, или же это только кажется, из-за того, что он настолько неясен и двусмысленен, что никто точно не знает, что же он означает? Или, с другой стороны, возможно ли провести различие между началом и концом процесса познания? Иными словами, возможно ли, что истина — это слово с различными значениями и что никто не может сказать о его значении, пока дозволяется проводить различие между, по крайней мере, тем, что Лейбниц называл истинами разума и истинами факта, и, возможно, некоторыми иными? Этой ссылкой на Лейбница было бы лучше закончить работу, поскольку здесь обнаруживается очевидная линия критики: данная статья иллюстрирует тип философского атавизма, ностальгию по ясным и определенным идеям, которые более типичны для семнадцатого, нежели для девятнадцатого столетия.

*Перевод с английского
Константина Афшина*

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И ПАТТЕРН ОБЩЕЙ ИСТОРИИ¹

Говоря об общей истории политических идей, мы подразумеваем ту область знания, которая представлена разного рода монографиями, такими как работы Даннинга, Макилвейна, Сэйбина и Кука. Проблемы, имеющиеся в этой области знания, и их дальнейшее разрешение для американских ученых имеют особое значение. Хотя исследовательская литература о разных этапах этой истории представлена книгами разных стран, общая история почти монополизирована американцами с самого начала разработки данного научно-исследовательского поля. Когда Даннинг опубликовал первый том своей «Истории политической теории» в 1901 году, «История политической науки в ее связи с нравственным состоянием общества» Жане была единственным альтернативным изданием, заслуживающим внимания. Тем не менее «История» Жане, как правильно заметил сам Даннинг, сразу обнаружила развитие этической доктрины; и это было как раз тем пунктиком, которого Даннинг захотел избежать, чтобы изолировать описание эволюции политической теории от развития теории этической. Тем не менее наука, о которой можно сказать, что она начинается с работы Даннинга, — это молодая наука; и, как это случается с молодыми науками, ее начало отмечено определенной вехой, тогда как ее детали далеки от того, чтобы быть определенными. Сегодня они даже еще менее определены, чем во времена Даннинга, поскольку последние два поколения исследователей стали свидетелями огромного увеличения исторических данных, в то же самое время в этой сфере произошла серьезная ревизия наших взглядов на структуру истории. Поэтому целесообразно начать с нескольких замечаний о тех способах, которыми развитие исторической науки влияло на специфические проблемы общей истории политических идей.

¹ Перевод сделан по: Voegelin E. Political Theory and the Pattern of General History // The American Political Science Review. 1944. Vol. 38. № 4. P. 746–754.

Историки политических идей в целом следовали паттерну «линейной истории», в соответствии с которым история человечества последовательно проходила через древнюю, средневековую и современную фазы.

Идея, будто человеческая история движется по прямой линии, имеет своим источником теологическую концепцию, основанную на христианской вере в то, что человечество последовательно проходит через важнейшие исторические фазы в соответствии с провиденциальным планом спасения. Образец этот был установлен ранней христианской философией истории, начиная с «Посланий апостола Павла» и заканчивая «О граде Божьем». Ее эмпирическая польза для постсредневекового периода главным образом заключалась в надежде на то, что преемственность средневекового духовного и интеллектуального исторического горизонта в западном мире сохранится; вера в линейность истории могла держаться столь же долго, сколь долго оставались неисследованными независимые параллельные истории представителей человечества, принадлежащие незападным обществам, а доклассические цивилизации оставались практически неизвестными.

Называя условия «поддержания» линейного паттерна, мы указали на источник своего беспокойства. Наши чувства тревоги связаны с последовательными нарушениями, совершенными в закрытом горизонте Средневековья. Первое, и до сих пор самое важное появление новых материалов — посвященных классической античности — было воспринято сравнительно легко. Прямолинейный паттерн просто был перемещен из священной истории, понимаемой так, как ее мыслил Августин, в новую профанную историю. В практике написания книг по истории это означало, что история истории израильского народа и первобытная история западных народов были отодвинуты на второй план, уступив место истории эллинизма, а Средние века были отождествлены с «Темной эпохой». Но подобная легкость в методологии исследования истории была относительной. Сегодня забыли, что не все гуманисты XV и XVI столетий без сопротивления рассматривали греко-римскую античность как предыдущую фазу истории, непосредственно предшествовавшую Ренессансу. Современные им события, происходившие на Ближнем Востоке, были достаточно впечатляющими для того, чтобы профанная история конструировалась на основе паттерна параллельных исторических потоков. У нас есть письма Поджио, в которых он демонстрирует свою усталость от славы Рима и Греции, а также ставит военные и политические достижения Тамерлана выше достижений Цезаря;

равным образом и Луи ЛеРой (Louis LeRoy) рассматривает завоевание Тамерлана как решающее событие, открывшее новый период Ренессанса не только с политической точки зрения, но и с цивилизационной. Впечатление от азиатской политики как модели политики, которая, возможно, находилась на более высоком уровне по сравнению с европейской, было в то время значительным; но эта тенденция, придававшая значение структуре западной истории с помощью ее ориентации в соответствии с параллельными событиями в Азии была заменена с открытием морских путей к пустыням Америки, перемещением центра политики на Атлантический океан. Линеарный паттерн оставался достаточно цельным и во времена Гегеля.

Поколение, следующее за Гегелем, должно было снова споткнуться о проблему параллельного, незападного развития обществ. Первый имеющий значение документ, посвященный анализу этой «новой ситуации», — монография Бруно Бауэра *Russland und das Germanentum*, вышедшая в 1853 году; возрастающее влияние России в свою очередь оказало влияние и на картину европейской истории в качестве одного из нескольких параллельных исторических потоков.

Ревизионистское движение было ускорено постепенным повышением знаний о доклассической ближневосточной и дальневосточной цивилизациях. Интеграция этого нового знания в сочинении, которое приобрело широкую популярность, — в «Закате Европы» Шпенглера — не встретила полного одобрения, поскольку Шпенглер, если оставлять в стороне его дилетантизм в некоторых деталях, так желал продемонстрировать многообразие цивилизационных историй, что переоценил свои силы и не уделил должного внимания тому факту, что цивилизации не были изолированы друг от друга, и их отношения были обусловлены передачей значительного цивилизационного наследия. Линеарный паттерн должен быть определен пониманием внутренней циклической структуры историй цивилизаций, но он все еще эмпирически применялся к потоку значений, движущимся от греко-римской античности через Средние века к современному Западу; и этот поток значений, как оказалось, зародился еще в доклассических ближневосточных цивилизациях. Пересмотренный паттерн истории сегодня использован в «Постижении истории» Тойнби, в тех шести томах, которые уже были опубликованы.

Каким образом эти изменения в паттернах политической истории влияют на историю политических идей? Ответ будет зависеть от нашего определения политических идей, о которых мы и намеряемся писать историю, и от их отношения к тому политическому окружению, в котором они появились и развились. Первый ответ

на эти вопросы — предположение, что история политических идей не демонстрирует внутреннюю структуру значения, и что вследствие этого историк не может сделать ничего иного, кроме как записать идеи, касающиеся политических проблем, в хронологическом порядке их появления. Результат этого не будет историей, если под историей мы понимаем раскрытый во времени паттерн значения, а не просто энциклопедию, в которой в хронологическом порядке зафиксировано нечто. Подобное предположение в принципе едва ли может быть сделано, но на практике мы иногда обнаруживаем приближение к нему, когда желание историка завершить свой труд становится сильнее, чем его стремление организовать структуру значения.

Большую практическую важность имеет предположение, что только чрезвычайно интегрированная система мышления, наподобие платонической, аристотелеанской или томистской, имеет действительное историческое значение потому, что только, например, данная система мышления делает подход политических мыслителей, которые ее придерживаются, к проблемам, их волнующим, научным. Мы можем создать шкалу научных достижений, с помощью которых измерим релевантность системы мышления. Если мы примем это допущение, паттерны политической истории едва ли будут иметь отношение к паттернам истории политических идей. Тенденция к движению в этом направлении заметна в «Истории» Жана. Она проявляется в сравнении философии Платона и Аристотеля с философией современных публицистов. Результатом стало понятие «истинной» системы политического мышления, держащейся середины между платоническим моральным абсолютизмом и макиавеллистской безнравственностью, техническим подходом к политике. Истинная середина представлена идеями «Декларации прав человека и гражданина», которая рассматривается как производная государства, служащая обеспечению рамок, в которых человек может реализовывать свою нравственную судьбу как свободный агент.

История политики с 1500 года продемонстрировала прогресс в определенном направлении. Последовательное применение этого принципа требовало бы уничтожения всех материалов, которые не могут быть интегрированы в «линию прогресса», в конце которой находилась эта идеальная цель. Но подобная последовательность не обнаруживается у Жана в большей мере, чем у других историков, которые делали похожие предположения об абсолютном стандарте политического мышления. Жане честно, однако не без нести до Французской революции, придавая таким образом своей ра-

боге все признаки энциклопедии, в которой события и идеи изложены в хронологическом порядке. Энциклопедический характер ее работы особенно бросается в глаза, поскольку часть классической древности, с рассмотрения которой и начинается трактат, предшествует «предварительная глава» о Китае и Индии, и иной причины обращения к ним, за исключением того, что они просто существуют, нет; попытка интеграции дальневосточного образа мышления в общие паттерны истории не предпринимается.

В отличие от книги Жане сочинение Даннинга отмечает значительный прогресс в методологии. Даннинг использует термин «политическая теория» для того, чтобы отделить свои принципы отбора от понятия «политической науки» — термина, которым пользуется Жане. «Политическая теория» — любая идея, не столь важно, интегрирована она в научную систему или нет, которая стремится объяснить происхождение, природу и границы власти правителей. Эта широкая дефиниция может покрыть идеи, анализирующие феномен господства среди примитивных племен, равно как и среди тех, кто жил в периоды отсутствия великих мыслителей-систематиков. Однако Даннинг ограничивает данное либеральное определение, признавая значение «политической теории» в более узком смысле в отношении тех теорий, которые предполагают идею «государства», отличающуюся от идей семьи и клана. При данном ограничении он способен исключить из поля исследования все идеи о примитивных сообществах, сохраняя все несистематические теории, которые обращаются к феномену политического господства, как, например, особо упомянутую теорию Бёрка и американскую политическую теорию. Замена слова «теория» словом «наука» имеет преимущество, поскольку рвет с предрассудком, будто «формальная политическая наука в большей степени причина, чем результат объективной политической истории». Теория важна не потому, что она содержит научное озарение, которое затем и воплощает, но потому, что соприкасается с «текущим институциональным развитием». Поэтому историк теории должен начинать с точного выражения теории и интерпретировать институты сами по себе, при отсутствии иного источника. История теории, таким образом, подчинена в своем паттерне структуре политической истории — за тем исключением, однако, которое мы и должны обсудить сейчас. Паттерн истории, таким образом, будет решающим для историков, которые следуют принципам, провозглашенным Даннингом.

Слабое звено «Истории» Даннинга — Средние века. Это звено коренится в понятии «прогресс», которое использует Даннинг при анали-

же политической истории. Под прогрессом в политике он понимает дифференциацию автономной сферы политики и освобождение политических понятий от этического, теологического, правового и других контекстов. Такая дифференциация (по мнению Даннинга) впервые была сделана греками, а после этого и в Новое время. Политическая же теория — главным образом последствие этого прогресса: когда прогресс сойдет на нет, исчезнет и политическая теория. На этом основании Даннинг может исключить политическую теорию Дальнего Востока, что, впрочем, нанесет небольшой вред проекту истории западной политической теории, поскольку связь между ними, если она имеется, тонка, однако он также исключает и ближневосточную доклассическую теорию, что наносит уже значительный вред, так как связь с западной политической мыслью глубоко укоренена в Месопотамской, персидской и израильской первобытных историях. Однако хуже всего то, что он исключил Средние века. Допущение, сделанное им, вынудило его заявить: «Средние века были неполитическими». Средневековая теория является политической лишь постольку, поскольку она рассматривает процесс разделения Церкви и государства. «Средневековая политическая философия в действительности исчерпала себя в тот момент, когда предложила рассматривать отношения светских и духовных властей». Уничтожающее заявление, что Средние века были лишены политической истории, за исключением момента, когда Церковь отделилась от государства, едва ли воспринималось как здоровое в 1901 году, когда оно, собственно, и было сделано; и уж конечно, оно неприемлемо сегодня. Определение политики должно быть пересмотрено таким образом, чтобы мы могли воспринимать историю адекватно: не только обращаться к последним фазам цивилизационного развития, которые демонстрируют дифференциацию сфер, рассматриваемых Даннингом в качестве прогрессивных, но и придавать равное значение ранней фазе цивилизационного цикла, в котором временная власть, как в Средние века, рассматривается в ряду всеохватного мистического тела западнохристианского человечества. Подобное исключение «иррелевантной фазы» исторического развития, которая на самом деле демонстрирует прямую и широкую преемственность с нашей собственной стадией, поскольку ее структура политических идей отличается от нашей, не может быть оправдано какими-либо стандартами научного метода.

Слабое место «Истории» Даннинга в принципе было скорректировано «Историей политической теории» профессора Сэйбина, опубликованной в 1937 году. Профессор Сэйбин принял принцип Даннинга, в соответствии с которым политическая теория — это функция

политики и что поэтому паттерн истории теории должен следовать за паттерном политической истории. Однако он не принял принципа «прогресса». Замена верования, что существует предопределенный порядок эволюции или исторический прогресс, верой в рациональную самоочевидность просто-напросто замещает неверифицированную идею еще менее верифицированной. Однако концепция этического правового порядка, как, например, концепция Жане с этой точки зрения недопустима в качестве стандарта при выборе методологии, равно как и концепция политики Данинга, основанная на принципе случайного ограничения. Историк должен испытывать неразделенную лояльность к структуре теории, к тому, как она сама себя проявляет в истории, вне зависимости от того, отражает ли она проблемы дифференцированной сферы политики или она отражает недифференцированный комплекс порядка сообщества, в котором в единстве представлены «нравственность, экономика, правительство, религия и право». Применяя эти принципы к историческому материалу, профессор Сэйбин делит его на три большие части: теория городов-государств, теория универсальных сообществ (от Александра до окончания Средних веков) и теория национальных государств. При уточнении этой методологической позиции проблема принципов все же остается. Структура истории политической теории, безусловно, подчинена структуре политической истории. Из признания этого принципа и следуют проблемы, которые сегодня главным образом заботят историков политической теории: во-первых, историк должен ясно понимать паттерн истории, который он желает принять в качестве основания для организации исследуемого им материала (паттерн Тойнби или, возможно, чей-то еще); и во-вторых, историк сталкивается с бесконечной, но совершенно конкретной задачей классификации и адекватной интеграции в богатый бурный поток истории нового материала.

Если мы примем принципы, рассмотренные в предыдущем разделе, то из необходимости гармонизации истории теории с политической историей возникнет ряд проблем. Последующие замечания предложат некоторые точки, следуя которым удастся достичь такой гармонии. Паттерны истории, которые в качестве предварительно условия имеют эту пропозицию, принципиально предопределены в «Постижении истории» Тойнби и работами, содержащимися в *Cambridge Ancient History* и *Cambridge Medieval History*². Однако чита-

² Серии книг, издаваемые Кембриджским университетом, которые посвящены проблемам истории Древнего мира и Средневековья. — Прим. ред.

теперь должен быть снова предупрежден, дабы не быть введенным в заблуждение этими скромными, случайными замечаниями о порядке списке желаемых данных общей теории истории, они просто привлекают внимание к более или менее очевидному факту, что мы обладаем, с одной стороны, множеством монографий о конкретных фактах политической теории, а с другой — знанием политической истории, намного превосходящим теории вследствие этого имеет замечательную возможность попытаться соединить два этих комплекса знания вместе. Это едва ли может быть достигнуто одним человеком для создания адекватного решения необходимы будут совместные усилия ряда ученых. Но мы можем, по крайней мере, рассмотреть задачу, отметив ряд проблем, типичных для той научной области, которая лежит перед нами открытой. Последующее перечисление этих проблем в хронологическом порядке не следует воспринимать иначе как просто список примеров.

Наше знание ближневосточных доклассических цивилизаций и эллинистического периода достаточно для того, чтобы мы поняли, что историю теории нельзя больше начинать с эллинизма. Глупо признавать, что теория полиса заканчивается на Аристотеле и что только во времена Александра появляется «стоя» — новый тип теории. Но есть некоторая неуверенность в признании преемственности имперского эллинистического периода и имперского периода неэллинистического Ближнего Востока. Такое признание влечет за собой резкий разрыв с линейным паттерном истории и конструированием эллинистического периода в качестве соединения ближневосточного и эллинистического потоков исторического процесса. Месопотамская, персидская и египетская теория должны были бы быть приняты в качестве основания современного политического мышления на равных с эллинизмом и должны бы быть исследованы с точно такой же тщательностью. Разрыв с линейным паттерном истории, однако, не единственная причина сомнений. Признание древневосточной истории также требует разрыва с широко принятой концепцией политической теории как теории, озабоченной объяснением государственного господства. Проблема государственного господства выходит на сцену только на той фазе цивилизации, на которой политические сообщества образуются самостоятельно и воспринимаются как должное. На первичных фазах цивилизационного цикла проблемы субстанции сообщества, его создания, установления его границ и его артикуляции имеют одинаковую важность наряду с проблемами происхождения и пределов государственного господства; то же

самое истинно и для периодов политического кризиса, который, например, происходит в настоящее время, когда проблемы духовной дезинтеграции и регенерации, а также политического мифа о создании сообщества выходят на первый план. Приспособление историй политической теории к процессу политики потребовало бы детально разработанной теории идей, рассматривающей мифическое создание сообществ и отдаленные теологические последствия этих идей. Задача пугающая, но не безнадежная. Сегодня у нас есть достаточно легкий доступ к источникам, таким как переводы вавилонских, ассирийских и египетских текстов, опубликованных Институтом восточных исследований при университете Чикаго; и у нас есть огромное количество монографической литературы, из всего сонма которой следует упомянуть как особенно полезную для исторической теории важную работу по Древнему Востоку Альфреда Джеремаса.

Формулировка понятия политической теории, которая позволит нам соотнести феномен развития сообществ с их возникновением, возможно, — наиболее важная задача. Она необходима для более реалистического обращения с системой мышления, которая, как кажется, к настоящему моменту хорошо проанализирована и обозначена как позднеэллинистическая. И снова проблема как таковая признана целиком и полностью. Мы знаем, что Платон отмечает не начало, а конец эллинистической теории, и мы знаем, что его политическая философия — теория не полиса, а смертельного кризиса полиса. Как бы то ни было, такого понимания философии Платона, как попытки духовной реформы Эллады или как попытки создать новое сообщество-субстанцию, остается только желать, поскольку теоретический аппарат, который был бы необходим для тщательного анализа этого вопроса, развит не в достаточной степени. Опять-таки помощь может быть найдена в монографиях, в частности, в работах Фридмана и Гильдебрандта, которые выделяли именно этот аспект теории Платона.

Отношение к римскому имперскому периоду должно быть подвергнуто полной ревизии. Последние тома *Cambridge Ancient History*, опубликованные в 1930-е годы, впервые обозначили желание ученых, которые не являются специалистами в римской истории, классифицировать почти неиспользованные материалы по теории истории Римской империи. Кроме того, следует упомянуть великолепную монографию, посвященную принципату, фон Премерштейна, в которой представлен новый взгляд на священную связь ранней империи и клятвы принципсу.

Появление христианства снова поднимает вопрос о концептуальном аналитическом аппарате. Осмотрительное замалчивание

проблем привело к тому, что проблема творения мистического тела Христа оказалась лишена каких-либо доказательств. Если мы уйдем от вопроса о пневме Христа и ее функции в качестве основания христианского сообщества, то в христианстве ничего не останется, кроме этической и правовой теории «стой» и нескольких замечаний, касающихся признания темпоральности господства и иерархии функций. Основание исчезло. Следствием этого становится то, что борьба между христианством и контррелигиозным язычеством в позднеримской империи становится столь же нечетким, сколь и проблема сообществ в Средние века. Это не исключает из поля политической теории теорию сообществ, внутри которой появляются структурные политические проблемы, классифицирующиеся как религиозные. Именно так называемые неполитические идеи как пример эсхатологических чувств и мыслей, — великий источник политического брожения и революций в истории западного мира вплоть до нынешних дней.

Большие сложности должны быть преодолены в отношении Средних веков. Прежде всего позвольте нам изолировать одну из наиболее решаемых проблем — проблему периода Великого переселения. Даннинг придерживался мнения, будто мы ничего не знаем о политической теории тевтонских племен, которые были активной клеткой формирования Западной Европы, а затем и национальных государств. Едва ли такая оценка была истинна во времена Даннинга, еще менее она истинна сегодня. У нас имеются описания периода переселения (Иордан, Исидор, Паулюс, Диакон и так далее) и множество других источников, а также огромное количество современных монографий. Благодаря им сегодня мы можем нарисовать цельную картину политических идей тевтонов, которые входят интегральной частью в понятие западного королевства. Пропасть, которая отмечается в большинстве работ по истории средневековой политической теории, как, например, в работе Карлайла, может быть преодолена.

Однако огромной проблемой остается удовлетворительная организация средневекового материала начиная с IX века. На сегодняшний день мы имеем два основных произведения, посвященных данному вопросу; это «История политической теории на Западе» Карлайла и *Sacrum Imperium* Демпфа. Две эти книги в значительной степени complementary друг другу, и благодаря им сегодня мы можем, по крайней мере, увидеть абрис проблемы и ее решения, которые невозможно было разглядеть даже двадцать лет назад. «История» Карлайла — важный энциклопедический источник информации, но он незавершен, поскольку принципы, на которых он построен, не позволяют автору

включить в список литературы то, что имеет отношение к превращениям идеи средневекового сообщества. Наиболее серьезная брешь в библиографии — это, возможно, отсутствие внимания к духовной литературе иоакимитов и францисканцев — литературе, которая отмечает начало идей третьего царства и возможных новых мистических тел, замещающих мистическое тело Христа. *Sacrum Imperium* Демпфса выделяет именно эти аспекты средневековых проблем, но его работа полностью посвящена истории Средневековья, потому что концентрируется на судьбе *sacrum imperium*, и поэтому она не может обратить достаточно внимания на рост институтов и идей, которые обнаруживаются в процессе формирования национальных государств. Оба трактата неудачны, поскольку не обращаются к литературе, связанной с сектантскими движениями. А эти движения образуют одну из важных параллелей в историческом потоке: поток этот сливается с главным западным течением в период Реформации и придает постсредневековой политике один из тех предположительно «современных» акцентов, благодаря которым был осуществлен подъем на главный уровень цивилизационного развития политических привычек и мышления, остававшихся в Средние века на субинституциональном уровне. Однако существует огромное количество монографий, в которых рассматриваются эти интервалы; среди данных книг заслуживают упоминания два великих труда американских ученых: исследование средневековых институтов профессора Макилвейна и исследование мистической религии Руфуса Джонса.

Этот ряд примеров не затронул великий комплекс «параллелей» византийской, исламской и еврейской средневековых историй и их контакт с историей Западного мира; равным образом не была затронута и проблема гармонизации между историями теории и политики, которая проявилась в современный период. Обнадешивает то, что в списке обнаруживается методологический принцип, который ведет нас к формулировке нашей задачи. Поле исследования широко открыто, на нем нет недостатка в проблемах, единственно, что беспокоит, так это отсутствие сил для того, чтобы решить их все немедленно.

Перевод с английского
Константина Аршина

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ?¹

Выражение «политическая теория» или «теория политики» знакомо каждому. Вопрос в следующем: что мы должны понимать под этим выражением? Точнее: каким образом мы можем осмыслить то, что должны понимать под этим выражением? Я ставлю именно этот вопрос, поскольку хочу привлечь внимание не к следствиям ответа, а к проблеме самого вопрошания.

В данном выражении можно выделить два понятия: «теория» и «политика», которые используются для взаимного определения. Мы знаем, что каждое из них встречается и в иных сочетаниях: мы говорим «политический маневр», «политическая партия» и «политический стиль», «экономическая теория», «теория игр» и «теория знания». Поэтому вполне уместно предположить, что в выражениях «политическая теория» или «теория политики» содержится нечто своеобразное. Однако, на мой взгляд, обнаружить это своеобразие можно, только рассмотрев значение каждого из этих понятий в отдельности. Я начну со значения слова «теория». Это слово греческого происхождения; в древнегреческом языке оно обнаруживается в небольшом словаре, состоящем из пяти слов. Каждое из этих слов обладает собственным значением, требующим отдельного исследования:

thea—что-то увиденное, «зрелище», инцидент;

theorein—смотреть, наблюдать за тем, что происходит;

theoros—стремящийся к пониманию наблюдатель; кто-то, кто наблюдает за тем, что происходит, задает себе вопрос о том, что видит и старается это понять;

theoria—действие или процедура осмысления того, что происходит: «теоретизирование»;

theorema—то, что может появиться в процессе «теоретизирования». Вывод, получаемый *theoros*. «Понимание» того, что происходит. «Теорема».

¹ Перевод сделан по: *Oakeshott M. What is Political Theory? // M. Oakeshott. What is History, and other essays.*—London, 2004. P. 391–402.—Прим. ред.

Главное достоинство этого словаря состоит в том, что он позволяет разделить «теоретизирование» как деятельность и возможный результат этой деятельности — «теорему». Это различие незаметно в повседневном словоупотреблении, в котором «теория» (как, например, в выражении «политическая теория») может означать как деятельность, так и вывод (умозаключение).

Во-вторых, этот словарь помещает в центр внимания «теоретизирование» — деятельность, которая о пределяется как попытка понимания. «Теоретизирование» — это обоснование или «доказательство» достигнутого вывода, это процедура открытия или исследования. Другими словами, это стремление жить в более понятном и менее загадочном мире.

В упомянутом словаре имеется несколько важных замечаний о теоретизировании как деятельности.

Во-первых, теоретизирование начинается тогда, когда достигнута определенная степень понимания. *Thea* — событие, с которого все начинается, — не просто констатируется, а осмысливается, становится объектом наблюдения, выделяется из числа других событий, возможно, даже именуется. *Thea* как таковое уже содержит первичную оценку того, что происходит. Оно для нас уже в какой-то степени понятно. В противном случае мы не смогли бы выделить его из числа других событий и сделать объектом наблюдения. Поэтому понимание — это не то, чем мы обладаем или в чем испытываем недостаток: мы не существуем без него и постоянно стремимся его углубить. Мы не можем вернуться к изначальной простоте, в которой отсутствует хоть какая-то оценка того, что произошло.

Во-вторых, предполагается, что этот «факт», *thea* не только понимается, но и нуждается в том, чтобы быть понятым. Это условная точка начала «теоретизирования» как деятельности. «Теоретизирование» имеет место, поскольку *theoros* не до конца удовлетворен своей первоначальной интерпретацией произошедшего. Остается какая-то загадка, туман, который он хочет рассеять. Он пока не знает, как будет выглядеть *thea*, когда полностью прояснится; он знает лишь то, что на данный момент *thea* для него до конца непонятно, и ему есть, над чем подумать.

В-третьих, предполагается, что «теоретизирование» — это попытка понимания в процессе вопрошания. То есть *theoros* не просто задумчиво вглядывается в факт, размышляя над тем, что бы он мог означать; он стремится сделать событие более ясным, и это стремление коренится в его неудовлетворенности существующим пониманием. Туман пока не рассеян, загадка не разгадана, существующее понимание не дает ответов на поставленные вопросы.

В-четвертых, предполагается, что любое заключение, к которому он придет, его «теорема», будет лишь углублением его первоначального понимания.

Поэтому между «фактом» и «теоремой» нет абсолютного разделения; и то, и другое — выводы; и то, и другое представляют собой понимание того, что происходит, но одно больше другого удовлетворяет требованиям понимания. Нет абсолютного различия между *theorizein* (наблюдением за тем, что происходит) и «теоретизированием» по поводу того, что происходит; и то, и другое — рефлексивная деятельность, посредством которой достигается понимание того, что происходит.

Под «теоретизированием» здесь понимается непрерывная, не ограниченная условиями деятельность ради понимания. Она начинается с события, которое формирует у наблюдателя определенное понимание и в то же время требует углубления этого понимания. Наблюдатель ищет более глубокий смысл в том, что уже имеет определенный смысл. Его главный принцип: «Никогда не останавливаться». Эта деятельность будет продолжаться до тех пор, пока событие не станет прозрачным, пока загадочный туман не рассеется, пока у *theoros* не иссякнут вопросы.

Предположительно, на этом пути он обнаружит несколько различных более или менее удовлетворительных трактовок, в рамках которых возможно получить ответ на целый ряд вопросов. Но каждая из этих вероятных трактовок представляет собой не только временную пристань, но также и точку начала нового вопрошания, поскольку *theoros* не может создать такие условия, при которых не возникнет целого ряда новых вопросов.

Позвольте проиллюстрировать сказанное. Греческий словарь, о котором говорилось выше (*theorizing*), был связан с тем, что может быть обозначено как сфера религиозных обрядов, театральных представлений и судебных процессов, а слово *thea* символизировало среди прочего наблюдение за чем-то, что происходит в «театре». Мы с легкостью можем назвать *theoros* не обычным театралом, а человеком, специально занимающимся тем, что происходит на сцене, — драматическим критиком, наблюдающим за игрой актеров, скажем, в «Антигоне» Софокла.

Его занятие — попытаться понять спектакль как часть драматического произведения и проанализировать предложенную режиссером интерпретацию. Он будет размышлять о произведении автора, игре актеров, работе режиссера, и то понимание, к которому он придет, будет находиться уже за рамками первоначально поставленных им как

что такое по истинности поэзия

театральным критиком вопросов. Например, он может проанализировать эмоции, которые вызывает спектакль, и искусство, с помощью которого автор и актеры их пробуждают, но он не задаст вопрос «что такое эмоция?». Его внимание сфокусировано на спектакле

Аристотель в «Поэтике» занимает принципиально иную позицию. Он не интересуется достоинствами и недостатками конкретного спектакля; его волнует «драма». Он понимает «драму» как конкретный тип «искусства», «искусство» — как конкретный тип *techné*, а *techné* — как конкретный тип знания. Несмотря на то что критик может похвалить в комедии шутку, которая его рассмешила, и выразить это в смехе, то есть «увидеть шутку», Аристотелю важно сконструировать *theorema* смеха самого по себе. Критик может отметить неудачный выбор времени выхода актеров на сцену; Аристотеля же интересует «время» как компонент драмы. И так далее в том же духе. Важно то, что серьезный *theoros*, человек, который действительно стремится к пониманию, всегда будет ставить вопрос об условиях, при которых возможна та или иная трактовка произошедшего. Другими словами, «теоретизирование» как таковое — не ограниченная условиями, длительная критическая попытка достигнуть совершенного понимания.

Говоря о непрерывном и безусловном характере «теоретизирования» как деятельности, хотелось бы также обратить внимание на следующее.

Важнейшее из условий любого условного понимания — обязательство продолжать вопрошание, которое, однако, может быть на некоторое время приостановлено.

Во-первых, вопрошание может быть приостановлено произвольно. *Theoros* может сказать: «У меня конкретная и ограниченная цель, я хочу понять, что происходит, а понимание, которого я уже достиг, удовлетворяет этой цели, и я считаю нужным прекратить дальнейшее исследование вопроса. Я достиг понимания того, что происходит, вижу, что оно основывается на конкретных условиях и предположениях, но я не собираюсь подвергать исследованию эти условия. Я предлагаю использовать то понимание, которое уже получено, и не пытаться достичь большего».

Одна девушка хотела научиться пользоваться логарифмической линейкой и сказала своему учителю: «Я не хочу понимать, я хочу знать только, как ею пользоваться». Таким образом, она изъявляла желание не углублять свое понимание, и у нее была на то веская, хотя и произвольная, причина. Она совершила единственную ошибку, отказавшись признать «знание, как пользоваться» конкретным основа-

нием понимания, пригодным для применения, преемственным, способным к самостоятельному условному завершению, но не способным защититься от дальнейшего вопрошания.

Этот тип произвольной приостановки «теоретизирования» достаточно распространен, и без него вряд ли можно обойтись. Например, если бы суды были не способны принять условность выражения «правда, только правда и ничего, кроме правды», если бы рассматриваемые ими дела всегда прекращались на то время, пока судья (которому помогают служащие суда) рассматривал вопрос «Что такое правда?», ни одно дело не было бы разрешено.

Но настоящий *theoros* не станет прекращать вопрошание таким произвольным образом. Ни одна ограниченная цель не может его удовлетворить. Он не стремится достичь понимания ради того, чтобы его затем использовать. Его заботит понимание само по себе, настолько полное, насколько это возможно.

Во-вторых, процесс понимания может прерываться систематически. Это происходит тогда, когда ради реализации целей понимания *theoros* останавливается на некоторых общих условиях, которые он отказывается критиковать, и когда он понимает все, что стремился понять на определенном этапе.

Простой пример этого типа прерывания «теоретизирования» обнаруживается в установке трактовать отдельные факты, объединяя их в классы. Факты, сгруппированные в классы, создают условную базу понимания, более или менее завершенную. «Теоретизирование» здесь — это решение исследовать эту условную базу понимания.

Возможно, это единственный совершенно четкий пример систематического прерывания «теоретизирования». Существуют и другие, не столь наглядные, но подходящие иллюстрации: например, то, что называется «психологическим» пониманием или объяснением. Сложно сказать, что именно в данном случае берется за основу, но, думаю, очевидно, что когда *theoros* говорит, что он ищет «психологическое» или «химическое» объяснение, он налагает на себя определенные условия, и эти условия зависят от значения слов «психологическое», «химическое», «физическое», «биологическое», «социологическое», используемых в сочетании со словами «теория», «понимание» и «объяснение». Во всех подобных случаях событие или факт, который кладет начало вопрошанию, является просто начальным началом любой другой случай из безграничного числа *theai*, а само вопрошание не завершается теоремой о *thea*, случайно ставшим ее отправной точкой.

Существует и третий тип прерывания «теоретизирования» — не произвольный и не систематический. У меня нет для него названия, но я постараюсь его описать. Каждая попытка понимания имеет признанную начальную точку в некотором остенсивно² определенном «факте» опыта. Она начинается с вопрошания о событии, о *thea* и развивается через вопрошание. Эти вопросы могут содержаться или ограничиваться произвольно выбранными условиями или систематически отобранными общими условиями, но также могут содержаться или ограничиваться способом, в котором «факт» опыта, который необходимо понять, уже определен. То, что принимается *theoros*, — это установление, идентификация факта опыта. Вопросы, которые он задает, обусловлены этим «фактом», как, например, в случае, когда ставятся следующие вопросы: «С какими событиями данное событие сходно, а от каких отличается?» или «С какими иными событиями данное событие может быть связано или может коррелировать?» Ставя подобные вопросы, стремятся дать более точную оценку и интерпретацию события сквозь призму качеств или характеристик, которые уже конституируют событие как «факт» опыта. В этом случае *thea*, событие — это не просто случайная начальная точка вопрошания, это необходимый «якорь» этого вопрошания.

Позвольте привести пример. Аристотель в своем трактате «Политика» определяет полис как сообщество людей и задается вопросом: «В чем его сходство и различие с другими сообществами? Похож ли он на пчелиный рой, колонию муравьев, „племя“ или „домохозяйство“?» Он обнаруживает, что каждое из этих сравнений страдает каким-то изъяном, но, задавая подобный вопрос, Аристотель заведомо ограничивает себя определенным способом понимания полиса как сообщества, то есть его заключение тесно связано с «фактом», тем определением, которое он дал полису изначально. Его анализ, несомненно, очень глубок, но он базируется на определенном понимании полиса именно как сообщества людей.

Этот тип прерывания «теоретизирования» обусловлен тем, что первоначальное понимание *thea* не должно быть каким-либо образом изменено, искажено или редуцировано к чему-либо иному. Главное в данном случае — спасти видимый «факт» опыта. Именно этот принцип господствует в любой простой классификации, например, в линнеевской ботанике, где основанием классификации являются

² Остенсивное определение — определение предмета путем указания на него либо демонстрации самого предмета. — *Прим. ред.*

наблюдаемые черты объектов. Так, позвоночные составляют класс, поскольку имеют общие наблюдаемые черты.

Пожалуй, это все, что я хотел сказать по этому вопросу в рамках рассматриваемой темы. Хотя, надо заметить, эта тема представляет нам весьма обширное пространство для рассуждений. «Теоретизирование» — это побуждение к пониманию, которое, конечно, может страдать от различных приостановок и задержек, но в целом не прерывно, не ограничено никакими условиями и не имеет скрытой цели. Впрочем, мы, по-видимому, уже наметили некоторые вехи для продолжения анализа выражения «политическая теория» или «теория политики».

В этом выражении слово «политическая» или «политика» определенным образом обуславливает, ограничивает и направляет деятельность «теоретизирования». Поэтому первый вопрос, который встанет перед исследователем, звучит так: каковы эти условия или ограничения?

Это произвольные условия? Нет. По крайней мере, они не похожи на те примеры произвольного ограничения, которые я приводил выше. В дополнении идеи «теоретизирования» идеей «политики», theoros не говорит: «Мое стремление к пониманию ограничено, а слово „политика“ превосходно подходит для удовлетворения моей цели».

Это систематическое условие? Нет. Слово «политика» не является общим и не относится к классу или категории «психологическое» или «химическое», или «физическое». Оно не обозначает общее условие понимания, которое theoros принял и не ставит под сомнение.

Действительно, слово «политика» в данном случае обозначает установление «того, что должно подвергнуться процедуре „теоретизирования“» или понимания (explicandum), а не метод или тип понимания. Но в словаре, который я представил выше, «то, что должно быть „понято“» или «подвергнуться процедуре теоретизирования», и есть thea, определенный «факт» опыта. Значит, выражение «политическая теория» обозначает деятельность «теоретизирования», побуждение понимать, связанное с определенным «фактом» опыта.

Поэтому можно представить как theoros говорит приблизительно следующее: «Я могу выделить событие или целый класс событий, происходящих в мире, — thea. И я сообщаю об этом названием того, что я выделил: я называю это „Политическим событием“. Не торопите меня уточнять, как я выделил и определил этот род событий. Это произойдет позже. В данный момент все, что я могу вам сказать, так это то, что „политическое“ событие не является, к примеру, пье-

сой Шекспира „Сон в летнюю ночь“ или классом детей, изучающих арифметику в деревенской школе. Я уже провел различие и надеюсь углубить его; занимаясь этим, я погружаюсь в деятельность „теоретизирования“. В качестве theoros я заинтересован в понимании того, что изначально определил как „политика“, и, делая это своим занятием, я становлюсь политическим теоретиком».

В данном случае «политический теоретик» — это theoros, участвующий в исследовании условной базы понимания, определении условий, при которых возможна данная деятельность, отличие которой от других он уже провел, назвав ее «политикой». Его занятие сходно с занятием «теоретика искусства» или «теоретика образования». Он может «теоретизировать» относительно уже определенной деятельности или события.

Конечно, его всегда будут смущать те условия, которые он сам для себя установил: ведь «теоретизирование» как таковое не должно быть ограничено условиями. Поэтому theoros сможет углублять свое понимание того, что он определил как «политика», только в том случае, если будет сопротивляться искушению задаваться вопросом по поводу им же установленных ограничений.

По-видимому, это то, что имел в виду Аристотель, когда говорил, что теоретик, который стремится понять определенный «факт» опыта, не должен говорить ничего, что отрицает этот «факт» опыта. «Факт» опыта в каком-то смысле господствует над стремлением понять или, по крайней мере, является его неперенным условием.

Однако в подобной ситуации обнаруживается нечто странное. Если «теоретик» в своем исследовании полностью зависит от того определения «факта» опыта, с которого он начинает свое вопрошание, то что он в таком случае может добавить к этому определению? Его теоремы о политике, конечно, будут связаны с тем определением политики, которое он принял: наблюдение, различие и тому подобные операции — только первые шаги в непрерывном обязательстве понимания. Имеется в виду не только то, что определение и теоретизирование — единая преемственная деятельность, но и то, что когда «факт» опыта уже имеет четкое определение, не остается ничего, о чем стоило бы говорить.

Но если «политическая теория» не пустое выражение, говорить все же о чем-то стоит. Вопрос в том, что такое «политическая теория»?

Я полагаю, что ответить на него наилучшим образом я смогу с помощью примера. Цель аристотелевской «Этики» — теоретическое понимание «факта» опыта. «Факт» опыта определяется различными способами, среди которых, вероятно, наиболее простой — определе-

ние посредством следующих высказываний: «это действие (которое я наблюдаю совершающимся) — хорошее действие» или «это добродетельное поведение, а это порочное».

Мы слышим подобные утверждения каждый день. Они нам понятны, мы знаем, что они означают. Это факты человеческого опыта. Но если мы знаем, что они означают, то что остается делать теоретику? Каким образом можно улучшить их понимание?

Аристотель полагал, что можно сказать нечто, что не было бы простым пересказом уже известного другими словами. О моральных суждениях можно сказать нечто, что не формулируется в самих этих моральных суждениях. Аристотель понимал деятельность *theoros* как выражение понятий нравственного поведения или моральных высказываний. Занятие теоретика в данном случае — понимать «факт» опыта сквозь призму соотнесенных с ним понятий, если возможно, системы понятий, таких как: размышление, выбор, цель, намерение, действие, прибыль, долг, ответственность, оправдание, сожаление, свобода, счастье и т. д. и т. п.

Что представляют собой эти понятия и каково их отношение к «фактам» опыта — нравственному поведению и моральному суждению, которые они должны каким-то образом «объяснить»?

Это общие понятия, которыми оперирует сознание, но которые редко или вовсе не проявляются в моральном суждении и которые требуется объяснить, для того чтобы придать моральному суждению ясность. Их можно назвать несформулированными предположениями морального суждения, которые, будучи обозначенными и всесторонне исследованными в качестве таковых, придают больший, высший и лучший смысл моральным суждениям как «факту» опыта. Не имеет смысла отличать одно моральное суждение от другого, необходимо выделить его из всего класса моральных суждений. Понятие нравственного поведения — это не идея, которую человек, совершающий моральное действие, то есть действие, признаваемое истинным или ложным, должен, как предполагается, иметь в сознании, когда действует. Это идея, без которой его действия остаются непонятными или неверно понятыми.

Теперь, я полагаю, невозможно отрицать, что понимание событий или ряда событий сквозь призму соотнесенных с ним понятий более плодотворно, нежели иные способы понимания. Это именно тот тип деятельности, который подходит для «теоретика». Но эта деятельность только в том случае будет соответствовать своей цели наилучшего понимания определенного «факта» опыта, если этот «факт» принимается в том смысле, что ничто в нем не отрицается

аксиомами, и если аксиомы выступают в качестве теорем, соотносящихся с «фактом» опыта.

Таким образом, теоретизирование в данном случае не просто связано с «фактом» опыта, а соединено с ним по существу. «Факт» опыта сам по себе обеспечивает условия, наблюдаемые теоретиком. Если, например, «свобода выбора» причисляется к аксиомам нравственного поведения, то это понятие должно быть ограничено сферой нравственного поведения. Другими словами, теоретик в этом случае должен отказать себе в роскоши неограниченного изучения аксиом. Он занимается исследованием условной базы понимания, изучает те понятия, которые «обеспечиваются» самим «фактом» опыта. Сам «факт» является базой понимания.

Позвольте мне привести еще один пример, проясняющий то, что я понимаю под данным типом «теоретизирования».

Давайте предположим, что «факт» опыта является ритуальным действием, точнее, религиозным ритуальным действием, таким как месса. Этот «факт» опыта ясен и представляет собой сочетание отдельных, вполне определенных действий и фраз. В то же время этот «факт» нуждается в более глубоком осмыслении, поскольку загадочный туман вокруг него не до конца развеян. Как можно прояснить этот «факт»? Что необходимо делать «теоретику»? На какие вопросы ему нужно искать ответы?

Отталкиваясь от уже данного указанному «факту» определения, теоретик может задаться следующим вопросом: «Каким правилам следуют при выполнении этих действий и произнесении этих фраз?» Ответ на этот вопрос будет получен только в том случае, если вопрос будет сопровождаться вопрошанием, поскольку внешний ритуал ничего не говорит о правилах, которым следуют, если таковые вообще имеют место. Вполне возможно, что *theoros* сам должен создать эти правила, поскольку нет сборника правил, где они были бы четко сформулированы и упорядочены. Однако несомненно, что если он рассматривает ритуал сквозь призму правил, признанных в качестве причины ритуала, он понимает этот «факт» опыта намного лучше.

Что еще может сделать теоретик? Он может задать вопрос: «С какими понятиями соотносится этот ритуал?» Что представляют собой эти понятия? Несомненно, это убеждения. Затем теоретику необходимо раскрыть те убеждения, которые могут быть причиной ритуала и основой соблюдаемых правил. Впрочем, убеждения лишь отсылают к причинам ритуала, оставляя его смысл непроясненным. «Теорией» ритуала является «теология»; для осмысления происходящего требуется целый ряд теологических «теорем».

Но если для осмысления происходящего необходима теология, происходящее само по себе устанавливает границы, в рамках которых должен работать теолог. Верования, которые он предлагает в качестве причин происходящего, должны соотноситься и быть непосредственно связанными с происходящим.

Именно так я понимаю выражение «политическая теория» или «теория политики». Это «теоретизирование» или «понимание» в подлинном смысле слова, ограниченное понятием «политика», причем ограниченное не случайно и не систематически. Оно основано на вполне определенном и понятном «факте» опыта. А по-настоящему глубокое понимание этого «факта» опыта достигается посредством обращения к соотнесенным с этим «фактом» понятиям.

*Перевод с английского
Константина Аршина*

БИХЕВИОРАЛЬНОЕ ПОКУШЕНИЕ

ДЖОРДЖ КАТЛИН

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?¹

I

Ответ на такой серьезный вопрос, как «что такое политическая теория?», из-за недостатка места может быть только рассмотрен в самом общем виде. Здесь мы лишь стремимся проанализировать критику, а не завершить ее, а также сформулировать ее заново с учетом революции, произошедшей в теоретических подходах к политической науке тридцать лет назад — революции, основная тема которой состояла в «серьезном восприятии политической науки»².

Первое и наиболее очевидное разграничение в политике можно провести между политической теорией и политической деятельностью. Однако это разграничение еще не так очевидно, как полагают некоторые люди. Весьма спорным вопросом остается следующий: является ли кто-либо компетентным преподавателем политической теории, если он не занимается политической деятельностью; это верно в достаточно широкой перспективе — в гораздо более широкой, чем в случае, например, с экономистом, который с большей вероятностью может быть консультантом в практических вопросах, даже ничего не смысля в структуре банка, фабрики или профсоюза. Однако все это не означает, что данный человек должен быть банкиром или менеджером. И уж, конечно, это не означает, что практическая деятельность или непосредственный опыт охватывают собой всю сферу той или иной области знания. Если проводить аналогии дальше, то это также не означает, что хирург не должен оперировать, если вдруг на нем самом не проводили операций. Однако можно со-

¹ Перевод сделан по *Catlin G. E. G. Political Theory: What is It?* // *Political Science Quarterly*. 1957. № 72 (March). P. 1-29.

² Текст этой статьи был прочитан в качестве инаугурационной речи профессора политических наук Бронмана; университет Макгилл, 22 октября 1956.

гласиться с вторящим Марксу Лениным, который рассуждал о бытии теории и практики. Грэхам Уоллас, точку зрения которого я стараюсь принять (несмотря на то что она была практически невозможна в той сфере, где должна почитаться в наибольшей степени), был прав, когда подчеркивал великое значение практического опыта — например, в местном самоуправлении. Слишком много академических учебников на самом деле составлены на основе сборников парламентских стенограмм и на самом деле вводят в заблуждение относительно действительного положения вещей. Говоря словами Джона Дьюи, которые он произнес в своей *«Реконструкции философии»*, «запрещенные условиями и удерживаемые недостатком мужества от того, чтобы сделать свое знание движущей силой, чтобы фиксировать события сторонники теории наблюдения «нашли прибежище в самодовольстве»³. И, наоборот, говоря словами бывшего президента Колумбийского университета и теперешнего президента США, существует изобретенный и остающийся без применения «резервуар знания».

Среди множества истерических жалоб о «конце цивилизации» все требуемым сегодня остается лишь ученый-ядерщик, а не творческий социальный ученый. Общественности требуется, чтобы ее проблемы были решены «ученым», под которым обычно понимается физик, хотя его профессиональное мнение в этой области может иметь не намного больший вес, чем мнение любого дилетанта. Так называемые великие вопросы пытаются решить при помощи риторики. Однако эта ситуация наблюдается не только в манере популярных выражений, но и при оценке величины средств фондов — средств, получаемых от правительств на исследования; термин «ученые» означает «ученые физики» как в строгом смысле, так и в нестрогом. Отношение к остальным «ученым» выражается в размышлениях, описаниях и анекдотах. Гонорары сегодня подсчитывают лишь ученый-ядерщик и ортодонт.

Политика, как и Галлия, разделена на три части. От политической практики, по крайней мере в теории, мы отделяем теорию. Но сама теория разделена на политическую науку и политическую философию. Неопределенность использования усложняет обсуждение. Быть может, не имеет значения то, какие термины мы используем, однако имеет значение то, что это употребление должно быть непротиворечивым.

В самом начале необходимо сделать самое важное предупреждение при определении «области» политики, с которой должна общаться

³ См.: Дьюи Д. Реконструкция в философии // Д. Дьюи. Реконструкция в философии. Проблема человека. — М., 2003. — Прим. ред.

теория в целом. Огромный риск в данном случае состоит в том, что — явно или неявно — мы будем должны принять определение, которое окажет негативное влияние на результаты исследования. Имея перед собой образ шляпы, мы можем знать, куда, во-первых, можно посадить кролика, а во-вторых, откуда его выгнать. Благотворным будет уменьшение логического позитивизма в философии и увеличение доли логического анализа в политике наряду с точным использованием слов и их связей друг с другом прежде всего не для описания таких метафизических абстракций, как суверенитет, независимость, свобода, демократия, социализм или капитализм, но для описания объектов чувственного опыта. Давайте обратимся к реальной деятельности и будем избегать того, что называется метаполитикой.

А так как обыкновенно значение слов имеет двойной смысл, то весьма разумно было бы обратиться к их этимологии. Прежде всего я обращусь к слову «политика» в терминологии Аристотеля. Она затрагивает работу так называемых *избирательных участков* — *polis* (которые понимаются, как указал профессор Роберт Макайвер, не в «современном стиле»), структуру семьи, управление рабами, морфологию революций и комментарии к той «чистой демократии», о которой все мы совершенно забыли бы, если бы не доктор Гэллп. «Демократия» эта включает национальную политику — муниципальную и международную — патриархию, «экклезиастическую политику», структуру профсоюзов и другие организации служащих. Принимать во внимание все эти вещи и приходить к, быть может, пугающим заключениям — все это занятие политических ученых, которые сохраняют таким образом свой предмет в чистоте. Гений (как Руссо, например, который был человеком плохо образованным, заблуждающимся, сентиментальным, беспорядочным и нечестным) как раз и заключается в том, чтобы все это делать. Более широкое описание — классическое — поможет нам уклониться от ловушки мертвой руки XVII века; оно спасет нас от тоталитаризма Левиафана или даже от (относительно) фальшивого индивидуализма Гоббса. Оно освобождает нас от Бодена и правоведов. Давайте вернемся к Аристотелю.

II

Как мне кажется, по нескольким интеллектуально важным параметрам политическую науку как одну из составных частей политической теории невозможно отличить от социологии. В академическом смысле они, естественно, различаются, поскольку более молодая дисциплина (на сегодняшний день не представленная ни одной

кафедрой ни в одном из старейших британских университетов) находилась в атмосфере мелочного развода, пребывала в состоянии юношеской девиации, занималась коллекционированием комиксов (как указывает профессор Дэвид Райсман), разговорами о принципах, о пропаганде, о влиятельных группах, о матриархате и др. Все это считалось политическими учеными, воспитанными в исторических и правовых школах, действительно «достойным» и свойственным науке. Однако это было по меньшей мере несчастливой случайностью, как, например, рабство, проиллюстрированное профессором Теодором Абелем, в котором находились немецкие социологи и философы. Сохранение разделения социологии и политической науки в то время, когда наиболее мощный импульс к развитию получали науки из смежных областей, оказало стерилизующий эффект. Отказ от этого искусственного деления (оно недавно было восстановлено в одном из известнейших американских университетов), совершенно пагубного для ученых, привел к действительно важным последствиям. Во-первых, благодаря ему внимание ученых было обращено на отношения и структуру общества в целом, что избавило их от иллюзии, будто форма или организация общества, возникшая между XV и XVII столетиями в Европе и называемая современным государством, не является статической, вечной, устойчивой и общезначимой. Тем не менее большая часть современной политической теории, а особенно та, которая исследует равновесие власти, фактически является статической и потому искаженной. Теоретики постоянно забывают о том, что человеческое общество принимает бесконечное число форм, которые можно разграничить функционально или которые исторически следуют одна за другой. Также ими забывается, что каждый человек — член многих социальных организаций, а не только государства или нации, и ни одна из этих организаций не является совершенной в смысле полной независимости от других существующих форм общества.

Все мы на практике исповедуем принципы политического плюрализма, то есть мы признаем, что от наших социальных действий зависит, увеличится ли количество вариантов выбора и насколько вырастет ответственность, лежащая на наших плечах при том или ином выборе. Ошибка коренится в «аксиомах», не выраженных ясным образом, и недоказанных гипотезах политических теоретиков. Коренится она также в слишком свободном и некритическом ограничении поля исследования «изучением государства», что в свою очередь предполагает обращение, пусть и бессознательное, к терминологии националистического «духа времени».

Во-вторых, подобное самоограничение поля исследования приносит гармонию в общие теории общества, разработанные как политическими учеными, так и социологами. На последнем факультетском семинаре в университете Миннесоты было интересно наблюдать за политическими учеными, дискутирующими о законах, закономерностях и константах поведения и с готовностью приводящими в качестве доказательства формулы таких социологов, как Макс Вебер. Конечно, не может ни один сколько-нибудь стоящий политический ученый позволить себе быть незнакомым с работами Эмиля Дюркгейма⁴, Вильфредо Парето, Макса Вебера, Толкотта Парсонса и Роберта Мертона. В-третьих, как недавно указал профессор Дэвид Истон в работе *«Политическая система»*, научное препятствие для модной сегодня трактовки политики (и я не думаю, что в этом виноваты Бентам и утилитаристы) состоит в том, что она, политика, стала предметом кабинетных споров, войн и договоров; по этой причине темы, которые должны обсуждать ученые, немногочисленны. Но даже и в этом случае из-за больших временных промежутков, из-за привязки к определенному месту или окружающей обстановке эти темы несколько несовместимы. Существует около 80 независимых государств, которые можно использовать в качестве примеров, и, согласно Тойнби и Теггерту, где-то 21–26 отличающихся друг от друга «культур». Время от времени ученые, если они используют метафору социальных организмов, терзают фальшивые аналогии из биологии, и 80 независимых государств становятся 80 млекопитающими левиафанов. Даже сравнение партий, так хорошо проведенное профессором Морисом Дюверже, который предоставил нам если и не законы, то хотя бы правила, может стать сферой фальшивых аналогий, если попадет в менее умелые руки. Беда политики, как и многих других старых дисциплин, например права, в том, что они, в общем, тяготеют к наиболее возвышенным и окончательным суждениям, не замечая тривиальных деталей и обстоятельств. Возвращение по-утилитаристски скромного мироощущения, до того как власть захватят неогегельянцы, могло бы быть плодотворным: возвращение к Сиджвику вместо Бозанкета, к Бентаму вместо Гегеля и (самому модному на сегодняшний день) Маркса. В качестве альтернативы было бы неплохо сконцентрировать внимание на простом описании институтов и отказаться от созда-

⁴ Ср.: введение автора к «Правилам социологического метода» Эмиля Дюркгейма (1938; перевод Соловая и Мюллера) и «Разделение общественного труда» Дюркгейма, переведенное моим другом и учеником профессором Симпсоном.

ния теорий, что очень бы не поправилось Ленину. И из-за фальсификации это направление не получило развития. Социолог, напротив, справедливо берет за основу исследования мириады индивидуальных действий и тысячи отношений между группами. Здесь и находится основание для авторитетных сравнений и, в лучших традициях Аристотеля и Макнавелли, для наблюдений за константами. Может быть, будет лучше, если мы обратимся назад не только к Сиджвику, но и к Макнавелли, особенно к его работе *«Размышления о первой декаде Тита Ливия»*.

В-четвертых, наивысшая заслуга синтеза социологии и политической науки состоит в том, что он позволяет нам ясно разграничить феномены власти, принимающие многие формы в процессах социального поля. Вместо статического описания, в котором может или не может быть осуществлено сравнение объектов (решение этой истинно линнеевской задачи, естественно, очень важно, хотя оно и требует внимательного отбора и указания направления, а не только того, что мода называет «прозорливостью»), этот новый синтез указывает на возможность определить процесс и функцию в динамическом поле, что преодолевает простые схематические определения структуры. Прежде всего определяются властные процессы, затем результирующие системы и их специфические функции, наконец наиболее детальные организации и институционализация этих систем в истории. Мы должны скрупулезно исследовать и открыто говорить, что именно мы принимаем за *единицу* исследования в нашей системе общества. Я считаю, что властные акты — это «акты индивидов». Как говорит Сомервелл, пересказывая Тойнби: «Общество — это система отношений между индивидами».

Доктрину равновесия, которая имеет ценность при применении к идеальным нормам и авторство которой профессор Истон, завышая мои заслуги, приписывает мне, необходимо использовать критически. Политическая норма, или функциональная модель, действительно представляет собой подвижное равновесие удовлетворенности вне зависимости от того, несет ли удовлетворенность «благо» или нет, а, как указывали Фрейд и Парето, общества имеют тенденцию к возвращению из состояния возбуждения к состоянию равновесия на политическом рынке. Однако в этом случае мы весьма рискуем оказаться во власти услужливой спенсеровской теории «регулирования социальной среды» (существующего или предполагаемого), которое может принять в обществе фашистскую или корпоративную форму. Лайонел Триллинг недавно указывал на опасность такой социологической ереси.

Мы можем называть политику, если хотим (вместе с профессором Кии), «исследованием правительства», понимая, что термин «правительство» в данном случае используется просто как синоним термина «управление» и не пересекается с понятиями «президент» или «кабинет министров». Однако нам следует понимать, что наша теория должна оправдывать анархические аргументы и что мы должны опасаться ошибок, связанных с перегруженностью терминов и придания нашему определению с самого начала той авторитарности, которую мы наеемся, как я уже сказал, «вытащить из шляпы» только в финале. Мы можем также называть политику «исследованием могущества и влияния», если вслед за Джорджем Вашингтоном мы увидим, что «влияние — это еще не управление». «Политика, — пишет Макс Вебер в *„Политике как призвании и профессии“*, — это борьба за власть или влияние на тех, кто обладает властью, она охватывает борьбу между государствами самими по себе и борьбу между организованными группами в рамках государства»⁵. (Один из самых замечательных и оригинальных исследователей данной темы профессор Гарольд Дуайт Лассуэлл (также использует термин «влияние»).) Но работа Вебера, слишком долго остававшаяся незаметной, а теперь в качестве компенсации оказавшаяся перехваленной, также включает в себя типологические трактовки на основании социальных ролей: короля, премьер-министра, старика, домохозяйки, а может быть, и премьер-министра как старика! С точки зрения социологии, я расцениваю это как слишком опасную тему. Могу сказать откровенно, мне кажется, что этот путь ведет в глубокую и вязкую трясику — к положению, когда человек, считающий, что он стоит на твердой земле, на самом деле тонет. Это свойственно гуманитарным наукам (психологии, «наукам о духе»). И вполне может напомнить социальному историку «социологию знания» Макса Вебера и Макса Шелера, восхваляемую Карлом Мангеймом и серьезно критикуемую Карлом Поппером. Однако в этом случае стираются точные границы, а последующее ясное изучение предмета заменяется светом веберовской хэллоуинской тыквы.

Кроме того, мы вместе с Парсонсом и Шилзом можем сказать, что «политическая наука» интересуется только «классом конкретных феноменов» власти и не пытается анализировать или определить, что может означать термин «управление». Но это утверждение одновременно совершенно противоречит тому, что здесь было высказано и, используя обыденную терминологию, говорит нам о сложности объединения платоновского «Государства», «Левифана» Гоббса или

⁵ Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. С. 646. — Прим. ред.

«Общественного договора» Руссо темой «политика», которая в данном случае описывается как предмет исследований вспомогательных видов конкретных феноменов. Естественно предположение, что все эти социальные темы, поскольку они неприемлемы для антрополога, психолога или историка, должны быть отнесены к социологии, а политические ученые должны получить полупочетное удостоверение об увольнении в качестве *defuncti officio*⁶, не вызывает у автора этого текста никаких возражений. Однако возникает определенного рода сложность, связанная с некоторыми социологами, которая состоит в том, что они настолько непритязательны и погружены в детали своих разысканий, что помощи от них никакой не наблюдается. При всем этом я не хочу критиковать или даже пытаться корректировать четкие определения социологов, но хочу защитить политических ученых и предположить, что большинство из них стали слишком эрудированными, чтобы позволить социологам создавать общую теорию вместо них.

III

Тем не менее, чтобы показать отношения между политической теорией и практикой или чтобы сказать, что тот, кто профессионально занимается предметом, должен одновременно быть и социологом, и политическим ученым, совершенно необходимо определить точную область политической науки⁷. Это было превосходно сделано членами лучшей в мире школы политической науки — Чикагской школы, особенно профессорами Чарльзом Мерриамом и Гарольдом Лассуэллом, в том числе и мной (однако сегодня Чикагская школа немного изменила направление исследований и представлена именами профессора Ганса Моргентау, воззрения которого близки фон Трейчке, также она представлена антиинтеллектуализмом профессоров Дэниела Бурстина и Эрика Фёгелина — антиинтеллектуализмом, столь хорошо видным в его Уолгриновских лекциях). Можно сослаться на работу Лассуэлла «Психопатология и политика» (1930) и книгу лорда Рассела «Власть» (1938). В общих чертах область политической науки — это область исследования социального управления или, более точ-

⁶ Мертвые души (лат.). — Прим. пер.

⁷ Это является примером того, что я пытаюсь сделать в более обширном исследовании, посвященном политическим элементам, общей теории политики; в некоторой степени я уже затрагивал эти темы в 1927 и 1930 годах в работах «Наука и метод политики» (1926), «Принципы политики» (1930).

но, — управленческих отношений желаний людей и даже животных (Исследование муравьев позволяет провести аналогии с тоталитаризмом; исследования обезьян, не прибегая к фальшивым аналогиям, позволяет получить понятие об обществе, управляемом доминирующим самцом; исследование ласточек — идею об упорядоченном и ритуалистичном анархизме, похожем на свободный гангс, исследование крыс — мысль о существовании поведения, направленного на изучение окружающего мира, и наличии системы сдержек в человеческом обществе.)

Но ничего не может быть ближе к истинным политическим исследованиям или иметь большую практическую ценность, чем наблюдение условий, которые наиболее способствуют тому, чтобы люди повиновались закону. Исследование столь значимого вопроса, как измерение степени подчинения человека системе, состоящей из нескольких вопросов или множеству детализированных законов, может быть наилучшим образом проведено при помощи сравнения подчинения нормам на двух различных предприятиях (а может быть, в разных обществах), подчинения правилам дорожного движения или распоряжениям муниципальной власти, производя больше примеров, чем в области статичных законов, где в случае двух сравниваемых обществ другие факторы могут быть менее влиятельными, а образцы — менее многочисленными и менее «чистыми». Мы обязаны работе профессора Хоманса «Человеческая группа» множеством примеров глубоких исследований, показывающих наши реальные действия, раскрывающие подчинение или неподчинение человеческим законам так называемого высшего нормативного интереса: адвокатов или политических ученых. Схожим образом исследование групп не обязательно должно быть ограничено, как указывает профессор Дэвид Труман, только гражданскими группами. Выдающаяся работа об отношениях властных структур и групповых интересов была проделана профессорами Одегардом, Херрингом и Труманом, поскольку это исследование было проведено в более формальном (хотя это и не всегда признается) виде: на основе данных о политических партиях, изложенных в произведениях Острогорского, Михельса и Дюверже. Эта работа содержит все признаки того, что последний отчет ЮНЕСКО «О преподавании политической науки» (1956) называет «политизацией», а именно углубление подхода к изучению различных политических функций влияния не только в областях гражданского суверенитета. Это, а также использование гипотезы власти — два революционных изменения в политической науке за последние 30 лет — они, согласно отчету, и «повлияли на сущность политической науки».

Если мы обратимся к абстракциям, причем как к абстракции, которая следует за практикой, предполагающей, что делать выводы можно, даже пренебрегая альтернативными дискуссиями, так и к абстракции, предполагающей определенный тип поведения, как в случае с *homo politicus*, в качестве схемы или первоначального интереса к исследованию средств достижения выводов, то мы достигнем не больше, чем любая другая наука. Говоря словами профессора Морриса Коэна (может быть, излишне акцентируя внимание), «каждая ветвь науки имеет целью принять форму рациональной механики или геометрии, в рамках которой мы напрямую сталкиваемся не со сферой существования, а со сферой истинности». Абстрактная схема должна быть проверена фактами, собранными в процессе полевой работы. Например, такую социально-правовую проблему, как невозможность преодоления запрета, невозможно решить, пока вместо моральных обобщений мы не обратимся к проблеме и не займемся ее решением при помощи точного социологического анализа. Простой тест является тем местом, где все эти абстракции и парадигмы будут полезны с точки зрения систематического понимания, проницательности и предусмотрительности.

Концепция политической науки, заинтересованной в средствах и отличной от политической философии, заинтересованной в целях (таким образом проясняющая по определению, чем должны заниматься ученые в этой области), здесь рассматриваться не будет⁸. Нам не столько интересна историческая «личность» с ее смущающими точное познание индивидуальными достижениями или абстрактная личность, или «деятель как таковой», сколько само действие. Область политической науки — это индивидуальный акт власти. Единственная достойная осуждения опасность, исходящая от некоторых экономистов, а особенно от пишущих трактаты небожителей экономистов-классиков, состоит в том, что мы можем спутать абстрактную схему, абстракцию предмета с Естественным правом, а затем разрушить все это при помощи моральных императивов. Социологические гипотезы или законы профессора Дюркгейма были иногда использованы секулярной образовательной пропагандой Третьей республики, но я не думаю, что социологи и политические ученые (называемые сэром Джоном Сили политическими) в общей массе могут быть столь глупы. Гипотеза — есть гипотеза, а абстрактное определение — это абстрактное определение. Тест — это единство интерпретации.

⁸ Я уже писал об этом в статье в журнале «Western Political Quarterly» в декабре 1956 года.

Ни одна наука (позднее мы обсудим, должны ли мы говорить «ни одна философия») не интересуется теми ошибками, которые она совершила в прошлом. Намного более важно современное положение дисциплины, а также то, насколько далеко эволюционировала общая систематическая теория, или, как ее называли Лассуэты и Кларк, «концептуальная структура», которая является одним из наилучших индикаторов зрелости науки и которая никак не соотносится с институциональными анекдотами, написанием политических памфлетов и тому подобной риторикой.

IV

В этой работе мы попытались дать общее определение полю исследования политической науки и преодолели ненужные ограничения и старые барьеры. Но определение, даже если говорить о динамическом процессе, а не о статичном каркасе, согласно которому «политика — это изучение властных взаимоотношений разных волей» (термин «личность» был бы слишком исторически нагруженным, если не сказать обманчивым или карлейловским, а кроме того, использование данного термина делало бы менее понятным деятельность групп) — само по себе статично и мертво. Оно указывает нам, где искать, но не объясняет, что нужно искать. И если возникнет целая область исследований, в которой можно будет говорить о том типе прогресса, который связан, например, с именами Адама Смита, Рикардо или даже Маркса, то необходима некая оживляющая или даже «счастливая» гипотеза, выдвинутая почти произвольно, волюнтаристски и оценивающая данные с точки зрения «а что, если...». Мы должны увидеть систему, которая там всегда была, но которую до этого никто не видел, но после этого каждый должен увидеть ее. Нам необходимо озарение. Однако также нам необходимо смирение, для того чтобы признать, что гипотеза — это всего лишь гипотеза, а не догма, что не существует «единичных причин» или простых, объясняющих все и сразу теорий и что, когда вторичные законы становятся в общем слишком сложными, чтобы соответствовать, с точки зрения опыта, первичным, мы должны выдвинуть какую-то новую, более широкую гипотезу, которая, как сказал Анри Пуанкаре, сможет научно охватывать все.

Ту гипотезу, с которой я лично работал, я не предлагаю здесь ни развивать, ни серьезно обсуждать. Профессор Томас Кук из университета Джона Хопкинса в обзоре ЮНЕСКО описал мой подход как постулативный или гипотетический, а подход профессора Лассуэлла как психологический. Кроме того, он где-то еще назвал нас дво-

их «тупиковыми потомками» современной политической истории». Вместе с тем наш известный канадский коллега утверждал, что я работал скверную кличку Макиавелли современности. Признаюсь, не знаю, какое из прозвищ принять. Может быть, и сам Макиавелли был «тупиковым потомком». Я также не осмелюсь защищать позицию профессора Лассуэлла, поскольку он сам может это сделать гораздо лучше меня. Может быть, это так потому, что он менее психологичен и положительно настроен к Фрейду в своих поздних работах, чем в ранних.

С самого начала я был бессовестно «психологичным», если использовать терминологию Грэхама Уолласа и Джеймса Брюса, хотя я и был первым, кто предположил, что доктрины фрейдистов и сторонников учения Адлера сегодня совершенно не такие, какими они были 30 лет назад (и даже что сам Мастер изменился и, как Сатурн, проглотил своих собственных потомков, фрейдистская концепция, скрещенная с адлеровской «властью-вождедением», теперь зовется «инстинктом смерти», в отличие от простого фрейдистского вождедения). Дни, когда, как уже было сказано, психоаналитики принимались, как охотничьи собаки, к стволу Древа познания, давно в прошлом. По этой причине скорее всего было бы мудрее продолжать основанные на гипотезах исследования, чем обращаться к наработкам какой-либо психологической школы; это было бы мудрее и потому, что «гипотеза» представляет собой яйцо, не более наполненное «плотью», чем исследование Лассуэлла, именуемое *«Психопатология и политика»*. Что по меньшей мере является истинным, так это то, что моя гипотеза была настолько же фундированной, насколько и разработки профессоров Мерриама и Лассуэлла, которые стояли у истоков (ревизии и ренессанса) взглядов, популярных Бертраном Расселом в его *«Власти»*, и основу которых можно увидеть еще в его *«Азбуке большевизма»*. Их взгляды систематически развивались (изображая почтительное уважение к старым) и переросли догадки и псевдогеометрию Гоббса, достигнув стадии эмпирической проверки и прогнозирования.

Эта теория, если говорить словами Лассуэлла, гласила, что «политическая наука есть исследование распределения и формирования власти, или, как сказал бы я, «феномена власти, принимая во внимание временную гипотезу об основных, но неверно осмысленных порывах к власти как определяющую». Именно в жестких рамках гипотезы в процессе проверки мы можем должным образом сослаться

⁹ Хотя в другом месте он отзывался о нас как об отцах-основателях.

на определение политики как на «науку о власти». В самом начале эта доктрина, которая сейчас празднует двадцатипятилетний юбилей, была очень подозрительной, еретической и непопулярной. Сегодня количество книг о политике, имеющих в названии слово «политика», почти фантастично, поэтому можно утверждать, что тезис существующей массовости его использования доказал свою состоятельность. Сегодня может потребоваться не отказ от этого суждения, но более пристальный анализ явления, именуемого «властью», нежели тот, который практиковался до сих пор. Может оказаться так, что основные типы стремления к власти — это виды невротических заблуждений и, следовательно, их можно «успокоить», не теряя и даже не уменьшая стабильность социального контроля. Точка зрения, что вся политика — это политика власти, также как и та, что политика — это реакция на моральные воззрения архиепископа Фенелона или лорда Актона, изложенные в письме к епископу Крейтону, согласно которым «власть — это яд», и что «власть имеет тенденцию разлагаться», эволюционировала от новизны к банальности, а от банальности — к искажению. Следовательно, как утверждал Дин Инг, сначала человек сказал «невозможно» или «ошибочно», затем этому же приписал статус «аморального», и уже потом все стали говорить, что это всегда так и было.

Теория власти в политике функционирует, и это необходимо подчеркнуть, в качестве гипотезы *homo politicus*, а не как догму о политических средствах. Может статься так, что, если факты о власти поддерживаются широко распространенным, хотя и не универсальным стремлением к власти, некоторые стороны этого стремления будут скорее патологическими, чем нормальными, с психологической точки зрения. Мы не должны подвергать теорию такой критике, какой подверг епископ Батлер идеи Гоббса, когда ему показалось, что слова были настолько искажены, что с их помощью можно было доказать все, что угодно. В отличие от марксистского материалистического или экономического объяснения истории (если в этом и состоит действительно, как я думаю, марксистская позиция), наша теория не универсальна. Здесь работает огромное число факторов. Эта гипотеза построена на смеси теории Гоббса (и частично Макиавелли) и клинического опыта Адлера, а иногда и Фрейда. Она стимулировалась ранними попытками Аристотеля разработать науку о революционных изменениях. Пока мне лично известна работа Артура Бентли, в которой содержатся протесты против того, что сейчас называют метаполитикой, хотя она еще не вошла в научный оборот. Я не читал этого произведения и потому не могу оценивать его ценность.

Однако ценность гипотезы должна измеряться ее полезностью при объяснении поля исследования, когда предполагается существование определенных факторов, и еще тем, как гипотеза раскрывает первичные константы. Гипотезу необходимо изменять вместе с тем, как эволюционирует наше психологическое знание. Очевидно, что теория стремления к власти соотносится с психологическими типами поведения «ухода» и «пассивности» не напрямую, а только до той степени, до которой они являются не просто тактическими отговорками: можно предположить, что те, кто следуют этим типам поведения, не оказывают влияния на политическую сцену, но материально заинтересованы, чтобы играть на ней, или же являются теми, кто бежит от ответственности, однако чье влияние ведет к аномии. Это могут быть люди, жаждущие, чтобы их контролировали, или стремящиеся избежать ответственности в этом мире, а также люди, которые творчески ищут поддержки рациональной и дающей уверенность власти, отличной от власти невротической или не вызывающей доверия, равно как бегущие от калибанова сопротивления. Макс Вебер на самом деле настаивает на том, что проблема состоит в изучении лидерства. Однако совершенно отличный тип представляет собой поведение (например Ганди), которое пытается брать ситуацию под контроль при помощи такого руководства, которому присуща более утонченная, хотя и очень древняя, интерпретация значения власти.

Остается одно — принять в качестве поля нашего исследования всю область поведения, относящуюся к контролю одного человека над другим, или группы над индивидом, или группы над группой, и, хотя такие структуры могут отличаться в своих установках, они не столь различны в отношении психологической целостности при их объяснении (или моральной целостности). На таком стабильном порядке основывается вся социальная организация, и для ее обеспечения возникают институциональные организации. «Характерное действие "властной политики" можно определить как деятельность, которая выстраивает, консолидирует и хранит существование обществ», — пишет Бертран де Жувенель в небольшом и заставляющем задуматься эссе, вышедшем недавно в Кембриджском журнале. Можно предположить, что средства управления имеют своим источником обычные нужды людей, даже в том случае, когда те стремятся к более полному освобождению, а не возникают потому, что общество должно навязывать их как нечто механическое или искусственное неиспорченной природе повинующегося инстинктам или благородного дикого человека — несмотря на то что некоторые анархисты,

а также ряд фрагментов в работах Руссо или Кондорсе, могут поддерживать веру в это. Если так много институтов — государство, священничество и другие — являются порочными и пагубными, то как, можем спросить мы, они могли так замечательно развиться из человеческой природы? Фрейд, как и Гоббс в данном случае, в ответ может указать на то, что эти властные структуры возникают не благодаря некоему созданному человеком социальному или правовому «институту» власти, внешнему, как говорил Юм, но благодаря тому, что человеческая природа не только нуждается, но, несмотря на низофрейровские бунты, о которых Фрейд говорит в «Неудовольствие культуры», даже требует таких структур.

Более того, на первый взгляд это предположение не основывается на произвольном или абстрактном определении границ поля исследования, однако тезис является дискуссионным и нуждается в эмпирической проверке. Связанные отношения двух полярных требований свободы и власти являются *fons et origo*¹⁰ политической науки и сами по себе сопоставимы со связанными отношениями спроса, предложения и конкурентной цены в экономике. Внешне парадоксальные отношения указывают на проблему, для решения которой, согласно одному из тезисов, мы должны дать политикам указания на некоторые научные и на практике приемлемые решения, которые можно использовать в будущем. То, что «внутренняя свобода удовлетворять общественным требованиям изменяется при прочих равных условиях, обратно пропорционально внешнему влиянию», кажется мне одним из тех наблюдений, может быть даже общих мест, как, например, законы физики, которые еще остаются выражением постоянства и формулируют не изолированный, а логически когерентный общей теории закон. Следствием из всего сказанного является следующее: если убрать необходимость в защите от внешнего давления, то подавление внутренней свободы производит (как в Польше) угрожающий взрывом дисбаланс, который невозможно поддерживать иными методами, за исключением силы. Даже закон тяготения просто указывает на тенденцию и косвенно опровергается в определенных обстоятельствах, например, фактом того, что сейчас мы обсуждаем эти вопросы там, где мы есть, а не в центре Земли и не внутри Солнца. Я не хочу сказать, что этот «закон обратного отношения» только внешне основывается на человеческой природе, что он является просто статистическим выражением частых случайностей или же одним из видов полезных инструментов, являющихся

¹⁰ Источником (лат.). — Прим. ред.

ся носителями истины в определенных условиях *социальных фактов*, как в случае с такими определенными правилами, как, например, так называемое правило куба на партийных выборах. Более того, все это имеет самое близкое практическое отношение к эволюции тирании. Каждый олух или пораженец может, конечно, сказать, что этим путем мы далеко не уйдем. Но вопрос скорее таков: что он сам сделал чтобы выйти из тупика?

V

Я с удовольствием разработал теорию власти и надеюсь ее развивать дальше, но не в этой статье. Меня сейчас более интересует возможность предупредить о том, что, как мне кажется, является опасными оскорблениями или неверными толкованиями теории. В предисловии к книге *«Мир в гипнозе»* знаменитого немецкого автора доктора Леопольда Шварццилда профессор Дэнис Бруган писал: «Власть, военное могущество играет важную роль в мировой истории, так было, есть и будет, и этого не могут отрицать ни религиозные мнения, ни проповеди, ни резолюции»; этому Джордж Кеннан посвятил много страниц, поскольку считал важнейшей характеристикой американской традиции и науки. Это было замечательно сказано, и я уверен, что профессор Бруган не хотел отождествить власть и военную мощь. Более двусмысленный пассаж можно найти в журнале *«Американская стратегия в мировой политике»* в статье профессора из Йеля Николаса Спайкмана. Он пишет: «Международное общество — это общество без центральной власти, предоставляющей закон и порядок, и без официального представительства, защищающего своих граждан, удовлетворяющего их права. Результатом этого является то, что отдельные государства должны сохранять и улучшать свою властную позицию, и это — первая и основная цель их международной политики». Этот род власти необходимо «улучшить» или преумножить, что в данной ситуации сближает его с теми видами контроля или властными позициями, которые можно назвать «господством». На это указывал и об этом предупреждал еще Макиавелли.

Здесь можно заметить, что взгляды другого известного ученого-историка фон Трейчке, изложенные им в *«Политике»*, во многих отношениях созвучны известной традиции немецкой философии. Здесь наблюдается почти антитезис сентиментальной и безответственной риторики, используемой, чтобы угодить избирателям, — риторикой, основным содержанием которой — считать войны случайными, тревожными, дорогими и глупыми событиями; эта риторика явно была

осуждена Джорджем Кеннаном. У нас есть антитезис удовлетворенности работой ООН, которая «является не клубом по интересам», но истинным полнительным органом по поддержанию мира. Я ссылаюсь на работу профессора Ганса Моргентау, с которой, должен признать, совершенно не согласен. Профессор Моргентау действительно прекрасно развивает идею о, если использовать его слова, «состоянии политической мысли в наше время» (1952). Но я бы сказал, что здесь необходимы исправления, избавление от путаницы (практические следствия этой путаницы будут не менее серьезными, поскольку они общезначимы) рода, то есть власти, и вида, то есть господства. Даже идея Гоббса о делении правительств, возникших благодаря завоеванию, и правительств, имеющих своим основанием договор, — которое, тем не менее, он, как и Данте, не довел до своего логического завершения в сфере международных отношений, — было более продумано.

В работе *«Политика среди наций»* (1948) профессор Моргентау пишет: «Естественная цель всех научных предприятий — открыть силы, которые управляют социальными феноменами и функционированием социальных объектов [...]. Социальные силы — продукты деятельности человеческой природы». (Схожим образом Джон Пламенатц из колледжа Наффилд в Оксфорде говорит: «Это, конечно, не означает, что не существует социологических законов. Социальные феномены должны изучаться так же, как и любая другая часть окружающего мира»; эта область «все еще испорчена философией».) Моргентау также отмечает: «Международная политика, как и всякая другая политика, — это борьба за власть. Какие бы ни были конечные цели международной политики, достижение власти всегда является ближайшей целью». (Он определенно не согласился бы с членом парламента от ланкаширского округа Инс, сказавшим: «Господин Неру не играет в политику с позиции силы».) Многие из нас действительно чувствуют, что нежелание Америки, которая из-за этого терпит большие издержки, противостоят важной проблеме власти может закончиться военным поражением и что ее идеалистическое и безграничное разрушение баланса власти, чрезмерное, иллюзорное потворство строительству власти русской диктатуры в последние годы Второй мировой войны были преступлениями против демократии и самой страны. Пока мы можем согласиться с позицией профессора Моргентау. Но насколько далеко, исходя из сути данного вопроса, он сможет пойти при рассмотрении американской традиции — будет необходимо узнать в будущем.

В своей ранней работе *«Ученый и политика с позиции силы»* (1947) профессор Моргентау даже более откровенен. «Эта переоценка [за-

надной традиции. — Д. К.] должна начинаться с предположения, что политика с позиции силы, основа которой лежит в общей для всех людей жажде власти, именно по этой причине неотделима от социальной жизни самой по себе. Для того чтобы убрать из политической сферы не политику с позиции силы — эта задача лежит за пределами возможностей любого политического философа или системы, — а разрушающее действие этой политики необходимы рациональные способности, отличные и превосходящие разум научной эпохи [...]. Пренебрежение политикой с позиции силы и неспособность управлять государственными делами вынудили эпоху попытаться сделать из политики науку. Делая это, она продемонстрировала свое интеллектуальное смятение, моральную слепоту и политическое разложение».

Некоторые места в произведении Моргентгау напоминают важную, но неоднозначную работу «*Das Damonie der Macht*»¹¹ (1940) профессора Герхарда Риттера из Фрайбургского университета. Для того чтобы преодолеть столь печальную ситуацию, которую он сам и описал, профессор Моргентгау незамедлительно начал писать книгу (обсуждаемую в данный момент), которая должна была «снять пелену с уже известной истины» — может быть, пелену относительную, поскольку он уже обеспечил доверие исторического релятивизма к истине и «сделал для теории — и в перспективе для практики — в политике все, что может предложить данная книга». Немногие могут сказать честнее.

Современный автор должен признать, что для понимаемой в верном ключе политической науки не нужны такие упражнения в «научном гуманизме» или «рационализме», которые предлагает профессор Моргентгау; и более того, при условии верного анализа, кооперация также может быть формой власти, пусть более тонкой и сложной для создания, но и более стабильной, чем господство, хотя, с точки зрения этики, мы, наверное, должны добавить, что эта кооперация, если она хоть с какой-нибудь точки зрения более предпочтительна, чем господство, должна быть построена на определенных принципах, а не просто на «желании нравиться». Она также не должна основываться на мазохизме или недостатке инстинктивного стремления к выживанию. Но что она в своем роде может быть эффективной силой — силой, которая приводит группу к согласию на различных уровнях также хорошо, как и управляющая сила вне этой группы — кажется очевидным и приводит к определенным последствиям, ограничивающим распушенную жажду власти, основывающуюся на стра-

¹¹ «Демонизм власти» (нем.). — Прим. ред.

хе и недоверии. Эта важная тема, которая затрагивает основные направления мысли, здесь больше не может обсуждаться. Как только теория была сформулирована достаточно полно, необходимо переходить к практике и начитать сбор релевантных данных, как, например, в криминологии, сбор информации об использовании власти торговцами для самозащиты или о профессиях «разбойников, отошедших от дел» и заслуживших уважение. В какой степени это исторически истинно на примере поведения целых наций?

В рамках политической науки, как ее нужно правильно называть, необходимо сделать еще одну ремарку. В своей книге «*Принципы политики*» (1930) я попытался вычертить концепцию *политического рынка*. Она оказалась полезной для создания политических схем, я уже указывал на одинаковые методы такого бурного методологического развития в экономике — схожей дисциплине. Профессоры Парсонс и Шилз действительно не так давно использовали термины, которыми они описывают экономику «распределения», главным образом на психологическом уровне; профессор Джордж Хоманс в книге «*Человеческая группа*» сделал то же самое, а профессор Эрнст Баркер в своих последних работах также говорил о рынке в политическом смысле, но скорее ради аналогии. Однако Парсонс и Шилз говорят точно и без аналогий о «распределении (оборудования и вознаграждений) в различных стратах населения, большинство которого требует» — оптимистично добавляют они, забывая о предупреждениях Гоббса о ничем не ограниченном желании, «все новой и новой власти до самой смерти», «и она [власть. — *Ред.*] не будет слишком сильно превышать то, что они получают. Без решения этой проблемы вообще не может быть социальной системы». На основании проблемы рынка я разработал доктрину подвижного равновесия, которую комментирует профессор Истон и на которую я уже ссылался, приводящую к прагматическому удовлетворению как к норме и представляющую собой норму как в экономике, не в смысле морального императива, а в смысле модели идеала и периодической тенденции.

Рыночный механизм возникает на основе простого факта, что каждый человек хочет удовлетворить свои желания настолько, насколько сможет и предпочтет «и съесть пирожное, и сохранить его», чтобы иметь бесплатные политические товары и услуги, при этом строго определенная¹² «свобода» и «власть» не противоречат друг

¹² «Свобода», и в этом я согласен с профессором Скоттом, также включает моральное «разрешение», и она должна быть точно отделена от «свободы в рамках закона», которая, санкционированная и утвержденная, может нести в себе те

другу, но комплиментарно сбалансированы. Чтобы сохранить свободу, которую я желаю, я должен взамен оказать поддержку власти, что может мне чего-то стоить. Говоря короче, я не могу съесть пирожное и одновременно сохранить его: я оказываюсь в противоречии (в котором оказываются даже монархи) благодаря закону политического выбора. Баланс достигается, когда человек получает в системе социального контроля столько, сколько он и ожидал, не чувствуя того, что переплатил. Проблема, конечно, упрощается, если существует тот вид «соглашения об основных принципах», который для марксистов, например, в принципе отсутствует; и когда мы, с точки зрения культурологического анализа, имеем «врожденные» желания, удовлетворить которые стремится благожелательная и услужливая власть. Но это поднимает смежный вопрос об образовании, а также о том, что Уолтер Липман называл «публичной философией»¹³, рассматривающей ожидания и роли. Сегодня слишком часто «мы не знаем, чего ожидать», однако рынок продолжает существовать.

Можно возразить, что эта похожая на экономическую схема является «только методом ведения разговора», лингвистическим стилем, и это очевидно, особенно когда мы используем термины «рынок», «стоимость» и т. д. Однако, несмотря на то что наша терминология может быть экономической, чтобы мы могли избежать умножения жаргонизмов, все-таки процессы обмена и договорных отношений остаются и требуют определения. Употребление терминологии — экономической или правовой — оправдано в том случае, если она служит целям анализа изучаемых процессов.

Более того, здесь существует практическое оправдание. Если мы в качестве свободных торговцев наблюдаем за тем, как стороны торгуются на рынке, не волнуясь о том, что работодатели предлагают законодателям более высокую цену, чем профсоюзы, что политические партии предлагают свои конкурентоспособные законодательные товары, как, например, каталоги Сирза, Робака или Маршалла Филда, своим избирателям-потребителям, мы с меньшей вероятностью можем впасть в безумие исповедания ложных принципов о данном предмете. С большей вероятностью мы будем придерживаться

этические нотки «достоинства», которых де Жувенель требует в работе «*Дискуссия о свободе*».

¹³ В русскоязычной литературе уже существует перевод термина «*public philosophy*», принадлежащего Уолтеру Липману. Этот вариант перевода адекватно отражает суть понятия, и менять его на какой-либо другой не имеет смысла. См.: Липман У. Публичная философия. — М., 2004. — Прим. ред.

в партийной и национальной пропаганде беспристрастных и терпимых взглядов на объективные требования, на которые необходимо обращать внимание в любую эпоху (невзирая на то, что мы лично о них думаем), принимая во внимание поддающийся качественной оценке объем спроса. Мы должны ожидать, что скорее обнаружим политические циклы, заключающиеся в переходе от акцента на свободе к акценту на безопасности или власти, и наоборот. Здесь можно говорить о школе дипломатов. Когда мы хотим измерить «объем спроса», мы приближаемся к тому количественному подходу к политике, который, — не заходя так далеко, как лорд Кельвин, заявлявший, что «только то является знанием, что можно взвесить и измерить», — согласно известной фразе, идущей из университета Чикаго, утверждает, что политика является настолько глубокомысленной и важной дисциплиной в сфере профессионального прогресса, насколько далеко она ушла от анекдота и риторики. Я бы в качестве предупреждения сказал, что сборники статистической информации, которая собиралась ради нее самой, могут оказаться ненужными, тривиальными и даже обманчивыми.

VI

Это приводит нас к следующему пункту, где мы можем пересечь границу между политической наукой и политической философией. Насколько далеко зашла прагматическая торговля на политическом рынке, изменяя властное равновесие между индивидами, группами и нациями, если она не представляет собой идеального равновесия общего согласия? Насколько высоко рациональное качество «обоснованной цены» и действительного спроса независимо от объема, спроса, который при условии его удовлетворительности может привести к согласию о том, что некоторая власть имеет характеристики почти морального императива, и который при условии его неудовлетворительности наоборот может привести к действительному недовольству, социальной дисфории и ухудшению здоровья? Все это является предметом рассмотрения Естественного права и, конечно, достаточно большой темой самой по себе. Необходимо указать на то, что такой публицист, как Уолтер Липман испытывал настоящую ностальгию по Естественному праву, которое он мог бы использовать в качестве основания для его «публичной философии», а также на то, что Естественное право было серьезной проблемой для католических ученых, потому что такой профессиональный юрист, как профессор Кембриджа Лаутер-пахт, указал на Естественное право как на необ-

ходимое основание юриспруденции, находящееся в основании всего действующего права. Современная юриспруденция была сбита с толку ложной и популярной впоследствии в Америке школой, которая в конечном счете, как цинично указал мистер Джастис Холмс, сводит основание права к одному вопросу: «Кто кого убил?». Лично мне кажется, что сейчас возрождение Естественного права совершенно необходимо.

Верно выраженная теория Естественного права не только оправдана, но и необходима, а также является основанием для соотношения права и фундаментальной политики, и я добавлю, социологии и психологии. Очень важно правильно понять, что подразумевается в этом случае. Субъективизм и желанный идеализм, понятие «естественных прав», появляющееся то здесь, то там как будто из метафизической перчатницы, — понятие, которое использовалось в Естественном праве со времен Фомы Аквинского или Реформации до времени Дона Остина и позднее, должны быть отвергнуты. Правда, что до той степени, до какой человек является созданием, выражающим выбор между скрытым могуществом и творческой одаренностью. Естественное право, применимое в релевантном сегменте поведения, должно быть рациональным и этическим, согласно объективным правилам. На этом основывается католическая позиция. Существуют обширные сферы человеческого поведения, которые зависят от требований психологической системы, или «псьюхе», которые сами ведут себя согласно известным правилам поведения. Эти правила можно сформулировать. Они являются эмпирическими и поддаются тестированию; имея более развитые знания в медицине и психологии, мы можем многое о них узнать.

Все это не является, как считает Стаммлер, темой «Естественного права с изменяемым содержанием», поскольку очевидно, что обстоятельства вносят изменения в факты, но являются темой развития знания в деталях. Мы можем, конечно, не придавать значения этим правилам, постоянным реакциям и законам, если захотим, — и вот уже мы обдумываем гораздо более старое понятие права, чем статусное право современных самоуверенных независимых государств. Но, как и в случае с законом всемирного тяготения для человека, который пытается перепрыгнуть через пропасть, так и здесь, если мы ломаем эти правила, то неизбежно будем подвергнуты наказанию. Число π всегда остается числом π , что бы, согласно легенде, ни говорил законодатель из Техаса, что оно бы было более простым, если бы не содержало десятичной точки, — штат Техас провозгласил это своей властью. Павлов говорит нам, что стремление к свободе —

это действительно инстинкт, поскольку его полное подавление заканчивается смертью. Я обязан моему старому другу Джеймсу Макстону, члену парламента конкубации Клайдсайд, иллюстрацией того, что местный закон Глазго, который запрещает детям играть на улицах, если у них во дворе нет игровой площадки, поскольку играть для детей совершенно нормально, как с точки зрения природы, так и здоровья, является плохим законом, *nulla et vana*¹⁴. Позитивный закон — тот, который своими санкциями стремится быть образом и деятельным дополнением естественного закона с его финальными санкциями. Законы политической науки являются ничем иным, как формулировкой констант в социальных отношениях; формулировки эти, поскольку они являются абстракциями, не нужно путать с естественными законами (эту ошибку совершают некоторые экономисты), несмотря на то, что они, при условии если они адекватно выражают то, что происходит, выражают практически тоже самое. По этой причине, поскольку мы стали воспринимать их как продиктованные благоразумием команды, их можно нарушать, когда вздумается. Однако если мы их нарушим, нам придется понести наказание. Позитивный закон можно, конечно, сформулировать и по-другому, так, чтобы он был достаточно эффективным, но в этом случае у него не будет никакой социологической основы в константах человеческой природы. В ответ на уже описанную мной критику доктора Поппера в «Открытом обществе и его врагах» я скажу, что такой рациональный закон является естественным и действительно «натуралистичным», в том смысле, что он поддается эмпирической проверке. Но, как и в медицине, те, кто думают, — поскольку они в ней не нуждаются, — что существует этический императив оставаться здоровым, будут считать такой закон также моральным правилом или моральной нормой.

VII

Следующий большой раздел политической теории — это политическая философия. Если позволите, я процитирую доктора Альберта Швейцера: «Я был опьянен восторгом общения с реальностями, которые могут быть определены со всей точностью, я был совершенно далек от любого желания недооценить человечество, как это делали многие другие, находясь в таком же положении»¹⁵. Как я уже указывал, политическая наука в теоретическом отношении неотделима

¹⁴ Несущественным и бессодержательным (лат.), — Прим. ред.

¹⁵ Schweitzer A. Out of My Life and Thought. — Baltimore, 1998. P. 103. — Прим. ред.

от социологии (если только мы не отождествим последнюю с антропологией), поэтому я считаю, что политическая философия (и философия права) — это просто часть мантии философии. Философия говорит с социальным акцентом. Несмотря на то что я совершенно не согласен по уже указанным причинам с изречением великого нам флетиста Гарольда Ласки, что «политика — это раздел этики», я соглашаюсь, что политическая философия — это часть этики. В самом деле, политическая философия по своему содержанию более близка к этике, чем этика с логикой или онтологией, которые традиционно считаются разделами философии. По той причине, что я не хочу втягивать себя в широкую дискуссию о философии, мои ремарки будут краткими и, может быть, покажутся даже догматическими и крайне спекулятивными. Моя цель в этой работе, как я уже говорил, указать на цели или последние ценности и их непосредственное практическое значение относительно нашей политики в образовании. Я бы сказал, что человек практики был бы плохо осведомлен, если бы заключил, при условии что достичь согласия невозможно, что предмет исследования неважен. Как только человек начинает спрашивать «для чего нужно национальное благо?» или «что такое хорошее общество?», он задает философские вопросы. И если мы не можем согласиться с этим и мы в итоге не согласимся (хотя я понимаю, что профессор Джулиан Хаксли считает, что мы все же согласимся), то по крайней мере ценно здесь то, что мы способны четко выразить нашу точку зрения на то, что мы занимаемся самообразованием и вырастаем из мелкой провинциальности, что мы изначально не выступаем с внутренне противоречивых позиций, если, конечно, не делаем этого сознательно, поскольку в данном случае считаем закон противоречия неуместным.

Я бы начал с того, что принял бы позицию, поддерживаемую почти в гномической форме Витгенштейном, что «этика есть эстетика». Точка зрения, что эстетика, например, трагедии, должна быть только эстетикой созерцания, а не воли и действия и что, в свою очередь, мы никогда созерцательно не оцениваем соответствие этическим нормам, кажется мне недостойной того, чтобы ее поддерживали. Я уверен, что Витгенштейн не имел в виду, что необходимо оценивать моральные действия так, как будто они представляют собой запах розы. Я не думаю, что даже Джон Дьюи с его инструменталистским подходом к этике, успеху и прогрессу мог бы такое предположить. Вероятно, имелось в виду следующее. Альбрехт Ритчль считал, что оценочные и эстетические суждения принадлежат к одному роду, несмотря на совершенно противоположное мнение Ри-

тчая об этом. Эти суждения, утверждаю я, не являются исключительно субъективными, но основываются на некоторых объективных условиях, которые люди договорились считать прекрасными. Не нужно забывать, сколько наших этических определений ценности также являются эстетическими. Я готов к тому, что мне могут сказать, что самое обыкновенное качество эстетического суждения, как, например, отношение музыки к математике звуковых волн, имеет некоторое отношение к физико-электрической деятельности мозга человека и его согласованности. В этой сфере мы знаем немного, и она предлагает нам обширную область для первопроходческих и революционных исследований. В истории искусства, конечно, существуют многочисленные свидетельства эксцентрического изменения вкусов человека, которые можно сравнить со свидетельствами, предлагаемыми антропологией. Тем не менее существует нечто, называемое прекрасным, как в созерцании, так и в действии. В терминах прекрасного мы прямо и бескорыстно оцениваем даже такое банальное понятие, как долг. Существуют еще и каноны прекрасного, которые можно изучать, как это недавно утверждали насколько несхожие, настолько и неортодоксальные авторы мисс Гертруда Штайн и академик Кеннет Кларк. Именно они признаны теми знатоками искусства, которые формируют ареопак вкуса. Ученым-философам, которые ищут новые подходы, можно дать хороший совет — изучать этот ареопак, позаимствованный у многих, начиная с Шефтсбери и заканчивая Шиллером и Гёте, начиная с Хатчинсона и Шеллинга и заканчивая Бальфуrom и Мальро. На самом деле теологи оказались более восприимчивыми к этому направлению, чем философы, если не считать платоников.

Какими бы ни были явные ошибки экзистенциалистов, они еще спасут нас от тоталитарного уродства: предположения, что ценности основываются на врожденной оценочной системе, соотносящейся с социальными ожиданиями окружающих, и с Большим братом, помещенным в наше сознание в качестве Супер-Эго. Обоснование этики суждениями, которые являются фундаментальными или аксиоматическими в эстетике, несмотря на рациональные или логические заключения, вместо того чтобы основывать ее на антропологических традициях, на свойственном им экологическом или историческом релятивизме, или на этической ситуативности более вероятно, чем то, что экзистенциализм может быть свободен от этой бесчеловечной ошибки. Эта ошибка может снизить «уважение к личности», о которой мы так много говорим, до уровня «нашей ориентации» «ориентацию на деятельность» других людей по отношению к со-

циально пригодной и эффективно функционирующей организации, функционирующей по примеру крыс только для выживания или бесцельного удовлетворения собственных потребностей. Я утверждаю, что это пародия на философию, несмотря на мое искреннее уважение к некоторым исследователям, избравшим этот путь. С водой они выплеснули и младенца. Для последователей Дюркгейма, который по политическим причинам (если позволите сменить метафору) нашел Рай в устремленной ввысь экстраполяции несчастной Третьей республики, опиумом для неудовлетворенности которой оказалась новая секулярная и социологическая религия научного гуманизма, это оказалось слишком просто.

Если мой общеполитический подход, который может дать нам эстетический абсолют, будет признан, это вызовет определенные последствия. Эти ценности останутся в своей плоскости, и их нельзя будет спутать с важной схемой позитивной политической науки, занимающейся контролем как средством, и властью (позитивизм, который все еще должным образом ограничен в его применении к истории из-за его же абстрактности и механистичности моделей). В другом месте мы поговорим о том, не может ли возможность сама по себе — например, возможность для человечества достичь звезд — быть далекой от того, чтобы быть этически нейтральной в качестве средства, но действительно обладать ценностью в качестве коллективной цели и быть в некоторой степени боготворимой. (Здесь возникает интересный теологический вопрос: является ли всемогущество Бога частью Его добродетели.) Мы можем апеллировать, как это традиционно делали римские юристы в поисках норм, к разуму и инстинктам. Однако логика снова приведет нас к допущениям или аксиомам, — в данном случае эстетическим — которые сами по себе не выводятся из логики. Инстинкт же предоставляет слишком ограниченный путь в сфере, полной казуистики и реального морального поведения в жизни.

Тем не менее существует еще и третий признак наших этических суждений, кроме разума и инстинкта. Обратимся к определенным эстетическим ощущениям, которые, согласно замечательным словам стоиков, «доставляют нам убеждения, такие же очевидные, как волосы на голове». Существует также ареопаг суждений и образования относительно этих индивидуальных убеждений, который сохраняет их от того, чтобы они стали грубыми, неинтегрированными в культурном отношении и слишком простыми. Слово «культура», как это будет показано далее, имеет двойное значение — например, когда мы говорим о культуре аборигенов и когда мы говорим о (практи-

чески в совершенно противоположном (смысле) культурном человеке. Третий и корректирующий признак необходимо искать в истории, но в истории определенного класса. История, которая не имеет цели сама по себе, может дать нам отчет о человеческих оценках. Такой подход коренным образом отличается от того, который считает историю философской сагой успеха, говорящей примерами. Я объясню моему старому и уважаемому учителю профессору сэру Эрнсту Баркеру и его книге *«Традиции вежливости»*, в которой он предложил одно из лучших описаний этого подхода. В книге он кратко сделал то, что я стремился выразить гораздо более многословно: это можно назвать попыткой создать скромную философию истории и ценностей¹⁶. Учитывая то, что претенциозно называется «социологией знания», нам следует обратить внимание на скромное влияние биографий мыслителей на их идеи и сложность интерпретации схоластики их мыслей и абстрактных ошибок без знакомства с их эмоциями и скрытыми предубеждениями; я был прежде всего заинтересован исследованием того, не существовало ли постоянного и главного направления человеческих суждений о ценностях, которое я называл Великой традицией ценностей. Достоинство работы сэра Эрнста Баркера в том, что, вобрав в себя лучшее из Бёрка и избегая ошибки представить Бёрка лишь «патриотическим», локальным, провинциальным (как сейчас хотят сделать многие), она доходит до вершин действительного гуманизма, а не просто секулярного гуманизма. Мы почти достигли уровня великого духа Гёте (благодаря которому у Джона Стюарта Милля через Вильгельма фон Гумбольдта появились его наилучшие догадки) и даже осознали, как мы можем достичь не только католических, но и экуменических высот.

VIII

Следует ли из этого, что мы достигли того, что называется «публичной философией»? Я могу ответить только словами директора Нового колледжа в Оксфорде доктора Арчибалда Спунера, великого гуманиста, но плохого математика, который, еще будучи студентом в тот момент, когда его спросили, как он сдал экзамен по геометрии, ответил: «Я не думаю, что я что-то доказал, но представил я все достаточно правдоподобно». Другими словами, при необходимых услови-

¹⁶ Моя работа *«История политических философов»* является необходимым дополнением и третьим томом трилогии, завершающим мою методологическую и научную работу.

ях человеческого невежества мы не можем, по моему мнению (в отличие от мнения Хаксли), и не должны ожидать общего согласия относительно философии целей и ценностей. Такое согласие, как однажды сказал великий доктор Рашдал, будет «зависеть от того, будет ли существовать Инквизиция». Компенсация состоит в том, что если на небесах знание действительно идеально, следовательно, при условии что мы обладаем всеведением, то у нас не было бы необходимости в свободе, которая в данном случае становится «идеальным занятием», однако мы получаем удовольствие от выбора и совершенствования. Образованный человек может рекомендовать обществу избегать ошибок. Традиция, как то делает епископ Батлер, традиция как «весьма возможная». Хотя в данном случае существует право не согласиться или даже быть приверженцем другой точки зрения — *haereses oportet esse*¹⁷, ведь не соглашаются именно те, кто имеет интеллектуальный долг информировать свою совесть и создавать причины для отклонений. Можно ожидать, что и общества развиваются по тому же пути.

Должен сказать, что я совершенно не согласен с тем, что Арчибалд Маклиш называет американским предложением, которое, как я подозреваю, могло бы стимулировать Липмана написать его «Публичную философию». Естественно, я не согласен, что это американское предложение на самом деле является таковым, а не просто предложением Маклиша, это «предложение» является следствием того, что люди не только могут свободно мыслить, но и правы в том, что такие мысли у них есть — Гоббс говорил, что никто не в силах предотвратить этого, — но также «верить в то, что говорить, и говорить то, что думать [...] и делать, что говорить». В заключение можно сказать, что не только в свободной стране все имеют право выражать свою точку зрения (фраза «трещать о чем-то» — отнюдь не глубокое оскорбление), но также и что, — и это, как я предполагаю, является основным направлением доказательства Маклиша — изменяя основные взгляды либералов на нашу «образованную демократию», каждый имеет право решать, что является правильным и подходящим в образовании, и соответственно не отдавать предпочтения мнению одного человека перед мнением другого. Факты и мнения таковы: «все рождено равными в условиях демократии». Это противоречит здравому смыслу. Математика, например, не демократична, ее выводы остаются одинаковыми, несмотря на мнения. Мнения же не являются свободными и равными, и 60 миллионов французов и 6 миллионов шотландцев могут ошибаться. Мы можем сказать, что в суждениях вкуса

¹⁷ Надлежит быть и ересям (лат.). — Прим. ред.

и ценности единообразие возможно, но желательно, чтобы в развивающемся мире их единообразие наблюдалось не во всей полноте. Я полагаю, что выраженную здесь философскую позицию, также как позиции Юма, Паскаля и Ньюмана, можно назвать консервативной и (в некоторой степени) скептической. Я не уверен, что смогу принять одно из двух описаний формы традиционного гуманизма как адекватное, но я не буду обсуждать это здесь. Важно добавить, что даже консервативная философия может быть революционной и что, например, демократия в чистом виде, как она понимается многими от Аристотеля до Руссо, кажется мне, привлекает одобрение вечной плебисцитной системы, на которую ссылается Ренан и которую защищает доктор Гэллуп, работающую в мире очень маленьких государств или кантонов (истинных благотворителей цивилизации), которые объединены в очень большие регионы, но о которых так много спорят сегодня политики, очень сильно озабоченные проблемой национального государства.

Два последних пункта. В том, что я сказал, имплицитно содержится идея, что роль учителя, стремящегося разработать публичную философию, является совещательной, а не обязательной — как и современные родители не навязывают своим детям партнеров по браку, однако могут рекомендовать им тот или иной вариант. Мы бы согласились жить без элит, владеющих мирским мечом, но это не означает, что божественная справедливость автоматически простирается на большинство или что мы не нуждаемся в инструкциях. Если сказать по-другому, я соглашаюсь с точкой зрения профессора Арнольда Тойнби, что общества развиваются благодаря силе идей и что наша собственная цивилизация эволюционирует скорее в социальную форму, которая управляет вещами и связывает их с общими ценностями — форму, которая более сравнима — как и говорил Августин — с церковью, нежели с государством, поскольку *vis coactiva*¹⁸ последнего как его отличительная характеристика и признак основывается на людях. Такое истинное сообщество ценностей могло бы, по крайней мере хоть в какой-нибудь форме, сохраниться и при тоталитарном, и при индивидуалистическом, и при морально нигилистском, и при секулярно индифферентном правящем режиме, добиваясь возможности управлять этим государством, как это было в Греции или наставляемом христианами Риме. Тем не менее такое сообщество не могло бы развиваться и процветать в культуре, потрясенной силой и объединенной свободой против тирании.

¹⁸ Побуждающая сила (лат.). — Прим. ред.

Более того, я благодарен профессору Эрнсту Кассиреру за его поздние работы, особенно за его «Эссе о человеке». Сделанного мной недостаточно: нужно попытаться сформулировать традицию ценностей только в терминах истории идей, даже если сделано это будет в том виде, который Платон называл архитектурным. Традиция ценностей более широко представлена в народных обычаях и, наверное, наиболее полно, в формах искусства, в трагедии и, конечно, как в случае с Грецией, в сакральной трагедии цивилизаций. Профессор Хоманс также говорил об этой роли религии. Здесь культура символически перемещается на первый план, а социальная культура, которая здесь обеднена, является действительно бедной в психологическом отношении. Иногда, конечно, эта народная трагедия и символизм не выходят за рамки провинции или нации. То, что человеческий дух устанавливает католический миропорядок, является его — духа — триумфом. Сейчас необходимо указать, что, согласно описанию доктора Рут Бенедикт, американские индейцы Северо-Запада были воспитаны в ключе агрессивной и доминативной психологии, которая является ключом к их культуре. Наш вопрос перерос местный интерес с тех пор, как Запад и особенно марксисты и их *freres ennemis*¹⁹ — капиталисты периода классической экономики, в период которой был воспитан, жил и действительно «устарел» сам Маркс, страдали от явно агрессивной и доминативной психологии и культуры. Однако, как указала доктор Бенедикт, индейцы пуэбло с побережья Тихого океана направили эту энергию на организацию ежедневного ритуала, благодаря которому они всегда были заняты, все делали сообща и жили в мире. Но чтобы проанализировать те результаты, к которым может привести эта работа, мы должны выйти за пределы как просто политической философии, так и политической теории.

Перевод с английского
Романа Сафронова

¹⁹ Заклятые враги (фр.) — Прим. ред.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ИСТИНА И ПОСЛЕДСТВИЯ¹

Бертран де Жувенель принадлежит к очень небольшой группе авторов нашего времени, которые внесли весомый вклад в развитие общей политической теории. В англоязычном мире, решившем множество интересных политических проблем (пускай и поверхностно), политическая теория умерла. В коммунистических странах она под замком. Она угасает повсеместно. На Западе процветает эра текстологической критики и исторического анализа, предполагающих, что исследователь политической теории прокладывает свой путь, заново открывая некоторые заслуженно оставленные в тени тексты или давая новые интерпретации уже известным. Политическая теория (как и литературная критика) существует за счет капитала — но капитала других людей². Как будто этого мало: стремительное развитие социальных наук с их эмпиризмом, строгостью и иногда встречающимися банальностями сформировало новую группу критиков, набрасывающихся на любого, кто намеривается создать общую политическую теорию.

Несмотря на эти опасности, Бертран де Жувенель всецело погрузился в эту работу, и его труды завоевали всеобщее признание, особенно на континенте. Возможно, в какой-то степени он извлекает пользу из самих условий существования политической теории, кото-

¹ Эта статья представляет собой рецензию на работу *Бертрана де Жувенеля* «Суверенитет: исследование политического блага», переведенную на английский язык Д. Ф. Хантингтоном (*de Jouvenel B. Sovereignty: An Inquiry into the Political Good*. — Д. Ф. Хантингтоном (Chicago: University of Chicago Press, 1957). Перевод сделан по: *Dahl R. A. Political Theory: Truth and Consequences // World Politics*. 1958 (October). № 2. P. 89–102.

² Автор использует игру слов: в английском слово *capital* значит не только состояние, но и главную букву, т. е. имя. — *Прим. ред.*

ры и делают предприятие по ее созданию столь рискованным. Тесная связь между потребностью — психологической и интеллектуальной — в своего рода политическом макроанализе и печальная необходимость того, что имеется в наличии, делают сочинение де Жувенеля более заметным, нежели оно могло быть при иных условиях творчества. Составляющая политической теории соответствует ряду поднимаемых проблем.

Без сомнения, симптоматично, что француз, а не американец или англичанин, должен поставить фундаментальные вопросы общественной дискуссии. Развитие политической теории в большей степени стимулируется страхом перед неудачей, нежели фактом успеха. В работах де Жувенеля темах и даже в том, каким образом он их разрабатывал, любой исследователь снова и снова видит утонченного француза, поглощенного неудачами функционирования современной политической системы Франции.

1

Доминирующие темы в работе Жувенеля, в сущности, состоят из тонкого переплетения конфликтов столетней давности: противоречиями между необходимостью перемен и потребностью в стабильности; между индивидуальными целями и общим благом; между стремлением к внутренней независимости и преимуществами сохранения уравновешивающих друг друга ветвей власти; и, в конечном счете, (вероятно, это основная тема всей книги) конфликта между свободой выбора и всеобщим согласием.

Де Жувенель сам предоставляет нам ключ, к которому невозможно представить каких-либо дополнений.

Основной интерес автора связан с привилегиями, которые люди делегируют друг другу посредством социального взаимодействия. Исходя из этого, он также интересуется тем, что поддерживает и расширяет их взаимодействие. Он не принимает на веру то, что в будущем даже самой могущественной разведке могут быть заранее известны все возможные контакты, и по этой причине он не может придерживаться мнения, будто на очередном этапе развития взаимодействия должны быть созданы из единого организационного центра. Причину того, что будущее является вариативным, он находит в том, что новыми инициативами, рождающимися независимо, это будущее подпитывает неисчерпаемый источник; эти инициативы представляют собой семена, которые, однако, не могут превратиться в цветок без определенных неизменных условий. В безбрежной

совокупности революционных и консервативных действующих сил он рассматривает государственную власть как одну из таких, которая, несмотря на обладание большим объемом полномочий, сама по себе не должна рассматриваться как единственная. Роль ее скорее состоит в доминирующем участии в деятельности других.

При исследовании верховной власти можно заметить, что она как слуга общественных отношений наблюдает за всеми, а ценность общественных отношений определяется тем, что именно они рассматривают человека как цель, на достижение которой в конечном итоге направлены усилия наших рабочих³.

Де Жувенель как классический писатель рассматривает выгоду общественных отношений само собой разумеющимся фактом. Каковы (спрашивает он) условия роста и стабильности социального взаимодействия? Этот вопрос он рассматривает как центральный вопрос политической науки, которая представляет собой лишь «изучение способа формирования агрегатов и условий, необходимых для их стабильного существования». Образование социальных «агрегатов» или организаций — инновационная деятельность. В обществе, которое не является всецело статичным, агрегаты формируются постоянно; они часто состоят, особенно в последнее время, из «действующих групп» или организаций командного типа с высоким уровнем координации и дисциплины, подобных бизнес-корпорации, государственным органам или военному подразделению. Но обществу также необходима стабильность; люди должны надеяться на то, что окружающие будут следовать определенным правилам поведения. Так и есть, для человека «постоянство окружения [...] является основным условием попыток изменить его. Рутинность вещей создает возможность их изменения человеком»⁴.

Из этого следует, что в прогрессивной политической системе мы всегда находим два различных и комплиментарных вида власти: ту, которая происходит от *вождя* (*dux*), лидера и новатора, и ту, которая имеет своим источником *царя* (*rex*), хранителя. Без охранительной функции *царя* общественная жизнь становится анархичной; но без новаторской деятельности вождей система становится опасно невосприимчивой к изменениям и огромные выгоды, достижение кото-

³ de Jouvenel B. Sovereignty: An Inquiry into the Political Good. — Chicago, 1957. P. 10–11.

⁴ Ibid. P. 42.

рых возможно при социальном взаимодействии, главным образом остаются невостребованными. Однако высокий уровень инноваций имеет своим следствием быстрое увеличение действующих групп и широкое распространение деятельности инициативных лиц и действий, угрожающих стабильности всего общества; по этой причине органы государственной власти должны вмешиваться в процесс изменений. Они способны делать это тремя способами. Они могут подавлять инновации (как в традиционных системах); могут монополизировать их (как в тоталитарных системах); могут поддерживать стихийные инновации и в то же время исполнять функции *царя* через коррекцию несправедливостей и флуктуаций, сопровождающих этот процесс (как в либеральных системах).

Именно либеральные системы являются объектом интереса де Жувенеля не только, как можно подумать, из-за его личных предпочтений, но и из-за того, что в них проблемы свободы выбора и общего согласия стоят наиболее остро. Для «прогрессивного общества характерно широкое распространение действующих групп всех масштабов и типов». Эти «множественные противоречия и напряжения» питают то, что можно назвать острой тоской по «стабильности первобытных обществ» и соблазняют возможностью тоталитарного решения, цель которого — интегрировать «целое общество в одну подавляющую, постоянно действующую группу».

Либеральный вариант требует использования публичной власти для поддержания стабильности системы; институты гражданской воли фактически требуют подобного вмешательства для собственной защиты от последствий инновации. Из этого проистекает возможность конфликтов между индивидуальными или групповыми требованиями и «общим благом», которое является второй основной темой размышлений де Жувенеля.

II

Если вы заменяете выражение «общественный интерес» словосочетанием «общее благо», то вы в курсе проблемы, которой интересуется множество американских политических ученых и публицистов; судя по недавнему урожаю журнальных статей, можно было бы подумать, что проблема состоит в растущем интересе среди профессионального сообщества. Либералы — образованные и малообразованные американцы — пытаются осмыслить общее благо или общественный интерес без учета индивидуальных благ. Но строгий позитивистский анализ может оставить от «общего блага» не более

чем простой набор субъективных предпочтений тех, кому выпала удача быть одним из экспертов, впервые использовавших это понятие. Я не буду пытаться обобщать тесно связанные между собой аргументы де Жувенеля, которые служат основанием сделанного им заключения: «Таким образом, попытка поставить государственную власть на службу частному благу неизбежно имеет одинаково плачевные результаты независимо от того, было ли это благо сформулировано отдельными лицами или властями. Это та идея, которая ведет к беспорядку в одном случае, а в другом — к тирании. Наш вывод, таким образом, состоит в том, что в обязанность публичной власти не входит обеспечение личных благ»⁵.

В этой цитате мы видим невысказанное предположение, возможно, более убедительное для француза, чем для современного англичанина или американца, но само собой разумеющееся для реалистически настроенных утопийцев Американского конституционного конвента. Согласно этому взгляду «свободная» политическая система балансирует между анархией и деспотизмом; способствующие равновесию силы по сравнению с мощными дестабилизирующими тенденциями в целом слабы. Анархия — это всецело современная угроза; вслед за ней приходит тиран.

Согласно де Жувенелю этих последствий можно избежать в обществе, в котором наблюдается взаимное уважение, привязанность, доверие и долг.

Несомненно, оно зиждется на личной заинтересованности каждого быть способным доверять другим, доверять двумя различными способами. Сначала человек должен быть способен полагаться на общее уважение к себе со стороны других и изначально предполагать наличие дружественной атмосферы; затем он должен с определенной уверенностью знать, как другие будут вести себя по отношению к нему. Этот личный интерес, специфический для каждого и общий для всех, представляет собой действительно общий интерес; нельзя сказать *априори*, что это исчерпывающее описание общего блага, но, по крайней мере, оно проявляется как основной и неотъемлемый его компонент⁶.

Таким образом, де Жувенель сталкивается с вопросом о том, может или должна ли политическая власть реализовывать сформулированную Платоном и Руссо программу, которая была создана, чтобы способствовать развитию социальных товариществ и взаимно-

⁵ Ibid. P. 112.

⁶ Ibid. P. 116.

го доверия для гарантий «нравственной гармонии внутри города». Ответ де Жувенеля является блестящей и в то же время разрушительной критикой «тоски по племени», вытекающей из требований установления того уровня моральной гармонии, который может быть установлен, как в случае с теориями Платона и Руссо, в небольшом «городе», неизменном и полностью гомогенном, противостоящем внешним влияниям всех видов, — городе, население которого видит в духе новаций источник разногласий. И от них он должен избавиться.

Де Жувенель не «ставит точку» в своих размышлениях. Он не ищет решений в привычном смысле; в лучшем случае он указывает направления, двигаясь по которым можно найти решения. В результате вся книга — образец необычайной незавершенности, что де Жувенель хорошо осознает. Эти сложности и дилеммы создаются им как раз для того, чтобы показать отчетливее то, что не могут сделать обычные знаковые указатели. Соответственно, гораздо сложнее раскрыть то, чем же является общее благо, чем определить то, чем оно не является.

Общее благо рассматривается как взаимное доверие, которое не может быть обнаружено теми способами, которые предлагают модели небольшого, изолированного общества⁷.

Развитие мировой социальной сети является великим проектом, который не может не привести к крушению находящихся в его составе несбывшихся ожиданий. Возможно, этот мировой проект провалится, но глупо не понимать, что он уже развивается⁸.

Невозможно установить истинный социальный порядок [...], если справедливость основана только на расположении вещей, которые совпадают с некоторым интеллектуальным предрасположением, каким бы оно ни было [...]. Справедливость — это свойство не социальных установлений, а человеческой воли [...]. Таким образом, если мы чем-либо и должны быть озабочены, так это тем, что весь непрерывный процесс изменения будет во все большей степени распространяться через характер справедливости наших индивидуальных волей⁹.

⁷ Ibid. P. 136.

⁸ Ibid. P. 138.

⁹ Ibid. P. 164–165.

III

В интересующей де Жувенеля теме номер три мы слышим знакомый американцам голос. Как и Алексис де Токвиль, Бертран де Жувенель является аристократом, который увлечен либерализмом, напуган его последствиями, сочувствует свободе и недоверчив к равенству; склонен отвечать на современные проблемы, апеллируя к истории; осознает историческую роль аристократии как амортизатора напряжения, существующего между сувереном и народом; озабочен необходимостью, которая часто не признается либералами и успешно используется в политике левыми, современного социального и политического эквивалента встречного права, однажды осуществленного аристократией; а также убежден, что если требование равенства в результате приводит к разрушению всех подобных встречных прав, тогда то, что начинается со свободы, должно неизбежно закончиться тиранией.

Также как и де Токвиль, де Жувенель является плюралистом. Но плюрализм может порождать анархию, а анархия — тиранию. Таким образом, мы подходим к четвертой и заключительной теме книги — теме свободы. Если свобода, как ее понимал Гоббс, — это просто власть удовлетворять личные потребности (даже если они облагорожены такими почетными названиями, как, например, исполнение взятых на себя обязательств, выбор или использование имеющегося преимущества), то максимизировать свободу означает способствовать началу «войны всех против всех». Гоббс, начиная в своих рассуждениях с исходного посыла абсолютного либертарианства и доходя в конце до авторитарных выводов, не грешил против истины. В любом случае свободу можно определить как увеличение своего статуса, являющегося закономерным итогом способности лица формулировать и принимать на себя обязательства, эту цену социального существования. «Человек свободен тогда и в той мере, в какой он сам является судьей своих обязанностей, когда никто, кроме него самого, не вынуждает его выполнять их»¹⁰.

Но максимизация свободы любого рода повлечет за собой нестабильность — и здесь пример Франции должен был быть наглядным образцом для автора, — если не существует некоего изначального соглашения, в рамках которого имеют место социальные альтернативы. Если, в конце концов, принимаемые решения располагаются вокруг некоей общей середины, то в результате столкновения различных

¹⁰ Ibid. P. 262.

мнений венчаются единством; но если система обладает внутренней тенденцией к разобщению, тогда результатом будет постоянно увеличивающаяся и, в конечном счете, неизбежная утрата единства. Во втором случае необходимость сохранять систему от распада будет причиной появления фигуры законодателя, стремящегося «исходить из принципа строгого контроля за поведением посредством законов, рождающихся на ниве дебатов, до того момента, когда он, в конечном счете, придет к идее запрещения интеллектуальных новаций»¹¹.

Идея, что свободный обмен мнениями в результате окончится скорее единством, нежели размежеванием, изначально основывалась на вере в «естественный свет [разума]» — вере, основания которой покоятся в божественном источнике. Если мы отвергнем эту веру, что, в конечном счете, и сделал современный мир, то неизбежно должны сделать два вывода. Либо не существует необходимого единства и также не существует «необходимого господствующего мнения, которое лучше всего согласуется со справедливостью (или даже с единством)»; либо должны существовать определенные способы гарантировать искусственное единство¹². Либералы-утилитаристы ухватились за идею, что воспитание интеллекта приведет к единству — но только образованных людей; следовательно, как и Джон Стюарт Миль, они выступали против всеобщего и равного избирательного права. Социалисты и марксисты предполагали, что уничтожение «классов» ведет к единству. Оба предсказания, с точки зрения де Жувенеля, были опровергнуты опытом. Соответственно, он заканчивает на характерно безрезультативной и едва ли не пессимистической ноте: «Убежденность в естественной способности выбирать справедливое и истинное тесно связана с идеей естественного света [разума] — человеческого участия в божественной сущности. Когда в это больше не верят, тогда вся система взглядов рушится»¹³.

IV

Политические теории, как и политические убеждения, выполняют множество функций: политическую, психологическую и, в широком смысле, научную. Выполняя политическую функцию, теории служат легитимации сложившегося или потенциально возможного политического порядка; определяя их безотносительно к этой функ-

¹¹ Ibid. P. 286.

¹² Ibid. P. 292.

¹³ Ibid. P. 294.

ции, будет сложно воспринимать Локка, Мэдисона и Ленина всерьез. Реализовывая психологическую функцию, политические теории предполагают наличие нормативной, проективной и когнитивной функции для индивида; они обеспечивают аналог расширенного суперэго для различения социально приемлемых и социально неприемлемых действий, они позволяют лицам проецировать свои внутренние проблемы на внешний мир средствами, похожими на общее моделирование, и этим они помогают удовлетворить стремление в начертании карты, которая организует хаотичную и сбивающую с толку окружающую реальность. Психологические потребности помогают определить, какие идеи становятся значимыми для каждого конкретного теоретика; политические потребности помогают определить, какие идеи приобретают наибольшее значение в конкретный исторический период. Таким образом, де Жувенель рассуждает (и, с моей точки зрения, очень убедительно), что поклонение идеалу «города» Платона и Руссо отражает «политический инфантилизм», «тоску по племени»; и он показывает нам, как идеи абсолютного суверенитета достигают своего исторического значения из-за того, что они служат потребности легализации централизованного правления.

Поскольку политическая теория так легко растрчивает себя на эти политические и психологические функции, ее следствия иногда ведут к тому, что в некотором роде интеллектуально банально или по своей сути антинаучно. Но, конечно, сама по себе тривиальность из вышеизложенного не следует. Сказать, что идеи параноика являются результатом его внутренних потребностей, не значит утверждать, что его идеи тривиальны — т. е., что они не имеют значения в определении его действий. Они могут оказаться определяющими относительно того, какая невинная жертва будет им задана.

Также из этого не следует, что «общая политическая теория» непременно является ненаучной. Кеплер мог быть мотивирован желанием доказать, что Бог был геометром со слабостью к окружностям, но при всем при том он открыл, что орбиты планет имеют эллиптическую форму. «Общая политическая теория» не является ненаучной, несмотря даже на тот факт, что политический теоретик традиционно является типичным моралистом, неизбежно дисквалифицирующим свою эмпирическую теорию.

Я думаю, что настоящие трудности политической теории не есть причины этого иллюзорного скептицизма. Подлинными трудностями является не опасность искажения посредством политических и психологических потребностей, но, скорее, невозможность испол-

нения научных функций политической теорией. В своей общей форме она может лишь изредка, если вообще когда-либо, отвечать строгим критериям истины.

Я не пытаюсь сейчас отослать к тем моральным составляющим, которые кажутся вполне неизменными (если неизбежно не неминуемыми) составляющими всех политических теорий в их традиционных границах и полноте; можно спокойно оставить без внимания логических позитивистов и их критиков за пределами современной аргументации. Я ссылаюсь только на эмпирические элементы теории, чтобы попытаться дать отображение политического мира, который не *просто* удовлетворяет внутреннему желанию аккуратности, но также является в некотором смысле правильным или приблизительно верным его отображением. Новая «общая» политическая теория страдает от неизбежной сложности, состоящей в том, что она затрагивает систему, составленную из огромного количества переменных (если я могу использовать термин, который здесь, строго говоря, не является подходящим), изменяющиеся значения которых обычно не могут быть установлены целенаправленно, особенно в изначальных формулировках, для которых в любом случае не существует подходящих единиц измерения. Таким образом, обычно не представляется возможным с высокой долей точности говорить о том, что будет являться беспристрастной проверкой политической теории; и даже если этот справедливый тест мог бы быть создан, то нормой стала бы невозможность суммирования информации, требуемой для его проведения.

V

Современные статистики напоминают нам, что существует два типа ошибок, обычно совершаемых при выборе между альтернативными статистическими гипотезами. (Нет ничего особенно необычного в классификации ошибок — это я скорее могу себе представить, — описание которых могло бы быть найдено в работах средневековых ученых.) Первая, которую мы можем назвать ошибкой чрезмерного доверия, состоит в принятии гипотезы за истинную, когда она фактически ложна; вторая, которую мы можем назвать ошибкой чрезмерного скептицизма, предполагает отказ от гипотезы как ложной, когда она фактически является истинной. Теперь легко увидеть, что в целом, чем больше оснований требуется для принятия гипотезы или теории как истинной, тем ниже вероятность совершения нами ошибки чрезмерного доверия и выше шанс того, что мы совершим

Современные статистики также говорят нам (философ Брэйтуэйт¹⁴ недавно касался этой проблемы), что в каждом конкретном случае рациональный выбор требуемого уровня доказательств является решением, которое зависит от наших оценок последствий верного или неверного выбора. Существуют ситуации, в которых чрезмерный скептицизм является гораздо более дорогостоящим предприятием, нежели чрезмерное доверие. Мы можем представить ответ командира на линии фронта во время какой-нибудь старой войны, который — после требования открыть артиллерийский огонь по тому, что, как ему кажется, должно быть вражескими войсками, готовящимися в темноте к атаке, — получает ответ из пункта управления огнем: «К сожалению, мы отклоняем ваше предположение о том, что вражеские войска находятся в движении, поскольку вероятность того, что вы ошибаетесь более, нежели один из тысячи». Но, увы, существуют ситуации, когда чрезмерное доверие будет стоять выше, чем скептицизм, как демонстрирует правило «фэйл-сэйф»¹⁵ Стратегического авиакомандования ВВС США.

В этом случае требования, налагаемые на эмпирические стороны политической теории, логически зависят от того, что мы принимаем за необходимые следствия предпочтения альтернативных теорий (если бы это было на самом деле возможно, в чем я сомневаюсь) или же предпочитаем отказ от выбора как такового. Чем меньше соотносится принимаемая теория со значимым выбором любого рода, тем выше вероятность того, что мы осознанно можем пренебречь требованиями доказуемости; поскольку опасности чрезмерного скептицизма близки к нулю. Из этого следует, что если мы придаем слишком высокое значение исключительно надежности схемы, даже если мы не стремились когда-либо использовать эту схему, то вполне разумно требовать, чтобы политический макроанализ отвечал чересчур строгим стандартам доказательства. Вообще сомнительно,

¹⁴ Ричард Бивен Брэйтуэйт (1900–1900) – британский философ, занимавшийся исследованием проблем философии науки, этики и философии религии. – *Прим. ред.*

¹⁵ Специальная система кодовых приказов, при которой бомбардировщик стратегического авиакомандования, получив задание на нанесение ядерного удара, выполняет его только в случае подтверждения приказа по коду. — Прим. ред.

есть ли в настоящее время *какие-нибудь* теории о комплексных политических событиях, которые отвечают достаточно высоким стандартам, чтобы обеспечить хотя бы средний уровень достоверности. С этой точки зрения, мы можем просто отвергнуть комплексный политический анализ как бесполезный.

Если, с одной стороны, макроанализ мыслится как руководство к действию, тогда проблема становится гораздо более сложной. Несколько значимых высших должностных лиц — например из Верховного суда США — скорее просто руководствуются общими предположениями о природе политических процессов. Например, суд в основном принимает точку зрения Милля, согласно которой в состязании мнений, как если бы оно происходило в условиях свободной конкуренции, истина в конце концов выплывет наружу; эту точку зрения, как мы уже видели, де Жувенель ставит под сомнение. Мнение суда правдоподобно; но я не думаю, что защитники подобной точки зрения будут возражать против аргумента, что она опирается на чрезмерную доказуемость. К тому же чтобы отвергнуть эту позицию суда, необходимо принять альтернативную, возможно, менее очевидную позицию.

Здесь видно, что политическое и психологическое применение теории способствует подрыву попытки создать надежную схему. И по этой причине в подобной ситуации некоторые радикальные требования должны быть выгодны политическим ученым, если они хотят играть роль в мире, где интеллектуальная революция, осуществившаяся путем развития логико-экспериментального обоснования, стала общим местом, где методы Аристотеля и Декарта могут быть полезны не более чем одинокий призыв какого-либо кружка единомышленников. Не существует какого-либо очевидного выхода из тех сложностей, которые ставит политическая теория. С другой стороны, конечно, вполне логично (что и показывается в некоторых частных случаях), что политический ученый будет рассматривать их как полную и справедливую проверку своих ключевых гипотез или теории в ее целостности. То есть, используя достаточно аккуратные выражения, он должен показать, что само наличие доказательств ведет к принятию или отказу от его теории. Последствия неприятия этого момента, я думаю, слишком непредсказуемы; это и есть те частные моменты неопределенности (которые могут выделять теорию, претендующую на статус предельно ясной, логической и последовательной), которые ставят «интерпретацию» политической теории в зависимости в меньшей степени от области научного анализа, нежели от сферы литературной критики, в которой изучение «значения»

поэмы в основном не способствует, даже с точки зрения новых критиков, согласованной интерпретации, и где акцентированные различия критиками различия в нюансах и значениях становятся основной частью самой игры критики.

Это не значит, что политические теоретики, которые желают развить общую теорию, должны обязательно прописывать и проводить строгие «тесты» своих ключевых предположений или теории во всей ее совокупности. Но было бы интересно взглянуть на то, что произойдет с изучением политической теории, если некоторые подобные действия требовались бы в качестве интеллектуального упражнения; если бы, другими словами, современные теоретики регулярно брали на себя обязательство прописывать для читателя, что они будут считать адекватной проверкой истинности или ложности их основных эмпирических гипотез и, по крайней мере, предоставлять некоторый обзор доказательств, какими их видит автор. Я рискну предположить, что определенное осмысление видов доказательств, которых было бы достаточно для предсказания ложности теории, принесло бы больше пользы, чем рассуждения о том, что могло бы ее подкрепить. До тех пор, пока создатели политических теорий не примут некоторые из подобных требований с большей серьезностью, чем они это обычно делают, маловероятно, что общая политическая теория будет играть доминирующую роль в политической науке и, конечно, в социальном анализе в целом, как это однажды уже было. Социальные науки продолжают, хромая, будучи связанными с тщательным наблюдением повседневности, идти вперед, а политическая теория так и будет сосуществовать с литературной критикой.

VI

Было бы нечестно предполагать, что де Жувенеля не интересуют доказательства собственной точки зрения. Также несправедливо говорить, что некоторые из его фундаментальных предположений опираются всецело на самоочевидность, эту основу его критики Декарта.

Когда де Жувенель разбирает эмпирические проблемы, он преимущественно опирается на социологические, позитивистские, натуралистические объяснения. Критикуя Декарта, он опирается на хорошо известную позицию, гласящую, что «в конечном счете, результаты научной деятельности сами себя превратят в поддающиеся проверке предсказания»¹⁶. «Во всех естественных науках мы принимаем кон-

¹⁶ de Jouvenel B. *Sovereignty: An Inquiry into the Political Good*. — Chicago, 1957. P. 217.

цепции как гипотезы и логически получаем из них истинные выводы, но когда эти дедуктивные заключения опровергаются опытом, тогда мы отвергаем сами гипотезы»¹⁷. Хотя он и не внес этим положением полную ясность, я рассматриваю его в качестве эмпирической проблемы политики. Де Жувенель принимает тот же тест, не взирая на тот факт, что политические концепции часто несут в себе неявное обращение, которое заставляет ум «не желать подчиняться реальности в политической сфере»¹⁸. Во всяком случае, он критикует картезианскую идею «самоочевидности» как обоснованного критерия истинности, поскольку утверждения имеют дело не с «понятиями», а с «конкретными объектами»¹⁹.

Несмотря на это, де Жувенель, я думаю, чрезмерно зависит от «самоочевидной» истинности своих аргументов. Справедливее было бы сказать, что в случае всех значимых суждений его понимание аргумента выходит за пределы предлагаемого им доказательства. Позвольте мне проиллюстрировать это, используя его четыре ключевых утверждения.

1. Если я понял де Жувенеля должным образом, то один из его центральных тезисов может быть сформулирован следующим образом: для политической стабильности необходимо единство убеждений; политическая стабильность является необходимым условием свободы; и наоборот — высокий уровень плюрализма убеждений приведет к авторитаризму. Сейчас это утверждение может (или наоборот — не может) считаться самоочевидным. Но насколько это истинно? Зачем нам искать доказательства истинности или ложности этого утверждения? Однажды задав этот вопрос, нас поставили перед необходимостью задать другой: чье единство убеждений? До сих пор, насколько я знаю, де Жувенель не уделял внимания этому вопросу. Но, естественно, разные темы находили неодинаковое отражение в политическом действии в конкретном времени и месте; высокий уровень плюрализма убеждений, говорим ли мы, что Джина Лоллобриджида более привлекательна, чем Мэрилин Монро, кажется, будет достаточно приемлемым почти в любой политической системе. Таким образом, предположим, что мы отвечаем на этот вопрос следующим образом: «Мы заинтересованы в единстве убеждений относительно политических субъектов». Но даже этого недостаточно, по-

¹⁷ Ibid. P. 229.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid. P. 228.

сколько можно вполне резонно спросить о том, «что это за политические субъекты?» Может оказаться важным, например, провести различия между единством убеждений по поводу правил проведения стратегических решений в политическом строе и согласием, касающимся политики режима; а затем определение различий между согласием о том, какие *существуют* правила режима и какими они *должны быть*. Можно было бы предположить, что политический режим, в котором граждане в основном соглашаются с существующими правилами и тем, что они должны быть таковы, какими они являются в данный момент, может быть более плюралистическим, чем система, в которой граждане соглашаются с существующими правилами, но явно не согласны с тем, каковы они на данный момент. Далее можно предположить, что строгие обязательства в отношении правил системы могут установить пределы прочности политических взглядов. Наоборот, можно было бы построить гипотезу, что строгие обязательства в отношении политики (по сравнению с правилами) могли бы с большей вероятностью при прочих равных условиях приводить к деструкции самих правил. Верны ли эти утверждения или нет — это, конечно, вопрос эмпирический. Моя собственная позиция состоит в том, что, потребовав доказательства, касающегося ключевой гипотезы де Жувенеля о единстве убеждений, мы должны быть готовы к тому, что нам будет навязано заключение, согласно которому вопрос является слишком сложным, но в то же время теоретически гораздо более интересным, чем утверждение де Жувенеля позволяет нам предположить.

2. Де Жувенель утверждает, что высокая инициатива по созданию новых агрегатов (инновации) при прочих равных условиях нарушает стабильность политического режима. И снова гипотеза несет в себе много самоочевидных вещей. Но если вы последуете за ней достаточно далеко, я полагаю, с необходимостью можно сделать вывод, что утверждение является или тавтологией (которая может быть источником ее убедительности), или чем-то полностью недоказуемым. Каждый может определить инициативность и стабильность таким способом, при котором утверждение истинно по определению: инициатива = изменение = нестабильность. Но я не верю, что намерение де Жувенеля именно таково. Но если можно было бы определить конечные термины независимо, тогда их соотношение будет, естественно, одной из неожиданно вставших трудностей. Действительно можно было бы разворачивать утверждение в любую сторону с одинаковой самоочевидной обоснованностью: а) высокий уровень экономиче-

ского роста способствует политической стабильности; б) инициативы по созданию новых «агрегатов» (т. е. коммерческие предприятия, государственный аппарат) необходимы для высокого уровня экономического роста; с) таким образом, инновации способствуют политической стабильности. Было ли количество «инициатив», уровень «создания агрегатов» более высокими в Соединенных Штатах и Великобритании, чем во Франции? Или более низким? Или более высоким по одним показателям и более низким по другим? Был ли он в Швеции ниже, чем в Италии? Как эти различия соотносятся с уровнем политической стабильности? Опять же я не имел целью заявить, что на де Жувенеля возложена обязанность ответить на эти вопросы; но на него возложен долг сообщить, что данные вопросы должны быть поставлены.

3. Де Жувенель утверждает, что «нравственный релятивизм не может привести к толерантности»²⁰. В другом месте он сообщает, что следствием этого является следующее: «В полной мере, в которой прогресс развивает гедонизм и нравственный релятивизм [...], ничто не может поддерживать существование общества в большей мере, чем органы государственной власти»²¹. Но в этом случае рассматриваем ли мы это суждение на логическом, историческом или психологическом основаниях, метод самоочевидного доказательства является почти бедственным предприятием. Де Жувенель не пытался ответить на утверждение, с большим успехом изложенное Феликсом Оппегеймом, что не существует обязательного логического отношения между демократией и верой в ценности морали или в нравственный релятивизм. Можно было бы надеяться, что утверждения опираются на исторические или психологические основания; к тому же я не нахожу какой-либо единственной сентенции, указывающей на конкретное доказательство, взятое из наблюдаемого поведения различных политических систем или индивидов. Конечно, было бы нелепо требовать чего-то большего, кроме грубых шаблонов (гедонизм, нравственный релятивизм, толерантность и авторитаризм), в историческом либо психологическом измерении. Определяя проблему исторически, можно было бы предположить, что в XIX столетии либерализм ассоциировался с гедонизмом и релятивизмом; и в общем гедонизм и релятивизм в западном мире прошли несколько стадий за более чем несколько прошедших веков. В Со-

²⁰ Ibid. P. 288.

²¹ Ibid. P. 246.

единенных Штатах почти несомненным фактом является то, что гедонистическая и релятивистская ориентации более распространены, чем это имело место в ранний колониальный период. Однако сложно понять, что со всем этим делать, даже если это истина. Являются ли американцы сегодня более или менее толерантными, чем Джон Уинтроп и Генеральный совет Колонии Массачусеттского залива? Запрещенные пуритане, изгнанные или заключенные в тюрьму квакеры, евреи, католики, антиномисты и Роджер Уильямс, это же сегодня можно сказать о коммунистах²². Если мы предположим психологическое измерение историческому, тогда можно указать на недавнее исследование Герберта Макклоски, в котором последовательно утверждается, что в Соединенных Штатах толерантность с большей долей вероятности утверждается лицами с психологическими ориентациями гедонизма и релятивизма, чем от высокоморальных и строгих особ²³.

4. В итоге это является предметом расхождения и сближения единства убеждений. Единственная сложность состоит в том, что после огромного количества попыток определить намерение де Жувенеля я не уверен, говорил ли он просто, что исторически свобода взглядов основывается на широко распространенном предположении, будто произойдет «единение» мнений, основывающееся на свободной дискуссии, и что вера в «единение» в свою очередь покоится на вере в наличие «естественного света [разума]», покоящегося на Божьей воле. Конечно, он много говорит об этом. Проблема заключается в том, что он также утверждает, что в обществах, основанных на необщепринятых ценностях, справедливо одно или несколько из дальнейших утверждений: а) если естественный свет [разума] на самом деле не существует, тогда расхождение убеждений неизбежно; б) если не существует *веры* в этот естественный свет, то разногласие убеждений неизбежно; в) это расхождение неизбежно за исключением ситуации, когда естественный свет [разума] существует и его существование подкреплено верой.

²² Здесь стоит учитывать, что Роберт Даль писал данную работу в период, когда в США активно велась антикоммунистическая кампания, начатая сенатором Джозефом Маккарти (председателем Сенатской комиссии Конгресса США по вопросам деятельности правительственных учреждений), вошедшая в историю как «охота на ведьм». — Прим. ред.

²³ McClosky H. Conservatism and Personality // American Political Science Review. 1958 (March). № 52. № 1. P. 27.

Какой бы ни была позиция де Жувенеля, что поражает, так это исключение других альтернатив. Сближение и размежевание не являются единственными альтернативами; как отметил Герберт Кауфман и другие, политическая система, как и прочие системы, может быть стабильной, может взрываться или колебаться. Вполне благоразумно предположить, что нечто, являющееся в высшей степени «стабильным» политическим режимом, как, например, британская монархия, являются на самом деле крайне сложными системами, в которых происходит огромное количество различных изменений. Существоют значимые долговременные изменения, предполагающие согласие по некоторым вопросам (например: могут ли люди создать летающие механизмы, возможно ли предоставление права избирать и быть избранными бедным, должно ли правительство бороться с безработицей?). Также существует долговременный источник роста разногласий (например: существует ли Бог, должна ли Великобритания сохранить монархию?). Убеждения могут объединиться в действительном единодушии, как это обычно происходит по неизбежным фактическим вопросам, являющимся постоянными спутниками повседневного опыта. Разногласия могут перерасти в гражданские войны, которые возможно растянутся на десятилетия и закончатся лишь тогда, когда будет создана система, характеризующаяся определенной жесткостью, но которая является, по крайней мере внешне, историческим наследием (тем не менее продолжающее обладать психологическими функциями). Так или иначе, разногласия могут не относиться к политической стабильности либо из-за того, что они незаметны, либо из-за того, что они не рассматриваются как проблемы, которые могут быть решены политическими средствами. В таких странах, как Великобритания и Соединенные Штаты, согласие по политическим вопросам с большей вероятностью колеблется между единством и несогласием. Проблема выходит на поверхность в виде очень быстрого роста различных мнений, что предполагает огромное количество альтернатив, если они сводятся к меньшему количеству от изначально заявленного — решение принято, значимость проблемы падает, и если выбор не является явно «неудачным», то последствия во все большей степени укореняются. Тем временем другие проблемы находятся на различных стадиях этого цикла, или, как в случае с Новым курсом Рузвельта, циклически более или менее одновременно проявляется целый набор проблем.

Следовательно, нет очевидной причины того, почему в политической системе должна наблюдаться общность или расхождение убеждений. И те и другие могут существовать одновременно, зави-

ся от сути убеждений. В отношении политических взглядов стабильная система может либо бесконечно колебаться, либо могут существовать встроенные механизмы разного рода, которые увеличивают вероятность сближения позиций до допустимых пределов. Совершенно безотносительно к вопросу о том, является ли возникающее усредненное мнение в каком-либо значимом смысле «истинным», лояльность к системе, например, может пересилить лояльность к политическим мерам. Де Жувенель, я уверен, в достаточной степени понимает внутреннее богатство и сложность матрицы возможностей, к тому же огорчительна сама необходимость сообщать, что ни одна из этих фундаментальных альтернативных систем не является обоснованной. И даже если бы кто-либо мог бы быть полностью уверен, что у него есть соответствующие убеждения, то можно было бы заключить, что его взгляд не более (и не менее) убедителен, чем значительное множество альтернативных гипотез.

VII

Тем не менее прежде чем закончить, мне следует добавить два предостерегающих замечания. Что касается книги, то это, без сомнения, продукт в высшей степени интересного ума. Обычное прилагательное, употребляемое в подобном случае, — «проницательно». Но де Жувенель больше, чем просто проницательный автор; он эрудированный, мыслящий и рассудительный. Занятой ученый, предполагающий, что рецензия, даже если она такая же длинная, как эта, служит заменой чтению самой книги, пропустит выдающийся интеллектуальный опыт.

Что касается проблемы, то будет проще избавиться от политической теории полностью во имя эмпиризма и научной строгости. Поступить так означало бы не оказать никакой услуги интеллектуальному сообществу. Политический макроанализ страдает от определенных неотъемлемых трудностей; но мы не можем позволить себе отказаться от их решения.

*Перевод с английского
Александра Никифорова*

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ^{1,2}

Самый потрясающий факт нашего времени — быстрые широкомасштабные изменения в политике, обществах, технологиях и культурах. Многие из этих изменений имеют место быть и по сей день; некоторые из них ускорились. С 1890-х годов по настоящее время большая часть политических институтов были разрушены или трансформированы цепью войн и революций. К 1970 году большая часть взрослых людей была старше, чем те политические институты, при которых они жили. Наблюдались большие изменения — как изменения в отношениях между государствами и обществами, так и изменения внутри этих обществ и государств. Мы должны приспособиться плавать в море этих стремительных изменений или сгинуть в нем. Мы должны встретить и понять изменение, а иногда положить ему начало в наших мыслях; мы должны встретить и ответить на изменение, а иногда проложить ему дорогу нашими действиями.

Для того чтобы совладать с изменением — на самом деле признать его — что-то надо сохранить. Что надо сохранять некоторое время или как долго, мы должны быть ведомы этим импульсом? Что следует сохранить, что может быть сохранено, а что возвращено? Для того чтобы решить, каким образом необходимо действовать, мы должны найти ответы на эти вопросы; наши упования и наши жизни зависят от их решения.

¹ Перевод сделан по: *Deutsch K. W. On Political Theory and Political Action // The American Political Science Review. 1971. Vol. 65. № 1. P. 11–27.*

² Президентское послание, прочитанное на 66-м ежегодном съезде Американской ассоциации политической науки. 10 сентября 1970 года. Лос-Анджелес, Калифорния. Я благодарен моим коллегам за вопросы и новые идеи, а доктору Вольфу-Дитеру Нару из университета Констанц за замечания к черновику. Однако ответственность за полученный результат я беру только на себя.

Ни на один из этих вопросов нельзя ответить без некоторого знания с тем, что мы думаем и делаем, без более широкого контекста наших действий. Таким образом, ни один из этих вопросов не может быть решен без политической теории, без тех храбрости и знания, которые создание этой самой политической теории требует.

Человечество дрожит перед решением этой задачи, напуганное риском двойного провала: отсутствием храбрости и отсутствием воображения. Нас может уничтожить паралич страха или неспособность осмыслить новацию — думать о чем-то лучшем, чем то малое количество повседневных действий, которые нам уже знакомы.

История человечества — это история громадного успеха, который ведет к еще более значительной опасности. В наше время мы должны обладать смелостью, чтобы действовать и знать, каким образом действовать. Наши жизни и жизни наших детей могут зависеть от нашей смелости и нашей способности познавать.

Страх может остановить не только наши действия, но и нашу способность мыслить и открывать новое. Если это случится, наши действия будут слепыми. Слепое рвение — автоматическое повторение заученных действий — может быть приемлемо, даже необходимо лишь на короткий промежуток времени, все более давая понять, что старые действия не подходят для решения новых задач. Но чем дольше подобное слепое рвение продлится, тем более ригидным, узким и в конечном счете деструктивным и даже самодеструктивным оно будет становиться.

Эта опасность существует во всех странах, индустриальных и развивающихся, некоммунистических и коммунистических. Борьба за необходимость нового знания — открытость и находчивость, — за новые возможности — изобретения и инновации — противоположна великому идеологическому разделению нашего времени. Какую роль сможет играть политическая теория при встрече с этими опасностями и в руководстве этой борьбой?

1. ЧТО ТАКОЕ ТЕОРИЯ?

Древние греки словом теория — *theoria* — определяли пылкое мышление. Оно отсылало к опыту очевидцев греческой трагедии³, которая путем очищения их эмоций способствовала повышению способности к познанию.

³ Бертан Р. История Западной философии. В 3-х кн. — Новосибирск, 2001. С. 67.

Кроме того, понятие теории имеет объективное и субъективное значения. В своем объективном значении теория предполагает восприятие относительно удаленных объектов и ситуаций. Оно означает видеть и воспринимать что-то вне самости наблюдателя, даже если объект наблюдения находится внутри поля непосредственного восприятия личности.

Но в своем субъективном аспекте теория означает восприятие данного объекта как релевантного переживаниям, нуждам или желаниям познающего, даже если бы это восприятие было релевантно желанию узнать и разрешить некоторую непоследовательность или отсутствие гармонии в знании.

Эти две стороны теории предполагают восприятие двойного контекста (вне зависимости от того, является ли этот контекст эксплицитным или имплицитным, реальным или воображаемым, уже существующим или только создающимся).

Что данная вещь, ситуация или условие означают в более широком контексте или образе внешнего мира?

Что это значит для меня, то есть для внутреннего контекста моей личности с ее воспоминаниями, нуждами, желаниями?

Изучение процесса создания теорий требует прежде всего способности различения и понимания: это так называемое восприятие фигуры и фона — способность разглядеть туманную фигуру на хаотическом фоне⁴.

Но создание теории также требует осторожности — осторожности чувства интереса или любопытства в постановке первого вопроса или образа проблемы, — и сохранения этого чувства в течение процесса изменения в восприятии проблемы при ее исследовании.

Наконец, создание теории требует способности к интерпретации, то есть помещению ощущений в контекст не только внутренних, но и внешний, если таковой существует, или создание такого контекста, если он отсутствует изначально⁵.

⁴ Я в долгу у доктора Джона Шпигеля за то, что он обратил мое внимание на схожесть между восприятием фигуры и фона и восприятием новой конфигурации в искусстве и науке.

⁵ Эти контексты как социальные, так и физические и психические. О проблеме интерпретации см.: *Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit.* — Neuwied a/Rh-Berlin, 1965; *Habermas J. Erkenntnis und Interesse.* — Frankfurt, 1968; *Habermas J. Toward a Theory of Communicative Competence // Recent Sociology. № 2 Patterns of Communicative Behavior / H. P. Dreitzel (ed.).* — London, 1970;

Эти контексты должны быть открыты для иных исследователей. Они должны быть определенными, восстанавливаемыми и воспроизводимыми с помощью операций, которые могут быть осуществлены любым человеком, который обладает соответствующей подготовкой.

Необходимо, чтобы внешние контексты можно было подвергнуть процедуре верификации, — то есть подтверждению или опровержению — с помощью повторяемых действий, которые может воспроизвести кто угодно. В этом смысле, должна существовать возможность придать теориям статус научных, даже если они первоначально были сформулированы в поэтической или литературной форме⁶.

Каково воздействие теории? Прежде всего хорошая теория предлагает ориентацию. Она создает модель, в которой предсказываются будущие наблюдения и последствия действий во внешнем мире. Это предполагает как существование модели проблемной сферы, так и модели более широкого контекста или окружения.

Хорошая теория также предоставляет репрезентативный образ, обладающий более чем одним измерением, с помощью которого понимается строгая одномерность, последовательность траектории исследования. Эти последовательности должны быть взаимно непротиворечивыми для того, чтобы уменьшить или избежать когнитивной дисгармонии. Поэтому различные последовательности среди частей того же самого образа не должны быть несовместимы, а в случае строгой теории ответ должен быть одним и тем же для всех последовательностей⁷.

Это значит, что теория — это не просто суждение, но ансамбль или конфигурация взаимосоотносимых суждений. Этот факт имеет непосредственные импликации для способа, с помощью которого теории могут быть изменены. Прежде всего такой ансамбль будет стабильнее многих других — или даже всех — единичных суждений, из которых он состоит. Очень часто прогресс знания изменяет наше знание единичных фактов или суждений, оставляя более широкие ансамбли или формы мысли сущностно неизменными. Когда эти более широкие формы — основные паттерны наших мыслей о некоторой про-

⁶ Habermas J. Towards a Rational Society. — Boston, 1970, Chap. 5. См. также: Platt J. R.

Perception and Change: Projections for Survival. — Ann Arbor, 1971. P. 25–73.

⁷ Об отношениях между поэзией и рациональной теорией в ранней греческой философии см.: Jaeger W. Paideia. — NY, 1945. Vol. I. P. 152–153.

⁸ О понятии противостояния «репрезентативной» и «дискурсивной» коммуникации см.: Langer S. K. Philosophy in a New Key. — Cambridge, 1951. P. 79–102.

блемной зоне — изменяются сами по себе, мы говорим о революции в нашей теории, мыслях или знании. Короче говоря, повседневный прогресс в политической теории изменяет некоторые члены класса суждений; революция в теории изменяет сам класс; или она даже может изменить форму нескольких таких классов⁸.

Есть глубокая связь между проблемой мудрости и проблемой революции. Мудрость не ищет ответов — она вопрошает, какой класс ответов следует искать. Мудрость вопрошает не о том, что мы знаем, а о том, что заслуживает того, чтобы мы знали это. Она обращается не к суждениям, но к классам суждений, формам и ансамблям суждений, а дело она имеет исключительно с критериями отбора и предпочтениями таких классов и ансамблей⁹. Революции происходят, когда старые способы исследования потерпели неудачу и предпочтение было отдано новым типам знания. Они состоят не в переопределении какой-либо структуры политики, общества или культуры, а в иерархическом и почти одновременном переопределении нескольких независимых структур на некоторых уровнях организации¹⁰.

Значение этого процесса иерархического реструктурирования политической теории будет рассмотрено позже и более детально. А сейчас позвольте лишь заметить, что такие периоды всеобъемлющего переопределения идей, ценностей и практик происходят, ко-

⁸ См.: Кун Т. Структура научных революций. — М., 2003.

⁹ Оценка «конец идеологии» в общем смысле было бы оценкой окончания поиска мудрости. Это означало бы конец изменения целей людей и обществ как выбора среди конфликтующих целей или изменение приоритетов среди них. Только если мы оставим за термином «идеология» обозначение системам верований, которые ограничивают или исключают любой контроль над реальностью, было бы рационально рассматривать, в каком отношении класс подобных форм искажающих реальность или исключаящих ее идеологий может клониться к упадку в частоте применения и социальном влиянии и при каких условиях. Различные точки зрения представлены в следующих работах см.: *Mannheim K. Идеология и утопия*. — М., 1994; *Bell D. The End of Ideology*. — NY, 1966. Кроме того, важное обсуждение см.: *LaPalombara J. Decline of Ideology: A Dissent and an Interpretation* // *Review* № 60. 1966. P. 5–16. См. Также: *Mannheim K. Ideology and Utopia*. — NY, 1947; *Waxman Ch. I. (ed.). The End of Ideology Debate*. — NY, 1969.

¹⁰ *Platt J. R. Hierarchical Restructuring* // *Bulletin of the Atomic Scientists*. 1970. P. 2–4, 46–48; также *Platt J. R. Hierarchical Restructuring* // *General Systems*. 1970. Vol. 15. P. 49–54.

гда старые паттерны мудрости не могут совладать с новыми, но неизбежными проблемами, когда они не способны воспринять их и ответить на них, тогда и появляется необходимость в новой мудрости. Рассмотренные с этой точки зрения мудрость и революция — это аспекты проблемы социального научения и самотрансформации, постепенного или неожиданного, социальной и политической систем, проблемы политических теорий, которые помогают нам размышлять о них.

II. КАКОЕ ЗНАНИЕ ПРОИЗВОДИТ ТЕОРИЯ?

Теория производит знание нескольких видов. Ради удобства оно может быть разбито на девять категорий. Первые пять категорий теории прежде всего когнитивные, последние четыре скорее ориентированы на действие. Эти девять категорий следующие.

Схема более длительного и эффективного хранения и повторного использования воспоминаний. В этом смысле функция теории как способа кодирования схемы ради эффективного ее использования может быть оценена сквозь призму эффективности кодирования¹¹.

Помощь в инсайте, то есть в восприятии, назывании и признании до того не признанных и/или плохо определенных паттернов вещей, событий, отношений или символов внешнего мира. (Этот аспект похож на хорошо известные эксперименты с различением фигуры и фона, упомянутые выше, в которых смутно очерченные паттерны сложно воспринять, в отличие от беспорядочного фона, но для того, кому показали похожие образы, это сделать много легче.)

Организация и стратегическое упрощение знания. Арабские числа, позиционная запись чисел, число ноль — знакомые примеры из математики. Каждый из этих символов или практик уменьшал количество деталей, которые необходимо было запоминать¹². Политические понятия, такие как «власть», «легитимность», «естественное право», достаточно отделенные от их эмпирического подтвер-

¹¹ См.: Deutsch K. W. On Theories, Taxonomies, and Models as Communication Codes for Organizing Information // Behavioral Science. 1966. P. 1-17.

¹² Эта точка зрения обсуждается в: Deutsch K. W. The Nerves of Government. — NY, 1966. P. 251-252. Смотри также обсуждение «упрощения» в: Toynbee A. A Study of History. — NY, 1945. Vol. III. P. 174-192.

ждения или опровержения, могут также выполнять такую функцию, упрощения в процессе обработки информации о политике.

Эвристичность¹³. Теории служат в качестве средств поиска новых наблюдений, экспериментов и открытий. Эвристическая эффективность теории тем выше, чем более плодотворной она себя покажет, то есть чем большее количество нового знания и открытий из нее можно вывести, включая возможность создания новых теорий, которые в конечном счете будут ее превосходить.

Любая метатеория науки, то есть любая теория о научном знании, должна включать теорию поиска нового знания. Поэтому в данном отношении она должна частично совпадать с общей теорией поиска. Поиски вероятностной теории обнаружения нового знания велись со Второй мировой войны, и ее применение сегодня включает в себя обнаружение субмарин в океане, обнаружение книг в библиотеке, возможность обнаружения нового знания на границе с неизвестным¹⁴.

Самокритичность познания. Этот аспект теории концентрируется на предположениях и пристрастности, внутренние присущих операции верификации или подтверждения истинности, равно как и на иных источниках ошибок. Оно имеет дело с нашей потребностью знать в противоположность тому, что мы рассматриваем как простое мнение. Мы уверены, что ни одна теория не может быть совершенно истинной; любая теория может быть опровергнута воспроизводимыми свидетельствами и заменена теорией-наследницей, которая более полно объясняет эти факты, а эта теория-наследница в свою очередь замещается бесконечной последовательностью объяснений. Но на каждой стадии этого процесса верификация может поставить истинное содержание теории под вопрос. Любая научная теория содержит экзистенциальные утверждения формы «существует», и «если..., то», отсылая к эмпирически проверяемым объектам или событиям. Такие утверждения, будучи верифицированными

¹³ В качестве ветви знания эвристика — это изучение процесса обнаружения или изобретения, методов или условий, которые способствуют приобретению нового знания. Слово происходит от выкрика Архимеда «Эврика! Я нашел!». когда он бежал из бани обнаженным по улицам Сиракуз, радуясь своему открытию, что масса любого тела независимо от его формы может быть измерена количеством жидкости, которое оно вытесняет при погружении. См.: *Polya G. How to Solve It?* — Garden City, NY, 1957. P. 112–114, 129–134.

¹⁴ См.: *Morse Ph. M. On Browsing: The Use of Search Theory in the Search for Information* // Technical Report. № 50. — Cambridge, 1970 [копия-мимеограф].

ми, составляют часть истинного содержания теории, и хотя более широкая теория может доказать несостоятельность и быть заменена другой, любая такая последующая теория должна будет содержать все или большинство верифицированных экзистенциальных утверждений, которые были включены в предшествующую теорию¹⁵. Эти преемственные элементы в кумулятивной теории знания столь же важны, как и меняющиеся теории, в которые они временно инкорпорированы. Любая теория, способная к самокритике, — это не только первопорядковая теория о реальности, но и критическая теория второго порядка, рассматривающая другие теории, себя и свои собственные ограничения. Критический поиск собственных несоответствий и ошибок, не менее важный критический поиск верифицированных предметов знания, — две стороны «сущностного вклада», который должны делать теории.

Самокритичность познания должна предупреждать нас не только о простых ошибках-отклонениях, скрытых предположениях и упущениях, или ответах уже полученных самой формулировкой вопроса, или же молчаливо исключенных с самого начала нашего поиска. Огромный ряд возможных источников таких отклонений был отмечен различными писателями: логические и эпистемологические обязательства, все односторонне отобранные свидетельства, явный экономический интерес класса или группы, эмоциональные связи с общественными ассоциациями, статусами или престижем, озабоченность собственными продвижением или карьерой, непрестанная бомбардировка СМИ или государственной пропагандой или более глубинные связи с традицией, культурой, личностными и детскими воспоминаниями.

¹⁵ Следуя «эфирной» теории в физике, волны в невидимом «эфире» могут распространяться, неся беспроводной сигнал с одного берега Атлантики на другой. Теория «эфира» была замещена релятивистской физикой после того, как было доказано, что «эфир» не существует, но экзистенциальное утверждение «существует беспроводной телеграф» было невозможно «фальсифицировать», именно этот глагол предпочитает использовать сэр Карл Поппер. Строительство радиостанций и создание радиоприемников верифицировало это утверждение, поэтому любая будущая серьезная физическая теория должна будет быть совместима с этим верифицированным фактом. О понятии истинного содержания как проверки приемлемости теории-наследника см.: *Deutsch K. W. On Methodological Problems of Quantitative Research // M. Dogan, S. Rokkan (eds.). Quantitative Ecological Analysis in the Social Sciences. — Cambridge, 1969. P. 19–39.*

Существуют отклонения всех типов, но даже там, где они есть, они возможны, а не predetermined. На это давление суждений люди могут смотреть в некотором отношении критически. В определенном смысле они могут его компенсировать, учитывая дополнительную информацию и критически размышляя над ней. Если это возможно, они могут сделать внешними элементы, предположения, выводы и ограничения своих мыслей. Они могут попытаться точно определить количественные аспекты своих находок, а также и границу ценностей в соответствии с которыми можно судить о побочных эффектах и качественном аспекте изучаемых процессов. Поскольку они могут подвергнуть перекрестному рассмотрению внешние свидетельства, поскольку они могут подвергнуть перекрестному рассмотрению свои собственные склонности, которые едва ли достаточно согласованы, также они могут помочь себе увидеть мир почти таким, какой он есть. Это не последняя по значению задача теории — сделать так, чтобы возрос шанс критического самоосвобождения специфической задачи по увеличению власти людей в познании и освоении реальности.

Если столь важно разоблачить склонности и ошибки, проверить и отвергнуть теории, которые от них страдают, столько же необходимо попытаться сделать точно также и в отношении людей, с которыми мы не согласны и идеи и теории которых мы отвергаем.

Мышление — это невидимая работа. Мысль — невидимый инструмент. Теории и знание — невидимый капитал, необходимый для принятия решений. Они предоставляют руководство для действий, включая усилия по поиску более глубокого знания и более широкого ряда действий в будущем. Подтверждающие теории и верифицированное знание — это невидимый капитал, который можно протестировать и на который можно положиться в более высокой степени, нежели на господство аргументированности, которая может быть определена более легко, по крайней мере в своем ядре, и фактически также имеет свои ограничения.

Это предполагается той точкой зрения, которая отвергает до этого принятую теорию и создает на ее месте новую, что всегда требует определенного времени, усилий и ресурсов. Как и в случае материального капитала подобная замена должна быть подвергнута процедуре измерения достигнутых целей в соответствии с качеством будущего знания и прибыли — в данном случае качество и количество будущей теории-наследницы.

В решении заменить ли эту теорию другой наш выбор часто колеблется между более или менее хорошей теорией. Устаревшая, или,

ными словами, плохая, теория также, вероятно, имеет значительное истинное содержание и определенную полезность в принятии решений. Выбор между двумя обычными теориями не есть выбор между всем и ничем, это выбор между более или менее.

В поисках истинного содержания соперничающие теории должны помочь нам в противостоянии надменности. Обычная ошибка думать, что те из наших коллег, которые придерживаются «неправильных» теорий, возможно, не могут достичь надежных результатов, равным образом неправильно думать, что наше обладание более хорошей теорией — неверно обозначаемой как «истинная теория» — гарантирует что все наши собственные результаты будут надежны, полезны и адекватны в решении наших проблем. Мы можем верить, что теории или ученые, с которыми мы не согласны, находятся под влиянием культуры, идеологии или классовых предпочтений, но с этой точки зрения мы не можем сделать убедительный вывод, что их находки лишены истинности. Все, на что мы можем на самом деле надеяться, состоит в том, что лучшая теория даст нам более высокий шанс выполнить нашу работу лучше. В поисках новых открытий и более эффективных действий лучшая теория чаще предоставляет нам лучшую возможность, но не монополию.

Материальный капитал редко используется для того, чтобы уничтожить того, кто его использует, и окружающую среду или нанести им фатальные повреждения, равным образом и теория редко используется для этого. Конечно, мы знаем о таких разрушительных случаях из истории промышленности: таким был в ранние годы XIX столетия процесс производства серных спичек, отравлявший и убивавший или калечивший множество рабочих; и мы знаем как в нашем веке политические теории фашизма и расового превосходства становились двигателем уничтожения и самоуничтожения многих правительств, групп и людей, которые восприняли их как руководство к действию.

Если пять этих аспектов теории главным образом когнитивны, остаются четыре аспекта, которые приближают нас к царству действия. Для того чтобы наши действия приносили плоды, которые мы хотим получить, надо знать то, что мы хотим знать, знать, что делать и как делать, знать чего хотеть и знать ради чего действовать. Наши четыре аспекта следуют из этих четырех требований.

Признание и осведомленность о ценностях и целях¹⁶. И для лю-

¹⁶ См.: Rapoport A. Some System Approaches to Political Theory // D. Easton (ed.). Varieties of Political Theory. — Englewood Cliffs, NY, 1966. P. 129–141. Политическая

дей. и для групп признание ценностей включает осведомленность об их собственных предпочтениях и желаниях — их «шкалу пользы», как ее называли теоретики-экономисты, их «предпочтительную кривую безразличия», их цели, к которым они в действительности стремятся, равно как воображаемые цели, которые представляют реальные цели более или менее неточно. Осведомленность о ценностях также содержит осведомленность о точных ценностных ориентациях, которые акцентируют целые классы ценностных результатов, таких как честь, власть, богатство и другие, а не какой-либо конкретный исход внутри одного из этих классов. Наконец, осведомленность о ценностях также включает осведомленность о взаимосвязи ценностей, как она представлена в существующих философских учениях, религиях или нормативных политических теориях, или так, как она может быть предложена в новых теориях.

Политические теоретики, конечно, почти всегда так и поступали. В великой традиции политической науки и политической мысли, от Солона и Платона до таких отличных от них мыслителей как Локк, Руссо, Мэдисон, Парето, Ленин и Ганди, нормативный элемент играл определяющую роль. Каждый из этих мыслителей пытался понять реальность, оценить то, что есть, но каждый из них воспринимал свою точку зрения и свою мотивацию, соотнося их с тем, что, как он думал, должно быть. Даже Макиавелли, который, как утверждается, описывал то, что люди и правительства в действительности делали, а не то, что им следует делать, на самом деле был криптоморалистом: он хотел научить итальянских правителей технике власти для того, чтобы хотя бы один из них со временем смог объединить Италию в сильное и независимое государство, сделать ее свободной от господства иностранцев. Ясно, что мы не можем разделить абсо-

теория требует знакомства не только с ценностями, но и особенно с человеческими нуждами. Ценность для политического актора представляет то, что он хочет привести в реальность; нужда для него — это любое условие или затрата, от которых он не может воздержаться, или недостаток, которые не наносят ему значительного вреда. Нужды и ценности пересекаются, но не совпадают. Люди могут рассматривать как ценность то, в чем они не испытывают нужды, и нуждаться в том, что они не ценят. В XVII веке мореплаватели, которые никогда не слышали о витамине С, болели цингой от его недостатка. Физические или психические нужды объективны и верифицируемы относительно каждого актора, по крайней мере в принципе. О важном вкладе в рассмотрение связи политической теории и человеческих нужд см.: Bay Ch. The Cheerful Science of Dismal Politics // Th. Roszak (ed.). The Dissenting Academy. — NY, 1968. P. 208-230.

лютно все ценности мыслителей прошлого: они слишком различны. Но мы должны помнить, что они их имели и что они ими руководствовались, а также то, что ни одна политическая теория не может быть понята без понимания ее внешних и внутренних нормативных аспектов.

Эмпирическое знание. Здесь изучение политики превращается в политическую науку, то есть в знание, которое может быть проверено, верифицировано и познано разными исследователями не зависимо от их личностей и предпочтений. Человек — это часть природы, и потому многое из его поведения можешь быть познано, как могут быть познаны и многие факты относительно иных частей природы¹⁷. И поскольку такое знание возможно и о политическом поведении, постольку оно может поведать нам о вероятном достижении целей: какие цели можно достичь, при каких усилиях, в какое время и за какую цену.

Таким образом, такое «объективное» знание — объективное в смысле того, что оно может быть верифицировано и разделено с другими — может сказать нам о совместимости или несовместимости целей в конкретных условиях, так как человек в политике живет в соответствии с единственной целью, оно может сказать нам об ожидаемой логичности результатов действий. Таким образом, оно также может сказать нам о жизнеспособности конфигураций целей, а следовательно, о всей системе политики и правления. Соответственно, такое фактуальное знание может сказать нам о возможном обратном воздействии средств на цели и политических действий на деятелей. Это последнее — знание, которое политические фанатики слишком часто игнорируют, когда применяют его к себе, своим организациям и режимам.

Таким образом, постигнутое, оно «объективно» в том смысле, что верифицируемо и может быть разделено с другими, но оно не «свободно от ценностей» в том смысле, в котором говорил об этом Макс Вебер. Ценности участвуют в отборе тем наших исследований, наших стратегий, наших интерпретаций, оценок и выводов, а также в выборе действий, с помощью которых мы реагируем на них. Отсюда следует, что исповедание конкретных ценностей может увеличивать или уменьшать возможности нашего исследования конкрет-

¹⁷ См.: *Kant I. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht // I. Kant. Berlinische Monatsschrift. — 1784. P. 385–411* Пепринтное воспроизведение
в: *Kant I. Was Ist Aufklärung? Aufsatz zur Geschichte und Philosophie. — Göttingen, 1967. P. 40–54.*

ных феноменов или типов знания и восприятия реальных выводов, которые мы делаем из подобного исследования. Похожим образом наше членство в социальных или культурных группах, которое поощряет такие ценности, может менять возможности наших открытий и действия в соответствии таким типам знания. Здесь, однако, мы также имеем дело с возможностью, а не с необходимостью. Часто, когда мы говорим о власти идеологии, — как правило, отсылая к взглядам других людей, — мы переоцениваем смещение социальной ситуации и недооцениваем самокоррекционные способности совокупности операциональных методов верификации, которые нам доступны.

Прагматические умения. Уже древнегреческий философ Гераклит разделит «знание о чем» и «знание каким образом»¹⁸. Умение, ноу-хау, или то, что мы называем практической политикой, — все это техники для господства над реальностью или, по крайней мере, копирования ее. Это техники, которые можно исследовать, изучить, описать, передать. Их проверка — это изучение их работоспособности. Если они работают, они могут работать и без того, чтобы понять, как или что они такое: при отсутствии четкого понимания они работают даже лучше, по крайней мере какое-то время. Часто быстрее обучиться им можно с помощью тренировки и примера, а не с помощью описаний, и успех их применения может зависеть в меньшей степени от равенства размышления шаг за шагом и в большей степени от неравенства способностей.

В любой политической активности, кажется, есть неустранимый элемент умения и таланта, и ни одна политическая теория не может позволить себе игнорировать их. То, что не может быть рационально понято участниками, все еще может быть понято, по крайней мере отчасти, наблюдателями, и политическая теория должна попытаться уделять внимание также нашему пониманию роли и ограничений умения, стиля, времени и харизмы в политическом процессе, их участию в успехе или неудаче наших собственных действий.

Мудрость. Рассмотренное выше, мудрость — знание второго порядка. Это знание о знании, умение об умении, оценка ценностей. Она говорит нам, какое знание искать, какому умению учиться, за какие ценности бороться. В этом смысле внешняя или внутренняя мудрость предшествует нашим первым теориям, так как она говорит нам о чем

¹⁸ Гераклит назвал второй тип знания «*fronesis*». См.: Jaeger W. *Paideia*. — NY, 1945. Vol. I. P. 180, 184.

теоретизировать. Но она и следует за теориями, говоря нам нечто о действиях, которые нам следует предпринимать.

В общем, мудрость имеет дело с нашим выбором целей и приоритетов. Таким образом, она имеет дело с изменением конфигураций целей — способов чувствовать, мыслить и жить. В конце концов она имеет дело с отбором более широких контекстов наших чувств, мыслей и действий. Из совокупности возможных альтернативных контекстов воспоминаний и ценностей, которые предполагают конкретный контекст, должны ли мы выбрать или сконструировать образ и интерпретацию любой конкретной научной операции? Какой контекст должны мы выбрать или сконструировать для постановки этического, интеллектуального и художественного вопроса, для нашего исследования и для ответа на него? Какой контекст должны мы выбрать для размышления, планирования, реализации и оценки результатов?

Контекст — основание всех значений: без контекста, все подобные действия будут казаться бессмысленными. Действительно, мы никогда в целом не свободны от избрания контекста, в котором живем и действуем. Но поскольку мы люди, мы никогда в целом не определяемся извне, равно как и прошлое не руководит нами исключительно. Мы всегда имеем некоторое пространство для выбора, и наша судьба зависит от того, как мы используем этот выбор. Но большая часть решений о наших мыслях и действиях будет зависеть от более широкого контекста, который мы выбрали, сознательно или бессознательно, и из которого мы выводим для себя значения.

Если наш выбор контекста может быть рискованным по своим последствиям, он не менее подвержен опасности из-за своего источника, так как мы не можем верифицировать мудрость, с помощью которой мы выбираем контекст и основание всех значений. Любая операция верификации предполагает другой контекст, который сам по себе не может быть верифицирован как целое, но только подтвержден внутри определенных рамок. В лучшем случае может быть продемонстрировано, что его содержание более истинно или по крайней мере столь же истинно, как и у любого другого контекста, в котором мы размышляем здесь и сейчас. Эта опасность характерна для всех времен, когда в политике, обществе и культуре происходят великие изменения. Мы можем верифицировать факт — когда он становится фактом — что наша старая мудрость и наш старый контекст подверглись эрозии, что они уже не могут быть использованы для решения новых проблем, но мы не можем полностью верифицировать наш новый контекст. Мы можем искать новую мудрость на собственном страхе и риск.

Существует ряд предварительных соображений, которые могут помочь нам, по крайней мере иногда, в этом рискованном предприятии. Как бы то ни было мудрость, которую мы имеем или принимаем в конкретное время, будет не просто нашим путеводителем в океане теорий, она также должна быть открыта для, по крайней мере частичной, коррекции теориями и фактами реальности, которые могут произвести наши процедуры верификации. Мудрость не открыта коррекции реальностью и в этом смысле может превратиться в простую идеологию. В этом свете мудрость — это отрасль науки, и сама по себе она не более чем связь в динамическом цикле, который включает селективное творение теорий и селективный поиск верификации реальности, ведущей к модификации или трансформации реальности на следующем уровне. Подобные циклы с обратной связью могут вести вечно ограниченную последовательность к упадку, стагнации и стерильности, или же они могут вести ее к расширению последовательности более глубоких инсайтов, более плодотворных теорий, большего количества верифицированного знания и к растущим когнитивным и оценочным способностям. В какое из этих двух направлений предложенная версия мудрости приведет нас, не может быть решено заранее с какой-либо определенностью. Мы обладаем способностью сказать более определенно о результатах нашего рискованного выбора, об успехе которого можем судить только по его плодам.

III. ТЕОРИЯ КАК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Мы исследовали девять аспектов политической теории. Но мы должны посмотреть на них с другой точки зрения. Мы можем проанализировать их как множество уровней в одном производственном цикле политического знания и политического действия. Если какому-либо из этих уровней не уделяется достаточно внимания, весь цикл страдает и может остановиться, или же кто-то где-то приложит определенные усилия для того, чтобы устранить повреждения. Воспоминания, инсайты, организованные символы, самокритика, эвристический поиск, ценности, которых сознательно придерживаются, верифицированное знание, практические умения, рискованная мудрость, — все это сущностные части политической теории, все они жизненно необходимы для действия. Политическая мысль и действия циклично двигались по этим уровням в прошлом и будут двигаться в будущем. Понимая принцип разделения прибавочного продукта и раз-

деления труда, некоторые из нас будут прилагать усилия на одном из конкретных уровней, но каждый из уровней необходим, ни один не может быть упущен, если мы хотим, чтобы процесс продолжался. Эта общая задача по поддержанию жизни политической теории: помогая людям понимать и контролировать их судьбы, насколько это возможно, все мы, политические ученые и политические гуманисты, нуждаемся друг в друге.

С этой точки зрения, политическая теория в целом — интегрирующий и частично интегрированный процесс. Мы должны больше узнать об этом единстве и сделать его сильнее и не испытывать неудобство от единства теории как интеллектуального усилия, от которого зависит наличие или отсутствие единства в политической системе, которую мы изучаем.

Уже сейчас можно быть уверенным, что конкретные политические теории могут служить инструментом интеграции политической системы, в которой они себя обнаруживают. При подходящих условиях политическая теория может уменьшать когнитивную дисгармонию или может сместить ее из центра политического внимания к краю. Такая теория может также уменьшить когнитивный ценностный конфликт в сознании личностей или конфликт между личностью и группой, или среди групп, проживающих в одном государстве. В этом смысле политическая теория может продвигать личное единство и мир в сознании, групповую солидарность и /или национальную нравственность.

Если она делает это, то личности, лидеры групп, национальные правительства могут высоко ее ценить, даже если конкретная теория превратилась в идеологию, то есть если с ее помощью принципиально невозможно контролировать реальность. Если политическая теория становится инструментом постижения реальности, а затем превращается в идеологию, она становится инструментом исключения фактора реальности из совокупности собственных правил, которым она строго следует. В течение некоторого времени элиты и массы могут наслаждаться таким интеллектуальным и эмоциональным убежищем от неприятных фактов, но, по сути, счет за коллективный самобман должен быть оплачен¹⁹.

Но теория может также иметь и противоположные эффекты. Она может раскрывать несбалансированность или противоречие, дис-

¹⁹ См. ссылку 6. Так, предложенное понятие «крайней» идеологии является близким к коррекции реальности. См.: Deutsch K. W. *Politics and Government: How People Decide Their Fate.* — Boston, 1970. P. 9–10.

пропорцию в изменениях. Она может освещать элементы или аспекты реальности, которые конфликтуют с другими и которые прежде игнорировались. Она может показать нам новый важный контекст. Она может повысить когнитивную дисгармонию или столкновение среди наших ценностей. На практике она может перевернуть нашу прошлую склонность к истине, соглашению, сотрудничеству и соблюдению правил. Она может принести не мир, но меч. Но это может быть важная теория. Она может содержать важные элементы истины, однако мы можем игнорировать ее на свой страх и риск.

Все это кажется истинным для теории в любой области знания. Но каковы специальные проблемы теории политики?

IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ПОЛИТИКИ

Политика — это управляющий сектор общества. Она имеет дело с организованными попытками общества изменить возможные исходы той или иной ситуации. В этом смысле политика всегда — изучение власти, но более конкретно — изучение власти в любом обществе, в самой судьбе этого общества²⁰.

Подобным образом, вероятно, теория модернизации должна акцентироваться более реалистически на возможных, главных диспропорциях и отсутствии балансов, внутренне присущих процессу модернизации²¹.

Только затем политика действительно имеет дело с управлением явлениями и властью подсистем над обществом, то есть с личностями, группами, включая группы, организованные по принципу общих интересов, нациями и классами — относительно их собственных конкретных судеб и относительно друг друга. Изучение того, «кто полу-

²⁰ О социологическом подходе, совместимом с этой точкой зрения, см.: *Etzioni A. The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes.* — NY, 1968.

²¹ См.: *Hirschman A. O. The Strategy of Economic Development.* — New Haven, 1958; и *Hirschman A. O., Lindblom Ch. E. Economic Development, Research and Development, Policy Making: Some Converging Views // Behavioral Science.* 1962. Vol. 7. № 2. P. 211–222; также: *Etzioni A. The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes.* — NY, 1968. P. 110. См. также: *Jaguaribe H. Economic and Political Development: A Theoretical Approach and a Brazilian Case Study.* — Cambridge, 1968; *Moore B. Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World.* — Boston, 1966; другой подход см.: Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — М., 2005.

част, что, когда и как» — на самом деле важный факт исследования политики, однако сам по себе он не является частью будущей цели. Для познания будущего политическая наука с неизбежностью обращается к коллективному самоконтролю людей — их коллективной власти над собственной судьбой²².

Поскольку информация оценивается относительно уже известных знаний об изучаемой системе, то власть оценивается относительно того, что уже, вероятно, случилось²³.

Точно также управление действиями может быть оценено — оставим в стороне измерение — в соответствии с возможным курсом событий при отсутствии самого представления, то есть в отношении альтернативы простого смещения политической системы в более широкое социальное и экологическое окружение. Проявление политики, в сущности, содержится в различиях, которые она создает в «неполитических» секторах общества. Как мы можем судить об управлении действиями кормчего кораблем без знания о штормах, течениях, волнах и песчаных косах, среди которых прокладывается курс? И как мы можем судить о действиях государственного деятеля и правительства в наше время без знания о широких изменениях в народонаселении, экономической жизни, культурных и социальных практиках, которые переживают все современные общества?

Для ответа на подобные вопросы нам необходима большая совокупность фактов. Многие из этих данных должны быть позаимствованы из других социальных наук, таких как экономика, демография, социология, психология и психиатрия. Несмотря на их дисциплинарное происхождение, такие данные важны для политического анализа. Основные данные относительно главных трендов развития всего общества — социальных, экономических, культурных и экологических, и возможного распределения будущего развития, созданного их взаимодействием, — таким образом, становятся необходимой частью политического исследования и теории. Сегодня учет подобных данных ведет к потере политическим анализом поля исследования, они становятся неотделимыми от его ядра и сущности²⁴.

²² См.: *Lasswell H. D. Politics: Who Gets What, When, How.* — Cleveland, 1958; *Easton D. The Political System: An Inquiry Into the State of Political Science.* — NY, 1953.

²³ См.: *Dahl R. A. The Concept of Power // Behavioral Science.* 1957. № 2. P. 201–215; также см.: *Modern political analysis.* — Englewood Cliffs, N.J., 1970.

²⁴ Пример подобных данных см.: *Russett B. M., Alther H. R., Deutsch K. W., Lasswell H. D. World Handbook of Political and Social Indicators.* — New Haven, 1964; *Taylor Ch. L. (ed.) Aggregate Data Analysis: Political and Social Indicators in Cross-National*

Какие различия мы наблюдаем среди обществ и наций, регионов и классов, групп и индивидов и сколько внимания, много или мало, политика уделяет их постоянству или изменению? Каковы упущенные возможности и наблюдаются ли полный провал в текущем контексте над политическими системами Запада, Востока, Севера и Юга? Насколько управление политической системой могло бы участвовать в улучшении природы человека в данном контексте современных условий, если бы огромное число людей изменило бы свое поведение? Насколько вероятны или невероятны подобные изменения и что может быть сделано для того, чтобы изменить имеющиеся возможности?

Осмысленные таким образом наши политические и социальные изобретения и признаки, наши программы данных и исследования не должны быть просто нагромождениями стерильной информации, равным образом они не должны стать памятником поклонения существованию фактов или практик. Они могут помочь нам раскрыть динамику социальной и политической реальности так, чтобы мы смогли понять динамику возможных политических и социальных изменений человеческой самодетерминации.

V. РОСТ ТЕОРИИ: МОЖНО ЛИ ЕГО ИССЛЕДОВАТЬ?

Откуда мы можем знать, продвигаемся ли мы к поставленной цели? Каким образом мы можем узнать, действительно ли наблюдалось развитие политической теории в течение ряда десятилетий или это было лишь переменной моды, подобно женским платьям? Будет ли забавным носить радикальный пессимизм в этом сезоне и пессимистический консерватизм в следующем году, а может быть, модифицированный консенсус через год?

Существует лишь один способ узнать, действительно ли наблюдается рост нашего знания. Не имеет значения, насколько различными наши теории могут выглядеть на первый взгляд, на самом деле

Research. — Paris and The Hague, 1968; Hudson M., Taylor Ch. Second World Handbook of Political and Social Indicators. — New Haven, 1971; Singer J. D. The Wages of War. — NY, 1971; Singer J. D. (ed.). Quantitative International Politics: Insight and Evidence. — NY, 1968; Singer J. D., Jones S. Beyond Conjecture: Data-Based Research in Political Science. — Chicago, 1971; Bauer R. (ed.). Social Indicators. — Cambridge, 1966. Осторожная, но всеобъемлющая дискуссия, см.: Merritt R. L. Systematic Approaches to Comparative Politics. — Chicago, 1970.

важно, насколько возрастает содержание их истинности? Сколько много новых экзистенциальных утверждений они предполагают и сколько экзистенциальных утверждений содержалось у их предшественников? Как много новых фактов, отношений и возможностей мы открыли, как много ранних предположений было подтверждено или модифицировано или же, напротив, опровергнуто? Какие новые предсказания мы сможем сделать, проверить, какие новые политические, социальные, социологические или правовые действия, какие новые законы и институты кажутся теперь возможными или, вероятно, заслуживают апробации?

В более широком смысле мы можем проверить рост политической теории в отношении каждого из девяти аспектов или уровней производственного цикла теории, которые мы рассмотрели выше. Наблюдается ли рост релевантных фактов и данных, сохраненных и готовых к повторному использованию? Существует ли цель в новом инсайте, в более величественной осведомленности о необходимости действовать, в более широкой чувствительности к реальным, практическим нуждам мужчин и женщин? Найдем ли мы более эффективный и могущественный способ организации нашего знания? Сделали ли мы свое критическое мышление более острым и глубоким и применили ли его более эффективно к нашим собственным мыслям и практикам? Стало ли наше мышление более плодотворным, более управляемым для того, чтобы сделать новые открытия, проверить их, а затем развивать? Стремимся ли мы к большей осведомленности о ценностях, ценностных ориентациях и ценностных конфигурациях как в политическом процессе и системах, которые мы наблюдаем, так и в наших собственных мыслях и действиях? Насколько актуального, зависимого и проверенного знания мы достигнем — знания, которое может быть названо научным и усвоено другими учеными? Какие умения мы открываем, понимаем, изучаем и делаем доступными для применения в исследованиях и политической практике? И, наконец, какую мудрость мы в принципе можем получить?

Ни один теоретик, ни одна группа ученых не склонны отвечать на эти вопросы. Вот почему нам необходима помощь других в том случае, когда политическая теория должна развиваться в нужном темпе и удовлетворять потребности нашего времени. Но даже учитывая коллективность действия, какой реальный прогресс был достигнут за последние несколько лет?

Давайте оценим девять вышеперечисленных аспектов. Пять из них, насколько мы помним, относились прежде всего к познанию,

а непрямым образом к действию. Оставшиеся четыре относятся к политическому действию, которое предпринимается людьми, или к шагам, которые могут быть предприняты, если мы того пожелаем. Каковы успехи, достигнутые в последние несколько лет в отношении каждого из этих аспектов, и каковы перспективы дальнейших исследований?

VI. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

В отношении первых пяти аспектов политической теории мы обнаруживаем очень быстрый рост оснований, опыта, воспоминаний и данных, с которыми они имеют дело. Вселенная политики растет: развиваются более 140 национальных государств, и внутри каждого из них растут государственный и политический сектора. В 1959 году расходы государственного сектора (национального, государственного, провинциального или муниципального органов власти), социальной безопасности и государственных предприятий исчисляются долей в 34 % в 28 странах, для которых эти данные доступны²⁵. Есть определенные причины полагать, что во многих странах этот государственный сектор в 1960-е годы рос еще быстрее.

Рос не только удельный вес государственного сектора, росли и различия политического опыта. К 1970-му году существовали 14 коммунистических государств, которые управлялись партийными режимами, исповедующими по крайней мере четыре различных типа коммунистических идеологий — Советская Россия, Китай, Югославия и Куба плюс пятый тип — Чехословакии, которая была подчинена русской версии в 1968 году; кроме того, идеологии Румынии, Албании, Польши и Северного Вьетнама несколько отличались от канонических. Различия в секторе частного предпринимательства также растут или по крайней мере сохраняются, варьируясь от олигархий и экономик *laissez-faire* в Латинской Америке до смешанных экономик Скандинавии и стран Западной Европы. В таких условиях социальные и экономические системы не просто представляются как данные, рассматриваемые в качестве неполитических оснований политики. Социальный порядок сам по себе является переменной для политического исследования, поскольку в большей мере становится объектом политического соперничества в практике многих стран.

²⁵ См.: *Russett B. M., Alker H. R., Deutsch K. W., Lasswell H. D. World Handbook of Political and Social Indicators.* — New Haven, 1964. P. 63.

Сейчас мы можем сравнить работающие политические институты и политическое поведение людей при разных социальных системах, равно как и различные основания существования богатых и бедных стран, западных и незападных культур²⁶. Все вместе эти контрасты и возможные сравнения предлагают широкий ряд возможного политического опыта, достаточно далекого от того, который Аристотель, Макиавелли, Монтескье, Руссо или Парето могли бы включить в свои теории.

Совместно с расширением вселенной политического опыта наблюдался рост политических воспоминаний и данных, доступных политическим ученым, и он продолжается и поныне. Такие данные включают исследования общественного мнения, биографий представителей элиты и интервью, статистику голосования на национальном и местном уровнях, голосования законодателей, совместную статистику политических, социальных и экономических показателей, данные контент-анализа, данные о войнах и других исторических событиях, данные других социальных наук — математические и статистические операции, коэффициенты и другие вторичные данные²⁷. В 1966–1967 годах автор данной статьи оценил, что для одной политической науки совокупность релевантных данных заняла бы в 1965 году 16 миллионов перфокарт, с ежегодной прибавкой в 2,5 миллиона перфокарт. Можно предположить, что к 1975 году совокупные данные, необходимые политической науке, превысят 30 миллионов перфокарт, а ежегодное прибавление составят 5 миллионов²⁸. Сегодня, в 1970 году, кажется, что эти оценки были слишком низкими.

Мы можем рассматривать это чрезмерное увеличение информационной базы политической науки как кошмар или можем отвергнуть систематический анализ огромного числа подобных данных в каче-

²⁶ См.: *Fleron F. J.* (ed.) *Communist Studies and the Social Sciences: Essays on methodology and Empirical Theory*. — Chicago, 1970; *Merritt R. L., Rokkan S.* (eds.) *Comparing Nations: The Use of Quantitative Data in Cross-National Research*. — New Haven, 1966; *Dogan M., Rokkan S.* (eds.) *Quantitative Ecological Analysis in the Social Sciences*. — Cambridge, 1969. Для обсуждения внутринациональных проблем и сравнения с иными странами.

²⁷ См. литературу, представленную в сноске 20.

²⁸ *Deutsch K. W.* *The Impact of Complex Data Bases on the Social Sciences* // *R. L. Bisco* (ed.) *Data Bases, Computers, and the Social Sciences*. — NY, 1970. P. 19–41, особенно P. 30. См. также: *Eulau H., March J. G.* (eds.) *Political Science*. — Englewood, 1969. P. 58.

стве irrelevantных для понимания политики, как предлагают некоторые политические теоретики традиционной исторической и литературной ориентации²⁹. Но что бы стало с медициной, если бы врач отказался рассматривать статистику эпидемий и свидетельства миллионов медицинских карт? Что бы стало с химией, если бы химик опасался огромного числа химических структур, а с биологией, если бы биолог страшился огромного числа данных о различных молекулах и клетках, с астрономией, если бы астрономы испытывали страх перед множеством звезд?

Для политических ученых нет причин пугаться огромного числа свидетельств того, как люди действуют в политике. Современные методы хранения и получения информации, электронные вычисления делают возможным обращение с огромным числом данных — если мы знаем, что мы хотим делать с ними и как, если мы имеем адекватную политическую теорию, которая помогает нам сформулировать наши вопросы и интерпретировать ответы, которые мы получим.

Компьютеры не могут быть использованы в качестве субститутов мысли, а данные не заменят ценности. Но компьютеры помогут нам сделать анализ, который предлагают наше мышление и теории. Данные помогут нам ответить на вопрос, действительно ли мир фактов в конкретное время в конкретном месте движется по той же линии, что и ценности, или, наоборот, в противоположном направлении. Эти данные помогут нам оценить шкалу усилий, которые необходимо применить для того, чтобы привести тенденцию развития событий в соответствие с нашими желаниями. В этом смысле использование огромных масс релевантных данных и компьютерные методы их анализа предлагают более широкое и более глубокое основание политической теории и в то же время они ставят перед политической теорией более сложные вопросы.

Изменения количественного основания политической теории только отчасти соответствует изменениям в компетентности и инсайте. Но и здесь отмечаются изменения. 1960-е годы были вторым десятилетием того, что некоторые психологи называли сенситивной тренировкой американского народа. 1930-е были первым таким десятилетием. Тогда это были белые люди, не обладающие достаточным

²⁹ См.: *Schuman F. L. International Politics: Anarchy and Order in the World Society.* — NY, 1969. P. viii, n. 1; *Morgenthau H. The Annals of the American Academy of Political and Social Science.* 1965; Противоположный подход см.: *Rosenau J. N. (ed.) International Politics and Foreign Policy.* — NY, 1969; и сборник под редакцией *Singer J. D.* (сноска 20).

капиталом, безработные, и белые мигранты, в которых живой Джон Стейнбек видел зреющую жатву ярости³⁰.

Сегодня именно черные американцы и чикапос вместе с другими бедными людьми, со множеством молодых людей, многими мужчинами и женщинами в растущем секторе нашего общества, который включает наши университеты, наши научные и исследовательские организации, наших интеллектуалов, наши масс-медиа и, в общем, нашу индустрию производства знания, выполняют роль детектора лжи в сегодняшних социальных условиях.

Крайне часто, исходя из этих оснований, люди рассматривают протест против проблем, которые, с их точки зрения, имеют место в некоторых или многих институтах и процессах, происходящих в нашем обществе, и их учитывают в неэмоциональной работе социальных ученых и исследователей, которых интересуют факты. Спасибо этой сложной, но очень реальной коммуникации между протестующими и учеными, поэтами и исследователями, изучающими поведение, — коммуникации, которая продолжается внутри разума почти каждого из нас — сегодня мы вряд ли знаем о проблемах больше, чем то, что изначально рассматривалось как незначительное.

К настоящему моменту мы знаем немного больше о проблемах исключения и дискриминации, о культурной депривации, о росте или удушении человеческой гордости и мотивации к стремлениям и достижениям. Мы знаем немного больше о качестве наших школ и нашем окружении, об отчуждении, уходе, протестах и сложностях осуществления даже ограниченного числа реальных изменений. Мы знаем достаточно, чтобы понимать, что все эти проблемы создают все более возрастающие важнейшие аспекты проявления правительств и интеграции политических сообществ.

Достоинство последней работы в политической науке состоит в том, что она внесла свой вклад в эту незавершенную задачу формирования паттернов познания. В этой своей форме она может быть исторической, дескриптивной, эссеистичной, литературной или философской. Форма, которую она предлагает нам в самой сути паттернов познания, старых или новых, которые в прошлом мы не смогли адекватно воспринять и которые сейчас требуют нашего внимания, не важна. Поэтому Томас Шеллинг привлекал наше внимание

³⁰ Пример потенциальной плодовитости этого взаимодействия для расширения восприятия социальными учеными — появление двух «ценностных» новых глав о неравенстве и проблемах окружающей среды в восьмом издании классического учебника: *Samuelson P. A. Economics*. — NY, 1970.

к общим интересам и аспектам сотрудничества, внутренне присущим всем ситуациям-угрозам. Филипп Грин обозначил «смертельную логику», скрытую во многом в кажущейся рациональной риторике политики устрашения³¹. Герберт Маркузе, с которым я в общем и решительно не согласен, напоминает нам, что даже толерантность может быть репрессивной, если она соединяется с настойчивым отрицанием реального внимания и недостатком адекватного ответа³². Сеймур Мартин Липсет проследил элементы авторитаризма в отношениях и поведении рабочих; Майкл Хэррингтон проанализировал, каким образом бедных заставляют платить больше, в то время как Роберт Лейн пролил свет на страх перед равенством, обнаружив его в умах многих голосующих, которые сами по себе неуспешны в своих обществах³³.

Ученые, на которых я ссылаюсь, представляют многообразие точек зрения и методов исследования. Кроме того, в их работах мы можем увидеть еще одно: осторожное глубокое описание и критическое осмысление не устарели в политической науке, устарели и скоро будут отвергнуты окончательно новые красоты компьютерных технологий. Это неизбежные методы, необходимые для восстановления нашего контакта с реальным миром, в котором мы живем, поскольку их объект — истинные люди с их нуждами, надеждами и эмоциями. Именно эти методы познания, размышления и описания должны говорить нам о качестве политических событий до того, как мы сможем начать изучение количественных аспектов.

Будьте уверены, нам необходимо знать, какое осмысление содержит большой элемент истины. Именно потому, что мы не можем пребывать в состоянии постоянного поэтического и артистического видения или под влиянием простой риторики или правдоподобности.

³¹ См.: Шеллинг Т. Стратегия конфликта. — М., 2007; Schelling Th. C. Arms and Influence. — New Haven, 1966; Green Ph. Deadly Logic: The Theory of Nuclear Deterrence. — Columbus, Ohio, 1966.

³² См.: Маркузе Г. Одномерный человек. — М., 1994; Wolff R. P., Marcuse H., Moore B. A Critique of Pure Tolerance. — Boston, 1965.

³³ См.: Lipset S. M. Political Man. — Garden City, 1960; Lipset S. M. Revolution and Counter-revolution: Change and Persistence in Social Structures. — NY, 1968; Harrington M. The Other America: Poverty in the United States. — Baltimore, 1963; Lane R. E. Political Ideology: Why the American Common Man believes what he does. — NY, 1962. О последних исследованиях некоторых аспектов политики бедности в отдельных государствах см.: Beer S. H., Barringer R. E. (eds.) The State and the Poor. — Cambridge, 1970.

Нам следует использовать любой подходящий метод верификации, доступный нам, для того чтобы проанализировать описания и оценки, вставшие перед нами, на их связность внутри самих себя и с внешними свидетельствами. Затем мы будем использовать, если это возможно, понадобится, любой релевантный для наших целей метод науки, включая новейшие умения исследований, и измерения общественного мнения, социальных индикаторов, количественных данных математического и статистического анализом. Но мы не сможем проверить или измерить то, что прежде не было нами рассмотрено.

Третьей основной функцией теории является организация знания для быстрого и эффективного хранения и извлечения знания из хранилища для готовой экстраполяции недвусмысленного предсказания вне естественного базиса данных и опыта. Здесь понятия и понятийные схемы играют хорошо известные роли. Они позволяют нам собирать и сравнивать новые категории количественных данных, таких как ассоциативное и неассоциативное поведение в политике, мотивация к достижению, неизоллированная агрессия, авторитарная личность, иная направленность или отсутствие познавательной гармонии. Часто они позволяют нам попытаться составить и сравнить новые измерения или количественные данные, такие как пропорция военного участия, правительственная пропорция (т. е. пропорция государственного сектора в ВВП), уровень социальной мобилизации, пропорция иностранной торговли, изменяющаяся пропорция элитных групп, рекрутирование элиты, круговорот элит и многое другое. Опыт может вынудить нас уточнять эти понятия или их модифицировать, или отказаться от многих из них. В свою очередь, действительно, новые количественные понятия часто ведут нас к новым количественным измерениям.

Некоторые из этих новых категорий и пропорций могут привести нас к новым инсайтам и новому зависимому знанию, другие могут принести двойственные результаты. Принятие любой ясной оппозиции между «средним» и «рабочим классом» в Соединенных Штатах, «одноэтажная Америка» как явная противоположность большинству групп, желающих политических и социальных изменений, тоталитаризм и его заявляемая противоположность свободному миру в предпологаемо нескончаемой холодной войне, замечания о балансе власти, вакууме власти и «эффекте домино», — все это в теории оказалось крайне хаотичным и неверифицируемым, а иногда смертельным и гибельным для практики.

Нам необходимы понятия и теории, которые в меньшей степени вводят нас в заблуждение и которые нестерильны. Эвристиче-

ский поиск новых открытий и большей плодотворности наших политических теорий становится самым важным аспектом нашей работы. Мы можем определить прорыв в любой социальной науке как вклад, который имеет огромное влияние на поле науки и который в дальнейшем открывает важный факт отношений, до того неизвестных, и /или дает нам возможность повторить и верифицировать результаты исследования, что мы не могли сделать до этого. Такие прорывы могут быть зафиксированы в 1900–1965 годы. Последнее исследование всех социальных наук (за исключением истории) показало 62 таких прорыва — практически один прорыв в год. Этот подсчет исключает некоторые пограничные случаи, которые также могут быть рассмотрены как прорывы в свете того влияния, которое они оказывали. И многие из них приходились на политическую науку³⁴.

Поэтому мы должны поставить следующие вопросы в отношении любой политической теории: «К каким открытиям она может привести? На какие новые факты или вопросы она указывает? Какие новые научные операции — повторяемые и верифицированные, несмотря на ту личность, которая первой представила эти результаты, — могут появиться с ее помощью?»

Эвристики — это поиск нового знания. Они могут действовать как интуиции, предложения или догадки. Но фактически мы должны обнаружить, действительно ли это предположительное знание является истинным знанием, является ли предположение действительно истиной, имеем ли мы дело с поэзией или с наукой, являемся ли мы священниками или физиками.

На фреске XVII века в старом дворце в Баварии я прочитал: «*Fides certiora ratione*» — «Вера более определена, нежели разум». Этот слоган характеризовал контрреформацию и полицейское государство, ею созданное. Будет трагедией, если эти же антиинтеллектуализм и антинаучный слоган снова появятся в качестве максим ошибочного псевдорадикализма в наше время.

Субъективная личная определенность любой веры — политической, экономической или идеологической — это великое искушение, несмотря на ее когнитивное содержание. Но нужда человека в истине сильнее: наша обязанность в отношении истины остается высшим правилом, превосходящим все иные. Только будучи подчинен-

³⁴ См.: *Deutsch K. W., Platt J. R., Senghaas D. Major Advances in Social Science Since 1908: An Analysis of Conditions and Effects of Creativity.* — Ann Arbor, 1970. Сокращенная версия см. в журнале: *Science*. 1971. P. 450–459.

ной контролю методов поиска и проверки истинности политической теория может внести свой вклад в науку

Как повысить истинностное содержание в наших новых идеях и содержание новизны в наших верифицированных открытиях? Эти вопросы приводят нас к пятой задаче политической теории — задаче, которой в прошлом слишком часто пренебрегали, особенно в таких больших и могучих государствах, как Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Задача, которой слишком часто пренебрегали, — задача критической рефлексии. Это серьезное усилие по проверке и размышлению в любое время и любом месте, поверхностные допущения господствующей политической идеологии и культуры — допущения, которые мы можем неосознанно разделять и принимать как должное; мы можем оставаться столь же невежественными, как и сельдь, которая не знает о солености той воды, в которой плавает. Действительно ли наши индустриальные общества столь богаты, наше политическое и социальное развитие столь прогрессивно, зоны бедности в наших государствах исчезают, наши усилия по помощи иностранным государствам столь щедры и успешны, наше вооружение столь способствует национальной и мировой безопасности, как мы хотим в это верить?

Чем более серьезно мы воспримем задачу по критической рефлексии, тем более сложной и необходимой она становится. Поскольку она должна содержать критическую осведомленность о скрытых слабостях и пристрастности в наших исследовательских методах, наших данных, нашей логике, нашей статистике и наших математических моделях, где бы мы их ни использовали. Здесь нам необходимо большое подозрение, свойственное крестьянам в отношении быстрого-воращего незнакомца из большого города научного исследования. Более того, нам необходима критическая компетенция на более высоком техническом уровне, примером которой служит критика Анатолем Рапопортом неправильного использования оценок стратегических возможностей некоторыми писателями³⁵.

Но критицизм когнитивного предположения недостаточен. Вдобавок мы также нуждаемся в критической ценностной осведомленности, включая осведомленность о наших собственных ценностях и относително того, как эти ценности изменяют восприятие и мышление тех людей, которые придерживаются данных ценностей.

Все мы обладаем определенными предрассудками. В остатке же мы имеем не то, чем являются наши предрассудки, более важно, на-

³⁵ Rapoport A. Strategy and Conscience. — NY, 1964.

сколько они сильны, насколько они искажают наше восприятие реальности и насколько эффективно они лишают нас шансов осуществить самокоррекцию с помощью новой информации о реальности и о реальных последствиях наших действий. Борясь за открытость и разумом и сердцем, мы знаем, что большая часть из нас не сможет преуспеть в этой борьбе, но мы можем использовать политическую теорию для того, чтобы двигаться в направлении большей открытости, более эффективной самокритики и большей способности к научению, взаимному пониманию и общему выживанию.

Вклад теоретических, философских и аналитических работ таких авторов, как Роберт Линдт, Дэвид Райсман, Теодор Адорно, Юрген Хабермас, Эрик Эриксон, Александр Митшерлич и других исследователей из многих стран, помогает нам двигаться в нужном направлении³⁶. Никто из этих авторов, кажется это можно сказать, не решил проблему, но их работы демонстрируют, что критическое рассмотрение ценностей и когнитивное осмысление расширяют границы политической теории. У них политическая теория — не просто наследство выдающихся мертвецов, а деятельный интерес живых людей.

Задача по самокритике теории может быть выражена во фразе, однажды использованной экономистом Якобом Маршаком: она должна помочь нам познать то, что мы знаем, и не смешивать это знание с менее важной задачей познания того, что мы хотим³⁷. Что бы мы ни получили из взаимодействия нашего восприятия и наших желаний, для эффективных действий эти два сущностных элемента должны быть прежде всего разделены, даже если позднее они соединятся для повышения эффективности этого действия.

Здесь политическая теория встречается с философией науки и развитием науки, критицизмом и тонкостью исследовательских методов. Работы таких политических ученых как Гарольд Лассуэлл,

³⁶ См.: Адорно Т. Негативная диалектика. — М., 2003; Lynd W. Knowledge for What? — NY, 1964; Riesman D. Abundance for What? And Other Essays. — NY, 1964; Adorno Th. W. Negative Dialektik. — Frankfurt, 1966; Mitscherlich A. Toward Society Without a Father. — NY, 1964; Die Idee des Friedens und die menschliche Aggressivitat. — Frankfurt, 1970; Versuch, die Welt besser zu bestehen. — Frankfurt, 1970; Lowi Th. J. The End of Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority. — NY, 1969; Parenti M. The Anti-Communist Impulse. — NY, 1969; Connolly W. (ed.) The Bias of Pluralism. — NY, 1969; Habermas J. Theorie und Praxis. — Neuwied, 1963. Также работы, упомянутые в сноске 2.

³⁷ См.: Marschak J. Probability in the Social Sciences // P. F. Lazarsfeld (ed.). Mathematical Thinking in the Social Sciences. — Glencoe, 1954. P. 166–215.

Гэбриэл Алмонд, Хенц Эллау, Йохан Галтуш и других более молодых ученых, демонстрируют мощь попыток усиления политической теории и исследований в этом отношении, а вклад нескольких лидеров в соседние дисциплины оставит свой след на политических теориях будущего³⁸.

Объединение вклада в критический анализ и методологию и более глубокого интереса к сущности политической науки характерно для всех ученых, на которых мы ссылались выше. Ни к одному из них не принимается старая британская эпиграмма, которую, я боюсь, можно применить к иным: «Вы используете уздечку, но где же чертова лошадь?»

Если наблюдается рост критического знания, должно быть знание, для критики которого его нужно использовать. Если рост продолжается, то должно быть открыто новое знание, как с помощью частичного накопления небольших открытий, так и с помощью больших достижений, даже прорывов в новые классы фактов и зоны знания.

VII. ОТ ТЕОРИИ К ДЕЙСТВИЮ

Оставшиеся четыре аспекта политической теории — последние четыре уровня цикла ее производства и воспроизводства — в большей степени близки к политическому действию. Здесь также многие вещи были подвергнуты скрупулезному анализу, но главные проблемы еще ожидают своего решения, причем в то время, когда опасности, фиксируемые современной наукой, ждать не будут.

Наш интерес к ценностям начинается с эмпирического исследования. Кто что оценивает, насколько высоко, какие альтернативы предпочитает, в каких ситуациях? Каковы условия и процессы, при которых создаются и поддерживаются ценности и ценностные паттерны? Существует ли экология ценностей и если да, то, что же создает ее и поддерживает в живых? Когда и как быстро происходит переоценка ценностей в умах людей? Каков период полураспада

³⁸ См.: *Lasswell H. D. The Future of Political Science.* — N-Y, 1963; *Eulau H. Micro-Macro Political Analysis: Accents of Inquiry.* — Chicago, 1969; *Galtung J. Theory and Methods of Social Research.* — NY, 1967; *Golembiewski R. T., Welsh W. A., Crotty W. J. A. Metodological Primer for Political Scientists.* — Chicago, 1969; *Parsons T. Politics and Social Structure.* — NY, 1969; *Piaget J. Le structuralisme.* — Paris, 1968; *Almond G. A. Political Development: Essays in Heuristic Theory.* — Boston, 1970.

да предрассудков, то есть времени, в течение которого тот или иной предрассудок теряет половину своих почитателей? Как трансформируются старые ценностные паттерны и как создаются новые ценностные конфигурации?

Уже Платон в своем «Государстве» предложил модель греческого города-государства, в котором политические и социальные режимы сменяют друг друга, начиная с аристократической культуры, дышавшей ценностями чести и храбрости, через тимократию, исповедовавшую ценности богатства, к демократии, характеризующейся удовольствием меняющегося поведения и желаний людей; он — сторонник замены этих форм правления новым обществом-крепостью, которое управляется философами, и на первый план выдвигает ценности философского созерцания обученного и одаренного меньшинства³⁹.

И снова мы узнаем историческую ценностную ориентацию в шекспировском представителе аристократической эры таком, как король Генрих V, который признается: «Но, если грех великий — жажда славы, // Я самый грешный из людей на свете»⁴⁰. Или Хотспур Шекспира, который продолжает «собирать яркую славу с бледного лица господина»⁴¹ — амбиции, воспринятые более широкой стратой позднейшей эпохи и фактически воплощенные федеральной бюрократией Соединенных Штатов в 1969 году.

В наше время вызывающие ценностные контрасты и ценностные изменения могут быть обнаружены в разных странах и в различные десятилетия. Политические и социальные ученые собирают существенные данные о таких ценностных изменениях и на них основывают свои интерпретации⁴².

Анализ экологии ценностей и ценностных паттернов, равно как их изменений и трансформаций, — изучение данных проблем извне, исходя из прошлого и окружающей их среды. Но мы можем также

³⁹ См.: Платон. Государство // Платон. Соч. в 4-х тт. — М., 1994. Т. 3.

⁴⁰ См.: Шекспир У. Генрих V // У. Шекспир. Полн. собр. соч. в 8-ми тт. Т. 5. М., 1959.

⁴¹ Там же.

⁴² См.: Lane R. E. Political Thinking and Consciousness: The private Life of the Ethical Mind. — Chicago, 1969; Erikson E. H. Gandhi's Truth. — NY, 1969; Almond G. A., Verba S. The Civic Culture. — Princeton, 1963; Mead M. New Lives for Old: Cultural Transformation-Manus. — NY, 1956; Henry J. Culture Against Man. — NY, 1965; Kluckhohn F. R., Strodtbeck F. R. Variations in Value Orientations. — Evanston, 1961; Roazen P. Freud: Political and Social Thought. — NY, 1970; Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism // The Public Interest. № 21. P. 16–43.

изучать их, так сказать, изнутри, их структуру и последовательность, или отсутствие таковой. Какие ценности совместимы? Какой способ следования этим ценностям легитимен? Иными словами, от какого средства и стратегии в преследовании одной ценности можно ожидать, что она не причинит вреда другим ценностям, которые также важны для деятельности личности или групп? В терминах внутренней логичности или адаптации к окружающей среде какие ценностные паттерны жизнеспособны?

Ответ на последний вопрос, вероятно, будет плюралистичен. Более чем один ценностный паттерн может рассматриваться как легитимный и жизнеспособный, но их число не очень велико. Теория игр показала, во многих играх число выигрышных стратегий больше единицы, но оно достаточно ограничено, в то время как множество стратегий ведет к потерям и поражению⁴³. Эти соображения предлагают миру плюрализм, терпимость и возможное сосуществование, но не равнодушие. Определенные способы управления и жизни могут быть жизнеспособны и легитимированы, но другие, такие как фашизм, имущественное рабство, атомная война или продолжающаяся интервенция США в Юго-Восточной Азии, таковыми не могут быть⁴⁴.

Но мы не должны ограничивать наш анализ ценностными паттернами, которые существуют сейчас или теми, что существовали в прошлом. Мы можем рассматривать ценности сами по себе как переменные, и то же самое мы можем делать в отношении приоритетов внутри паттернов. Что может случиться, если в существующей социальной и политической системе некоторые основные ценности изменятся? Экспериментируя на бумаге или в мыслях, мы увидим, что сами создаем политическую утопию или дистопию, видение возможного нового политического порядка, который может казаться намного лучшим или намного худшим, в иных ценностных ориентациях или в их всеобщей конфигурации⁴⁵.

⁴³ См.: *Neumann J. von, Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior.* — Princeton, 1947; *Rapoport A. Fights, Games and Debates.* — Ann Arbor, 1960.

⁴⁴ Относительно последнего см.: *Hoopes T. The Limits of Intervention.* — NY, 1969; *Taylor T. Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy.* — Chicago, 1970; *Hersh S. My Lai IV.* — NY, 1970.

⁴⁵ См.: *Manuel F. Utopias and Utopian Thought.* — Boston, 1966. Утопии противополжна технократия, добавляющая обыкновенную технологическую власть к неизменяемым ценностным структурам. Для критического исследования этой проблемы см.: *Narr W.-D. Theoriebegriffe und Systemtheorie.* — Stuttgart,

Все подобные воображаемые конструкты должны быть противопоставлены нашему знанию мира фактов. Здесь мы соприкасаемся с седьмым аспектом теории: фактически зависимым, потенциально научным знанием, использующем точку зрения системного анализа.

Сейчас мы должны спросить о цели нашего интереса: какова ситуация, в которой наблюдается данная взаимосвязь? Насколько меняется и как развивается ситуация? Какова автономная возможность распределения ожидаемой прибыли в отсутствии нашего вмешательства? Как и в каком отношении это распределение прибыли может быть изменено в случае изменения любого из тех окружающих условий, которые мы в некоторой степени контролируем?

Наши ресурсы, необходимые для ответа на эти вопросы, растут быстро, если сравнивать их рост с тем, что было до этого, но очень медленно в сравнении со значимостью нашей задачи. Важный шаг вперед некоторыми нашими политическими учеными был сделан через заимствование стиля мышления экономической теории и эконометрики, в то время как некоторые ведущие экономисты стали больше внимания уделять рассмотрению политических проблем. Книга Альберта О. Хиршнера «*Exit, Voice and Loyalty*», — я в это верю, — докажет, что он сделал значительный вклад в политическую теорию; и для политических ученых важно уделить внимание плану Роберта Триффина⁴⁶ по новому типу репрезентации посредством нескольких слоев маленьких гибких групп интересов, в которые люди могут войти или покинуть в любое время в соответствии с их меняющимися субъективными интересами и межличностными отношениями. Такая субъективная репрезентация с помощью свободного выбора групп по интересам может быть полезна, а в некоторых ситуациях сможет заменить более ригидные репрезентации внешних категорий, такие как место жительства или место работы⁴⁷.

Для дальнейшего развития подходящих теорий мы должны объединить богатый набор клинического, исторического, культурного и дескриптивного знания ситуации с сущностными количественными

1969; Koch C., Senghaas D. (eds.) *Texte zur Technokratiediscussion*. — Frankfurt, 1970; также важно: Richta R. et al. *Czechoslovak contribution. Civilizace na rozcesti*. — Prague, 1969.

⁴⁶ См.: Предложения Роберта Триффина суммированы в: *Triffin R. Le Monde*. 1968. July 9. P. 6.

⁴⁷ См.: *Hirschman A. O. Exit, Voice and Loyalty*. — Cambridge, 1970.

ми данными, а там, где это возможно, с подходящими математическими моделями и методами компьютерной симуляции.

Такая статистическая и компьютерная работа затратна, но это не должно служить препятствием. Стоимость копирования данных и программ из существующих дискет намного меньше, чем стоимость накопления этой информации. Технические достижения могут обеспечить не только статус-кво, но и деятельность тех, кто грядущее для его изменения.

Мы можем задать соответствующие вопросы о той стороне, которую занимают акторы, не важно являются ли ими отдельные личности, группы или правительства. И эти акторы, фактические или потенциальные, могут включать и нас. Что должно быть сделано в свете наших ценностей? Насколько нам ясны наши собственные цели? Насколько сильны наши собственные мотивы? Кто еще может быть движим такими же мотивами, чтобы помочь нам, неосознанно или после консультаций с нами? Какие коалиции необходи-

" Goff T. P. Почему люди бунтуют. — М., 2005; Lipset S. M. (ed.) Politics and the Social Sciences. — NY, 1970; Abelson R. P. Simulation of Social Behavior. — New Haven, 1969; Russett B. M. What Price Vigilance? The Burdens of National Defense. — New Haven, 1970; Russett B. M. (ed.) Economic Theories of International Politics. — Chicago, 1968; Axelrod R. Conflict of Interest: A Theory of Divergent Goals with Applications to Politics. — Chicago, 1970; Alker H. R. Mathematics and Politics. — NY, 1965; Coplin W. Simulation in the Study of Politics. — Chicago, 1968; Guetzkow H. (ed.) Simulation in Social Science. — Englewood Cliffs, 1962; Guetzkow H., Alger Ch. F., Brody R. A., North R. C., Snyder R. C. Simulation in International Relations: Developments for Research and Teaching. — Englewood, 1963; Pool I. de Sola, Abelson R. P., Popkin S. L. Candidates, Issues and Strategies: A Computer Simulation in the 1960 and 1964 Presidential Elections. — Cambridge, 1965; Sidjanski D. (ed.) Methodes quantitatives et integration europeenne. — Geneva, 1970. Смотри также некоторые из докладов, прочитанные на восьмом ежегодном съезде Ассоциации политической науки в Мюнхене в сентябре 1970 года: Alker H. R. Multivariate Methods in Political Science: A Review, Critique and Some Further Suggestions; Chadwick R. W. Steps Toward a Probabilistic Systems Theory of Political Behavior, with Special Reference to Integration Theory; Hopkins R. F. Mathematical Modeling of Mobilization / Assimilation Processes; Kramer G. H. Theory of Electoral Systems; Rapoport A. Threat Games: A Comparison of Performance of Danish and American Subjects; Riker W. H., Ordeshook P. A Theory of the Number of Political Parties: The Case of India; Smoker P. International Relations Simulations: A Summary; White H. C. Congestion, Decoupling and Freedom: Some Implications of Queue Models for Control and Spontaneity in Social Systems.

мы и возможны для того, чтобы предпринять требуемые действия? Каковы группы или агентства, которые могут предпринять исследования в политической науке и/или нормативные предписания политической философии так, чтобы сделать ее основанием политики и практики?

В этом отношении последние работы американских политических ученых были в чем-то односторонними. Огромное число серьезных работ было выполнено для предоставления правительствам или правительственным агентствам ряда советов, но гораздо меньше обеспечивало специфической информацией неправительственные группы реформаторов, гражданские организации, рабочие союзы и общества. Это контрастирует с работой американской политической науки начала века, когда поколение «охотников за сенсациями» предложило проекты реформ и несколько законодательных инициатив с помощью агитации за реформы на муниципальном и государственном уровнях. Возрождение этих традиций активизма и реформизма поможет нам сделать наши ценностные предпочтения более эффективными.

Эти последние замечания — создание коалиции, реализация агентств и процедур, специфические сущностные предложения реформ — поднимают проблему умения. Действительно ли политическая теория говорит нам только то, что нужно делать, или она также говорит нам что-то о том, как нужно делать? «Государь» Макиавелли соединял в себе теоретические построения и понимание того, как делать что-то. В наше время теории городского планирования отчасти являются такими же теориями о том, как делать что-то. Могут ли развиваться другие ноу-хау теории в наше время?

Присоединяясь к этой точке зрения, мы относились к теориям, как к инструментам достижения целей и ценностей, которыми владеем. Но теперь мы должны задать политической теории вопрос: должны ли мы придерживаться тех же целей или нам следует их изменить. Здесь политическая теория возвращается к политической философии и политической мудрости. Призыв к переустановке приоритетов в национальной повестке дня Соединенных Штатов — это призыв к некоторой новой мудрости в большей степени, чем призыв к новому перераспределению общественного внимания, социального престижа, экономических ресурсов и политической власти.

В этом процессе установления нового порядка среди наших ценностей и приоритетов мы реально нуждаемся в мудрости, которую может предложить политическая теория. Какой контекст воспоминаний и ценностей мы должны избрать, составить в ансамбль или

сконструировать в замысел или интерпретацию любой научной операции на поле нашего исследования из ансамбля возможных кон-текстов? Какие цели мы должны предпочесть для себя, своей страны и человечества? Какие жизненные целевые конфигурации мы можем выделить и какие из них мы должны предпочесть и развивать? Мы увидели, что, в принципе, существуют границы верифицируемости и открытости спектра приемлемых выборов в этих вопросах, но внутри этих границ наш выбор не может быть научным, но должен быть гуманистичным, экзистенциальным и преисполненным риска. Насколько всеобщий, если вообще какой-либо, консенсус может быть достигнут, в нашей профессии в отношении этого выбора?

Поставить эти вопросы значит напомнить себе, как мало мы еще сделали в этом отношении и как много еще нужно сделать. И более того, возможны общие межевые вехи, которые многие из нас могут понять. Две большие проблемы, на мой взгляд, будут иметь приоритет в наших мыслях и действиях с настоящего момента в следующие три-четыре десятилетия: ликвидация бедности в развитых индустриальных странах⁴⁹ и ликвидация возможности широкомасштабной войны во всем мире. Как ликвидация тысячи лет длившейся практически долгового рабства, потребовавшей множества усилий и жертв людей в 1820–1870-е годы (и так как оно было достигнуто в большей части мира за этот короткий период), так ликвидация бедности и возможности войны — высшие задачи нашего времени. И теперь, как и тогда, выполнение задачи такого значения будет требовать огромных человеческих усилий и значительного расширения человеческой свободы.

Давайте спросим себя, как много последних политических теорий могут внести свой вклад в исполнение этой задачи? Как много открытий, инсайтов и философских концепций, релевантных этим задачам, были обещаны и объявлены, сколько из них были продемонстрированы и опубликованы и сколько из них все еще разрабатываются?

Речь идет о задачах, хорошо продуманных, в отличие от наших, в отличие от нашего знания и наших умений, которые страдают

⁴⁹ Борьба с бедностью меньшинств в развитых индустриальных странах, конечно, должна идти рука об руку с борьбой с массовой бедностью в менее развитых регионах. Последняя задача — ликвидация бедности во всем мире — будет актуальна и в следующем столетии, но в развитых индустриальных странах она должна быть завершена уже в этом.

от недостатка ресурсов. В мире больше взбешенных граждан и фанатичных сторонников, соревнующихся типов невежества, чем тех, кто профессионально борется за науку — социальную и политическую.

Мы можем и должны понять когнитивную силу, которая потенциально принадлежит нам как тем, кто профессионально занимается политической наукой. Редко, если когда-то это и было в истории, человечество нуждалось в этом так, как сейчас. Если мы не будем развивать когнитивную силу политической теории и политической науки, никто иной не сделает это за нас.

В границах познания и верификации, а иногда в периоды кризисов вне этих границ, мы должны занять определенную позицию и придерживаться ее. Мы должны избрать наши ценности и наши риски в качестве профессии; я думаю, нам следует принять на себя обязательство следовать истине и сочувствию. Я верю, что мы примем на себя это обязательство и будем вознаграждены за это.

*Перевод с английского
Константина Афшина*

СТРАННАЯ СМЕРТЬ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

УПАДОК СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ¹

1. ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Почему сложилось так, что в современной политической теории мы должны обращаться к прошлому, чтобы найти там вдохновение и свежие мысли? В политической теории является аксиомой то, что политические идеи процветают на почве социального конфликта и изменения. Когда мы говорим о социальных беспорядках в Древней Греции, политических и религиозных конфликтах XVI и XVII столетий, а также о волнениях, предшествовавших Французской революции, и сравниваем все это с теорией, разработанной на каждый случай, то упомянутая аксиома кажется истинной. Хотя мы также живем в период фундаментальных изменений и широко распространившихся конфликтов, наша цивилизация кажется исключением, подтверждающим правило. Современная политическая мысль паразитирует на идеях столетней давности, а что обескураживает еще больше, так это практически полное отсутствие развития новых политических идей. Говорят, что социальные науки ждут нового Аристотеля или Ньютона. Что касается политической теории, то если воспринимать существующие перспективы как указатель на действительный поворот в будущем, то это ожидание так и останется ожиданием, поскольку мы не подготавливаем почву, из которой может появиться революционно творческое мышление.

Мои нижеследующие замечания призваны показать, что эту бедность политической теории большей частью можно отнести к характеру исследований в данной области по меньшей мере за последние 50 лет. За несколькими исключениями, на которые я еще укажу, ис-

¹ Перевод сделан по: *David E. The Decline of Modern Political Theory // The Journal of Politics*. 1951. Vol. 13. № 1. (February). P. 36–58. — *Прим. ред.*

следования в этот период были направлены в основном на форму исторического анализа, которая по своей сути препятствовала желанию вернуть теории ее естественную и традиционную роль². Собственно можно выделить две причины такого обнищания. Во-первых, такой способ исторического анализа играл основную роль в разрушении того вида интеллектуальной работы, который преобладал в обществах «высокой культуры» и который возникает на основе общечеловеческих нужд. Самим своим существованием эта интеллектуальная деятельность свидетельствует о размышлениях об истинных целях существования человека и наталкивает на мысль о существовании для всего человечества некоторых идей о желательном направлении всех событий. Следовательно, я прежде всего утверждаю, что тот способ исторической интерпретации, с которым все мы сегодня знакомы, выжил из теории ее единственную уникальную функцию: творчески конструировать оценочную систему координат.

Во-вторых, принятый всеми исторический подход невольно помог сместить фокус внимания и энергии политических ученых с задачи построения систематической теории политических отношений и управления политическими институтами. Экономика, например, или социология пытаются собрать воедино и придать согласованность своим эмпирическим исследованиям посредством создания общей для всей дисциплины теории. Политическая наука, в свою очередь, по большей части игнорировала эту задачу. Поскольку теория самого общего уровня, которую мы называем политической теорией, всегда лежала в компетенции раздела политической науки, то политическая теория должна по меньшей мере разделить ответственность за неспособность стимулировать проведение исследований в эмпирической или каузальной сферах.

Политическая теория должна нести этот двойной груз ответственности благодаря тому, что традиционно, хотя это и редко признается и осознается, она имеет дело с двумя основными системами знания: фактами и ценностями. И хотя она всегда интересовалась прежде всего ценностями, мы введем себя в сильное заблуждение относительно сути политической теории, если не признаем, что на практике она действительно зависит от фактических утверждений о политических отношениях. Если смысл существования теории в том, чтобы оказывать равное внимание фактическим утверждениям

² См.: Sabine G. H. What is a Political Theory // The Journal of Politics. Vol. I. 1939. № 1. P. 1; Willoughby W. W. The Value of Political Philosophy // Political Science Quarterly. 1900. Vol. 15. № 1. P. 75-95.

ям и ценностным суждениям, в таком случае она должна заняться систематизацией своей эмпирической базы. Поскольку понимание всего моего исследования зависит от недвусмысленного понимания той роли, которую фактические утверждения и ценностные суждения играют в политической теории, то необходимо предварительно их рассмотреть.

Очевидно, что политическая теория никогда не была в истинном смысле теоретической: она не была создана человеком, свободным от фактов. Размышления великих политических теоретиков всегда основывались на тщательном наблюдении за современной политической сценой, а также на знании истории. В основании любой политической теории, следовательно, находятся определенные утверждения, которые используют факты, относящиеся к современности или истории. Присутствие таких фактических утверждений не задержит нас долго, поскольку никто не отрицает их существования в рамках политической теории. Они утверждают, что определенные события произошли в определенное время и в определенном месте или что существовали данные политические обстоятельства. Эти утверждения необходимо проверять таким же образом, каким и любой исторический факт.

Существует тем не менее и совершенно другой класс утверждений, характерных для политической теории. Они относятся не к сущему, а к ситуации, которую люди рассматривают как желательную — или должную. Это сознательные ценностно-ориентированные утверждения. Они описывают способ, при помощи которого должен быть организован желательный социальный порядок, если ценности, принятые теоретиками, должны будут реализоваться. Такая манера выражения объединяет три различных вида утверждений, которые необходимо различать, для понимания целей, поставленных политической наукой самой себе. Во-первых, она подразумевает выбор набора ценностей или предпочтений, которые политические ученые используют в качестве критерия для оценки социальной политики. После обобщения и систематического исследования я буду говорить об этой части как о теории ценностей. Во-вторых, эти ценностно-ориентированные утверждения также подразумевают, что те средства понимания ценностей, которые защищает теоретик, будут адекватны для достижения только того типа политического порядка, который сам теоретик предпочитает. Сейчас, чтобы продемонстрировать, что избранные средства будут адекватны данным целям, теоретик должен предположить, что он может показать универсальную или в наивысшей степени возможную связь между теми средст-

вами, которые он собирается использовать, и той целью, которую он хочет достичь. Иначе говоря, чтобы доказать, что использование средств Б поможет достичь цели А, необходимо предположить, что в данных условиях, когда бы ни использовались средства Б, с большей вероятностью будет получаться результат А. В противном случае вообще не может существовать обоснованной уверенности в том, что избранные методы принесут ожидаемые результаты. В итоге теоретик, скорее всего, будет предполагать существование и правильность еще и третьего вида утверждений, а именно — общей каузальной теории о взаимоотношениях фактов. Только на основании такой каузальной теории он сможет установить с некоторой уверенностью, каким образом можно достичь целей. Мы можем без труда идентифицировать все это множество утверждений, разделив дескриптивные и фактические утверждения, предполагаемые отношения между фактами и чистой или каузальной теорией, взаимосвязанные утверждения предпочтений, теорию ценностей и высказывания, призванные применять факты и имплицитную каузальную теорию для достижения тех или иных результатов и взятых на вооружение принципов.

Чтобы проиллюстрировать, что политическая теория составляется из такого множества утверждений, мы на секунду обратимся ко второму из «Двух трактатов о правлении» Джона Локка. Не может быть и речи о том, что Локк пишет о политических фактах, которые основываются на его знании истории и относятся к его времени, и, следовательно, нам нет нужды останавливаться на фактических утверждениях. Схожим образом не оспаривается и существование теории ценностей. Сама концепция естественного права и производных естественных прав, в которую укладывается аргументация Локка, под стать современной ему эпохе; она указывает на существование в этом трактате систематической теории ценностей. Что же не всегда весьма ясно понимается, так это то, что Локк предлагает своему читателю систематическое приложение теоретических знаний, чтобы показать наилучший способ организации политической жизни для осуществления моральной жизни, и что, делая это, он, должно быть, делает определенные имплицитные предположения в сфере каузальной теории. Стараясь показать, что данные средства произведут указанный результат, как, например, сохранение чьих-либо естественных прав, он мог бы это доказать, если бы его просили об этом, только утверждая всеобщую связь между релевантными фактами. Например, в одном месте он говорит, что, чтобы достичь политического порядка, который защитит людей в их естественных правах, законодательная власть должна быть отделена от исполнитель-

ной. Но чтобы иметь хоть какое-то доверие к этому принципу, Локк должен предположить, что если его попросят, то он может доказать, что такое минимальное «разделение» властей действительно предотвращает злоупотребления власти. Вероятно, он мог бы обратиться ко всей конституционной истории Англии, кульминацией которой является революция Вигов, как к свидетельству того, что его предположение является правильным. Однако предположение, что существуют неизменные взаимоотношения между разделением властей и беспристрастным формулированием и исполнением законов, является ни чем иным, как каузальной теорией. Это неявно выраженная теория отчетливо выделяется в собственных словах Локка, несмотря на то, что данное высказывание относится к применению знаний. «Поскольку искушение может быть слишком велико при слабости человеческой природы, склонной цепляться за власть, то те же лица, которые обладают властью создавать законы, могут также захотеть сосредоточить в своих руках и право на их исполнение, чтобы, таким образом, сделать для себя исключение и не подчиняться созданным ими законам и использовать закон как при его создании, так и при его исполнении для своей личной выгоды; тем самым их интересы становятся отличными от интересов всего сообщества, противоречащими целям общества и правления»³. В этом в XVII веке и заключался способ сказать, что существуют неизменные взаимоотношения между конституционализмом и структурой политических институтов. Это всего лишь одна иллюстрация к тому, что становится очевидным при анализе любой политической теории. Любая такая теория состоит из множества утверждений: фактических, ценностных, каузальных и прикладных.

II. ТЕОРИЯ ЦЕННОСТЕЙ

Предложив таким образом эмпирический или фактический аспект в дополнение к неоспоримому оценочному аспекту политической теории, я обращусь прежде всего к ее ценностной стороне. Анализ некоторых классических англо-саксонских теоретических работ за последнее столетие, например, сочинений Аллена, Карлайла, Даннинга, Макилвейна, Сэйбина и Линдсея, раскроет источник современного упадка в конструктивной теории ценностей. Подробное рассмотре-

³ Локк Дж. Два трактата о правлении // Дж. Локк. Соч. в 3-х тт. — М., 1988. Т. 3. С. 347.

ние этих работ обнаруживает, что они были менее мотивированы интересом в анализе и формулировании новой теории ценностей, чем в повторении информации о значении, внутренней непротиворечивости и историческом развитии современных и минувших политических ценностей. Существуют, конечно, в качестве исключения и другие исследователи, такие как Дьюи, Баркер, Кроче и Ласки. Тем не менее, несмотря на тот факт, что для последних теоретиков вопрос о ценности был более серьезным, они представляют собой все-го-навсего небольшую горстку среди подавляющего большинства, которое ограничивает себя историческими интерпретациями.

Благодаря действиям этого большинства, историческому подходу оказалось под силу лишить жизни теорию ценностей. Историческое рассмотрение политических идей само по себе не производит такого результата. В этом скорее нужно обвинить тот тип истории, который завладел умами теоретиков в последние 50 лет. История политических ценностей привела к сосредоточению внимания исследователей на отношении ценностей к окружающей среде, в которой они проявляются, а не на попытках создать новые концепции ценностей, соответствующих нуждам человека. Политические ученые посвящали себя тому, что являлось, по существу, эмпирической проблемой, а не проблемой ценности, по крайней мере, в терминах традиционного разделения фактов и ценностей. Совершая это, они включили теорию ценностей в эмпирическую или каузальную социальную науку и таким образом оставили традиционную задачу теории по переформулированию содержания ценностей.

Однако, невзирая на распространенное пренебрежение к творческой теории, существенные различия наблюдаются и в общем подходе, который принял каждый теоретик относительно связи ценностей и исторических условий. Существует, по меньшей мере, четыре основных точки зрения. Их идентификация послужит целям раскрытия внутренней сущности преобладающих исторических подходов и, следовательно, основных причин расшатывания теории. Например, те, кого я буду называть институционалистами — Карлайл и Макилвейн, — обычно говорят об истории мысли как об изучении эпифеномена, как о пене на морском прибое, которая не оказывает никакого влияния на движение волн. По их мнению, политическая теория включает в себя дискуссию о том разряде идей, который возник, чтобы облегчить рационализацию политических интересов и институционального развития. Эта группа исследователей достаточно близко подошла к современному пониманию того, что такие идеи — просто мифы, оправдывающие отношения, но едва ли действенные для

определения политической деятельности. Другие теоретики, которых я буду называть интеракционистами, — Аллен и (крайне впоследствии) время от времени даже Карлайл — настаивали, что идеи в действительности играют жизненно важную роль в политической жизни, взаимодействуя с институтами в процессе социального изменения как с весьма значимой переменной. По их мнению, задача политической теории состоит в раскрытии действительной роли идей в каждый исторический период. Третью категорию исследователей — Даннинг, в некоторой степени Сэйбин и большинство ученых, по крайней мере отчасти, — я буду скорее называть материалистами, если к ним не подойдут все остальные характеристики нашей концепции, подходят к политической теории, чтобы раскрыть исторические и культурные условия, породившие господствующие политические концепции той или иной эпохи. Пытаясь понять идеологию в терминах общей культурной матрицы, они объединяются с социологией знания. Эта третья группа теоретиков представляет наиболее общие утверждения о проблеме отношения идей и социальной среды.

В итоге остаются исследователи, которые, как, например, Линдсей, заметно отличаются от остальных. Они прежде всего не связывают себя задачей описания систем политических идей, чтобы показать, какова их функция в историческом процессе. Вместо этого они начинают со свободного выбора современных ценностей, а затем пытаются понять их значение более полно, анализируя пути их распространения через определенную традицию, например, макиавелизм или демократию. Они обращаются к истории, чтобы разъяснить значение и определить важность современных политических ценностей, тогда как историки политической мысли скорее склонны подчеркивать объективную оценку исторического развития ценностей. В результате, эта группа политических ученых в традиционалистской манере Бёрка предполагает, что политические ценности, выявленные методом проб и ошибок цивилизации в течение столетий, стали священными и истинными, и их положение не может подвергнуться никакой повторный анализ.

Хотя ни один из упомянутых политических ученых и эксклюзивно не следовал какому-либо из описанных подходов, это ни в коем случае не загрозняет однородности их точки зрения. Все изначально являются «историцистами»⁴. Они не используют историю ценно-

⁴ Для систематического обзора историцизма с точки зрения защитника социальных наук см.: *Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2-х тт.* — М., 1992.

стей в качестве метода стимуляции их собственных идей, возможно направленных на переопределение политических целей. Их мировоззрение препятствует этому. В пустоты их работ прокрадываются широко распространенные концепции социальных наук: все, что социолог может обоснованно сказать о моральных категориях, — это что они являются продуктом конкретной исторической ситуации. С этой точки зрения, единственной значимой целью для социолога будет попытка осмыслить те фактические условия, благодаря которым возникла какая-либо идеология или система ценностей. Поскольку личные ценности были обусловлены именно таким способом, то слишком сильно отдаляться в историческом плане от современных любому теоретику политических идеалов становится бесполезной задачей. Составление системы личных ценностей, следовательно, не может быть предпринято в рамках социальных наук. Такая структура мышления препятствовала историцисту предпринять радикальную реконструкцию унаследованной им системы ценностей.

Линсдей невольно продемонстрировал это в первой главе своего «Современного демократического государства»⁵. В этой работе он считает, что теоретик в самом идеальном случае должен постоянно пытаться понять «действующие идеалы», управляющие любым временем и особенно современной эпохой. Само название работы указывает на собственные ограничения в этом отношении. Автор не намеревается и даже не претворяется, что будет изучать демократическую теорию, которая может послужить как нашему, так и будущим поколениям; он ограничивает себя *современными* демократическими идеями. «Эта книга, — пишет он, — не об общей идее под названием «демократия», а об историческом типе, называемом современным демократическим государством»⁶. Он направляет свой труд на объяснение того, что он считает истинным значением современных политических идеалов, в рамках которых действуют люди, — идеалов, переданных из поколения в поколение и изменяемых от столетия к столетию.

Историческая интерпретация ценностей, связанная сегодня с историцизмом, привела к двум непредвиденным следствиям. Первое связано с практическими вопросами в политической жизни, а вто-

В этом сочинении исследователь рассматривает историцистскую политическую теорию. В работе «Ниццета историцизма» тот же автор оценивает историцистскую методологию. См.: *Ponner K.* Ниццета историцизма. — М., 1994.

⁵ *Lindsay A. D.* The Modern Democratic State. — NY, 1994.

⁶ *Ibid.* P. 1.

рое — с социальными исследованиями в университетах. Во-первых, с точки зрения практических вопросов, историцизм, во многом благодаря Гегелю и Марксу, отдалил политическую теорию от исходных практических проблем, которые и породили ее как дисциплину в Древней Греции и которые двигали ее вперед вплоть до середины XIX века⁷. За это долгое время политическая теория была не более, чем просто боковой ветвью политической истории или социологии знания. Политическая теория, как и вся остальная политическая наука, началась и придерживалась основного вопроса, ответ на который люди как дилетанты всегда искали: каким критерием необходимо пользоваться для оценки многообразия социальных программ, предлагаемых различными группами, ищущими политической власти. Первоначальный интерес политической науки, что преимущественно и отличает ее от других социальных наук, всегда лежал в сфере социальной политики, которая рождается из политической борьбы. Существует неисчислимое количество требующих ответа вопросов, если удастся понять способ, каким образом формулируется и осуществляется политика, но во всей области политической науки политическая теория традиционно избирается как часть ее задачи по выдвиганию стандартов, в рамках которых может быть принята практическая политика.

Ближе к концу XIX века интерес к переформулированию ценностей и концепциям политического порядка упал. Причины этому отыскать несложно. Они, с одной стороны, являются смесью роста релятивистского отношения к ценностям, появившегося после Юма и закрепленного в социальных науках Максом Вебером; а с другой — политической ситуации между 1848 и 1918 годами. Пока люди считали возможным выработать какой-либо стандарт или ценности, в терминах которых можно будет понять будущий политический порядок, существовал достаточный стимул для глубокого анализа политических идей прошлого, но после признания того, что все ценности являются выражением индивидуальных или групповых предпочтений и что эти предпочтения в результате отражают опыт группы или индивида, эти предпочтения по исследованию ценностей сошли на нет. Если предпочтения каждого индивида или каждой исторической эпохи были не хуже и не лучше, чем у любых других, то такое исследование казалось если не простой потерей времени, то воспринималось как чистая эстетика, а следовательно, было бесполезной для исследователя задачей.

⁷ Штраус Л. О классической политической философии // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 50–67.

Но поскольку это заключение очевидно нелогичное, как я попробую показать это позже, и его невозможно придерживаться на практике, то принятие релятивистской концепции ценностей не приводило к упадку критического рассмотрения ценностей. Хотя, каким бы нелогичным ни был этот вывод, с момента принятия его истинности следствием стало обращение исследователей к изучению источников, начал и исторической важности этих нормативных идей. Их до этого времени креативные функции немедленно исчезли.

Истинной причиной исчезновения этих функций было не возникновение морального релятивизма. Уменьшение интереса к творческим ценностям и рост морального релятивизма были двумя сопутствующими результатами действия еще одного фактора, а именно — специфичных исторических обстоятельств времени. Вместе с последующим изменением этих условий любое историческое обоснование открытого отказа заново определить систему ценностей должно восприниматься как разрушенное. В XIX и начале XX веков в Западной Европе, без сомнения, существовало согласие о том, что переформулирование системы ценностей окажет небольшое влияние на политическую жизнь. Не существовало никакого расслоения в этических воззрениях, которое могло бы настолько четко разделить враждебные группы, чтобы было можно выбрать между абсолютно несовместимыми и соперничающими ценностями. Однако с возникновением фашизма на исходе Первой мировой войны и последующим распространением тоталитаризма на Западе тот факт, который, кстати, предсказывал Ницше несколькими десятилетиями раньше, что люди могут действовать на основании совершенно разных этических стандартов, стал совершенно очевидным. Все это должно постепенно вести к пересмотру необходимости не только анализировать, но также и ставить под вопрос, как это делалось в прошедшие столетия, преобладающие политические ценности и их институциональное приложение. Факт состоит в том, что мы действительно ощущаем необходимость некоторого руководства нашего поведения в практических вопросах. В наше время конфликтов ценностных моделей, усиленных почти несовместимыми властными отношениями, самоследование ценностям наших предков начинает надоедать, если эти ценности перед тем, как их принять, не подвержены критическому анализу и творческой реконструкции.

Во-вторых, разве не является неадекватным слепо принимать историцистский подход не только для практических политических вопросов, но также и для социальных исследований? К началу XX столетия, особенно под влиянием идей Вебера, социологи приняли в ка-

честве аксиомы то, чему их учили, пока они были еще неопытными студентами, что политические ценности должны быть решительно исключены из эмпирических исследований. Посылкой в этом случае было и остается, что не только желательно отделить моральные воззрения человека от его эмпирического анализа, но и то, что это является возможным. Большая часть социальных наук современности существует в рамках этой системы взглядов. Считалось вполне достаточным создать теоретическую систему в исключительно аморальных каузальных условиях. Приятие ценностной системы координат отвлекало исследователя от его основного интереса (наблюдения за человеческим поведением) или искажало его результаты, поскольку желание без труда становится отцом мысли⁸.

Сегодня, конечно, благодаря исследованию Карла Мангейма и всей социологии знания стало таким же бесспорным, как противоположное утверждение было для Вебера, что какие бы попытки ни делались, но от ценностей невозможно избавиться так же просто, как и от одежды. Ценности — это интегральная часть личности и до тех пор, пока мы являемся людьми, можно предположить, что наши ментальные конструкции и предпочтения останутся с нами. В таких обстоятельствах наша ценностная структура приобретает решающее значение для эмпирических исследований. Она влияет на выбор исследовательской проблематики и на способ интерпретации результатов. Она помогает определять, вовлекаются ли фактические проблемы в попытку рассмотрения социологами целого ряда социальных установок в политической жизни. Пока они совершенно уверены, что они не принимают решений о ценностях и что их исследование неизбежно погружается в этические проблемы, они склонны забывать, что социальная наука существует, чтобы удовлетворять нужды человека. Избегая своей роли «строителя» и аналитика ценностей, исследователь менее склонен идентифицировать решающие проблемы человеческой жизни в обществе, нуждающиеся в исследовании. Отчасти этот поиск безнравственной науки и соответствующей ей враждебности к творческому переопределению ценностей объясняет современное чувство, что социальная наука изолированно живет в башне из слоновой кости⁹.

Часто такое безразличие к ценностным допущениям приводило ученого к исследованию, которое имело меньшее значение для соци-

⁸ Классическое выражение этой позиции можно найти в: Weber M. *The Methodology of the Social Sciences*. — Glencoe, Illinois, 1949.

⁹ Lynd R. S. *Knowledge For What?* — Princeton, 1939.

альной реальности, чем могло бы быть в другом случае. Это не просто гипотетическое суждение, оно может быть в достаточной мере документировано. Поскольку объем этой статьи не позволяет этого сделать, я просто сошлюсь на статью, в которой я попытался показать, как один ученый, пытавшийся, по меньшей мере в течение десяти лет, проводить исследование вне моральных вопросов, бесознательно воспринял ценностную систему координат элитизма Парето¹⁰. Здесь не может быть сомнения, поскольку все это основывается на серьезных исследованиях первого десятилетия его творчества, посвященных тому факту, что его выводы не смогли охватить все властные отношения в обществе.

Непредвиденные следствия историцизма, следовательно, состоят, во-первых, в отвлечении исследователей от вопроса «для чего необходимы эти знания?», а во-вторых, даже на примере попыток Мангейма, во введении некоторых из них в заблуждение о том, что социальная объективность — это необходимое условие хорошего исследования. Необходимо преодолеть все эти неблагоприятные последствия. Я утверждаю, что этот путь ведет к повышению квалификации исследователей относительно анализа и перестройки их систем ценностей. Чтобы такое обучение состоялось в рамках социальных наук, сначала необходимо вернуть политической теории то место, которое она занимала ранее в политической науке.

Показывая, что это не только необходимое, но и возможное и плодотворное предприятие, я определенно не стану принижать эмпирические исследования до факторов, благодаря которым возникли и оформились наши ценности. Эта сфера исследования существует сама по себе, и хотя историцистская политическая теория не смогла развить необходимый набор инструментов для корректировки этой проблемы, она, по крайней мере, пытается пролить свет на значительный, но все еще неясный вопрос. Более того, чтобы показать, что возвращение к традиции творческой теории возможно, я не намерен преуменьшать пользу обсуждения вопросов о природе ценностей. Однако даже если они являются объективными принципами или иносказательными формами выражения интеллектуальных построений, как считает прагматизм¹¹, или если наши предпочтения,

¹⁰ Easton D. Harold Lasswell: Policy Scientist for a Democratic Society // The Journal of Politics. 1950. Vol. 12. № 3. P. 450.

¹¹ О современных подходах к «науке о ценностях» см.: Fromm E. Man for Himself. — NY, 1947; Northrop F. S. C. The Logic of the Sciences and the Humanities. — NY, 1947; Lepley R. Verifiability of Value. — NY, 1944.

которые направлены на достижение цели, являются психологическим ответом нашему опыту, то все это неважно для нашей нынешней проблемы. Я предлагаю вместо этого делать традиционные предположения социальных наук, что ценности — это персональная реакция, зафиксированная нашим жизненным опытом. Выдвигая такую гипотезу, я знаком осведомлен о том, что я переживаю ту концепцию ценностей, которая наименее выгодна для защиты доктрины творческой оценочной теории. Я тем не менее намеренно оперирую понятиями, существующими в рамках этой гипотезы, поскольку если необходимость в творческой теории будет доказана в ее рамках, то сам этот факт будет обоснованным и убедительным для тех, кто начинает исследование природы ценностей с других посылок. И более того, любой попытке восстановить конструктивную теорию ценностей, которая не примет этих минимальных утверждений, будет противостоять невыполнимая задача, состоящая в попытке отучить социальные науки от их глубоко укорененных убеждений относительно природы ценностей.

Мою исходную посылку защитить сложнее всего, поскольку именно по этому вопросу исследователи спорили больше всего: не «за», а «против» введения ценностей в академическую аудиторию. Если ценности — это всего лишь эмоциональные реакции, то ни одна из систем ценностей не может претендовать на большую истинность, чем любая другая. В логических терминах фашизм с таким же правом претендует на истинность, с каким и демократия. Несмотря на релятивистскую природу ценностей, факт, как я уже указывал, состоит в том, что в современный исторический период нам действительно необходимо серьезное политическое руководство в самом широком и наиболее сложном смысле; и под словом «мы» я понимаю как политика, так и простого гражданина. Мы можем оставить решение этого вопроса в пользу самых проникательных государственных деятелей. Однако совершенно ясно, что в результате это будет продолжением деятельности специалистов в социальной области по преуменьшению задачи, которая попадает в их компетенцию. Те исследователи, которые наиболее близко связаны с анализом содержания систем ценности прошлого, находятся в стратегической позиции, чтобы внести вклад в переформулирование современной теории. Тот факт, что любое такое переформулирование не будет в силе, чтобы выразить окончательную истину, поскольку это всего лишь один из способов индивидуальной оценки возможного направления развития событий, здесь достаточно неуместен. Мы стараемся определить наше положение в мире как с помощью обращения к событи-

ям прошлого, так и — к будущим ожиданиям и целям. Если какая-либо группа исследователей сможет в этом нам помочь, то весьма немного смысла в том, почему исторически сложившееся самопредставление социальной науки, не обращающейся к моральным вопросам и возникшей благодаря особым условиям XIX века, должно поддерживаться сегодня.

Задачи исследователя социальных вопросов были слишком четко и искусственно отделены от задач политика. Считается, что функции последнего — понимать намерения людей и примирять их с устоявшимся политическим порядком, тогда как функциями исследователя считается сбор данных об отношениях фактов¹². Однако это различие верно только лишь отчасти. Между этими двумя задачами лежит третья, которая по недосмотру не была приписана никому. Это функция быстрого ответа на неотложные проблемы общества и социальные нужды, и поэтому становится возможным ясно выразить сложную систему ценностей, которая поможет как простым гражданам, так и политикам определить свое место. Такое определение требует объединения трех элементов: описания действительной ситуации, описания как близких, так и долгосрочных целей и описания средств достижения этих целей. Очевидно, что эти три элемента точно описывают составные части традиционной творческой теории. Другими словами, творческая теория была таким же институтом для регулирования общества, как и политические партии, семья и другие похожие институты. Упадок творческой теории означал исчезновение важного института, который в прошлом помогал определять содержание и направление даже не четко сформулированным человеческим нуждам. Моя точка зрения состоит в том, что инициатива определения ситуации в оценочных терминах для политических учений легитимна, поскольку они, как исследователи социальных вопросов, близки к фактам эмпирических связей, а как исследователи ценностей, они не понаслышке знакомы с целями индивидов. Ни политик, ни простой гражданин не являются в этом смысле должным образом оснащенным для решения подобных задач.

Принимая во внимание мою гипотезу о природе ценностей, задача определения ситуации в оценочных терминах должна рассмат-

¹² Классическую разработку этой позиции можно найти в двух эссе Макса Вебера «Политика как призвание и профессия» и «Наука как призвание и профессия». См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия // М. Вебер. Избранное. — М., 1990; Вебер М. Наука как призвание и профессия // М. Вебер. Избранное. — М., 1990.

риваться как искусство, а не наука. Если это верно, то вполне можно подвергнуть критике место, которое такая теория может занимать в рамках университета, по крайней мере, среди социальных наук. Ответить можно тремя способами. Во-первых, социология знает, что ценности имплицитно приносятся в любое исследование, и на исследователей социальных проблем была возложена задача по исключению ценностей и их исследованию, как я уже говорил. Однако каждый, у кого есть хоть немного опыта в подобной деятельности, знает, что не всегда просто обнаружить скрытые ценностные посылки, которые несколько изменяются или принимают неожиданные формы даже в те моменты, когда их находишь, и в итоге даже если они представлены в форме объективных данных, то сам обладатель этих идей вполне свободно может их изменять. Главным образом это возможно, если исследователь осознает следствия своих размышлений, а сразу же после этого, как и в уже описанном случае, вполне вероятно, что его система ценностей может иметь следствия, которые, будучи узнанными, будут противостоять ему самому. Пока еще остается истинным, что творческая переработка ценностей, поскольку они порождены существующими целями, является задачей искусства, тем не менее в сфере практики это жизненно важно для содержания социальных исследований, что не остается никаких альтернатив, кроме как предоставить политическому ученому на ранней стадии исследования делать шаги в том направлении, в котором ранее двигалось искусство. Верно, что сегодня политические ученые пользуются старыми теориями по созданию ценностей; однако они не совсем знакомы с этим искусством. Они ходят вокруг него кругами, пытаясь эмпирически объяснить те формы, которые оно принимает вместо того, чтобы попытаться осмыслить его как подражательную попытку создания ценностей.

Ошибка в понимании функции, которую процесс создания ценностей играет в эмпирическом исследовании, означает, что возможность выбора у политического ученого, как и у других исследователей, будет сформирована не сознательным принятием какой-либо системы ценностей, а интуитивным принятием случайно приобретенной системы. Очевидно, что это конфликтует с нашими, как исследователей социальных вопросов, основными принципами, а именно — постоянно следить за процессом исследования, чтобы валидность результатов можно было проверить в терминах того сподоба, с помощью которого этот результат получили. При помощи клеветы на эту творческую функцию как на бессмысленное занятие для исследователей, историческая интерпретация, какой мы знаем

ее сегодня, стала одной из причин социальной слепоты в эмпирических исследованиях. Новый взгляд и ясность исследований возможны, если политический ученый будет способен критически оценивать свои ценности. Только в этом случае он может быть уверен, что его исследование значимо для задач человека, как он понимает их сам. В необходимости такого обучения — критически оценивать свои ценности — и состоит оправдание восстановления творческой теории ценностей.

Во-вторых, не существует никакого *априори*, что контрастирует с традиционным основанием, почему политическому ученому необходимо придерживаться только задачи по пониманию политических отношений такими, как они есть. В самом деле, как я уже указывал, попытка сделать это за последние сто лет привела к увеличению изоляции социальных наук от источника их движущей силы: от попытки осмыслить цели общества, чтобы удовлетворить нужды человека, по крайней мере, как они понимались в каждую отдельную эпоху. Творческая политическая теория в прошлом была поглощена попытками создать для каждого исторического периода его собственную концепцию необходимости, как непосредственной, так и долгосрочной. Но когда политическая теория превращается в историцизм, она игнорирует свои же функции, состоящие в связи политических фактов и политических целей. Возрождение творческой теории снова возродит связь между общественными нуждами и знаниями социальных наук. По этой причине творческая теория противостоит историцизму и находит свое законное место в политической науке. Снова подчеркивая внутреннюю связь между всеми социальными исследованиями и государственной политикой, она сможет вытащить социальные науки из их современной изоляции и направить их к обществу, которому они изначально и должны служить.

Мне необходимо лишь упомянуть третий способ, поскольку он совершенно очевиден из предыдущего разговора. Творческая теория как одна из частей социальных наук может помочь как государственным деятелям, так и простым гражданам найти свое место и, следовательно, прояснить для них основы политической деятельности. Это часть той же институциональной реабилитации, которой подвержены все социальные науки.

Видя все эти соперничающие в рамках политической теории задачи, не стоит удивляться тому, что историцистские исследования теорий прошлого кажутся нам такими неадекватными. Ни одно из этих исследований напрямую не преследует цели серьезно исследовать старые или создать новые политические реалии.

III. КАУЗАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

Теперь я обращаюсь ко второй причине упадка политической теории за последние пятьдесят лет: ее безразличию к каузальной теории. С точки зрения этой теории, которую я использую в качестве синонима систематической эмпирически ориентированной теории политических отношений, сам термин «политическая теория» является печальным искажением названия целой сферы знания, которую он охватывает. Все это вводит в заблуждение, из-за которого считается, что политическая теория имеет дело с реальной систематической теорией. Общеизвестно, что небольшие теории, если таковые имеются, находят свою дорогу в эту сферу. На самом деле очевидное отсутствие такой теории побудило теоретиков социологии доказать, что в качестве «характерной в теоретическом плане концептуальной схемы исключительно эмпирической социальной науки, не являющейся социологической, экономической, антропологической или психологической, я не вижу существования еще и политической теории»¹³. Пренебрежение к теории в этом втором смысле вырастает в большей степени из разногласий, разделяющих политическую теорию и большое количество современных исследований политических отношений и институтов.

Если бы политическая теория хорошо справлялась со своей задачей, она в данный момент находилась бы в авангарде эмпирических исследований, на самом же деле она плетется далеко позади. В некотором отношении она является даже антисоциальной не в том смысле, что предлагает слабые теории политических отношений, а в том, что она никогда не руководствовалась своим же отображением как истинно теоретическим учреждением для политической науки. Вместо этого, как я уже показал, политическая наука, несмотря на свое название, стала заниматься изучением политической деятельности, отличной от политических целей, главным образом дискутируя о средствах достижения целей. Творческие политические ученые прошлого традиционно писали о наилучших средствах достижения целей. Через формулирование цели и определение средств политические ученые действительно пытались создать прикладную науку политики, адаптированную к этим ценностям. До той степени, до которой политическая теория имеет дело с каузальной теорией, политическую теорию почти исключительно составляют исторические комментарии, описывающие практические политические принципы великих теоретиков.

¹³ *Parsons T. Essays in Sociological Theory.* — Glencoe, Illinois, 1949. P. 13.

Слабость политической теории в ее каузальных аспектах, следовательно, возникла не только с появлением историцизма. Даже в течение великих эпох ее творческой деятельности она не смогла приблизиться к истинному теоретическому каузальному знанию, природу которого позже опишет более полно. Хотя эти попытки и не были плодотворными с точки зрения прикладной науки, они, по крайней мере, пытались выполнить требуемую задачу для политической науки. Они старались описать институциональные средства, необходимые для достижения поставленных целей. Но с развитием историцизма политические ученые вынуждены были оставить даже эти неадекватные попытки в прикладной науке. Теория историцизма подменила эти попытки так называемым объективным исследованием их развития и внутренней согласованности. Как в случае и с истинной теорией ценности, подлинное исследование существующих институтов привело к признанию *status quo* обычно с минимальными изменениями, которые никогда не угрожали никаким фундаментальным изменениям.

Как я уже говорил, самый важный недостаток политической теории в отношении эмпирических исследований возникает не только под воздействием историцизма, но изначально под воздействием самого метода рассмотрения политических фактов. Анализ политической теории на любой стадии развития показывает, что она ставит телегу впереди лошади. Она всегда предлагала несерьезную каузальную теорию, которая могла бы дать возможность построить поддающуюся интерпретации прикладную науку. Если дискуссия относительно средств достижения цели должна выйти за рамки необыкновенного здравого смысла, если, другими словами, рекомендации политических ученых по достижению определенных целей имеют большую ценность, чем политическая реформа, предложенная образованным обозревателем *Washington Post* или даровитым политиком, то эти предложения должны строиться на обоснованном теоретическом знании политических отношений и функционирования политических институтов. Все это не означает, что политические ученые не должны давать рекомендации на основании тех данных, которыми они обладают, но это означает, что они должны осознавать тот факт, что эта рекомендация не выйдет за рамки здравого смысла, пока она не основывается на общей теории политических отношений.

Политическая теория сама по себе не виновата во всем этом, все дело в ограниченности каузальной теории. В некотором смысле ее положение точно указывает на низкий уровень теоретического развития всей дисциплины. Тщательный анализ огромного количества данных в политической науке, который бы потребовал здесь очень

длинного отступления, привел бы нас к заключению, что, с большими исключениями, она представляет собой конгломерат эмпирических наблюдений и тяжело поддающихся осмыслению очень широких обобщений. Понимание ускользает от нас, поскольку часто обобщения до уровня первого ознакомления. Хотя, безусловно, эти обобщения говорят о хорошо развитом воображении, но в большинстве случаев их теоретический уровень невысок и понятен человеку здравого смысла. Кроме того, является скорее правилом, нежели исключением, находить в политических исследованиях многочисленные фактические предположения о человеческом поведении, которые редко подвергаются критическому анализу. Таким образом, если политическая теория сознательно обратилась к решению задачи анализа эмпирических данных в политической науке, декларируя в качестве цели открытие некоей системы, то большое число доступных сейчас плохо систематизированных данных вряд ли приведет к плодотворным результатам.

Хотя за последние пятьдесят лет и были сделаны некоторые попытки создать теорию политических отношений, политические ученые, которые первыми должны были бы прокомментировать и развивать эти попытки далее, кажется, игнорируют их. По этой причине попытка создания систематической теории стала заслугой группы людей, напрямую не связанных с традиционной теорией. Я имею в виду, естественно, Моску, широко известного сейчас в Соединенных Штатах, в сочинениях которого разработаны основы теории элит¹⁴; Лассуэлла, в трудах которого идеи Моски приобретают более точную формулировку¹⁵; Михельса, который предлагает менее разработанную версию относительно политических партий¹⁶; или Герберта Саймона, который разрабатывает специализированную теорию принятия решений для государственного управления¹⁷.

За последние пятьдесят лет мне известно только два случая, по крайней мере в США, когда профессиональные политические ученые считали бы полезной и целесообразной попытку сформулировать общую теоретическую систему для ведения эмпирических исследований. В первом случае — это Джордж Катлин, который в 1930-е сделал неудачную попытку создать дедуктивным методом общую по-

¹⁴ Mosca G. *The Ruling Class*. — NY, 1939.

¹⁵ Lasswell H. D. *Politics: Who Gets What, When, How*. — NY, 1936.

¹⁶ Michels R. *Political Parties*. — NY, 1915.

¹⁷ Simon H. A. *Administrative Behavior*. — NY, 1947.

литическую теорию, соперничающую с экономической теорией или с теорией физической науки¹⁸; во втором случае — это Фридрих, который пытался исследовать политические институты в рамках системы взглядов теории власти¹⁹. К сожалению, хотя обе попытки и побуждают к поиску, переход от теории к фактам является таким сложным, что препятствует дальнейшим исследованиям.

Я, конечно, предполагаю, что можно открыть единообразие в поведении, и особенно в политическом поведении человека, которое можно будет использовать в качестве основы для прогнозирования. Я также предполагаю, что слепой поиск такого единообразия, направленный общей теорией, ведет к грубому эмпиризму, в котором факты нагромождаются на факты и теряется понимание смысла. Более того, когда я говорю о теории, я имею в виду три способа обобщать факты, и мне кажется, что политическая теория надлежащим образом могла бы посвятить себя двум из них. Во-первых, это единичные обобщения, которые я удостоаиваю чести называть теорией. Это результаты уже выявленной согласованности между двумя изолированными и легко устанавливаемыми переменными. Поскольку на основании таких утверждений можно сделать несколько выводов, которые немного шире, чем уже установленная связь, то это ставит единичные обобщения на самый низкий уровень теоретической мысли. «Обобщение Госнелла», как я его называю, является примером такого вида суждений²⁰. Основываясь на наблюдениях за поведением избирателей, оно утверждает, что непредвзятое поощрение процесса голосования увеличит число голосующих при определенных условиях. Такие обобщения, без сомнения, получить наименее сложно, однако их относительно мало во всем корпусе литературы по политической науке. Считается, что такой недостаток возник не из-за природы предмета, а из-за предпочтений и традиций самих политических ученых.

Во-вторых, на более высоком — среднем — уровне осуществляется синтез узкоспециальных теорий. Основу теории в этом смысле составляют взаимосвязанные утверждения, которые разработаны для синтеза данных, содержащихся в неорганизованном виде в единичных обобщениях. Разрабатываемая теория в процессе синтеза перерабатывает предоставленные в единичных обобщениях данные. В резуль-

¹⁸ *Catlin G. E. G. Principles of Politics.* — NY, 1930.

¹⁹ *Friedrich C. J. Constitutional Government and Democracy.* — Boston, 1941. Особенно Ch. I.

²⁰ *Gosnell H. F. Getting Out the Vote.* — Chicago, 1927.

тате становится возможным понимать не только феномены, к которым эти обобщения относились изначально, но и другие феномены, которые до настоящего времени были под сомнением. «Железный закон олигархических тенденций» является примером теорий такого вида. Изначально она появилась как результат желания Михельса кратко обозначить тот факт, что все организации, преследующие характерные цели и охватывающие людей европейского склада, тяготеют к концентрации власти в руках небольшого числа людей. Этот так называемый «закон» возникает из попытки синтезировать значительное число эмпирических данных, относящихся к партийным организациям. Выходя за границы наблюдения в этом случае, Михельс смог сделать вывод и приложить этот закон ко всем социальным группам, целью которых было достижение определенных целей, включая политической порядок. Таким образом, этот «закон» является теорией, поскольку он приходит к более широким выводам, чем те факты, которые он должен был изначально объединить. Если это так, то мы должны предположить, что даже в рамках прямой демократии, исповедуемой Руссо, большая часть власти все равно не будет находиться в руках простых людей. Кроме того, этот «закон» также может помочь выяснить источник политической апатии и решить другие связанные с этим проблемы.

В-третьих, на самом высоком уровне находится общая теория или концептуальные рамки, в которых существует вся дисциплина. Теории этого порядка призваны помочь выбрать самые существенные переменные для понимания тех проблем, которые решает та или иная дисциплина. Чем более развитой является теория, тем более точно будут определены эти переменные. Возможно, что когда-нибудь в рамках социальных наук такая теория сможет достичь такой же зрелости, как, например, теория физики. На примере этой науки было показано, что, основываясь на нескольких основных посылах, при помощи дедукции можно сформулировать полную теорию среднего уровня, а из нее — предвидеть эмпирические события. Верность этого прогнозирования говорит о правильности или неправильности общей теории.

На современном уровне развития достижение такой развитой теории в социальных науках, исключая экономику, является сферой почетительного стремления. Но даже в случае с этим исключением основная на дедукции теория оказалась столь неудовлетворительной, что некоторые исследователи стали утверждать, что подобная развитая теория вообще невозможна в социальных науках. Тем не менее невозможно отрицать, что за всеми эмпирическими исследованиями стоят

определенные базовые допущения относительно главных переменных в данной области знания, а их отношения и то, что один из способов далее формировать дисциплину состоит в выдвижении таких существенных для сознания предположений для тщательного анализа

Насколько мне известно, Джордж Катлин — единственный политический ученый, который в последние годы развивал такую дедуктивную систему относительно политики. Система достигла некоторых результатов, однако она настолько абстрактна, что ее нельзя сколько-нибудь точно редуцировать к реальности. Лассуэлл в работе *«Политика: кто получает, что, когда и как?»* скорее всего стремился к той же цели, но мне кажется, что при анализе этого сочинения можно показать, что он скорее предоставил нам специальную синтетическую теорию, чем концептуальные рамки, пригодные для политической науки в целом.

Я, конечно, не считаю возможным, что политическая теория сегодня может предоставить нам доктрину, объяснительная ценность которой будет сопоставима с теориями в физике, химии или биологии. Чтобы поставить в качестве ближайшей цели достижение методологической строгости и четких формулировок той же физики, которая на столетия обогнала социальные науки в теоретической зрелости, необходимо стать жертвой сциентизма, то есть опрометчиво и рабски имитировать физику²¹. Социальные исследования невозможно проводить с такой же методологической строгостью, как в естественных науках, или в терминах системы взглядов, напоминающей систему взглядов физики. В будущем должен появиться защитник сциентизма, который в своих исследованиях создаст собственный априорный научный стандарт просто потому, что в большинстве областей социальных наук это или невозможно, или, где это возможно, нет необходимых финансовых и других ресурсов для проведения обширной исследовательской работы. Если бы в настоящее время политическая наука настаивала на методологической строгости как на единственном способе проведения адекватного исследования, то, без сомнения, такая механическая смена формы исследования уничтожила бы всю жизнь и мудрость даже в существующих адекватных исследованиях политических отношений²². Современный

²¹ См. первый раздел книги Хайека *«Контрреволюция науки»* под названием «Сциентизм и изучение общества». Хайек Ф. А. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. — М., 2003. С. 29–134.

²² Работа Ландберга — это один многих примеров такой непомерной настойчивости к достижению методологической строгости в социологии.

уровень знаний в политической науке можно критиковать не только потому, что она не в состоянии придерживаться строгих канонов чистой науки, но и за то, что она не использует сдержанные методы и технические приемы, существующие в социальных науках в целом, доказавшие свою чрезвычайную эффективность.

Тем не менее, несмотря на эту отсталость политической науки, данная критика не должна восприниматься как осуждение уже существующего знания. Напротив, несмотря на свою методологическую наивность, традиционная политическая наука уже привлекла и продолжает привлекать к себе блестящие умы. Впоследствии это не может не сказаться положительным образом на разработке проницательных подходов к сущности политического процесса и управлению политическими институтами; а также не может не определить основные переменные, которые требуют более тщательного исследования. Двадцать пять лет назад такие познания были на первом плане социальных наук, но и теперь они не менее значимы. Однако сегодня мы достигли такого уровня, когда возможно принимать во внимание самые существенные догадки, совершенствовать их и начать исследовать их более строго. В данном случае не стоит вопрос отбраковывания или пренебрежения к результатам так называемых традиционных политических исследований. Вопрос в том, чтобы использовать существующие познания как точку отсчета следующей стадии развития. Наше знание метода исследования поведения человека сделало обязательной и достижимой для подготовки этого нового периода критику проблем переформулирования наших знаний в более систематические и специальные теории и, если это возможно, достижение интегрированной теоретической системы для политической науки в целом.

* * *

Значение моих аргументов состоит в том, что в дополнение к своей задаче — помогать анализировать старые и формулировать новые политические ценности, политическая теория должна посвятить себя такому же значимому труду — концептуализации основных сфер эмпирических исследований в политической науке. Для нее существуют два способа предпринять эту работу: первый — синтезировать и систематизировать единичные обобщения, которые мы имеем в различных разделах политической науки, и таким образом формулировать итоговую теорию, второй — стараться выполнить более объемную задачу по разработке практической концептуальной системы для всей политической науки. Выполняя эти задачи, политическая теория

дэвид истон

рия сможет поддерживать эмпирические исследования политической науки и, следовательно, реанимировать себя после малорентабельных исторических исследований, которыми она занималась последние пятьдесят лет. Исторические исследования должны по этой причине уступать свое существующее положение первостепенной важности более скромной позиции удобного инструмента для подпитки мышления идеями, относящимися как к творческим ценностям, так и к каузальной теории.

*Перевод с английского
Романа Сафронова*

ЗАКАТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ¹

Политическая теория никогда не относилась к числу наук, для которых характерен прогрессирующий рост знаний. По крайней мере, ставить в один ряд, скажем, «*Политику*» Аристотеля вместе с политическими сочинениями XX века оправданно лишь в том случае, если при этом признается, что прогресс в данной области был незначительным. Циник мог бы даже утверждать, что в политической теории все, что заслуживает того, чтобы быть сказанным, уже сказано *ad nauseam*², и прийти к выводу, что теперь нам остается лишь предаваться унылому повторению того же самого. Подобная точка зрения все же ошибочна, поскольку если политические идеи и не прогрессируют, то их формулировки со временем определенно меняются. Изменение условий социальной жизни происходит иногда более медленно, иногда быстрее, а в последние несколько веков во все более головокружительном темпе; вместе с этими изменениями слова, которыми мы пользуемся, и идеи, которые они выражают, теряют свои старые значения и приобретают новые. По этой причине непрекращающаяся переформулировка политических принципов является столь же необходимой, сколько и неизбежной — все то время, пока остается живой традиция политического мышления, которая представляет собой одну из характерных особенностей западной цивилизации.

История этой традиции насчитывает почти две с половиной тысячи лет, пусть и с одним продолжительным перерывом. Век за веком политические идеи западного мира постепенно менялись. Взаимодействие идей с институтами приводило к их обоюдной трансформации, но время от времени поток меняющихся идей прерывался синтезом, создаваемым великим политическим мыслителем. Не-

¹ Перевод сделан по: Cobban A. The Decline of Political Theory // Political Science Quarterly. 1953. Vol. 68. № 3 (September). P. 321–337.

² До отвращения (лат.). — Прим. ред.

удивительно, что в наше с вами время, как и в недалеком прошлом, ни одного подобного синтеза не появилось. Великие политические мыслители не могут возникнуть по чьему-либо требованию, и нам остается лишь сокрушаться и каяться, что среди нас нет современных Бёрка и Бенгтама. Однако если бы удалось обнаружить существование общей тенденции к прекращению размышлений об обществе в форме политической теории, это стало бы гораздо более важным наблюдением, чем простой факт отсутствия сегодня гениальных мыслителей в области политической теории. Я склонен полагать, что подобная тенденция *существует*.

Представление о том, что дорогие нашему сердцу политические идеи могут гибнуть, естественно, встречает протест, хотя в подобном предположении нет ничего невозможного. Политические идеи не бессмертны, несмотря на это, мы пытаемся видеть в них вечные ценности. Чем больше мы осознаем нашу собственную смертность, тем крепче цепляемся за веру в то, что существует руководящее нашими судьбами нечто, неподвластное времени. Возможно, так оно и есть, хотя в большей степени это похоже на сотворение нами же самими маленьких богов, будь то императорский Рим или божественное право королей или даже демократия. Вера в нетленность подобных идей представляет собой одну из форм софизма мимолетности — веры розы Фонтенеля, которая, качая головой, провозглашает на основе своего мимолетного опыта бессмертность садовников, так как ни один из них не умер на ее памяти. Идеи расцветают и увядают, превращаются в иные формы и возрождаются вновь. Было бы странно, если этот процесс непрерывной трансформации должен был прекратиться, в то время как политическое мышление — в том виде, как оно существует со времен Афин V века до н. э., — по-прежнему оставалось живым.

Однако живо ли оно на самом деле? Возможно, дело вовсе *не в том*, что в настоящее время политическая теория переживает одну из своих многочисленных метаморфоз, проходя через этап окукливания перед возрождением в новой форме. Возможно, политическое мышление просто умирает. Видимо, это началось в прошлом. В какой-то момент истории западной цивилизации великая эпоха политической мысли подошла к концу. Развитие политических идей древних греков достигло своего пика в сочинениях Платона и Аристотеля. В эпоху эллинизма внимание от политической теории перешло к другим сферам. Вероятно, начало этого все еще нарастающего и развивающегося процесса можно отнести ко времени подъема школы национального права и разработки юридических концепций римскими

правоведами. В Римской империи политика превратилась в борьбу между придворными группировками и военными диктаторами, а политическая мысль, как ее понимали древние греки, остановилась.

Опыт греко-римского мира отнюдь не противоречит нашему собственному. По крайней мере, некоторые из условий того времени, сопровождавших ранний закат и падение политической теории, повторяются в наши дни. Общим является непреодолимое расширение сферы ответственности государства. Все больше и больше жизнь общества попадает под контроль бюрократии и, таким образом, уходит из-под политического контроля. Создаются гигантские военные машины, поддержка которых требует все больше и больше общественных благ. Правда, пока они скорее слуги, а не хозяева гражданской власти, однако долгое время в таком же положении находились и римские легионы. Это эпоха революций, подобно эпохе Мария, Суллы и Цезаря, но часто революции заканчиваются приходом к власти военных диктаторов; и точно так же отнюдь не случайно, что во многих странах после установления военной диктатуры революции начинаются. Обладание знанием данной закономерности, вероятно, является одной из причин того, почему до настоящего времени она не проявила себя в Советской России. В нацистской Германии армия столь же безуспешно пыталась противостоять партии.

Возможно, в новой форме партийной организации был найден способ предотвращения прихода к власти преторианской гвардии и военной диктатуры, которая установилась в деградировавшей Римской империи. Однако замена военной машины на партийную не обязательно нужно рассматривать как великое усовершенствование. Она означает правление небольшой олигархической группы, которая ограничивает политическую жизнь внутрипартийной борьбой между фракциями. Похоже, что на практике как бюрократия, так и партия приводят к появлению главы бюрократического аппарата или партийного босса или объединяющего в себе черты обоих вождей, в руках которого сосредотачивается безграничная власть — вождя, который, подобно римским императорам, мнит себя полубогом и воплощением данного государства. Поскольку большинство населения, естественно, оказывается за пределами избранного круга бюрократии или партии, то до тех пор, пока хоть какая-то часть исключенного большинства сохраняет некоторую степень политического сознания, также сохраняется необходимость в репрессивном аппарате, системе шпионажа и доноительства, политической полиции, концентрационных лагерях или тюрьмах и всеобщем подозрении — как об этом

с ужасающими подробностями рассказывают Тацит в его художественном описании последних лет правления Тиберия и Камилл Демуллен, избравший пример Франции в период террора.

Могут сказать, что данная картина дает представление лишь об одной части света³, и это, несомненно, так. Однако можно ли утверждать с абсолютной уверенностью, что ни одна из этих тенденций больше нигде не встречается? Современники, конечно, отмечают различия. Напротив, историки, оглядываясь в прошлое на какую-либо эпоху, часто бывают поражены сходством между этой эпохой и нашим временем. Самыми фундаментальными тенденциями любого периода являются те, что одновременно существуют в самых несхожих и откровенно враждебных лагерях. Если меня спросят, что является глубинной основополагающей тенденцией нашей эпохи, то искать ее мне следовало бы среди тех тенденций, что наблюдаются по обе стороны железного занавеса. Мне следовало бы искать что-то общее между коммунистами России и капиталистами Америки. Я думаю, что, по сути, между ними сходств больше, чем хотелось бы признать каждой стороне, и что их достаточно для того, чтобы проведение параллели с древним миром было вполне оправданным, хотя, очевидно, в этом не следует заходить слишком далеко.

Параллели наблюдаются и в отношении заката политической теории. В период, когда цезаризм набирал силу, идеи, связанные со старой римской концепцией *libertas*⁴, переживали упадок. Связь между новыми общественными условиями и закатом политического мышления может быть неясной, но полагать, что ее не существует, было бы опасным заблуждением. Когда стало необходимо управлять уже не городом, а империей, следование принципу *senatus populusque romanus*⁵ вело к анархии. Рим встал перед выбором отказа от прежних политических принципов, благодаря которым он достиг вели-

³ Если учитывать время публикации статьи (1953 год), то можно подумать, что под половиной мира (*half of the world*) автор, скорее всего, понимал тоталитарный коммунистический блок и Старый Свет (по тексту: примеры Франции периода террора и нацистской Германии), противопоставляя им свободный Новый Свет, капиталистический блок Западного полушария. — *Прим. ред.*

⁴ *Libertas* (с лат. свобода) — в римском праве самостоятельность личности и ее свобода отстаивать свои интересы в рамках закона. — *Прим. ред.*

⁵ *Senatus populusque romanus* (с лат. Сенат и люди Рима) — наиболее часто встречающийся вариант расшифровки латинской аббревиатуры *S. P. Q. R.*, которую изображали на штандартах римских легионеров, другой вариант: *senatus*

чия или наблюдения римского мира, погруженного в хаос воюющих друг с другом государств. Его решением была Империя, в которой, однако, не было места для классических политических теорий государства-города, как и для институтов, посредством которых они в какой-то мере были реализованы. Мне кажется, что для существования политической теории необходима активная политическая жизнь. Не стоит надеяться увидеть ее цветущей среди племен австралийских аборигенов, в России Ивана или Петра, Парагвас иезуитов или империи цезарей.

Есть ли признаки — не говорю более — того, что наши собственные политические идеи могут клониться к закату подобно политическим идеям древних городов-государств? Нелепо полагать, что кто-то может мечтать о том, чтобы поток новых политических идей или старых в новой форме никогда не прекращался; нет, я считаю, что, скорее всего, после гибели последнего сколько-нибудь оригинального политического мышления наступил длительный перерыв. Чтобы обнаружить это мышление, необходимо вернуться в XVIII век. Я согласен, что это слишком общее заявление, которое при попытке его обоснования потребовало бы значительного отступления.

Тем не менее позвольте мне привести одно соображение. В современном мире господствующей идеей является демократия. Большинство противоречий современной политики находят приют под общим демократическим укрытием, но под его сводами они продолжают бороться друг с другом, кроме того, похоже, что стены укрытия не очень надежны. И где же в этот момент создатели политических теорий демократии? Из рациональной теории она превратилась в своего рода заклинание. Для охотников за политическими сокровищами повсюду она стала волшебными словами «сезам откройся». Мир полон потенциальных Аладдинов, распевающих о «демократии». Массы, по крайней мере, в странах без демократического опыта, пребывают в состоянии мистической надежды на откровение, которое должно принести это слово. Там, где хотя бы идея демократии была известна несколько дольше, ожидания не столь высоки. Можно говорить даже о существовании определенной степени разочарования, чувства, что традиционные концепции демократии не дают ответа на самые важные наши проблемы.

Либеральные демократические принципы перестали развиваться в XIX веке: обычно на смену миру самобытного политического мыш-

populus quirritium romanus — Сенат и граждане Рима, где *quirritium* происходит от *quiris* — гражданин. — *Прим. ред.*

ления приходит мир практики, который может длиться в течение поколения, а иногда и столетия. Но XIX столетию не удалось найти новую форму для прежних идей или на благо последующим столетиям запово выдумать идеи, которыми жил он сам. Считается, что он подготовил интеллектуальную почву для рождения национализма, фашизма и коммунизма, но это другая история. В то время либеральные демократические принципы перестали развиваться, однако это не остановило развитие мира, который с этого момента стал совершенно другим местом. Между тем демократия ввиду отсутствия политического мышления перестала быть живой политической идеей. Она превратилась в предрассудок, избитый лозунг, даже не приносящий пользы как таковой. Пароль бесполезен, когда его используют без разбора все враждующие лагеря. По большей части о демократии перестали спорить серьезно и в связи с конкретными проблемами практической политики. В целом она стала бессмысленной формулой. Политики, подобно принцессе из волшебной сказки, которая, превратившись в лягушку, была обречена квакать что-то непонятное, кажется, едва ли способны открыть рот без того, чтобы сболтнуть какую-нибудь банальность, вялую, несуразную и омерзительную, но разве это можно назвать политической теорией? Если да, то неудивительно, что практики предпочитают ее игнорировать. Моне-ты, даже если они довольно сильно потерты, остаются пригодными для использования. В отличие от них политические идеи, если они должны сохранить свою ценность, необходимо периодически чеканить заново.

Могут сказать, что это нечестный довод, что практическая политика всегда основывалась на банальностях. Бёрк был исключением, подтверждающим общее правило, представленное его коллегой по парламенту от Бристоля, чьи политические принципы сводились к фразе «я согласен с мистером Бёрком»; однако, по крайней мере, перед ним был Бёрк, с которым он мог выражать согласие, но и помимо Бёрка существовало огромное число серьезных и глубоких публичных дискуссий о том, какие политические решения считать верными, а какие нет. Где обычный политик сегодня сможет встретить дискуссии по теоретическим вопросам такого же уровня?

Конечно, в последние несколько десятилетий были авторы, которые имели сказать нечто важное о современной политической ситуации, тем не менее изучение их работ, похоже, заставляет прийти к тому же выводу о закате политической теории. Я имею в виду таких авторов, как Ферреро, Бертран де Жувенель, Рассел, Эдвард Карр, Рейнгольд Нибур, Лассуэлл, Ганс Моргентау и других.

В политической жизни наибольшее впечатление на них производит государство как институт власти. Они представляют власть как своего рода электрическую силу, одновременно рассеянную и концентрированную, которая не просто пронизывает общество, но составляет саму его суть. «Законы социальной динамики, — говорит лорд Рассел, — могут быть сформулированы лишь в терминах власти». Жалкие единичные атомы, из которых состоит общество, собираются вместе, яростно сталкиваются и разбрасываются властью, которую они не создают и не способны контролировать.

Традиционная политическая теория, поскольку она не замечает этого факта, кажется не более чем красивой волшебной сказкой. Как говорит Рейнгольд Нибур: «Хотя это никогда не было просто, между индивидуумами в группе, вероятно, можно установить справедливые взаимоотношения с помощью моральных и рациональных убеждений и договоренностей. В межгрупповых взаимоотношениях это практически невозможно. Отношения между группами таким образом всегда должны быть преимущественно политическими, а не этическими, то есть они будут определяться соотношением власти, которой обладает каждая группа или, по крайней мере, в не меньшей степени, чем какими-либо моральными и рациональными оценками сравнительных потребностей и притязаний каждой группы»⁶.

Согласно Нибуру трагедия человеческого духа заключается в «его неспособности согласовать свою коллективную жизнь с собственными индивидуальными идеалами». Вот почему люди «изобретают романтические и моральные интерпретации реальных фактов, предпочитая затушевывать, а не раскрывать истинный характер их коллективного поведения». Другими словами, это проблема «морального человека и аморального общества». Человек, став социальным и политическим животным, принес свою нравственную чистоту в жертву эгоизму, который сопровождает социальную жизнь. Эта проблема далеко не нова: именно этой теме посвящено сочинение «О происхождении неравенства между людьми» Руссо. Но для современного мыслителя, в отличие от Руссо, трагедия общества не имеет решения. Человечество поймано в *cul-de-sac*⁷. В такой ситуации абсолютный пессимизм становится неизбежным. Не существует возможности создания, как предлагает это сделать Руссо в первой главе «*Общего договора*», общества, в котором справедливость могла быть

⁶ Niebuhr R. Moral Man and Immoral Society. — NY, 1933. P. xxii–xxiii.

⁷ Безвыходное положение (фр.). — Прим. ред.

в союзе с выгодой, а власть со свободой. Нет надежды на установление рационального или этического правления.

Другим путем к такому же выводу пришел Ортега-и-Гассет. Он писал: «Мы живем в эпоху, которая чувствует себя способной достичь чего угодно, но не знает, чего именно. Она владеет всем, но только не собой. Она заблудилась в собственном изобилии. Больше, чем когда-либо, средств, больше знаний, больше техники, а в результате мир как никогда злосчастен — его сносит течением»⁸.

Все это превосходит даже пессимизм Макиавелли. Автор «Государя» наблюдал общество, отданное на милость деспотической власти, но верил, что каким-то образом из зла может выйти нечто хорошее; будто тиран мог бы служить общественным интересам, что даже более искусный правитель едва ли способен исполнить. Сейчас мы утратили наивность Макиавелли и не ожидаем рождения моральных добродетелей от политического зла. Современный политический пессимизм, возможно, глубже, чем он был во время написания Блаженным Августином *De Civitate Dei*⁹. Действительно, в течение полутора столетий пессимизм медленно заражал интеллектуальный мир. В рамках этой статьи у меня нет возможности проследить этот процесс, хотя, я уверен, он тесно связан с упадком современных ему политических идей.

Таким образом, закат политической теории можно рассматривать как отражение ощущения того, что этическим ценностям нет места в области социальной динамики и силовой политики. Я убежден, что этот поворот является истинным значением «восстания масс»: он означает нарастание власти тех, кто проживает свои жизни без теории, неважно к какому классу им может случиться принадлежать. Иначе это можно назвать господством эксперта, я имею в виду техника, *Fachmann*, если использовать немецкое слово для обозначения этой характерной для Германии болезни. Двадцать лет назад Ортега-и-Гассет видел, к чему это ведет. «Достаточно приглядеться, — говорил он, — к тому скудоумию, с каким судят, решают и действуют сегодня в искусстве, в религии и во всех ключевых вопросах жизни и мироустройства „люди науки“, а вслед за ними само собой врачи, инженеры, финансисты, преподаватели и т. д.»¹⁰. Политик, который просто повторяет банальности, ничем не хуже собственных экспертов; не стоит делать его единственным объектом критики. И мож-

⁸ Русский перевод см.: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. — М., 1997. С. 64.

⁹ «О граде божьем» (лат.). — Прим. ред.

¹⁰ Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. — М., 1997. С. 109.

но ли теперь ему вменить в вину ответственность за неспособность применять политическую теорию на практике, если нет теории, которую можно было бы применять?

На закат политической мысли можно посмотреть и с другой стороны. Профессор Тойнби считает, что наша цивилизация идет тем же путем, что и ее предшественники, и утешает себя мыслью о том, что смерть цивилизации может дать начало новой религии. Ферреро смотрит на это иначе. Мистицизм, говорит он, представляет собой форму эскапизма, бегства от ужасов беззаконной власти. Здесь уместно вспомнить призыв первых христиан: «Поэт сказал „О, прекрасный город царя Кекропа“, отчего ты не пожелал сказать „О, прекрасный город Царя Небесного“? И современный поэт вторит им:

Сон потерявший и всеми обижен,
Хмуро смотрящий на мир человек
В небе град Божий видит недвижен,
Светит сияньем нездешним окрест.
Видит, оставив пустую ученость,
Солнце — свободно от тщетных идей,
Власть, чья основа — меж смертными гордость,
Мир, что был создан бурей страстей¹¹.

Прекрасное выражение в новой форме идеала, который появился у людей в полном волнений прошлом, но который принадлежит аполитичной эпохе. Религиозное возрождение *может* быть выходом, но это не политический выход. Да и будет ли оно ожившим идеализмом, дающим почву нашим надеждам, или просто наркотиком для нашего успокоения? Религиозный подход к политическим проблемам также не лишен своих опасностей. Нацистская революция разрушения набирала силу главным образом благодаря своей способности маскироваться под хилиастические устремления.

В этом анализе — хотя он дает лишь краткое указание на некоторые современные тенденции, как я их вижу, и не заслуживает того, чтобы так называться, — вероятно, я склоняюсь к пессимистической интерпретации состояния современного мира; однако то, о чем я так долго говорил выше, представляет собой лишь одностороннее видение текущей ситуации. Воспринимать это как полную истину означало бы преждевременно утратить всякую надежду на политическое сообщество. Если верно, что политическая теория остановилась в развитии,

¹¹ Sassoon S. Ode // S. Sassoon. Vigils. — London, 1931.

можно ли считать это признаком того, что политическая жизнь фактически близится к концу и что, подобно древнему миру, мы стоим на пороге аполитичной эпохи? Здесь необходимо обратиться к более широкому взгляду на вещи. Различия гораздо значительнее, чем сходства. Если есть признаки того, что мир движется в направлении универсальной империи, нет оснований верить, что он достигнет этой цели, пока продолжается нынешняя эпоха катастроф. Бюрократия все же далеко не главная реальность правления в любой из западных стран; точно так же и преторианская гвардия, и политические партии пока остаются скорее нашими слугами, чем хозяевами. Короче говоря, похоже, нет оснований верить, что если политическая теория переживает упадок, это с необходимостью ведет к появлению социальных и политических условий, в которых она больше не имеет какого-либо действительного *raison d'être*¹². Если это так, тогда единственным альтернативным объяснением является предположение о закате политической теории вследствие каких-то внутренних обстоятельств, а не в результате неизбежного давления объективных фактов. Возможно, что-то произошло с самим политическим мышлением. Я уверен, что дело именно в этом и что можно даже поставить диагноз этому заболеванию.

Если закат политической теории должен быть объяснен с помощью некоего отклонения, присущего современным размышлениям о политике, то лекарством, которое может быть выписано, если следовать логике, станет правильный способ размышлений о политике. Этот метод имеет определенные привлекательные стороны. Его можно использовать для оправдания практически любой формы политической теории, которая нам нравится. Поскольку выводы, к которым мы приходим, естественно, зависят от тех предпосылок, с которых мы начинаем рассуждение, и нам не грозит использование в качестве оснований тех предпосылок, которые нам не нравятся.

Тем не менее я предлагаю не следовать логике этого подхода. К счастью, нам не нужно *изобретать* политическую теорию; она была придумана задолго до нас. Если и есть правильный способ обсуждения ее проблем, то я думаю, нам следует быть достаточно скромными, чтобы признать, что, вероятно, это может быть способ мышления всех действительно великих по сравнению с нами политических мыслителей прошлого; то есть если существует способ, который в равной степени присущ мышлению столь многих и таких разных теоретиков. Я думаю, он существует. Для начала у нас есть простой, очевид-

¹² Смысл существования (фр.). — Прим. ред.

ный факт того, что все они писали, имея в виду практические намерения. Их целью было влияние на текущее политическое поведение. Они писали, чтобы осудить или поддержать существующие институты, оправдать политическую систему или убедить своих сограждан изменить ее: поскольку, в конечном счете, они были связаны с целями, намерениями политического общества. Даже Макиавелли не просто описывал то, каким образом делаются определенные вещи, без указания, как и с какими целями они, как он считал, *должны* быть сделаны. Другую крайнюю позицию занимает «Государство» Платона, которое может быть представлено как идеал, который человеческая раса — возможно, к счастью — не способна достичь, однако в его понимании это была не просто фантазия о сказочной стране.

Политическая теория в прошлом, я думаю, по сути, была практикой. Политический теоретик был в своем роде членом партии, поэтому действительным партийным функционерам не стоит опасаться приправлять собственные практические действия солью теории. Одно из поразительных различий между политической дискуссией, скажем, в XIX веке и в наши дни состоит в том, что политики в целом прекратили обсуждать общие принципы. Это отмечается не в качестве критики, но как факт, который нуждается в объяснении, и я думаю, что один ключ для объяснения этого у нас уже есть. Изучение политической теории, как я только что сказал, было когда-то делом людей, внимательно следящих за практическими проблемами. Вместо этого она превратилась в академическую дисциплину, излагаемую на различных эзотерических жаргонах так, как если бы это делалось специально для того, чтобы она не стала известна тем, кто может попытаться применить ее на практике, если действительно ее поймет. Она вступила в величественное царство социальных наук, но, как это было подмечено Уайтхедом, некоторые современные формы гуманитарного образования воспроизводят, по меньшей мере, те ограничения, которые господствовали над мыслью в эпоху эллинизма. «Они ограничивают движение мысли и наблюдение, — говорит он. — В зараннее установленных пределах, основанных на неадекватных метафизических допущениях, принимаемых догматически»¹³.

Таким образом, политическая теория оказалась оторванной от политических фактов. Хуже того, она стала оторванной от принципов, как это редко, если вообще когда-либо было в прошлом. Академический политический теоретик сегодня может изучать великих политических мыслителей прошлого, однако во имя академической бес-

¹³ Whitehead A. N. Adventures of Ideas. — London, 1933. P. III.

пристрастности он должен тщательно избегать делать вещи того же рода, что и они. Я предлагаю в качестве гипотезы считать, что это может быть одним из источников заката политической теории.

Представление о том, что связь между политической теорией и практической политикой является условием существования теории, заслуживает более детального обсуждения, чем это может быть сделано в рамках данной работы. Однако если эта идея должна быть принята, необходимо отметить одно важное следствие. Оно состоит в том, что проблемы, которыми была занята политическая теория в прошлом, были выбраны не произвольно или под влиянием каких-то теоретических доводов и что теория была способна вплотную подойти к миру практики благодаря тому, что споры о ней определялись текущими условиями и проблемами того времени. Например, Джон Стюарт Милль жил в эпоху, когда новые социальные проблемы требовали использования государственной власти, что противоречило устоявшимся идеалам индивидуальной свободы: ценность его мысли вытекает из того факта, что он посвятил себя задаче разрешения этого противоречия. Для Бентама делом всей жизни было построение теоретической основы для законодательных и административных реформ, в которых отчаянно нуждались в *его* время. Бёрк, столкнувшись в Великобритании, Америке, Ирландии и Франции с вызовом существующим основам политической лояльности, попытался обеспечить альтернативу демократическим принципам народного суверенитета. Руссо, осознавая моральный коллапс божественного права монархии, предложил новое обоснование законных полномочий правительства. Монтескье еще раньше увидел изъяны абсолютизма, но его альтернативой было возвращение к аристократической организации общества и подчинение всех властей закону. Локк предложил политическую теорию для поколения, которое свергло божественное право и установило парламентское правительство. Гоббс и Спиноза в эпоху гражданских войн отстаивали то, что суверенитет значит все или ничего. Так мы можем продолжать, пока не придем в конце — или, скорее, вначале — к Платону и Аристотелю, пытавшимся найти лекарство от недугов города-государства. Мне кажется, что среди современных политических мыслителей одним из очень немногих, а возможно, единственным, кто следовал традиционным образцам, брался за проблемы, представленные его эпохой, и посвятил себя поискам ответа на них, был Гарольд Ласки. Хотя я вынужден признать, что не согласен с его анализом или его выводами, но думаю, что он пытался делать правильные вещи. Позреваю, что именно в этом причина того, что среди политических

таким политическим теорией
мыслителей Великобритании практически лишь ему удалось оказать
положительное влияние как на политическую мысль, так и на поли-
тическую практику.

Если политическая теория *оказалась*, как правило, оторванной от практики и если это является одной из причин ее упадка, сто-ит выяснить, почему это произошло. Склонность академического подхода избегать практических действий — явление далеко не новое и само по себе вряд ли способно дать адекватное объяснение. Ответ, который идет несколько глубже, я думаю, вновь может быть найден в сравнении современной политической теории с традиционной политической мыслью. Последняя стремилась прийти к заключению, что одна форма политической деятельности лучше, чем другая. Академической беспристрастности к различиям между тем, что ею считалось плохим и хорошим, она так и не достигла, да и никогда не стремилась к этому. Поскольку целью традиционной политической теории было влияние на политические действия, она была вынуждена учитывать силы, которые движут людьми, но эти силы представляют собой плоды страсти, а не абстрактного анализа. И поскольку не все страсти могут считаться ведущими к благим целям, они должны направляться этической мотивацией. Другими словами, политика, по сути, была разделом моральных наук или этики. Я не ставлю перед собой цели обсуждать здесь проблемы этической теории. Я лишь хочу сказать, что современная политическая теория практически совершенно перестала рассматриваться в форме обсуждения того, что должно быть; и я убежден, что причиной этого является то, что она попала под влияние двух образов мысли, которые имели роковые последствия для ее этического содержания. Этими двумя способами мышления, которые стали господствовать над современным сознанием, являются история и наука.

Для историка естественно смотреть на все идеи и типы поведения как исторически обусловленные и преходящие. В самой себе история найдет лишь критерий успеха, но не ценности и не мерило успеха, а способ достижения власти или средство прожить несколько дольше, чем соперничающие индивиды или институты. Кроме того, история представляет собой мир, изучаемый в категориях того, что было в прошлом: как бы нас ни старались убедить в том, что любая история современна, по своей природе она является сферой, в которой нет места для практики. Парадоксальность истории состоит в том, что хотя ее написание и является современной деятельностью с практическими последствиями, историк старается не замечать этого факта и пытается вести себя, как будто это не так. В политической

теории история сама по себе может привести лишь к грубейшему макиавеллизму. Если все историки не стали немного походить на Макиавелли, то только потому, что они черпают свои политические идеалы из других источников и привносят их в свои истории. К счастью, это почти неизбежно, кроме того, в некоторых случаях это могло бы быть неплохой вещью, если бы они несколько лучше осознавали те идеалы, которых они фактически придерживаются и внушают своими историями. Правда, это уже другая проблема, которую здесь можно лишь обозначить. Достаточно сказать, что, по крайней мере, современные историки склонны считать, что вынесение этических оценок недопустимо и что историческая дисциплина должна быть надежно ограждена от этого. Но насколько успешно она защищена от этических оценок, настолько же она свободна и от мышления о проблемах политической теории.

Влияние исторического мышления на этом не заканчивается. История получает более привлекательное и опасное значение, когда становится философией истории. В этом, в частности, заключалось достижение Гегеля и Маркса. В гегельянстве и марксизме основным принципом было объединение этики с историческим процессом — под этим принципом я понимаю не грандиозный закон Вселенной, который, подозреваю, не открылся даже Гегелю или Марксу, но лишь краешек мирового узора, оказавшийся у них перед глазами, и несколько линий которого они приняли за полную картину мира. Даже если Гегель и Маркс не предполагали подобного исхода, тем, кто последовал за ними, было непросто удержаться от того, чтобы не перейти от утверждения «это то, что будет» к словам «это то, что должно быть». Итогом стало основание моральных суждений на временных и ограниченных исторических явлениях. Гегельянская и марксистская политика, таким образом, в конечном счете, вела к формированию политики, избегающей этических оснований. В этом отношении они сыграли важную роль в образовании разрыва между современной политической практикой и традиционным политическим мышлением на Западе.

Однако наряду с влиянием истории на современное сознание также оказывает влияние и наука. На политическое мышление она оказывала воздействие практически с самого начала, особенно в формах математики и психологии; хотя надо сказать, что научные основы, на которых иногда строились политические теории раньше, имеют примерно такое же отношение к современной науке, как путешествия Синбада-морехода к современным географическим открытиям. Это не мешало Платону и Аристотелю быть создателями

великих политических теорий. Однако вера в возможность и желательность изучения политики методами, которые позволили достичь столь значительных результатов в естественных науках, возникла лишь недавно. Эта вера воплощена в пыле широко принятом термине «политическая наука». Я не задаюсь здесь вопросом, возможна ли политическая наука? Она должна быть, она существует. Однако что она из себя представляет? Наука стремится показать, как происходят различные вещи и почему в последовательности причинно-следственных связей происходят *именно они*. Нет оснований возражать против того, чтобы политические явления, так же как и любые другие, рассматривались с подобной точки зрения до тех пор, пока мы не принимаем полученные таким образом результаты за политическую теорию и не ждем от науки ответов на вопросы, на которые она по природе вещей ответить не в состоянии. Я просто хочу сказать, что вынесение этических суждений не является функцией науки. Это утверждение вряд ли может быть оспорено. Я думаю, что любой ученый с негодованием отверг бы предположение, что его научная мысль подпадает под категорию того, что должно быть. Политический теоретик, с другой стороны, по сути, занят обсуждением именно этого. Его суждения в своей основе являются ценностными. Предлагаемые им выводы представляют собой обоснования того, почему один способ политической деятельности этически более предпочтителен, чем другой, а не просто более эффективен, что бы это ни значило; и, конечно, в наше время мы видели достаточно для того, чтобы понять, что политические системы различаются не только по степени эффективности.

Дабы меня не посчитали несправедливым по отношению к политическому ученому, позвольте предложить то, что мне кажется правильным описанием того, как ему видится его задача. Как сказал один современный писатель, глупо полагать, что понять политику можно, лишь участвуя в ней: основам геометрии мы учим не на уроках труда по плотницкому мастерству. Политическая наука представляет собой совокупность знаний, которые необходимо преподавать и изучать, как и любые другие знания. Что в этом описании упускается, так это лишь тот факт, что степень морального безразличия, которая возможна в естественных науках, недопустима в области политической теории. Политический ученый настолько, насколько он желает оставаться ученым, ограничен изучением технологий. Предмет его изучения можно сравнить с немецким камерализмом XIX века, который был политической теорией бюрократов, о бюрократях и для бюрократов. Должен признаться, что то, что обычно называ-

ется политической теорией, кажется мне средством, изобретенным университетскими преподавателями, во избежание этого опасного предмета политики, в итоге не ставшим также и наукой. Высочайшее назначение политической науки состоит в том, что она способна предоставить нам руководство величайшей важности в достижении тех целей, которые мы хотим достигнуть; но помочь нам решить, почему это должны быть именно эти цели или даже каковы они, она не может. А верить в то, что у всех нас они общие, и поэтому мы не нуждаемся в их обсуждении, в свете современных событий, конечно же, безумно утопично. В любом случае наука, подобно истории, позволяет нам, как говорит Ортега-и-Гассет, просто плыть по течению: мы обладаем великолепным техническим снаряжением, чтобы идти куда угодно, не ставя перед собой цели куда-то прийти.

Образ политической жизни, который складывается из этих двух господствующих над политическим мышлением идей, отнюдь не радует. Государство оказывается похожим на корабль в море политики без указанного в его документах порта прибытия или высадки, укомплектованный пребывающей в унынии командой, все усилия которой направлены на поддержание судна на плаву в незафрахтованных водах и которая недостаточно знакома с традициями мореплавания, чтобы помочь себе спастись, с записями капитанов и команд прошлого, которые все время оставались в море в том же самом бесконечном бессмысленном движении. Я думаю, что эта унылая картина могла бы быть придумана каким-нибудь философом, наблюдавшим терзаемые штормами корабли с вершины мертвого маяка, ставшего мертвым, потому что философ собственноручно тщательно погасил его огни.

К счастью, мы можем не принимать эту картину всерьез: это лишь аналогия, а аналогии часто используют, чтобы скрыть небрежность мысли. Море, бесспорно, можно сравнить с политикой. Но государство как политическая организация само по себе является сообществом людей, каркасом, который удерживает их вместе; и жизнь, которой оно живет, это также политика. Кроме того, как корабль можно отделить от команды? Государство — это не просто деревянный предмет с живущими на нем людьми; оно *и есть* люди, являющиеся политическими животными. И море, корабль и команда продолжают двигаться вместе, поскольку образуют одно целое. Как мы можем представить себя командой, живущей на корабле государства в море, который приводит в действие наше политическое существование, когда мы поднимаем шторм и в то же самое время мы являемся водой?

Этой картине недостает одной вещи. Этой же вещи не хватает и современной политике. Как я уже говорил, пропажа связана с представлением о том, что у корабля нет пункта назначения. Чувство назначения утеряно, как и понимание цели. Вот что, как мне кажется, значит закат политической теории для обычных людей, говоря простыми словами. Важно ли это? Если бы мы, мы все и всё наше время, были свиньями, пусть даже не из эпикурейского хлева, возможно, это было бы неважно: наша цель назначалась бы нам откуда-то извне, и, пожалуй, лучше, чтобы она не открывалась бы нам с вызывающими тревогу подробностями. Подобная ситуация, конечно, может сложиться; но человеческому сознанию требуется нечто большее, чем жизнь от рыла до корыта, хорошо это или плохо. В отсутствие более или менее рациональной теории, способной оправдать чувство политического долга и законные полномочия правительства, оно падет жертвой иррационализма. Если у него не будет, допустим, трактата Локка «О терпимости», оно получит, скажем, *Mein Kampf* Гитлера. Вот что означает закат политической теории на практике.

И последнее. Прделанный мною анализ, возможно, является несколько пессимистичным; однако я не пытался убедить кого-либо в том, что в политическом мышлении мы достигли конечной остановки, конца линии. Выделенные мною причины его заката сами по себе даже обнадеживают, поскольку есть признаки того, что они могут быть лишь временными отклонениями. Историки бурно выступают против философии истории, поскольку этика угрожает политико-моральной беспристрастности профессоров истории. Гегельянская политика уже мертва. Марксистская политика все больше разоблачается как диалектическая апология борьбы за власть как таковую, ценную саму по себе. Неадекватность, если касаться более широких проблем политического общества, научного изучения административных методов, конституционных проектов, электоральной статистики и тому подобного — надеюсь, мои слова не будут расценены как попытка отрицания ценности применения техник политической науки в пределах ее предметного поля, — постепенно становится очевидной.

В течение полутора столетий западные демократии были живы благодаря фундаментальным политическим идеям, которые в последний раз были переформулированы ближе к концу XIX столетия. С тех пор прошло много времени. XIX век продержался на этих идеях довольно неплохо, но не обеспечил последующие века новыми. Разрыв, который образовался таким образом между политическими фактами и политическими идеями, после этого непрерывно расши-

рялся. Потребовалось много времени, чтобы последствия стали очевидны; но теперь, когда мы видим, что политики лишены поддержки современной моральной и политической теории, возможно, что с этим что-нибудь можно будет сделать. После формирования у целого поколения опыта бесцельного плаванья по штормящему морю, начинает осознаваться необходимость в повторном открытии чувства направления и посредством этого контроля. И если политическая теория оживет, если идея цели вновь войдет в политическое мышление, мы сможем продолжить традицию западного политического мышления и таким образом возобновим то «непрерывное превращение морали в политику, по-прежнему остающейся политикой», в которой, согласно Кроче, лежит «действительный этический прогресс человечества».

*Перевод с английского
Сергея Сидоркина*

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В ОТСТАВКЕ^{1,2}

Мы не приветствуем рассуждения о политических альтернативах, с которыми выступают представители научного сообщества, если они противоречат общепринятым представлениям в научной среде. Тем самым мы заключаем себя в рамки действующей концептуальной схемы и не можем двигаться дальше.

Дэвид Истон, 1969 год

В последние десятилетия политическое теоретизирование, в сущности, сводится к формированию в общественном сознании представлений о путях возрождения государства, находящегося на грани гибели³. Западные выдающиеся политические теории от Платона

- ¹ Перевод сделан по: *Spense D. L. Political Theory as a Vacation* // *Polity*. 1980 (Summer). Vol. 12. № 4. P. 697–710. К сожалению, при переводе на русский язык этого эссе была утеряна двойная аллюзия, которую использует автор. Во-первых, имеется в виду текст Макса Вебера, переведенный в России как «Политика как призвание и профессия» (см.: *Вебер М. Политика как призвание и профессия* // *М. Вебер. Избранное*. — М., 1990). На английском языке название этой работы Вебера звучит так: «Politics as Vocation». Во-вторых, вне всякого сомнения, имеется в виду чрезвычайно важная работа Шелдона Уолина, на которого часто ссылается автор: «Political Theory as a Vocation». См.: *Wolin S. S. Political Theory as a Vocation* // *The American Political Science Review*. 1969 (Dec.). Vol. 63. № 4. P. 1062–1082.
- ² Этот очерк никогда бы не был написан без вдохновения, возникшего после моего знакомства с пока что не опубликованной работой Norm Bowen'a по истории политической науки как научно-теоретической дисциплины в Соединенных Штатах Америки. Это переработанный текст научного доклада, прочитанного в 1977 году на ежегодной конференции Midwest Political Science Association в Чикаго, 21–23 апреля 1977 года.
- ³ *Wolin S. S. Paradigms and Politics* // *B. C. Parekh, P. King (eds.). Politics and Experience*. — Cambridge, 1968. P. 148.

до Маркса были достойными и по-настоящему творческими откликами на серьезные политические провалы прошлого. При первом же взгляде на нынешнее состояние политической теории не покидает острое чувство потери. Парадоксально, но факт: в то время как в многочисленных книгах и статьях (слишком многочисленных, чтобы представить здесь их полный перечень) утверждается, что мы живем в переломное время, требующее гения выдающихся политических мыслителей, на самом деле ни одного достойного политического философа у нас нет. Как выразился Макферсон, нам еще предстоит объяснить, «почему эпоха, поднявшая фундаментальные политические вопросы, не произвела на свет ни Гоббса, ни Бентама, ни Локка, ни Юма»⁴.

Двадцать лет назад Лео Штраус сетовал на то, что «сегодня политическая философия пребывает в состоянии распада и, вероятно, разложения, если не исчезла вообще»⁵. Эта пессимистичная оценка

⁴ MacPherson C. B. *Democratic Theory: Essays in Retrieval*. — Oxford, 1973. P. 195. См. также: Berlin I. Does Political Theory still exist? // P. Laslett, W. G. Runciman (eds.). *Philosophy, Politics and Society*. — NY, 1962. P. 33: «Странным парадоксом выглядит то, что политическая теория вынуждена, по-видимому, вести столь призрачное существование в то время, когда впервые в истории буквально все человечество резко разошлось по вопросам, которые всегда были и есть единственным *raison d'être* [смыслом существования. — Ред.] этого рода исследования». Берлин И. Существует ли еще политическая теория? // И. Берлин. Подлинная цель познания. — М., 2002. С. 123.

⁵ Strauss L. What is Political Theory // *Journal of Politics*. 1957 (August). № 19. P. 345. [Русский перевод: Штраус Л. Что такое политическая философия? // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 16]. [Следует оговориться, что Спенс выдает желаемое за действительное: Лео Штраус не писал эссе с таким названием. В цитируемом номере журнала *Journal of Politics* действительно есть статья Штрауса, однако она называется «Что такое политическая философия?» (*курсив ред.*). В основу этого эссе положены тексты лекций, прочитанных Штраусом в Иерусалиме на рубеже 1954–1955 годов. Полностью эссе «Что такое политическая философия?» появилось только в 1959 году в книге: Strauss L. *What is Political Philosophy and Other Studies*. — Glencoe, 1959. Текст, на который ссылается Ларри Спенс, представляет собой лишь фрагмент этого сочинения, появившийся за два года до публикации полного варианта. Более того, ниже мы увидим, что Спенс ссылается на это же издание, однако цитирует из него другую статью, принадлежащую перу Лео Штрауса. См. сноску 17.

Здесь также надо отметить, что Штраус всегда делал особенный упор на то, что он занимается именно политической философией, а не теорией, которую

до сих пор является господствующей. Несмотря на то что время для великих политических теорий пришло, защитники политической теории, по-видимому, убеждены в ее неготовности ответить на этот вызов. В связи с отсутствием значительных политических теорий в нашу кризисную эпоху мы должны либо подвергнуть пересмотру тезис о прямой связи между кризисом и созданием теории, либо объяснить наш провал. Зададимся вопросом: «Что случилось с политической теорией?»

Конечно, на это можно ответить, что пора для создания масштабных политических теорий еще не настала, что наша эпоха вообще ополчилась против теоретиков. Шелдон Уолин, вторя прогнозам Вебера, писал, что крупные рациональные бюрократии современного мира «глухи к теории»⁶. Сочинения Штрауса, по сути, являющиеся попыткой защитить традицию политической теории, угасающую во враждебном по отношению к ней мире. Политические теоретики, постоянно подвергаясь нападкам со стороны политических ученых, испытывая недоверие или пренебрежение со стороны политиков, потеряли смелость, глубину, масштаб и образность мысли. Можно сказать, что политические теоретики поспешно спрятались в ожидании более благоприятного для себя момента. Подобное объяснение возможно, но, боюсь, оно только наносит ущерб делу. Будучи теоретиками, мы должны выполнять определенную работу, но пока мы, по-видимому, не можем или не хотим этого делать. Вероятно, мы к этому не готовы. Вероятно, мы не тому учились, не тому учим и не так применяем на практике наши знания в области политической теории. Достойно сожаления, что политические теоретики за последние несколько десятков лет были настолько поглощены отражением критики противников, что, за исключением внимания последних, ничего не приобрели. И все же, несмотря на резкую критику с моей стороны в их (и свой) адрес, я бы очень хотел, чтобы мы попытались разобраться в результатах наших теоретических исследований. В том, что мы провалили по-

он определял как «всестороннее размышление о политической ситуации, ведущее к предложению общего политического курса». См.: Штраус Л. Что такое политическая философия? // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 12. Таким образом, автор статьи вносит некоторую терминологическую путаницу: то, что сам Штраус называл «политической философией», Ларри Спенс выдает за «политическую теорию». — Прим. ред.]
⁶ Wolin S. S. Political Theory as a Vocation // American Political Science Review. 1969 (December). Vol. 63. № 4. P. 1081.

ставленную перед нами как теоретиками задачу, кажется, уже не сомневается никто. Позвольте предположить, что мы ошиблись в своих методах.

Утверждая, что политическая теория сейчас находится в отставке, я имею в виду то, что теоретики ныне по большей части бродят среди реликтов классического прошлого, далеких от политических реалий сегодняшнего дня. Сердцевиной нашей дисциплины теперь стала история политической мысли. Как и раньше, мы изучаем различные традиции политической мысли, пишем о выдающихся и менее известных политических мыслителях. Как отмечает Штраус, среди совершенного разброда во мнениях относительно предмета, функций и методов политической теории «единственное, в чем еще соглашаются друг с другом преподаватели политической науки, — это в том, что изучение политической философии может принести определенную пользу»⁷. Это единодушие не было бы столь удивительным, если бы наша дисциплина называлась «история политической мысли». Если бы мы хотя бы ощущали ошибочность того, что делаем с тех пор, как занялись интерпретацией текстов, анализом исторического контекста, поиском концептуальных связей в истории политической мысли! При этом мы упустили главное — разработку политических теорий. В 1890-х годах мы пришли к консенсусу, заключающемуся в том, что понимание и анализ современных политических проблем могут быть построены на основе изучения истории политической мысли. Это привело к тому, что теперь мы знаем историю, но так и не научились понимать ее.

Мы говорим и пишем об ушедших в прошлое кумирах, но продолжаем с увлечением изучать то, что наших кумиров не слишком интересовало, — историю политической мысли.

Я вовсе не призываю отменить изучение истории политической мысли. Этот предмет имеет право и на существование, и на то, чтобы обладать научным статусом; в общем политические теоретики и другие политические ученые могут и должны изучать его. Мне также не хотелось бы вступать в споры о том, к какой области этот предмет лучше отнести — к истории, философии или политической науке. Но я утверждаю, что изучение истории политической мысли не должно быть ядром политической теории как дисциплины. Рассматривая историю политической мысли в качестве базиса нашей

⁷ Штраус Л. Что такое политическая философия? // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 16.

науки, мы и сей оказали медвежью услугу и подорвали собственный творческий потенциал.

Главные проблемы истории политической мысли в том виде, в каком мы ее в настоящее время изучаем, могут быть рекомбинированы следующим образом:

- а) из множества самых разных текстов мыслителей, идеологов и пропагандистов мы создали искусственную теоретическую традицию;
- б) мы превратились в «любителей старины», использующих историю в качестве средства спасения и защиты от вызовов настоящего;
- в) мы не смогли выстроить общее предметное поле с политической наукой и найти общий язык с политиками-практиками, настаивая на том, что мы занимаемся только так называемыми «вечными вопросами»;
- г) в результате наши попытки сделать теорию «релевантной» искажают исторические факты, проецируя дела настоящего в прошлое;
- д) мы не поняли, что функция политической теории заключается не в упорядочивании и объединении уже имеющихся наработок, а в собственном критическом и творческом вкладе в исследования политики, дискуссии и решения.

1. ИСКУССТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ

Я говорю об этих проблемах с таким полемическим жаром и в таком обвинительном тоне специально для того, чтобы обратить внимание на их важность. Я опишу свои замечания кратко, в том виде, в каком они представлялись мне в процессе преподавания. Начнем с того, что я никак не мог, как ни пытался, обнаружить «традицию дискурса» (tradition of discourse) в той череде политических сочинений, из которых составлен учебный курс по цивилизации Запада. Некоторые из моих коллег согласны со мной в этом вопросе, но большинство считает, что традиция существует⁹. Например, Спрагенс пишет, что «поскольку классические труды по политической теории принимают столь разные формы и говорят на столь разных языках, то совершен-

⁹ Первой точки зрения придерживается Джон Ганиел. См.: Gunnell J. G. The Myth of the Tradition // American Political Science Review. 1978 (March). Vol. 72. № 1. P. 122-134.

но не очевидно, что они составляют логически последовательную единую традицию дискурса и обращаются, по большей части, к одним и тем же проблемам»⁹. Он утверждает, что весьма нелегко ухватить то общее, что присуще этим трудам, и что если между ними нет ничего общего, «сравнивать политических теоретиков становится затруднительным, если не невозможным»¹⁰.

Разумеется, если их нельзя сравнить, тогда отсутствует и «традиция»; такой вывод уверенно делает Спрагенс. И далее: «Те, кто тратил время и силы на то, чтобы, так сказать, найти ключ к разгадке, хорошо знают, что занятия политической теорией имеют глубокий смысл и большую важность»¹¹.

Это утверждение, безусловно, несправедливо. Тогда если я или кто-либо другой не видит традиции дискурса, то, выходит, это происходит из-за того, что мы не хотим или не можем ничего понять. Защитить идею традиции в таком случае можно, только если препятствовать критикам всех мастей. Что я наблюдаю? Не традицию, а множество мыслителей, обращающихся к современным им сюжетам, и писателей, говорящих о своей эпохе. Не дискурс, а тех же самых мыслителей, в высшей степени презрительно относящихся к своим предшественникам: каждый убежден в собственной уникальности и превосходстве. Если я привел плохой пример «историзма» (historicism), по выражению Штрауса, тогда я могу быть отправлен на пенсию; но до сих пор никто ничего не сумел мне возразить.

К сожалению, я потратил время и силы, но не нашел ключ к разгадке. Мое положение походит на положение героя из произведения Воннегута, который после того как ему показали известный фокус «колыбель для кошки» заключил, что «никакой, к черту, кошки, никакой, к черту, колыбельки нет!»¹²

⁹ Spragens Jr. T. Understanding Political Theory. — NY, 1976. P. 14.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Вместо того чтобы объяснять, в чем суть «фокуса», приведем отрывок из книги Курта Воннегута:

«Маленький Ньют заворочался.

Еще в полусне он потер черными от краски ладонями рот и подбородок, оставляя черные пятна. Он протер глаза, измазав и веки черной краской.

— Привет, — сказал он сонным голосом.

— Привет, — сказал я, — мне нравится ваша картина.

— А вы видите, что на ней?

— Мне кажется, каждый видит ее по-своему.

Ознакомившись с положенным количеством политических сочинений, многообразных по форме, содержанию и языку, в хронологическом порядке, я пришел к выводу: «нет ни традиции, ни дискурса». Традиции не существует, поскольку я не вижу, чтобы, как пишет Уоллин, «начиная объяснять что-либо с философской точки зрения, теоретик принимает сформулированные задолго до него правила дискуссии»¹³. Вместо этого я нахожу, что теоретики обращаются к правилам дискуссии, которые задают современные им политическое устройство и политический процесс. Когда теоретики вступают в полемику с прошлым, они включаются в дискурс, ориентируясь не на фундаментальную традицию, а только на отдельных мыслителей, выбранных ими произвольно, исходя из личных пристрастий. Кроме того, я вижу, что многие теоретики, обращаясь к мыслителям прошлого, отвергают сформулированные ими идеи, как устаревшие. Аристотель, будучи учеником Платона, критикует идеи его «Государства», как ведущие к «разрушению полиса» и, следовательно, концу политики. Макиавелли пишет, что вынужден совершенно порвать с предшественниками во взгляде на образ идеального правителя. Гоббс призывает нас изучать самих себя, а не Фому Аквинского. Томас Пейн убеждает своих современников мыслить самостоятельно и забыть о том, что до них кто-то мыслил.

Возможно, политические теоретики считали, что порывают с писателями прошлого лишь в предмете изучения. Может быть и та-

- Это же кошкина колыбель.
- Ага, — сказал я, — здорово. Царапины — это веревочка. Правильно?
- Это одна из самых древних игр — заплетать веревочку. Даже эскимосам она известна.
- Да что вы!
- Чуть ли не сто тысяч лет взрослые вертят под носом у своих детей такой переплет из веревочки.
- Угу.
- Ньют все еще лежал, свернувшись в кресле. Он расставил руки, словно держа между пальцами сплетенную из веревочки «кошкину колыбель».
- Не удивительно, что ребята растут психами. Ведь такая «кошкина колыбель» — просто переплетенные иксы на чьих-то руках. А малыши смотрят, смотрят, смотрят...
- Ну и что?
- И никакой, к черту, кошки, никакой, к черту, колыбельки нет!»
- Подробнее см.: *Воннегут К. Колыбель для кошки.* — М., 2001. — Прим. ред.
- ¹³ Wolin S. S. Politics and Vision. — Boston, 1960. P. 22.

кое, что, как пишет Уоллин, даже бунтари «стали так много перенимать из традиции, что не преуспели ни в ее разрушении, ни в радикальной модернизации»¹⁴. Но также возможно и то, что сегодня мы допускаем существование традиции дискурса лишь потому, что это позволяет нам выпускать учебники, читать лекции и формировать учебные программы.

У меня нет окончательного ответа на этот вопрос. Чтобы его найти, нужно провести громадную исследовательскую работу. Но я бы хотел услышать аргументы в пользу существования подобной традиции, которые были бы чем-то большим, нежели простая декларация. Я хотел бы знать, почему «традиция дискурса» настолько пестрая и неоднородная. Почему Цицерон, Тит Ливий, Полибий, Прокопий, Тацит, Эпикур и другие философы когда-то считались классиками политической мысли, а теперь нет? Почему Адамсу и Джефферсону Платон внушал отвращение, а Штраус считал его политическим теоретиком *par excellence*? Кроме того, различные списки того, что составляет сокровищницу традиции, исключают несколько авторов, кажушихся мне весьма значимыми. Отчего дискуссия по вопросу справедливости должна начинаться с Платона, а не с выдающейся работы Прудона? Почему, изучая причины социального хаоса, мы вместо Гоббса не берем в руки Джерарда Уинстэнли¹⁵? Как мы мо-

¹⁴ Wolin S. S. *Politics and Vision*. — Boston, 1960. P. 22.

¹⁵ Джерард Уинстэнли (1609—после 1652), английский социалист-утопист, идеолог диггеров—крайне левого крыла революционной демократии в период Английской буржуазной революции XVII столетия. Начало его проповеднической деятельности относится к середине 1640-х годов. Прибегая к мистической аргументации, Уинстэнли в многочисленных памфлетах (начиная с «Нового закона справедливости», 1649) изложил свое социальное учение, составными частями которого являются «закон социальной справедливости», обоснование необходимости демократического аграрного переворота, проект «Свободной республики». «Новым законом справедливости» Уинстэнли назвал бесклассовое общество, не знающее частной собственности, денег, купли-продажи, работы по найму, имущих и неимущих.

Установлению этого «закона» должен был предшествовать демократический аграрный переворот, предусматривавший право бедняков безвозмездно обрабатывать общинные пустоши, а также освобождение копигольда и превращение его во фригольд. Осуществление аграрного переворота Уинстэнли считал непременным условием победы республики над монархией. В 1649 году Уинстэнли возглавил выступление диггеров, знаменовавшее кульминационный пункт развития революционно-демократического движения в Англии

политическая теория в отставке

жем объяснить тот факт, что, принимая экзамен у нынешнего кандидата в доктора философии, мы обязательно задаем вопросы о Руссо и Локке и совершенно игнорируем наследие Гарольда Инниса, Эдмунда Смолла, Гаэтано Моски или Джона Дьюи?

Я утверждаю, что идея «традиции дискурса» придумана недавно и является продуктом англо-американской традиции. В английских и американских традициях рассуждения об острых проблемах зачастую расценивались как знак политического неблагополучия. Именно так считал в XVIII столетии Берк, именно так считали основоположники американской политической науки в конце XIX века. Подобные взгляды привели к бездумному отношению к политической теории как к чему-то завершенному, относящемуся к прошлому, откуда мы можем выдергивать понятия, готовые рецепты и наработки, которые помогают нам понять текущие политические проблемы.

II. ЛЮБОВЬ К ДРЕВНОСТЯМ

Если не существует традиции, значит, не может быть и эволюции этой традиции. Таким образом, терпит фиаско утверждение о том, что изучение этой эволюции является обязательным элементом политического образования. Подобные занятия, напротив, есть форма «любви к древностям». Под этим я подразумеваю явление, когда политические сюжеты и идеи прошлого предпочитают политическим сюжетам и идеям настоящего. К примеру, историк науки может написать, что «любой первокурсник знает физику лучше Галилея»¹⁶. Но я не знаю политического теоретика, который бы согласился с утверждением, что «любой первокурсник ныне знает больше о политике, чем Аристотель, Иоанн Солсберийский или Джон Стюарт Милль». И тем не менее это утверждение может быть таким же верным, как и первое. Поскольку нынешние первокурсники (при условии, что они образованны) знают о перспективах, ограничениях, трудностях и опасностях политической революции и реакции

в середине XVII века. В 1652 году Уинстэнли написал свое идеологическое завещание — коммунистическую утопию «Закон свободы», в которой впервые отчетливо связал социальные идеалы коммунистического общества с чаяниями бедноты, а свободу гражданина характеризовал прежде всего как свободу от нужды. — *Прим. ред.*

¹⁶ Gillispie C. C. The Edge of Objectivity. — Princeton, New Jersey, 1960. P. 8.

больше Платона, Макнавелли, Гоббса и Маркса. Поскольку эти первокурсники могут свидетельствовать и свидетельствуют посредством истории и опыта современности о множестве политических явлений, неизвестных в прошлом — народных революциях, мировых войнах, концентрационных лагерях, массовой пропаганде, глобальной коммуникации, транспортных сетях и так далее — так же, как и легко доступные ныне произведения классической мысли, литературы и искусства прошлого.

Эти знания не слишком успешно применяются на практике, но они дают всем нам представление о том, что круг политических проблем и возможные способы их решений выходят далеко за рамки так называемой «мудрости прошлого». Политические теоретики много раз писали о том, что современные проблемы кардинально отличаются от проблем античной эпохи. В то же время они утверждают, что для того, чтобы понять эти проблемы, мы должны начать с изучения проблем прошлого. Я не вижу связи. Мне кажется, что подобные занятия лишь позволяют нам избежать очной ставки с нашим невежеством и по-настоящему пугающим вызовом политической теории в наше безнадежное время.

Конечно, ведь только делая возмутительное лицо и пылко доказывая, что теория должна начинаться с обращения к идеям, всесторонне разработанных классиками, мы можем называть себя теоретиками и при этом отказываться создавать теории. Очевидно, что мы бы с подозрением отнеслись к учебной программе, скажем, художников и поэтов, состоящей лишь из курсов лекций по истории живописи или истории классической литературы. Еще больше сомнений появилось бы у нас, если бы мы узнали, что учащиеся никогда не пишут картин или стихов. Мы должны задаться вопросом: а учит ли нас внимательное чтение Платона или Марсилия Падуанского чему-то, помимо навыка внимательного чтения? Внимательное чтение, бесспорно, не великое умение, а всего лишь один из многих навыков, необходимых теоретику, который к тому же можно легко приобрести. Подобным образом попытки постичь архитектуру произведения политического мыслителя могут помочь нам приобрести некоторые навыки абстрагирования. Но опять-таки подобные навыки могут быть приобретены другими способами. Результаты трудов современных теоретиков и практиков от политической теории не могут соперничать с наследием прошлого. На это можно смотреть как на очевидное превосходство классиков мысли (независимо от нашей трактовки их наследия), а можно — как на очевидную бессмысленность антикварной любви к древностям.

III. ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Эту любовь к древностям часто оправдывают, апеллируя к тому, что существуют фундаментальные «вечные» вопросы политики, которые нужно ставить, но ответов на которые, в сущности, нет. Эвген Миллер пишет: «Вечность фундаментальных вопросов демонстрирует истинные, абсолютные горизонты человеческой мысли, неизменный ее источник, сознание которого всегда присутствовало в уме человека»¹⁷.

Возможно, это так, но неизбежность известных вопросов также может быть свидетельством того, что они были неправильно сформулированы. По крайней мере, начиная с Витгенштейна мы знаем, что нет ничего легче, чем придумать глубокомысленный вопрос, на который невозможно ответить, при условии, что остаются непоясненными обстоятельства, при которых ответ может считаться допустимым.

Если что и есть вечного в вечных вопросах, так это отсутствие вечных ответов. Но если вечные ответы невозможны, не должны ли мы умерить наш пыл в их поиске? Вопрос, на который за 25 столетий не найден удовлетворительный ответ, должно быть, не продуман и плохо сформулирован. Отсутствие ответов на кажущиеся глубокими вопросы — показатель, скорее, неправомерности вопросов, а не ограниченных возможностей человеческого ума.

С точки зрения Гленн Тиндера, «демонстрация существования вечных вопросов политики может служить опровержением необдуманных утверждений со стороны религии или науки, говорящих, что не осталось великих вопросов, на которые не был получен ответ»¹⁸. Так вот в чем секрет. «Вечные» вопросы функционируют в качестве защиты науки, которая не создает теорий. Кроме того, они оправдывают респектабельную и востребованную идею того, что Тиндер называет «погрешностями гуманитарных наук». «Вечные» вопросы работают и на другом, идеологическом уровне, где они оспаривают претензии человеческого разума и развенчивают политические надежды. Что они позволяют нам делать, так это рассуждать о политике с кажущейся объективностью и непредвзятостью, в то время как заранее известно, что эти рассуждения никак не повлияют на политическую жизнь. Это, в свою очередь, гарантирует, что политиче-

¹⁷ Miller E. F. Leo Strauss: The Recovery of Political Philosophy // Crespiigny A. de, Minogue K. Contemporary Political Philosophers. — NY, 1975. P. 95-96.
¹⁸ Tindler G. Political Thinking: The Perennial Questions. — Boston, 1970. P. 132.

ская мысль не угаснет и во времена репрессий, но ценой тому станет жизнь всего остального общества.

Вероятно, вопросы вроде: «Что такое справедливость?», «Что такое свобода?», «Что такое государство?» являются способом смягчить политические требования. Ошибочно полагать, что афиняне — граждане, женщины, рабы и метеки — не знали, что такое справедливость, в условиях существовавшей политической системы. Возможно, они не знали, как достичь справедливости или чего-то похожего, но они, должно быть, были в высшей степени разочарованы платоновским решением этого вопроса. Сложно увидеть какую-либо связь между постановкой проблемы и ее решением у Платона, Гоббса, Маркса и Кропоткина, поскольку используемые ими понятия, принадлежа к разным теориям, не тождественны по смыслу. Именно поэтому концепции мыслителей прошлого мало или вовсе не помогают нам в разработке политических понятий, которые могут быть использованы в качестве элементов современных теорий. Это действительно так, в том случае если мы не разделяем доминирующую в истории и философии науки идею так называемой «инвариантности значения», в которую столь наивно верим. В истории науки «инвариантность значения» создала ложное впечатление кумулятивности знания. В истории политической мысли это допущение создало равно ложное впечатление «неизменных концептуальных рамок».

Неубедительный довод в пользу существования неизменных концептуальных рамок зачастую формулируется в виде правила, согласно которому если мы стремимся понять политическое понятие, мы должны начать с признанных классическими положений. Катеб пишет: «Для того чтобы дать определение политического, необходимо, вне всякого сомнения, начать с дефиниции, данной Локком в „Двух трактатах о государственном правлении“. Для того чтобы развить понятие свободы, нужно в первую очередь обратиться к анализу этого понятия Гоббсом в „Левиафане“. Для того чтобы объяснить понятие справедливости, нужно, конечно, начать с двух первых книг „Государства“¹⁹.

Но так ли это обязательно? Если бы мне нужно было преподавать или писать эссе на тему «Что такое политика?», я бы начал с Вейнштейна и Шатшнейдера. Если бы мне нужно было развить понятие свободы, я бы начал с Прудона, который считал свободу матерью, а не дочерью порядка, как Гоббс. Что касается платоновской идеи справедливости, то здесь я согласен с Поппером, который ска-

¹⁹ *Kateb G. Political Theory: Its Nature and Uses.* — NY, 1968. P. 90.

зал, что «платоновское понятие справедливости в корне отличается от нашего обычного взгляда на справедливость»²⁰. Я могу ошибаться, но хотел бы защитить свою точку зрения более аргументированно, в отличие от Катеба. Цель его предвзятых утверждений – разрушить надежды на улучшение политического строя. Локк сужает определение политики, ограничивая ее числом политически активных граждан. Гоббс дает определение свободы в ее отрицательном значении, как отказ гражданина от своих прав в пользу суверена, в обязанности которого входит его защита. Платон дает определение справедливости в таком духе: для получения доступа к власти люди должны отказаться от своих притязаний. Пришло время начать дискуссию по этим вопросам на других площадках. Назрела необходимость в разумных переменах в политической практике, способных улучшить качество человеческой жизни более вышеозначенных утверждений о губительности подобных перемен.

IV. ПРОЕКЦИИ В ПРОШЛОЕ

Политические сочинения, изучаемые на протяжении всего курса по цивилизации Запада, можно сравнить с чернильными пятнами на тесте Роршаха²¹, в которых современные политические теоретики могут увидеть собственные цели и ценности. Штраус и его последователи, например, утверждают, что проводят тщательную историческую проработку интересующего вопроса, тогда как на самом деле используют классические тексты для резкой критики современности, либерального общества и современных философских школ. Они рационализируют свой замаскированный метод, объявляя политическое теоретизирование опасным занятием. Как пишет Штра-

²⁰ *Поппер К.* Открытое общество и его враги. В 2-х тт. – М., 1992. Т. 1: Чары Платона. С. 129.

²¹ Тест Роршаха – психодиагностический тест для исследования личности, созданный в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом. Это один из тестов, применяемых для исследования личности и ее личностных нарушений. Испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс. Каждая такая фигура служит стимулом для свободных ассоциаций – испытуемый должен назвать любые возникающие у него слово, образ или идею. Тест основан на предположении, согласно которому то, что индивид видит в кляксе, определяется особенностями его собственной личности. – *Прим. ред.*

ус: «...философия или наука есть [...] попытка уничтожить стихию, которой живет общество, следовательно, они опасны для общества. Поэтому философия и наука должны оставаться прерогативой элиты, а философы и ученые должны уважительно относиться к идеям, скрепляющим общество»²².

Он много говорит о необходимости «особенной манеры изъясняться», способной раскрыть идеи теоретика немногим, оставляя при этом большинство в неведении. Описывая историю политической мысли якобы на доступном языке, теоретик может отделаться от любопытного носа широкой публики, ограничив круг посвященных своими коллегами.

Соглашаясь с тем, что многие черты современного общества, современных социальных наук, философии и интеллектуальной жизни требуют критического осмысления, я в то же время убежден, что подобная критика не в состоянии дестабилизировать общество. Утверждение, что политические мыслители со времен Платона и до наших дней способны своей критикой подорвать социальные устои, звучит смешно. Это все равно, что какой-нибудь пьяный хулиган кричал: «Держите меня, или я убью его!» — и таким способом сумел избежать реальной проверки своих кулаков. Теория Штрауса политических концепций с двойным дном — экзотерическим и эзотерическим — не только санкционирует поддержку политическими теоретиками норм и правил, защищенных от критики сограждан, но также дает им право оставить в неприкосновенности наследие мыслителей прошлого. Более того, эта теория исключает любую возможность нормального интеллектуального диалога, поскольку лишь те, кто находится в сговоре, считаются достойными изучать политическую теорию.

И хотя случай Штрауса — лишь наиболее радикальный пример того, когда в классических текстах видят сплошные аллюзии на современные проблемы, с этим искушением сталкиваются все ученые-гуманитарии. К примеру, Уильям Блум утверждает: «Современные гуманитарные науки на поверку содержат несколько фундаментальных посылок относительно природы политического и сущности важнейших политических вопросов, которые не высказаны ни в одной из великих книг»²³.

Если это так, то это звучит как обвинительный приговор современному гуманитарному знанию: оно не производит ничего ори-

²² Strauss L. *What is Political Philosophy?* — Glencoe, Illinois, 1959. P. 221–222.

²³ Blum W. T. *Theories of the Political System: Classics of Political Thought and Modern Political Analysis*. — Englewood Cliffs, New Jersey, 1971. P. 19.

гинального, незаурядного, своеобразного, что бы не аннулировало к прошлому. Уолин утверждает, что традиция политической мысли является связующим звеном между прошлым и настоящим. С его точки зрения, общность понятийного аппарата и общность поднимаемых проблем в рамках единой традиции помогают «понять политические воззрения предшественников»²⁴. Он также обращает внимание на то, что действия политиков-реформаторов обычно сохраняют преемственность в отношении предыдущего политического курса.

Поскольку я сомневаюсь и в наличии общего понятийного аппарата, и в общности поднимаемых проблем, я должен усомниться и в понятности и полноте политической мысли прошлого. Более того, я считаю, что подчеркнутая преемственность действий политиков-реформаторов при отсутствии настоящего понимания прошлого может быть разрушительной. Сделать политическую мысль прошлого понятной для студентов, которым я преподаю, при помощи параллелей с актуальными политическими сюжетами — мысль довольно заманчивая. Легче легкого изобразить Платона в качестве критика массового общества, Макиавелли — революционера из страны третьего мира или Канта как посвященного в государственные тайны чиновника. Но подобное метафорическое использование классических текстов рассчитано на наше знание исторического контекста их написания.

До тех пор, пока мы придерживаемся при составлении учебного плана ориентации на признанные «выдающиеся» труды, тщетность наших усилий будет усугубляться — наша творческая энергия уйдет на вычленение наиболее важного в текстах прошлого. Таким образом, классики, по-видимому, становятся олицетворением политической такой мудрости, на которую только способен человек. Однако если довольно способные, талантливые мужчины и женщины долгое время не сводили глаз с тех самых «чернильных пятен», описали то, что они увидели, прочли о том, что увидели другие, обсудили свои наблюдения с коллегами, написали книги и статьи о своих наблюдениях, преподавали студентам то, что они сами вынесли из этого, поощряли студентов делать их собственные наблюдения, проводили собрания, на которых обсуждали последние наблюдения и их возможные интерпретации и так далее, тогда со временем может начать казаться, что именно «чернильные пятна» были источником большей части приобретенных знаний. Указать на то, что это всего лишь чернильные пятна, сродни кощунству. Предположение о том, что такие напряженные усилия, если их направить в другое русло, мог-

²⁴ Wolin S. S. *Politics and Vision*. — Boston, 1960. P. 23.

ли бы принести человечеству больше пользы, может расщеплять, ся как подрыв всей интеллектуальной деятельности. На мой взгляд, если политическая теория сегодня — не более чем ссыла на классиков политической мысли в целом и Платона в частности, это может указывать на то, что мы слишком долго разглядываем «чернильные пятна». Существует множество вопросов, над которыми классики никогда не задумывались и которым они в обстоятельствах прошлого не придавали значения. И если мы не в состоянии разграничить изученные и неизученные вопросы, то это оттого, что мы забросили самостоятельную научную работу.

V. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Политический кризис и параллельный развал власти, согласно Уолину, «открывает перед теорией возможность перестроить мир»²⁵. Но проблема заключается в том, что теории не строят и не могут строить или перестраивать политический мир. Этим занимаются мужчины и женщины, при этом лишь единицы из них могут быть теоретиками. Тезис о том, что именно люди придумывают и создают политические институты и разрабатывают политические программы, может показаться большим упрощением. Конечно, в любом созидательном деле теория является полезным, даже необходимым помощником. Но как таковая теория должна подвергаться переработке после проверки практикой. Однако, относясь к политической теории как к проекту глобального переустройства мира, мы лишаем ее этой полезной прививки практикой. Политическая теория используется нами в качестве формы или модели для отливки политического мира, благодаря которой этот мир приобретает нужные размеры и очертания. В таком виде практический опыт не может быть основой для критики теории, поскольку в этом случае она, употребляя выражение Канта, «слепа, как крот». Уолин, соглашаясь, пишет, что политическая теория отличается от научной теории тем, что «не уступает фактам роль арбитра»²⁶.

Политические риски, связанные с сопротивлением фактам и отрицанием практической проверки теории, были со всей тщатель-

²⁵ Wolin S. S. *Paradigms and Politics* // Parekh B. C., King P. (eds.). *Politics and Experience*. — Cambridge, 1968. P. 148.

²⁶ Wolin S. S. *Political Theory as a Vocation* // *American Political Science Review*. 1969 (December). Vol. 63. № 4. P. 1075.

ностью исследованы в работах Поппера. Меня беспокоит в этом вопросе не столько то, что эти «опасные» факты нельзя истребить (как на то, по словам Уолина, покушалась теория), сколько то, что истребить можно тех людей, которые в них верят. Подобное вольнодумство для теоретика чревато изгнанием из научного сообщества. В этом случае теоретики не имеют возможности применить свои навыки и интуицию в процессе политического переустройства, так как им запрещено принимать участие в общественном диалоге. Я возражаю против такого определения роли и функций теоретиков, которое не допускает их к участию в обсуждении политических перемен в качестве членов научного сообщества, поскольку подобное участие и доступ, который оно дает к неофициальным источникам информации, необходимы для теоретизирования как творческого процесса.

Уолин справедливо указывал на обеднение образования политического ученого, связанное с оторванностью от реальной жизни. Я считаю, что причиной тому стала тирания полумертвой теоретической традиции, которая не только поглощает наше время, но и отделяет нас от наших соотечественников. Как пишет Уолин: «Мера нашего понимания зависит от источников, из которых мы можем почерпнуть знания»²⁷. Если это так, то классические источники современной теории обвиняются в скудости. Вероятно, эти источники были осушены, либо, возможно, их осушение было защитой от двойного риска: критики обанкротившихся общественных институтов и текущего политического курса и критики, направленной против самих себя.

Если так называемая традиция оказывается бесполезной и изживает сама себя, в таком случае каковы источники существования политической теории? Конечно, это богатство и сложность жизни людей в обществе. Активно участвуя в жизни общества в качестве гражданина, отца или матери, учителя, соседа, будучи правонарушителем или судьей, теоретик может обнаружить все те качества, которые, с точки зрения Уолина, так необходимы теоретику: «Шутливость, заинтересованность, умение сопоставить несопоставимое и удивление перед многообразием и тонкой, едва уловимой взаимосвязью вещей»²⁸. Политическому ученому, может быть, и позволительно пренебречь какими-то из своих общественных обязанностей и месяцами пропадать в архивах, компьютерных центрах и библиотеках. Для теоретика это катастрофа. В противоположность остальным обществоведам, мечтающим о тиши кабинетных изысканий, призва-

²⁷ Ibid. P. 1067.

²⁸ Ibid.

ние теоретика обязывает его вкусить все прелести, испытания и неудобства полевой работы. Ответ на вечный вопрос: «Какое общественное устройство считать наилучшим?» — не может быть дан до тех пор, пока теоретик не прочувствует на собственном опыте, что значит быть человеком, какие нравственные суждения человек выносит по тому или иному вопросу, какие поступки совершает в тех или иных ситуациях.

Под политической теорией я понимаю деятельность, состоящую из четырех моментов: изложения, анализа, критики и совершенствования концептуальной основы тех средств, при помощи которых мужчины и женщины ведут и осмысливают свою жизнь в обществе. Для того чтобы наши знания о политике и политические действия в мире были взвешенными, мы должны сделать некоторые предположения относительно сущности общества и способов его познания. Должен быть создан публичный словарь, при помощи которого мы можем обсуждать, полемизировать и принимать решения по поводу деятельности наших институциональных структур, а также давать оценку и критиковать результаты их работы. То, что мы не можем обсудить при помощи терминов этого словаря, не принадлежит к области коллективного действия. Перефразируя Чарльза Райт-Миллза, то, что было сформулировано, — вопросы общественной значимости, то, что нет, — личные проблемы. При этом превратить личные раздумья и тревоги в вопрос общественной значимости — довольно сложная творческая задача. Четко сформулировать свои опасения или смутные пожелания — задача, требующая совместных усилий мифотворца, поэта и ученого. Эта задача в совершенстве была выполнена многими великими политическими теоретиками. За это мыслители прошлого заслуживают не только восхищения и чествования в учебниках, но и всяческого подражания с нашей стороны. Сейчас, я боюсь, мы потеряли точку опоры. Мы больше не понимаем или не ценим значение великих трудов прошлого, мы отрезаны и от повседневного круговорота событий и принимаемых политических решений, и от не всегда удачных, но перспективных разработок современных обществоведов.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резкие суждения, высказанные мною, являются результатом скепсиса и глубокого разочарования, которые я испытал, будучи политическим теоретиком. Я старался выбросить из головы периодически возникающие сомнения в правильности составленной учебной про-

граммы и содержательной части преподавания. Но мне этого не удалось: сомнения не оставляли меня. Я обнаружил, что удаляюсь от чтения классики. Меня захватило чтение трудов историков, экспериментаторов, клиницистов, реформаторов и политических аналитиков, разрабатывающих ряд актуальных проблем, совершенно отсутствующих в так называемой «традиции». Когда я это понял, то задумался: могу ли я по-прежнему считать себя серьезным теоретиком, если традиция представляется мне пустой, поверхностной и банальной вещью? Как ученый я уже долгое время занимаюсь проблемами «технологической политики» — проблемами управления трудовыми ресурсами, экспансии национальных и транснациональных корпораций, краха бюрократической системы, ускорения времени в постиндустриальном мире, разрушения семьи как социальной единицы, разрушения нравственного и политического образования. И я, как и другие ученые, преклоняюсь перед мыслителями прошлого. Но, на мой взгляд, их наследие не составляет определенной теоретической традиции — оно должно рассматриваться в контексте политических вопросов, событий и институтов того исторического периода, когда они жили и творили²⁹. Изучение истории политической мысли представляется в таком случае междисциплинарной работой, требующей знаний, эрудиции и способностей философов, историков и политических ученых. В свете этого тезиса мой собственный курс лекций выглядит далеко не идеальным. Я столкнулся с дилеммой: либо полностью его менять, либо перестать быть политическим теоретиком. Либо одно, либо другое: третьего не дано.

Я делился своим беспокойством с коллегами, порой встречая весьма живой отклик с их стороны, чему был необычайно удивлен. Выяснилось, что моя точка зрения не настолько маргинальная, как мне самому казалось. Хотя некоторые из моих коллег в ужасе отшатывались от меня, как от ядовитой змеи, другие предполагали, что я не выказываю должного уважения традиции, частью которой, по их мнению, я сам являюсь. Однако я по-прежнему глубоко неудовлетворен тем, что политическая теория ушла в бессрочный отпуск. И я надеюсь, что эта полемика поможет прояснить причины и последствия этого факта. Я надеюсь, что благодаря этой дискуссии мы попытаемся внести некоторые изменения в наши учебные программы, курсы лекций, учебные пособия и журналы, тем самым поддержав нашу

²⁹ Майкл Левин делает похожее утверждение. См.: *Levin M. What Makes a Classic in Political Theory?* // *Political Science Quarterly*. 1973 (September). Vol. 88.

ЛАРРИ Д. СПЕНС

инициативу, подчеркнув ее значимость и выказав одобрение нашим усилиям. Политическая теория слишком долгое время была в интеллектуальной отставке, предавшись идеализированным воспоминаниям о былом и ворчливо огрызаясь на всех, кто смел посягать на ее честь. Пора всем нам разойтись по домам и засесть за более важную работу.

*Перевод с английского
Анастасии Ермолиной*

РЕАНИМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ^{1,2}

I

Обоснованно это или нет, но ныне широко распространено мнение о том, что за последнее время ни в Англии, ни в Америке не проводилось серьезных исследований по политической теории.

Ноэль Аннан так пишет об этом: «Какова отличительная черта западной политической мысли начиная с 1945 года? Практически совершенный упадок политической философии — той политической философии, которой занимались Милль, Грин и Маркс»³. Или, как отмечено в рецензии на книгу Ганса Моргентау «Дилеммы политики»: Ганс Моргентау «настаивает на том, что эмпирическое изучение политики требует философской основы и само по себе не может существовать. И хотя изучение теории входит в наши учебные планы, традиционно она представлена больше в историческом аспекте и поэтому не играет большой роли в наше время»⁴. Политическая теория, о которой мы говорим, конечно, обозначает то, что мы привыкли понимать под этим термином. Это нечто связанное с вопросами морали и философии и могущее служить для управления социальным действием. Это нечто связанное с ценностями — то, что влияет на убеждения, что стремится построить рациональную и эмпириче-

¹ Текст переведен по: *Greaves H. R. G. Political Theory Today* // *Political Science Quarterly*. 1960. № 75. P. 1–16.

² Эта статья — исправленный вариант речи, произнесенной в Колумбийском университете в октябре 1959 года по приглашению философского факультета. На момент произнесения речи автор являлся приглашенным профессором в Колумбийском университете.

³ См.: *The Listener*. 1959. February 19. P. 323.

⁴ *Merrill M. R. Review of «Dilemmas of Politics» (by H. J. Morgenthau)* // *Western Political Quarterly*. Vol. XII. №. 2. P. 617.

скую систему идей, основываясь на которых можно давать практические рекомендации.

Это не тот новый негативный род политической теории, который утверждает, что о ценностях нельзя сказать ничего значимого, что ценности — это всего лишь то, что принято в обществе, в котором мы живем, что ничего не может быть предписано или рекомендовано, за исключением общего согласия. Этот отказ от рационализма этим родом политической теории — а очевидно, что это так — является, помимо всего прочего, одновременно признаком и обоснованием позиции, стоящей за этим утверждением. За примерами далеко ходить не надо. Так, мистер Джастис Девлин недавно заявил в своей Маккавейской лекции⁵, что общество не должно порицать те действия, которые ему не нравятся. Достаточно того, что это действие расценивается обществом как недопустимое. Также лорд главный судья Англии недавно посоветовал британским судьям, чтобы они при вынесении приговоров принимали во внимание только свои личные взгляды и не считались более ни с чем, включая кассацию судебного решения вышестоящими судьями. Таким образом, сожжение ведьм, расовая дискриминация, а также желание лорда главного судьи обмануть «судебные розги» могут быть оправданы одними лишь эмоциональными предпочтениями общества, поддерживающего подобную политику. Это так, даже если бы некоторые, в целом поддерживающие данную точку зрения, добавили более осторожно, что поступать подобным образом можно только при наличии соответствующей традиции. В этом смысле подобный этический релятивизм находится в согласии с тем негативным видом политической теории, которая говорит нам, что не существует истины или рационально доказанных принципов, которыми можно руководствоваться, что все, что мы можем сделать — это обратиться к традиции. Это приводит нас к умозаключению, что мы — как отдельные люди, так и целые общества — находимся в море, не отмеченном на карте, дрейфуем неизвестно куда, без руля и без направления, во власти ветров и течений, которыми не можем управлять, даже если и способны — что, впрочем, также вызывает сомнения — постигать их. Подобная политическая теория похожа на учение Бёрка, только без веры в Прови-

⁵ Маккавейские лекции учреждены в 1956 году маккавеями (обществом евреев, чрезвычайно интересовавшихся юридической наукой) с целью отметить трехсотлетнюю годовщину переселения евреев в Англию. Сегодня эти лекции читаются раз в два года и могут касаться любого аспекта юриспруденции. — *Прим. ред.*

дение, философию Гегеля, без диалектики или на историцизм, который находит в истории подтверждение отсутствия не только свободы, но и предопределения.

Политической теории подобного рода нам вполне хватает. Она является негативной в том смысле, что не может предписывать или рекомендовать, основываясь на каких-либо рациональных основаниях. Она не может установить критерии для исследования политических институтов или поведения в понятиях «замысла», которому они служат, или «целей», к которым они направлены. Более того, она делает своей главной темой отрицание существования любых рациональных критериев. Но так как политическая наука неизбежно связана с сообществами, которые, поскольку они существуют, должны действовать; любое такое отрицание критериев само по себе является предписанием — одобрения или уступки. Это указание не указывать. Это действие, которое говорит, что не нужно действовать. В конце концов, в отдаленной или близкой перспективе, ее результатом становится убедить ученого, исследующего политическую теорию, не изучать политическую теорию. Или по меньшей мере ее следствием должно быть утверждение о том, что только тот вид политической теории является полезным занятием, который выставляет другую политическую теорию в качестве бесполезного занятия.

Вряд ли было бы неожиданным — и такое отношение к политической теории является, на мой взгляд, преобладающим, — если бы политическая теория захла и вышла из моды. И хотя за дефицитом политической теории, в современном, положительном, творческом понимании этого термина, лежат глубокие социальные причины, такие как послевоенная нетерпимость или стремление к процветанию, все же нельзя сомневаться в том, что политическая теория существует. Кроме того, мы не должны забывать, что упомянутая негативная разновидность политической теории также является политической теорией. Конечно, этот факт больше молчаливо подразумевается, нежели ясно и четко артикулируется; возможно, потому что существует более строгое ограничение на написание книг о том, чем не является политическая теория, чем о том, что такое политическая теория. Тем не менее представляется, что мы движемся к такому состоянию предмета, которое уже достигнуто абстракционизмом, где премия недавно была вручена черному полотну без какого-либо изображения на нем как лучшей работе года.

Итак, если мы понимаем отсутствие политической теории именно так, то каковы его корни? На мой взгляд, имеется несколько причин, приведших к подобному результату.

Во-первых, самый успех политической науки как таковой. Под этим я подразумеваю в данный момент, хотя я не стал бы сводить к этому политическую науку, значительное увеличение масштабов бихевиоральных исследований и усовершенствование методов, которые ими применяются. Многие из этих исследований, если и не все, пролили свет на функционирование институтов или действие законов, в чем-то даже на установки, идеи и нормы. Даже если они часто лишь подтверждают то, что мы уже знаем, все же они помогают верифицировать, сделать более точными, подчас умерить и внести здоровую осторожность в процедуры обобщения. Они описывают закономерности, и в более узких границах, чем это обычно делается, они могут служить основой для прогноза. Сродни этому явлению рост того, что стало называться политической социологией, хотя я не уверен, что эта дисциплина существенным образом отличается от простого описания политической жизни. Отличительной чертой этого социологического подхода является нетерпимость по отношению к противопоставлению индивида и государства, его специфическое применение плюралистической теории в изучении организованных групп и институтов, которые, не обязательно меняя законодательную систему или политическую структуру, все же влияют на способ их работы и фактически определяют место гражданина в государстве, что в более узком смысле означает, что политические отношения — это постоянное влияние всех на каждого.

В настоящее время главной характеристикой исследований по политической социологии является акцент на одной, чисто описательной области политической науки. Эта часть, конечно, является основной, но ведь это всего лишь часть. Тем не менее эта область науки была столь привлекательной, и для исследований в этой области были предоставлены такие благоприятные условия, что это привело к некоторым последствиям, важным для того, что мы здесь рассматриваем. Во-первых, эти благоприятные условия изменили направление научных изысканий в ту сторону, где возможно достижение точных и ясных результатов, вклад в науку которых можно легко измерить и которые не поднимают никаких утомительных спорных вопросов, не приводят возможных доводов в пользу политической пристрастности; и значит, это направление науки в некотором роде

лишено мужества, чтобы отважиться посягнуть на более теоретические и рискованные сферы, где политическая мысль затрагивает вопросы этики, философии, психологии, эстетики, права. Во-вторых, политическая социология создала так много всего, что это произвело эффект «снежного кома». Сам объем материала сделал его изучение для ученых-политологов процессом, отнимающим массу времени и сил, и это, только чтобы следить хотя бы за уже проделанной областью науки. В-третьих, миф о «свободной от ценностей» политической науке стал пользоваться большим доверием. Было не совсем понятно, до каких пределов простирается зависимость описательного подхода от используемых при этом методов анализа и интерпретации, непременной составляющей которой являются ценности.

Здесь-то и кроется причина замены политической теории политической наукой. Она лежит в ложной попытке уподобить политическую науку естественным наукам. Если начало этого процесса восходит к Гоббсу и Ньютону, то очевидно, что процесс этот значительно ускорился в период написания Дарвином «Происхождения видов» и путем постепенного накопления знаний был доведен до своей высшей точки современными исследованиями. Только потому, что мы так ясно видим недостаточность теорий, утверждающих «необходимость» или предопределенность политического развития, предложенные людьми вроде Герберта Спенсера и Карла Маркса, мы недооцениваем влияние, оказываемое на состояние нынешних умов идей, убеждений и установок, которые они разделяли. Если предположить, что мы живем в исторически обусловленном мире, то что может быть логичнее, когда политический теоретик, причастный к управлению курсом общественных реформ, отказывается от своих прав теоретика в пользу ученого-политолога, занимающегося единственно описанием этого процесса? Если политика так же научна, как метеорология, то логично ожидать от нее описаний и прогнозов, но не предписаний. Точно так же, как мы не властны над погодой, мы не можем контролировать политические процессы. Мы принимаем их и включаем в наши учебные планы.

За заменой политической теории на политическую науку может скрываться также менее достойный мотив. Это то, что может быть названо политикой изучения политики — здесь преимущество отдается тем изысканиям, которые не поднимают проблемных тем. В последние годы для ученого стало порой безопаснее придерживаться чисто описательного подхода и проводить псевдонаучные исследования, поскольку это поощряется властями и позволяет избежать рис-

ка столкновения с исследовательскими фондами. «Представляется, что деятельность социологов стала все сильнее ограничиваться со стороны власть предержащих с тех пор, как для последних стало очевидным большое значение результатов социологических исследований, а социологи стали в большей степени зависеть от исследовательских фондов»⁶. Конечно, ни одна научная дисциплина не может надеяться или сколько-нибудь оправданно притязать на то, чтобы занимать заслуживающее уважения место в обществе, если она пренебрегает стремлением к истине ради материальной выгоды. Высказывание Ганса Моргентау, цитируемое ниже⁷, наводит на мысль, что именно это она [политическая социология] и делает.

Все еще отчетливо видна нетерпимость по отношению к этому «гиперфактуализму» так же, как и взгляду на политику лишь как на расчет действия «необходимых» законов эволюции. Как недавно написал Джон Д. Миллет: «Наше сообщество ученых-гуманитариев большей частью отказывается признать „печальный вывод“, что социальным поведением управляют безличные, нерациональные, неконтролируемые человеком силы. Вместо этого многие настаивают на том, что их цель — способствовать активизации разумного социального действия»⁸. Можно сказать, что, вероятно, мы вновь захотели прислушаться к словам Гоббса о том, что «наука есть знание связей и зависимостей фактов. Благодаря такому знанию, исходя из того, что мы можем сделать в данный момент, мы знаем, как сделать что-нибудь отличное от этого или сходное с этим в иное время, если таково будет наше желание»⁹.

Именно эти слова и предлагают причину и обоснование изучения политики, обосновывают необходимость знать, как действовать. Более того, Миллет предлагает следующее: «Исходя из уже существующей политической мысли и результатов научных наблюдений, политические ученые на данный момент разработали несколько основных концепций форм правления, способных выдерживать на протяжении нынешней партийной борьбы. Самое время ясно сформулировать основные положения этих концепций, развить их во всей

⁶ Rose A. M. Sociology and the Study of Values // British Journal of Sociology. Vol. III. № 1. P. 17.

⁷ См.: Morgenthau H. J. Dilemmas of Politics. — Chicago, 1958. P. 12.

⁸ Millett J. D. Testament of Politics: An Exhortation to Political Scientists // Political Science Quarterly. 1956. Vol. 71. № 4. December. P. 525.

⁹ Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Т. Гоббс. Соч. в 2-х тт. — М., 1991. Т. 2. С. 35.

полноте и дать им оценку на основании опытной проверки»¹⁰. Как бы то ни было, «политическая наука не может развиваться путем производства пустых, понятных только посвященным смыслов»¹¹, — отмечает он.

III

Как я уже отмечал, в настоящее время мы можем наблюдать то, что можно назвать уходом ученых от ответственности за создание конструктивной, творческой политической теории. Еще одной причиной этого, на мой взгляд, является печальное положение философии в наше время. Данный тезис не является лишь предубеждением лингвистической философии. Никто не станет оспаривать заслуг лингвистической философии в том, что касается ее попыток прояснить значение слов и понятий естественного языка, а также той крайней осторожности в их употреблении, которую она защищала. И в том, и в другом отношении ее вклад неоченим. Она должна приводить, и есть факты, говорящие в пользу того, что она ведет, к более строгому отношению к политической теории и применению более точных научных методов. Но так называемая революция в философии пошла, конечно, намного дальше. Сосредоточившись на проблеме неправильного употребления языка, она, казалось, поставила под сомнение саму возможность существования утверждений, имеющих значение. (Не пришел ли Витгенштейн к такому результату?) Из-за ее сильного влияния теперь стало невозможным руководствоваться основными идеями, используемыми политическими теоретиками — поскольку те заражены «микробами» естественно-научного подхода. Понятия становятся тавтологиями. Обобщения становятся настолько размытыми, что их трудно (если вообще возможно) хоть как-то интерпретировать. По сути, многое из того, о чем писали политические теоретики от Платона до Джорджа Эдварда Мура, считается бессмысленным. Не удивительно в таком случае, что сейчас мало отважных посвятить себя занятию, пользующемуся такой плохой репутацией.

Область философии как таковой настолько сузилась, что она больше не претендует на то, что ей есть что сказать такого, что могло бы иметь практическое значение. Если мы станем анализировать логику философской мысли, то не найдем ничего, что могло бы нам

¹⁰ *Millett J. D. Loc. Cit. P. 525.*

¹¹ *Ibid. P. 538.*

пригодиться в житейских делах. Мы не можем прибегнуть к помощи философии или философски ориентированной политической теории, чтобы, например, выступить против (или за) пытки заключенных в концентрационных лагерях. Говорить об этом — значит просто давать выход своим личным предпочтениям или предрассудкам, как пишет в своих поздних трудах Т. Д. Уэлдон. В таком случае опять же неудивительно, что в научном сообществе не поощряются занятия политической теорией — причиной тому является сам род проблем, в решении которых она (политическая теория. — *Пер.*) намерена выступать наставницей.

Пример того, о чем я говорю, — недавняя статья *The «Consent» of the Governed* («согласие подданных») ¹², в которой автор начинает с того, что заявляет о своем намерении показать, что понятие «согласие» является фикцией. Но это понятие согласия использовалось, и я бы сказал плодотворно использовалось, в политической теории, невзирая на трактовку его Юмом, приблизительно три столетия; так что можно позволить себе усомниться в том, что это понятие не более чем выдумка. Сейчас эта статья интересна в нескольких отношениях, связанных с моей теперешней аргументацией. Во-первых, само лишение понятия какого бы то ни было значения — а назвать его фикцией и значит лишить всякого значения — иллюстрирует движение современной философской мысли в направлении анализа значений вне понятия, таким образом, показывая его несостоятельность и стремясь к тому, чтобы, по сути, вовсе запретить его употребление. Во-вторых, данная статья интересна тем, что добавляет к рассмотрению понятия такими авторами, как Линдсей, Липсон, Макайвер, анализ, который служит целью дальнейшего прояснения понятий и сам по себе является ценным вкладом в науку. В-третьих, статья приводит к заключению, что понятие соответствует реальности. Таким образом, данная статья не является ни простой иллюстрацией той негативной тенденции, о которой я говорил, ни декларацией совершенного поражения, к которому она ведет; вероятно, напротив, она может указывать на то, что мы уже находимся на переходном этапе, что эта стадия пройдена; и что для того чтобы продолжать поддерживать точку зрения, выраженную в этой статье, должны быть приведены дополнительные факты. К тому же ни одно понятие не может одновременно быть фикцией и в то же время описывать реальность. Мы не имеем права утверждать, что понятие лишено всех значений и, стало быть,

¹² Cassinelli C. W. The «Consent» of the Governed // The Western Political Quarterly. 1959. June.

бесполезно, а затем обнаружить, что оно содержит порядную долю истины. Однако что мы должны сделать в таком случае, как этот, — это дать новую трактовку подобным, в сущности, верным понятиям, делая их более плодотворными, творческими, более дальновидными и пригодными для употребления. Новая трактовка понятий должна осуществляться одновременно в свете различных запросов, которые были продуцированы изменившимися условиями, в свете новой совокупности знаний и усовершенствования техники, находящихся в нашем распоряжении для удовлетворения этих запросов.

То, что я говорю здесь о понятии *consent of the governed* («согласие подданных»), я уже писал где-то в другом месте, говоря о других понятиях и терминах, главных для политической теории, таких как счастье, самореализация, свобода, образование, собственность, благая жизнь и природа политического принуждения. Они, как и раньше, являются основными элементами политики, нуждающимися в новой интерпретации или смещении акцентов, а также в дополнительном анализе в свете меняющегося социального опыта и знания. И я не могу не думать о том, что именно философия поможет нам в этом рискованном деле.

IV

Существует, однако, другая причина забвения политической теории. Как ни парадоксально, эта причина указывает на действительно большую нужду в политической теории. Если мы задумаемся над тем, какое направление в современной политической философии преобладает в западном мире, мы должны, я думаю, признать, что это утилитаризм и социал-демократия. Еще в тот самый момент, когда эта философия осуществилась в чистом виде — в обществе социального благоденствия и обществе изобилия, — уже тогда основы этой философии пошатнулись. Теперь же сомнения в обоснованности отдельного вида политической философии не должны подвергнуть сомнению сам ее предмет, но скорее побудить к пересмотру этого отдельного примера. Кажется, именно такие выводы следовали до сих пор. Может ли быть так, что распространенность принятия на веру единственного подхода к социальным проблемам сделала нас неспособными более пересмотреть эти проблемы, ибо защищать то, что считается доказанным, значит бороться за очевидное? Можно ли полагать, что необходимость пересмотра этого единственного подхода, вызванная необходимостью более полного опыта, — лишь наше собственное упрямство? Может ли быть такое, что успех одной полити-

ческой теории привел к настолько полному уничтожению альтернативных теорий, что когда в первой вскрылись недостатки, то печем стало возместить дефицит?

Конечно, следование этой единственной теории скорее молчаливо подразумевается, нежели открыто декларируется. Мы не можем все поголовно однозначно утверждать, что верим в уравнивание возможностей для достижения благосостояния, стремимся к наибольшему счастью наибольшего числа людей или отождествляем счастье человека с максимально возможным непрекращающимся изобилием товаров и услуг, а для общества — с максимальной производительностью труда на душу населения. До сих пор неизменно употребляются именно эти критерии; и тот факт, что мы не анализируем их, а принимаем как доказанные, означает только, что они настолько укоренились в политической теории, что о них и не мыслят как о нуждающихся в описании или защите.

Политические партии, все как одна, с готовностью принимают эти критерии. Или, по меньшей мере, ни одна из них не оспаривает их открыто. Они, конечно, расходятся с теорией во взглядах на вопросы метода, акцентов и интерпретации, особенно относительно идеи равенства — ввиду того что образ действий стоящих у власти с очевидностью противоречит этой идее. Но даже здесь они в наше время не критикуют эту теорию, тем меньше препятствуя достижению тех целей, в стремлении к которым она приказывает им признаваться; они прикрываются рассуждениями о высоком темпе жизни, ценах и выгоде. Идеальное гражданское состояние, о котором они мечтают, — это, по сути, «общество потребления», о котором писал Р. Тоуни в начале 1920-х годов. Этот взгляд характерен для правых и, по-видимому, еще в большей степени для левых партий, так как последние в большей степени склонны рассматривать уравнивание имущества не только как самоцель, но как единственную цель. Уже не имеет значения, насколько разработана по этому пункту их программа: и в плане обобществления имущества, и налога на роскошь, и повышения зарплат, и социального обеспечения, и ликвидации бедности и преступности. Какую бы форму ни принимала их программа социальной справедливости, она всегда была связана с принципом «выгоды», а не «пользы»¹³.

¹³ Сразу же после того, как я написал это, я натолкнулся на некоторые наблюдения экономиста Алана Дэй, очень хорошо разъясняющие и подтверждающие мои тезисы. В газете «Обозреватель» он пишет: «Настоящий абсурд, когда в одной из самых богатых стран мира, где реальные доходы населения неуклонно рас-

Но пороки общества потребления не перестают быть пороками, получив широкое распространение, а ошибочная шкала ценностей не становится верной, даже если каждый человек получает шанс приять ее в качестве своей собственной. Значительный успех в вопросе улучшения условий жизни, в решении которого преуспели новые политические соглашения и социальные программы, тем не менее породил широко распространившееся чувство разочарования и неудовлетворенности. Многозначительность современного общества свидетельствует о его эмоциональной и чувственной опустошенности; это даже не общество, а скорее, одинокая кучка функционеров-бюрократов и карьеристов, стремящихся быть как все и готовых сбежать от свободы и ответственности, прибегнув к компромиссам и уступкам. Это общество не может ни поддержать и заново утвердить прежнюю шкалу человеческих ценностей, ни создать новую одобряемую систему убеждений. Весьма похоже на «дивный новый мир» Хаксли и Оруэлла, мир разочарования, ненависти, бесчеловечности и насилия.

Я не буду полностью освобождать политическую теорию (или то, что от нее осталось) от ответственности за распространенность подобной безответственной позиции в обществе. Но двойные стандарты доминирующей политической доктрины понуждают нас предпринять хоть что-то для защиты политической теории. Утилитаристы сказали бы, по моему предположению, что политическая теория нуждается в свежем взгляде на процесс вынесения индивидом свободного, основанного на опыте оценочного суждения — процесс, заменяющий конформизм ответственностью, процесс, изучение которого во многом и составляет их оригинальный вклад в науку. Социал-демократы заявили бы, на мой взгляд, о необходимости пересмотреть старые дискредитированные понятия благой жизни и самореализации, прибегнув к помощи не только Платона и Аристотеля, но и со-

тут [...], царит дух нищеты [...]. Гораздо более важной, чем проблема возможностей применения техники для поднятия экономики [...], является проблема использования наших возрастающих доходов. Не так важно обсуждать, когда мы поднимем наш жизненный уровень вдвое — через 20 или через 35 лет, — чем обдумать возможные последствия неуклонно растущего уровня жизни [...]. Что мы намерены делать в этом отношении [...] без того, чтобы уничтожить население страны путем поддержания ужасающей нищеты на более чем на половине ее территории? Эти социальные язвы и наша невнимательность по отношению к бедности и экономическим кризисам в стране наиболее явственно видны в нашем отношении к социальному капиталу...» См.: Observer. 1959. November 15.

временных психологов и политических ученых с их исследованиями в области влияния на качество личной и общественной жизни стесненных жизненных условий. Тогда, возможно, мы стали бы обществом, которое охотнее тратит средства на образование, нежели на рекламу коммерческой продукции.

V

Важность работы политической науки в этом направлении увеличивается в свете некоторых недавних событий. Одним из них является склонность отождествлять современное государство с той или иной идеологией, которые находятся между собой в отношениях крайне напряженного конфликта. Это значительно усиливает принуждение граждан к подчинению социальным нормам со стороны господствующего класса. Следование нормам поддерживается с помощью патриотических призывов, благодаря общественному запросу на обеспечение безопасности и более того — выживанию, наведению порядка в обществе перед лицом полной разрухи, которую предрекает оппозиционная идеология, отождествляемая с другой государственной силой. Это явление достигло своей кульминации на Западе в маккартизме и действиях Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, но разлило свой яд намного шире. Это явление, конечно, наблюдается и в России, и даже в еще большей степени.

Этот «упадок патриотизма», как недавно назвал это явление Ганс Моргентау¹⁴, является открытым наступлением на личность человека и на его место в обществе, а на поверку — на сами ценности, ради которых только и стоит защищать общество. Его незаметное влияние на свободу мысли и гражданскую ответственность влечет очень серьезные последствия. Они измеряются не в тех немногих, кто сопротивляется или покорно терпит, тех, кого можно сосчитать, а во множестве людей, которые временами поддаются, временами бунтуют.

Хотя этот частный вывод является новым скорее по форме, нежели по содержанию, ибо притязания политической власти полностью поглотить личность человека так же стары, как история, его [вывода] значимость возросла в наши дни ввиду того, что весь механизм насильственного воздействия на сознание стал более мощным и фокусированным. Более мощным — поскольку к услугам пиарщиков и идеологов предоставлена радикально усовершенствованная система знаний. Более фокусированным — благодаря тому, что прес-

¹⁴ См.: *Morgenthau H. J. Dilemmas of Politics.* — Chicago, 1958.

са и реклама, радио и телевидение, через которые действует этот механизм, являются монолитными и объединены под контролем нескольких человек.

В такой ситуации можно только между строк писать о том, каковы могут быть последствия этого вида принуждения. Достаточно привести две цитаты — одну из американского источника, одну — из русского. Г. Г. Уилсон говорит о появлении «идеального типа» человека, который «старательно избегает крайних точек зрения и верит, что лучше не иметь убеждений, которые не подходят для установления консенсуса и компромисса»¹⁵. Пастернак в тех строках, по которым можно легко узнать не только Советский Союз, пишет: «Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушения нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической — потом революционной»¹⁶.

Несомненно, важность этого воздействия все более возрастает, и тем более необходимой и желательной становится оценка этого воздействия политическим ученым. Он должен не только задаться вопросом о причинах и формах, которые принимает принуждение. Он должен также оценить его возможные последствия. Подобная оценка сама по себе придает значение его исследованию. Ибо говорить о том, что политическая наука имеет право на существование — значит сказать одновременно, что она представляет стройную систему знания или опытно подтвержденных идей и способна сориентировать нас в современном мире. Политической науке надлежит заниматься именно этим — быть проводником и наставником. Она не должна заниматься лишь описанием, не обращая при этом внимания на важные вещи. Также она не должна выдавать один-единственный верный ответ в ситуации, когда, в общем-то, ответов нет. Она даже не должна делать прогнозы. Действительно достойные работы политических ученых строятся именно таким образом, показы-

¹⁵ *Wilson H. H. The Dilemma of the Obsolete Man.* — Los Angeles, 1954; См. также его: *Wilson H. H. Congress: Corruption and Compromise.* — NY, 1951. Эту тему можно найти и в других книгах. Например, см.: *Sargent W. Battle for the Mind.* — Garden City, 1957; *Wheelis A. The Quest for Identity.* — NY, 1958; *Whyte W. H. The Organized Man.* — NY, 1957; *Riesman D. The Lonely Crowd.* — New Haven, 1950; *Kahler E. The Tower and the Abyss.* — NY, 1957; *Kahler E. Man the Measure.* — NY, 1956.

¹⁶ *Пастернак Б. Доктор Живаго.* — М., 1989.

вая, насколько важно, чтобы политическая наука была и рассматривалась неотъемлемо от согласованной системы ценностей. Именно эта связь помогает выстроить целостную и логически последовательную теорию в том виде, в котором она должна быть. Неудача в осуществлении этого замысла — как раз то, что имеет в виду Ганс Моргентау, когда говорит, что «это тот уровень, на который политическая наука в Америке ставит потребности общества по сравнению с его нравственными ценностями, приверженность к которым не только не пользуется популярностью и уважением, но, что хуже, на них смотрят с равнодушием»¹⁷.

Второе событие, о котором я хотел бы упомянуть, — событие, которое вызвало этот вид принуждения и которое заставило политических теоретиков пересмотреть свои позиции, является результатом технологической революции. Это потеря индивидом идентичности наряду с ростом единых монолитных структур как характерная черта экономики, политики и социальной сферы. По отношению к ним человек чувствует себя ничтожным. Они далеки от человека и непонятны ему; и они со всех сторон давят на него. Это может быть корпорация, частная или государственная, которая нанимает его на работу, пристально следит за его жизнью и является источником стабильности и надежности в его жизни; профсоюз, который представляет его или отдает распоряжения и с которым из-за раздутости его размеров человек порой почти совсем не соприкасается; город, в котором он живет; политическая партия с миллионами ее членов; правительственные учреждения, гражданские власти, различные объединения, предоставляющие ему необходимые услуги; и даже коммерческая структура, акции которой составляют его собственность. Все они представляют громадные, безличные, далекие от человека силы, часто не понятные ему, как правило, без обязательств перед ним и за него. Он крайне мало или почти вовсе не рассматривает их как отражающих его личность. Чем меньше способов влияния на них он находит, тем меньше чувствует себя ответственным за то, что они делают, подчас ради него, то есть меньше чувствует себя ответственным перед самим собой, обществом, историей. Это означает, что существует обширная сфера его жизни, включающая в себя отношения с более крупной общностью людей, которая имеет мало или вообще никакого значения для него; она никак не поддерживает его творческие порывы, его желание придать целесообразность и целостность своей деятельности, его эмоциональную потребность в дружбе; на-

¹⁷ См.: *Morgenthau H. J. Dilemmas of Politics.* — Chicago, 1958.

оборот, она постепенно поглощает большую часть этих отношений. Это компенсируется путем участия в необщественной или антиобщественной деятельности. Как писал Дж. А. М. Мирлу: «Если сложность государственного аппарата и экономических структур в страхе толку и ненужным, если у него нет ощущения участия в тех процессах, которые управляют его повседневной жизнью, или если он чувствует, что эти процессы запутанны настолько, что он перестает их понимать, он легко поддается на соблазн тоталитаризма, обещающего ему причастность к общему делу и увлекающего простыми формулами, объясняющими и рационализирующими то, что находится за пределами его понимания»¹⁸.

Подобная фрустрация, отчуждение, шизофрения являются, таким образом, полной противоположностью тому, что я назвал двойными стандартами современной политической доктрины с ее защитой индивидуальных ценностей и благой жизни, так что если в этом диагнозе есть хоть доля истины, то, очевидно, необходимо пересмотреть данную доктрину в свете этих же явлений.

Также не может быть сомнений в том, что этот диагноз в настоящее время ставится многими с поразительным единодушием. Правда, это скорее характерно для трудов американских, нежели английских авторов. Может быть, это происходит потому, что Америка является более развитой страной, возможно, поскольку там было меньше препятствий в виде традиционных, или докапиталистических, норм поведения и меньше убежденности в том, что политические институты могут обеспечить спасение. Несомненно, схожие явления существуют также и в Великобритании, где за последнее десятилетие появилось очень много похожих точек соприкосновения с Америкой. Верно также, что поставленный нами диагноз просматривается больше в работах социологов и психологов, нежели в трудах политических теоретиков. Возможно, они ближе к источникам, из которых политическая теория, соответствующая нашему зараженному местам, да и всецело, обществу, должна черпать. Для них характерно стремление относиться к индивиду не как к философской абстракции, знакомой политическим теоретикам прошлого, рассматриваемой в противопоставлении другой абстракции — государству; но как к ищущему себя, своего призвания, свободы в системе общественных связей, одни из которых помогают ему, другие же стесняют. Вывод таков: политическая теория должна использовать и этот

¹⁸ Meerloo J. A. M. *Mental Seduction and Menticide*. — London, 1957. P. 108.

подход в своих изысканиях. По существу, это выражение политического плюрализма.

Интерес политических ученых к группам давления, элитам, меньшинствам, представительной системе и поведению избирателей, партиям и партийным системам, прессе, радио и общественному мнению, по сути, является выражением того же импульса. Если все эти явления и требуют изучения, поскольку являются частью политического процесса, и, кроме того, поддаются более или менее точному описанию, то есть «научной» трактовке, то, помимо этого, они имеют еще одну общую черту. Это их связь с политическим участием гражданина в демократическом государстве. В наше время оно осуществляется в различных сложных формах, в том числе и косвенным образом. Его изучение предпринимается на базе некоторых допущений в области политической теории, и, хотя эти допущения обычно молчаливо подразумеваются, им должна быть придана видимость того, что труд стоит затраченного на него времени. Ортодоксальная теория демократии, начав с монистического принципа, придерживалась точки зрения, что критерием демократии является максимальное участие индивида в политической жизни или наиболее полное согласие всех. Отталкиваясь от этого постулата, данные исследования затем показали, что, в сущности, это политическое участие превращается на практике в принятие решений под давлением групп и меньшинств, показывая тем самым, что политическое участие — не более чем фантазия, и что демократия — это обман. Например, «Введение в теорию демократии» Роберта Даля¹⁹, несмотря на ссылки на *консенсус*, превращает в итоге эту находку в довод о том, что политическое участие состоит, по большей части, в угождении меньшинствам.

Трудно избежать ощущения, что подобные исследования намеренно ограничивают свой горизонт. Кажется, что им не хватает ориентира, который политическая теория должна им давать. Налицо непонимание любой сколько-нибудь превосходящей их собственную объяснительной модели, с которой они могут быть увязаны и которая может сделать их более конструктивными и полезными. Это происходит из-за того, что в современном мире плюрализма мы до сих пор живем под влиянием монистической политики. Наша деятельность в качестве ученых, изучающих политику, постулирует общество как в высшей степени плюралистичное; наша теория не вполне соответствует этому. Мы не должны тому удивляться; история политической мысли показывает, как медленно и неуверенно уходит ста-

¹⁹ Dahl R. A. Preface to Democratic Theory. — Chicago, 1956.

рое, как часто наше мышление пестрит идеями, которые, несмотря на то, что они отвергнуты логикой, остаются привычными на практике. Наш старый предрассудок, говорящий о том, что государство является единственной формой общности, интересующей нас, до сих пор присущ нашей теории демократии. Мы забраковали ее, так как рассматриваем сейчас как «одну среди многих». Конечно, суть большинства недавних работ, например, Жувенеля в том, что даже в таких вопросах, как «власть» или «суверенитет», явления, которые мы анализируем, не проявляются исключительно в государстве и подчиненных ему структурах, но, по сути, везде, где люди собираются для принятия решений и действуют сообща. Такое расширение нашего видения не должно вести к отказу от теории демократии. Скорее в результате этого мы должны по-новому взглянуть на ее основные принципы. Вытекающие отсюда критерии в таком случае имеют отношение не только к специфическому объединению под названием «государство». На мой взгляд, они могут применяться гораздо шире²⁰. Их применение даст большую логичность и сориентирует нас в занятиях политической наукой, а также научит формированию собственной оценки, столь необходимой нам в мире технологической революции, со всех сторон оказывающем свое давление на нас.

VI

Наконец, положение политической теории, или сфера ее компетенции, здесь подразумеваемая, соответствует нашим потребностям. Понятия благой жизни, самореализации, счастья трудно четко определить, несмотря на то, что они имеют свой смысл. Они вбирают в себя то, что мы, как практичные люди, живущие в будничном мире нашего собственного опыта, ищем для того, чтобы придать смысл нашим жизням; и то, что мы делаем в этой области, мы обязаны делать как политические теоретики. Более того, мы ищем помощи у психологии и этики и у остальных отраслей знания, которые могут помочь этой «главной из наук» в ее исследованиях.

Какого рода помощь они действительно могут оказать сегодня? Несколько строк не смогут внести ясность в этот вопрос, рискуя, скорее, ослабить уже имеющуюся аргументацию. Но, по меньшей мере, можно сказать, что эти науки предполагают отсутствие единственной идеальной конструкции, системы убеждений и модели поведения.

²⁰ В самом общем виде см. выше. Подробнее см.: *Greaves H. R. G. Foundations of Political Theory.* — London — NY, 1958.

ния, стремятся к многообразию. Они показывают процесс оценки как индивидуальное, рациональное или разумное, основанное на опыте действие, нуждающееся в вынесении активного, творческого суждения, а не пассивного согласия с общепринятым мнением; не желающее иметь ничего общего с тем, что экономист назвал бы «сферой потребления», с рыночной выгодой и более всего с потреблением товаров и услуг; понимающее счастье как нечто, тесно связанное с нашим образом жизни, нежели с наличием материальных благ; как получение удовольствия от потребности в других, творческой и значимой деятельности, ответственного участия в общественных делах. Они значительно укрепляют основные принципы социал-демократии, распространяя свой интерес за все более размывающиеся границы «политической» сферы в ее общепринятом значении, подразумевающим связь исключительно с правовыми механизмами существования государства, к изучению всех форм связанных друг с другом общностей, которые характерны для современных обществ.

*Перевод с английского
Анастасии Ермолиной*

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ¹

Задача этой статьи² — сделать набросок некоторых последствий, перспектив и ретроспектив того внимания к методу, которое наблюдается в современном изучении политики. Это будет осуществлено через контраст, который здесь намеренно усилен, но, надеюсь, не до карикатурного изображения, между призванием «методолога» и призванием теоретика. Я буду обсуждать те формы деятельности, которые подразумеваются двумя этими призваниями. В процессе обсуждения будет поставлен целый ряд вопросов. Наиболее важные из них следующие: какая идея находится в основе метода и как она соотносится с прежним пониманием теории? Что подразумевается, когда мы предпочитаем одну из них другой в поиске политического знания. Каковы следствия выбора для человека, то есть что требуется от человека, который решил посвятить себя либо тому, либо другому? Какова типичная установка по отношению к миру политики у «методолога»³ и как она соотносится с миром политики у теоретика?

¹ Перевод сделан по: *Wolin S. S. Political Theory as a Vocation // The American Political Science Review*. 1969. Vol. 63. № 4. (December). P. 1062–1082. — *Прим. ред.*

² Это пересмотренный вариант доклада, прочитанного в сентябре 1968 года на Конференции по изучению политической мысли.

³ Методолог — тот, кто мастерски владеет или придает очень большое значение методу. См.: *Oxford Universal Dictionary*.

Несмотря на то что большая часть социальных ученых согласится с тем, что реальное исследование редко может быть сведено к пошаговым процедурам, по-прежнему верно то, что процедуры такого рода остаются образцом для всяких остальных процедур. Так, например, в разделе учебника, посвященном методам исследования и озаглавленном «Основные ступени исследования», авторы повторяют вышеуказанное соображение, однако признают, что «опубликованное исследование действительно свидетельствует о существовании

В том анализе, который последует ниже, я, во-первых, попытаюсь локализовать идею метода в контексте бихевиоральной революции и, во-вторых, попробую рассмотреть саму эту идею в свете некоторых исторических и аналитических размышлений. Затем, опираясь на допущения о том, что идея метода, подобно всем прочим интеллектуальным выборам, имеет свою цену, сосредоточусь на некоторых вопросах преподавания бихевиоральных методик исследования, связанных с призыванием политической теории, и политических последствиях этого выбора. Наконец, я попытаюсь связать идею призывания политической теории со всеми этими вопросами.

1. ИДЕЯ «МЕТОДА» В БИХЕВИОРАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Составляя недавний биографический указатель, Ассоциация американской политической науки распространила опросник, который на свой лад помог поднять тот же самый вопрос: «В чем заключается призывание политического теоретика?» Политических теоретиков призывали идентифицировать себя и обозначить собственный эмпирический статус — выбрав между политической теорией и философией, исторический статус — выбрав между политической теорией и философией, и, наконец, нормативный статус собственной деятельности — выбрав между политической теорией и философией. Несмотря на то что предложенный перечень вариантов ответов может обозначать некую жизненность и разнообразие, также он может свидетельствовать о значительной путанице в отношении природы политической теории. В свою очередь политические теоретики могут считать это кризисом идентичности, вызванным тем, что они обнаруживают себя помещенными в классификацию, составленную другими, — классификацию, которую можно разложить на ряд допущений о природе теоретической жизни, которые, наверное, не покажутся близкими по духу многим теоретикам.

Помимо вопроса о профессиональной идентичности существует гораздо больше причин поднять вопрос о призывании: как бы кто ни оценивал бихевиоральную революцию, ей, вне всяких сомнений, удалось трансформировать политическую науку. Однако что не столь уж и ясно, так это суть данной революции. Среди ведущих глашата-

предписанной последовательности процедур, каждая из которых предполагает завершение предшествующей». См.: *Selltiz C. Research Methods in Social Relations*. — NY, 1963. P. 8–9.

ев политической науки стало почти что модно интерпретировать эту революцию как нечто похожее на ту разновидность научных изменений, которую обсуждает Томас Кун в работе «*Структура научных революций*»⁴. Следовательно, бихевиоральная революция описывается как установление новой теоретической парадигмы. Подобный взгляд, по моему мнению, ошибочен. Он размывает значение этой перемены. Гораздо более адекватно то, что произошло в политической науке, описывается следующим образом: «Одним из наиболее важных недавних развитий в социальных науках является революция в собирании информации и ее оценки. Эта революция зависит от развития техники, с помощью которой информация может собираться и анализироваться»⁵.

Принимая во внимание, что это утверждение допускает широко распространенное настроение, которое управляет сегодняшней практикой профессии, оно дает нам ключ к природе этих изменений: чем они являются и чем они не являются, что они значат для призваний политических ученых и теоретиков. Вопреки утверждениям обратного, политическая наука не пережила революцию того типа, который описывает Кун, когда устанавливается новая господствующая теория. Несмотря на то что изобилие новых «теорий» становится доступным для политического ученого, следует помнить, что, согласно самому же Куну, простое существование новых теорий и даже факт того, что некоторые из них привлекли последователей, не есть решающее свидетельство революции. Важно именно насаждение научным сообществом единой теории за счет устранения всех ее конкурентов.

Несмотря на то что очень часто утверждается, что «системная теория» представляет собой парадигмальную теорию революции, можно усомниться в разумности такого тезиса. Существует не только путаница по поводу того, какая из нескольких версий теории является наилучшей, или по поводу того, является ли хоть какая-нибудь из ее версий полезной, но, что самое важное, популярность системной теории явилась следствием, но не причиной бихевиоральной революции.

Как бы то ни было, революция, в которой отсутствует теория, вызывающая эту революцию, не может считаться революцией, согласно критериям Куна. Это больше походит на типичную американскую революцию, в которой теории отведено самое незначительное место.

⁴ Я уже обсуждал адекватность концепций Куна для политической науки. См.: Wolin S. Paradigms and political theories // P. King, B. C. Parekh (eds.) *Essays presented to Michael Oakeshott*. — Cambridge, 1968. P. 125–152.

⁵ Almond G. A., Verba S. *The Civic Culture*. — Princeton, 1963. P. 43.

Американские политические ученые по большей части не только поддерживали традиционное американское недоверие по отношению к теориям, но и возвели даже это недоверие в статус науки. Подозрение к теориям должно считаться очень мощным фактором политической стабильности Америки и ее таланта, к прагматической, а не идеологической политике. Вынося такое суждение, я ни в коем случае не забыл, что трудно обнаружить хотя бы один журнал политической теории, в котором кто-нибудь из современников не написал бы: «Простое накопление информации без теории является и т. д.». Также не ускользнул от моего внимания тот факт, что существует множество теорий, из которых политический ученый может выбирать. Однако называть их политическими теориями на языке философии значит совершать что-то типа ошибки в категориях. Теория систем, теория коммуникаций, структурно-функциональные теории являются неполитическими теориями, созданными желанием объяснить некоторые формы неполитических феноменов. Они не предлагают никакого значимого выбора или критического анализа качества, направления или судьбы общественной жизни. Там же, где они не являются чужеродными ставками, они разделяют все то же самое некритическое — и следовательно, нетеоретическое — допущение господствующей политической идеологии, которая оправдывает нынешнюю «авторитарную классификацию ценностей в нашем обществе».

Тем не менее сказать, что не было никакой политической теории, вдохновившей революцию в политической науке, — не то же самое, что сказать о том, что не было никакой революции, или о том, что никакой интеллектуальный паттерн не распространяется повсеместно в нашей дисциплине. На самом деле в политической науке произошла революция — та, что является отражением той традиции политики, которая гордится своей прагматичностью и сосредоточенностью на работающих техниках. Подобно всякой технически ориентированной деятельности, бихевиоральное движение предполагает, что фундаментальные цели и договоренности, которые эта техника обслуживает, уже установлены и что, следовательно, она усиливает молчаливо или открыто эти цели и установления и действует исходя из того, что альтернативы строго ограничены этими же самыми целями и установлениями. Упор на методы не обозначает простое приобретение «набора» новых «инструментов», но предполагает точку зрения, имеющую значимые импликации для эмпирического мира, призвания и образования политического ученого, а также тех ресурсов, которые питают теоретическое воображение. Утверждать, что идея метода является центральным положением бихевиоральной ре-

волюции, значит попросту повторять то, что утверждают сами революционеры. «Самое важное, наверное, это то, что критерии, с помощью которых принимаются или отвергаются суждения об общественной жизни, имеют особую природу. Главный критерий — метод, с помощью которого они собираются»⁶. Если суть в том, что целый набор допущений общераспространен среди тех, кто предан примату метода, то тот факт, что техники различаются и меняются, является малозначимым. Что имеет значение, так это общие допущения и следствия, которые сопровождают упор, делаемый на технику. Размах этой трансформации таков, что можно предположить, что изучение политики сегодня происходит под знаком убеждения в том, что главная цель — приобретение научного знания о политике — зависит от принятия и совершенствования особых техник и что квалифицироваться или считаться политическим ученым равнозначно обладанию особыми известными техниками.

Наряду с этим развитием существовала попытка вдохновить политических ученых тем, что понимается как этос науки: объективность, отстраненность, преданность факту, а также уважение к интересам объективной верификации сообществом практиков. Эти изменения дополняют призвание — *vita methodica*, которая включает особый набор навыков, способ практической деятельности и соответствующую этому этику. В этом призвании и в том образовании, которого оно требует, — суть бихевиоральной революции.

Здесь можно возразить, что уж слишком много внимания уделяется идее метода. Методы *per se* не предполагают философского взгляда на вещи, они нейтральны или инструментальны, подобно безразличию техника к тем целям, которые преследует его начальник. Подобный аргумент не только поверхностен, но и ошибочен. Во-первых, превознесение техник оказывает важное влияние на университетское расписание. Требование, чтобы студент овладел целым набором технических навыков, поглощает огромную долю их времени и энергии. Но что еще важнее, освоение этих техник имеет образовательные последствия, так как оно повлияет на то, как новичок будет смотреть на мир и в особенности на его политическую сторону. «Методологизм» — это способ форматирования разума. Социальные ученые почувствовали это, когда заметили, что исследовательские методы являются «инструментами», которые «могут стать способом взгляда на мир и вынесением суждений о каждодневном опыте»⁷.

⁶ Almond G. A., Verba S. *The Civic Culture*. — Princeton, 1963. P. 43.

⁷ Sellitz C. *Research Methods in Social Relations*. — NY, 1963. P. 6–7.

Во-вторых, якобы нейтральность методологов инкорпорирует очень важные философские допущения, которые инкорпорируются в мировоззрение тех, кто выступает за научное изучение политики. Эти допущения усиливают нескритический взгляд на существующие политические структуры и на то, что все они подразумевают. Так как использование метода подразумевает и даже гребует, чтобы мир был именно таким, а не другим для того, чтобы техники были эффективными. Метод не подходит для всех миров. Он предполагает определенный ответ кантианского типа: каким должен быть мир, чтобы сделать знание методолога возможным? Это предположение иллюстрируется недавним примером, который приводит основные допущения, лежащие в основе «движения», ориентированного на изучение политического поведения. Первым пунктом идет следующий: «регулярности. Это обнаруживаемое единство политического поведения. Они могут быть выражены в обобщениях или теориях, обладающих объяснительной и прогностической ценностями»⁸. Таким образом, получается, что методолог оказывается в затруднении в мире, который демонстрирует «отсутствие форм» или нерегулярность. Как о том свидетельствует плачевное положение теорий «развития» или «модернизации», все те же самые трудности возникают, когда мир демонстрирует «множество форм»⁹.

Все это равносильно тому, чтобы утверждать, что круг вопросов, который методолог считает приемлемыми, имеет внутренние границы. Поиск мира, дружелюбного методу, предполагает поиск тех регулярностей, которые отражают основные паттерны поведения, которые общество в свою очередь пытается продвинуть и утвердить. Предсказуемое поведение — то, за счет чего существуют общества, следовательно, их структуры принуждения, вознаграждения, наказания, субсидий и послаблений формируются через производство и поддержание определенных регулярностей и отношений. Более того, каждое общество является структурой, связанной определенным устойчивым образом — таким образом, что она составляет не просто конфигурацию власти, но также и безвластия, бедности, богатства, несправедливости, справедливости, подавления, поощрения.

В связи с этим симптоматично, что политические ученые все

⁸ Easton D. A Framework for Political Analysis. — Englewood Cliffs, 1965. P. 7.

⁹ Как утверждается в недавней работе о политической социализации (которая описывается как «универсальная черта политической жизни»): «...читатель осведомлен, что анализ предвзят в пользу той модели, которая подходит для западных демократий, особенно это так в Соединенных Штатах».

больше тяготеют к тому, чтобы описывать себя как «нормальных ученых»¹⁰. Эта фраза принадлежит Куну, и он использовал ее для обозначения того типа ученого, призванием которого является не создание теорий или их критика, но принятие господствующей теории, одобренной научным сообществом и запущенной в рабочий процесс. Однако если мы спросим, какова же доминирующая теоретическая парадигма у наших «нормальных» (политических) ученых, то в терминологии Куна ответ будет таким: никакая. Однако, конечно, несмотря на то, что не существует никакой парадигмы, проистекающей из того, что Кун называет «экстраординарной теорией», подобно той, которая была выработана Галилеем или Ньютоном, все же должны существовать некоторые руководящие допущения или рамки, которым следует методолог. Ответ, как мне кажется, состоит в том, что такая рамка допущений существует. Эта идеологическая парадигма, отражающая то самое политическое сообщество, которое изучают нормальные ученые¹¹. Таким образом, когда исследователь принимает «нормальное течение событий в американской политике» в качестве своего начального пункта, то вовсе не стоит удивляться, когда он заканчивает тезисом «долгосрочная стабильность системы зависит от лежащей в ее основе лояльности партиям»¹².

Эти размышления становятся еще более убедительными, если мы сосредоточимся на некоторое время на «системных» теоретиках. Если общество понимается как система принятия решений и если возможность принятия несправедливых решений признается всеми, то из этого следует, что система в определенной мере является структурой систематической несправедливости, иначе идея системы оканчивается неадекватным описанием. Внутренне присущие проблемы отдельной системы иногда признавались, как, например, когда утверждается, что якобы демократическая система требует определенной степени безразличия или апатии, в особенности со стороны бедных и необразованных. Эта сдержанность в отношении систем, которые должны быть демократическими и, следовательно, обязаны подра-

¹⁰ Например, см. язык Эулау: *Eulau H. // Pool I. de Sola (ed.) Contemporary Political Science*. — NY, 1967. P. 58–59; более аккуратные ремарки см.: *Somit A., Tanenhaus J. The development of American Political Science*. — Boston, 1967. P. 174ff.

¹¹ Это может показаться спорным, но на самом деле все это лишь повторение того, что можно найти в: *Almond G. A. Political theory and political science // American Political Science Review*. 1966. Vol. LX. P. 873–875.

¹² *Campbell A. Surge and Decline: A Study of Electoral Change // A. Campbell. Elections and the Political Order*. — NY, 1966. P. 45.

зумевают участие, иногда выражается гораздо более открыто, когда речь идет о незападной системе: «Ясно, что в Конго, во Вьетнаме, в Доминиканской республике порядок зависит от способности *принуждения* недавно мобилизованной страты вернуться к состоянию пассивности и пораженчества, из которого они совсем недавно были вырваны процессами модернизации»¹³.

Однако по большей части системные теоретики предпочитают делать упор на более формальных регулярностях. Так, например, политическая система определяется как «особая форма общественных интеракций [...], которые в основе своей ориентированы на авторитетное установление ценностей для общества»¹⁴. Что в этом определении впечатляет больше всего, так это место слова «в основе»: оно расположено так, чтобы определять общественные «интеракции» и тем самым позволять последующим исследованиям отличать политические интеракции от общественных. Однако если то же самое слово использовалось бы вместо этого для того, чтобы определить «установление», то получился бы совсем другой взгляд на систему, в котором установления считались бы благоволящими одним интеракциям, а не другим. В цитированном сочинении признается, что предпочитаемая теория может «по небрежности» исключить «некоторые элементы, имеющие огромное значение»¹⁵, но не признается, что эта система может потребовать намеренного и систематического исключения основных элементов. Скорее признается, что «системный подход уводит нас прочь от дискуссий о том, как политический пирог был разрезан, и как случилось, что он был разрезан именно таким образом, а не каким-то другим». Противоядие для этой «предвзятости *status quo*» — это опереться на «частичные теории»¹⁶, которые имеют дело с избранными аспектами *той же самой системы*. Например, теории «принятия решений, коалиционных стратегий, теории игр, власти и анализа групп»¹⁷. Что обычно упускается из виду в таком рецепте, так это то, что он лишь попросту утверждает в иной форме все те же самые кулинарные допущения об общем пироге, так как каждая «теория части» претендует на то, чтобы быть правдоподобным повествованием об одном и том же целом.

¹³ *Pool I. de Sola. The Public and the Polity // Pool I. de Sola. (ed.) Contemporary Political Science.* — NY, 1967. P. 26. (Курсив мой. — Ш. У.)

¹⁴ *Easton D. A Framework for Political Analysis.* — Englewood Cliffs, 1965. P. 50.

¹⁵ *Ibid.* P. 48.

¹⁶ На английском: «partial theories». — *Прим. ред.*

¹⁷ *Easton D. A Systems Analysis of Political Life.* — NY, 1965. P. 475.

Тот факт, что обсуждение метода должно естественным образом вести к рассмотрению выдающихся теорий, распространенных среди политических ученых, вовсе не удивителен. Большая часть современных теорий зависит от бихевиоральной революции не только в плане методологии, в том смысле, что эти теории рассматривают бихевиоральные техники как источник одобрения или неодобрения, но и в еще более важном смысле — разделения с ней одного и того же взгляда на образование, философские допущения и политическую идеологию. Тесная связь между современными идеями теории и методов оправдывает рассмотрение их как членов одной и той же семьи, все это формирует совокупность общих характеристик, которую я назвал «методологизмом». Как уже предполагалось ранее, идея метода стала означать гораздо больше, чем она означала у Бентама, когда, например, он называл ее «порядком исследования»¹⁸. Идею метода лучше понимать как альтернативу *bios theoretikos*, и в этом смысле она представляет собой одно из главных достижений бихевиоральной революции. Ухватить природу *vita methodica* важно не только само по себе, но это также может помочь нам отделить ее от деятельности и призвания теории.

II. ИСТОРИЯ ИДЕИ «МЕТОДА»

Один из способов подобраться к идее метода — это признать, что его история восходит к древнегреческой философии. Подобно *philosophia*, *methodus* зачастую использовался в связи с понятием «пути» (*arogie*) к истине¹⁹. Лишь спустя много времени пути *methodus* и *philosophia* стали расходиться. В общих чертах в то время как *philosophia* и ее сестра *theoria* делали акцент на трудностях, поджидавших искавших истину, приверженцы *methodus* стали подчеркивать выгоду методологического подхода, то есть верного следования, предписанной последовательности ментальных шагов, «прямым путем», если воспользоваться фразой Декарта²⁰. Старая метафора пути медленно изменялась

¹⁸ Bentam I. Works: In 11 vols. — Edinburgh, 1843. Vol. II. P. 493.

¹⁹ См.: Фрагменты ранних греческих философов. — М., 1989. Ч. 1. Гераклит. С. 176–256; Парменид. С. 274–297. Эта идея возникает у Николо Макиавелли. См.: Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Н. Макиавелли. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. — М., 2002. С. 9; Tocqueville A. de. Œuvres complètes. — Paris, 1961. Vol. I. P. 293.

²⁰ Декарт Р. Рассуждение о методе. Рассуждение первое // Р. Декарт. Соч. в 2-х тт. — М. 1994. Т. 1. С. 251.

и стала ассоциироваться с достоинствами приверженности уже проторенному пути, а не «прокладыванию» новой дороге. Предназначение этого изменения можно обнаружить в Средние века, когда *methodus* стал приобретать значения «прямого пути». Это нашло выражение в многочисленных попытках сочинить *compendia*²¹.

На протяжении Средних веков вплоть до XVI столетия идея метода оставалась обремененной аристотелевской и схоластической логикой. В результате метод был теснейшим образом связан с логическими процедурами, основная цель которых была анализировать и упорядочивать доставшиеся нам в наследство знания и опыт, а не открывать новые вещи. Соответственно двумя главными процедурами схоластической логики были 1) «измышление» (*inventio*), или методы, посредством которых соревнующиеся суждения могут быть проанализированы в контексте их сильных и слабых сторон, и 2) «суждение», или диспозиция (*judicium*), которое включало в себя методы складывания слов в суждения, затем в силлогизмы или индукции и, наконец, в целые дискурсы. Консервативная сущность метода иллюстрируется в работе XVI столетия «Правило разума», написанной Томасом Уилсоном и опубликованной в 1551 году. Декларируя, что «разум легче обнаружить, чем придать ему форму», он сравнил логику «измышления» с разновидностью традиционного знания, приобретаемого охотником. Он говорит: «Тот, кто хочет выгодно воспользоваться этой частью логики, должен быть как охотник и на собственном опыте познать окружающую среду. Так как эти места есть ни что иное, как все те же кусты и заросли, прилежный поиск вполне может стать увлекательной игрой». В своем определении метода Уилсон отчетливо выражает позицию того, кто смотрит на метод как на в своей основе упорядочивающую и проясняющую процедуру, «как стиль рассмотрения одного-единственного вопроса и как готовый способ обучать и ясно излагать любые вещи в том порядке, который соответствует латинскому *methodus*»²².

На протяжении XVI века метод продолжал осмысляться главным образом в понятиях чего-то организующего. Петр Рамус, самый влиятельный автор этого периода, отразил данную тенденцию. «Метод, —

²¹ См.: *Ong W. Ramus. Method and the Decay of Dialogue.* — Cambridge, 1958. P. 53ff.; *Gilbert N. W. Renaissance Concepts of Method.* — NY, 1960. P. 3ff.

²² Все цитаты из: *Howell W. S. Logic and Rhetoric in England, 1500–1700.* — NY, 1961. P. 21, 23–24. Влияния Рамуса на американских пуритан обсуждается в: *Miller P. The New England Mind. The seventeenth century.* — Boston, 1939, 1961. P. 154ff; Приложение А.

согласно его определению, — имеет отношение к упорядочиванию, посредством которого среди многих вещей первая по своему значению ставится на первое место, вторая — на второе, третья — на третье и так далее. Этот термин подходит для каждой дисциплины и каждого спора. Тем не менее чаще всего его используют в значении указателя, указывающего направление и сокращающего дорогу»²³. Несмотря на статическую природу концепции Рамуса, существовало некоторое беспокойство по поводу этой «новой изобретенной помощи». С присущей ему иронией Ричард Хукер сделал несколько замечаний: «Он потрясающе быстр, за несколько дней можно получить такой же результат, как если бы вся процедура заняла сотни лет [...]; любопытство человеческого ума вместе с сопряженной с этим угрозой в своем поиске вещей выходит далеко за предел того, что было принято. В силу того, что здесь идет речь о правилах и предписаниях, мы можем определить его как искусство, которое учит быстрому размышлению и которое обуздывает разум человека, чтобы тот не переусердствовал в мудрствовании»²⁴.

Почти поколение спустя эти ограничения были отвергнуты, и Декарт представил новый «способ быстрого рассуждения», обещавшего сделать людей «господами и владельцами природы»²⁵. Решающий шаг, разделяющий Хукера и Декарта, был сделан Бэконом, который провел различия между двумя разновидностями «*inventio*»: одна — техника обнаружения вещей, которые ранее не были известны; другая — техника для обнаружения того, что когда-то было известно, но со временем было забыто²⁶. Правильно понятый метод обещал не просто «использование знания», но еще и «прогресс знания»²⁷.

По мере постепенного развития идеи метода его значение вскоре вышло за пределы простых преимуществ экономии и эффективности ментального усилия. Вскоре разум буквально «проводил» исследования, то есть настраивал себя особым образом, следуя кодексу интеллектуального поведения, который, хотя автоматически и не вел к новым истинам, все же по большей части предостерегал методолога

²³ Howell W. S. *Logic and Rhetoric in England, 1500–1700*. — NY, 1961. P. 152.

²⁴ *Of the Laws of Ecclesiastical Polity*: In 2 vols. — Oxford, 1885. Vol. I. P. VI, 4.

²⁵ Декарт Р. Рассуждение о методе. Рассуждение шестое // Р. Декарт. Соч. в 2-х тт. — М., 1994. Т. 1. С. 286.

²⁶ *Works of Francis Bacon*: In 7 vols. — London, 1887–1892. Vol. VI. P. 268–269.

²⁷ Ibid. P. 289. «Мы знаем, что основатели [Новой Англии] изучали Фрэнсиса Бэкона». Miller P. *The New England Mind. The seventeenth century*. — Boston, 1939. 1961. P. 12.

от совершения грубых ошибок. Таким образом, метод стал обозначать, помимо прочего, дисциплину, предназначенную для того, чтобы компенсировать злосчастные склонности ума. «Между тем я немало дивлюсь, — писал Декарт, — тому, насколько ум мой склонен к ошибкам»²⁸.

Декарт был одним из первых, кто осознал, что принятие методологического взгляда было столь же важным, сколь и приобретение особых техник. Принять некоторый метод не было равнозначным покупке нового костюма — приобретению, которое изменяло лишь облик покупателя. Вместо этого то был фундаментальный выбор личности, наверное, ближайший функциональный эквивалент опыту религиозного обращения, который только мог испытать современный разум. Лишь в самую последнюю очередь он предназначался стать переобучением, как то предполагает одна из работ Декарта «*Regulae ad directionem ingenii*». Образовательная сила этого названия была отчасти утеряна в английском переводе («Правила для руководства ума»). *Ingenium* имеет смысл «природы, характера, темперамента», а не более узкого интеллектуального «ум». Эта работа описывала особые шаги для совершенствования состояния и дисциплинирования *Ingenium* новичка, для того чтобы «сделать его более приспособленным для открытия прочих истин». Свойство человека «гадать неметодологически, наобум» является причиной не только ошибок, но умственной дряблости. «Поступая так, мы неизбежно ослабляем исследовательскую силу разума». Следовательно, необходима строгая программа. «Надлежит начинать с методического исследования самых простых вопросов и открытыми и известными путями всегда приучаться как бы играючи проникать в их сокровенную истину»²⁹.

Знаменитый картезианский принцип сомнения составил основную часть нового режима работы разума. Сомнение было средством приготовления разума для правил за счет лишения его всех основных форм сопротивления. Бэкон предвидел эту сложность, когда заметил, что «необходимо изобрести новый метод проникновения в умы, столь разросшиеся и задыхающиеся», что помочь может только *expurgatio intellectus*³⁰. Радикальное сомнение было декартовским методом чистилища. До того, как разум научится работать методич-

²⁸ Декарт Р. Размышления о первой философии // Р. Декарт. Соч. в 2-х тт. — М., 1994. Т. 2. С. 27.

²⁹ Декарт Р. Правила для руководства ума // Р. Декарт. Сочинения. — СПб., 2006. С. 56.

³⁰ Интеллектуальное чистилище (лат.). — Прим. ред.

³¹ Цит. по: Rossi P. Francis Bacon. From Magic to Science. — London, 1968. P. 141.

но, он должен поработать над собой, он должен избавиться от приобретенных привычек, убеждений и ценностей, лишь тогда он вынужден будет столкнуться с *cogito, sum* которого предстанет перед ним шине. «Всего меньше учившиеся тому, что до сей поры обыкновенно обозначали именем философии, наиболее способны постичь подлинную философию»³². То, что экстатически провозглашал Бэкон: «Я очистил, отмыл и разровнял свой разум»³³, отныне было выдвинуто Декартом как программа.

Однако Декарт в целом ряде отношений ограничивал свою программу: это обстоятельство должно быть особенно интересно в свете недавнего развития политической науки. Он вычленил ряд субъектов, например, Бога, которые наделялись у него привилегированным статусом и получали защиту от разрушительных последствий сомнения и методологического испытания. Особенно он предостерегал от распространения своего нового метода на вопросы нравственности и практического поведения. Что касается самого себя, то он решил принять существующие нравственные ценности в качестве «временного кодекса» еще до того, как начал подвергать сомнению все вокруг. Это было сделано им для того, «чтобы не быть нерешительным в действиях». Однако более важно, что в силу существования разных трактовок того, что является истинным, Декарт планировал «неотступно придерживаться [...], руководствуясь во всем остальном наиболее умеренными и чуждыми крайностей мнениями»³⁴. В отношении политики он был в равной степени осторожным и при этом еще даже более двусмысленным. С одной стороны, он чрезвычайно восхищался теми политическими обществами, которые демонстрировали рациональную симметрию, основанную на одном лишь рас суде; с другой стороны, он воздерживался от практических выводов, утверждая, что большинству обществ удается относительно хорошо существовать на протяжении долгого времени³⁵.

Несмотря на то что эти политические замечания акцентировали то предпочтение, которое Декарт отдавал рациональному методу пе

³² Декарт Р. Начала философии // Р. Декарт. Сочинения. — СПб., 2006. С. 466.

³³ Bacon F. Selected Writings. — NY, 1955. P. 435, 533. См. также: Декарт Р. Рассуждение о методе. Рассуждение четвертое // Р. Декарт. Соч. в 2-х тт. — М., 1994. Т. 1.

³⁴ Декарт Р. Рассуждения о методе. Рассуждение третье // Р. Декарт. Соч. в 2-х тт. — М., 1994. Т. 1. С. 263.

³⁵ Декарт Р. Рассуждения о методе. Рассуждение третье // Р. Декарт. Соч. в 2-х тт. — М., 1994. Т. 1. С. 256–257, 264.

ред унаследованным знанием, их важность состоит в том, что они помогают понять причину, по которой он поддерживал существующее положение вещей. Он был убежден в том, что за фундаментальной реформой неминуемо следует восстание и что новаторы должны быть осведомлены о том, что «Эти громады [общественные дела] слишком трудно восстанавливать, если они рухнули, трудно даже удержать их от падения, если они расшатаны, и падение их сокрушительно»³⁶.

Из предпочтения, отдаваемого существующей конфигурации институтов и «наиболее умеренной морали», можно было с легкостью перейти к их отождествлению друг с другом. Таким образом, существующее положение вещей окажется выражением того, что является разумным и что «наиболее отдалено от крайностей». Подобный мир политики прекрасно подходит для нужд методолога, не только в силу своей безопасности для изучения, но также в силу заранее утвержденных закономерностей, которые предлагается изучать.

Какого рода политических убеждений следует ожидать от «я», очистившего себя от унаследованных понятий и положившегося на поддержку существующих политических и нравственных схем, учитывая, что эта поддержка объявляется «временной»? «Я» такого рода будет склонно рассматривать политику и нравственность, минуя фундаментальную критику, равно как и фундаментальную преданность. Этот недостаток преданности связан с той особой формой, которую принимает страх фундаментальных перемен у политического методолога. Он решительно отвергнет любую веру в естественную структуру политических обществ и объявит, что «любой набор переменных для описания и объяснения может быть рассмотрен как система поведения. При этом то обстоятельство, является ли данная система отражением природного положения вещей или же произвольным конструктором человеческого разума, с операционной точки зрения является бессмысленной и бесполезной дихотомией»³⁷.

Если уж сомнение уничтожило все привилегии, нет никаких должных оснований начинать осмысление или первый шаг с *одного*, а не с *другого*, равным образом нет никаких логических или научных оснований придерживаться *статус-кво*. Однако удивительной кульминацией такой произвольности выбора становится не поистине скептический настрой, но то, что Декарт открыто признает, ригидность и простодушие. «Моя вторая максима заключалась в том, чтобы быть

³⁶ Декарт Р. Рассуждения о методе. Рассуждение третье // Р. Декарт. Соч. в 2-х тт. — М., 1994. Т. 1. С. 258.

³⁷ Easton D. A Framework for Political Analysis. — Englewood Cliffs, 1965. P. 30.

как можно более стойким и решительным в своих действиях, приняв какие-то суждения, быть им преданным (даже если внутри терзают сомнения) так, как будто это есть твои самые искренние убеждения».

Декарт разъясняет этот момент, проводя различие между человеком, который последовательно придерживается выбранного убеждения, и сбивым с пути путешественником, который постоянно меняет направление. «Несмотря на то что в начале пути его направление может быть определено простым случаем» и несмотря на то что выбранное направление, кажущееся решительному человеку «очевидным и истинным», вполне может оказаться крайне сомнительным, такой человек все же имеет шанс добраться куда-нибудь. Одновременно решительность позволяет избавиться от «всяких раскаяний и угрызений, обыкновенно беспокоящих совесть» тех, кто колеблется³⁸.

Каким образом состояние современной политической науки соотносится с картезианской философией метода? Несмотря на редкие реверансы в сторону «традиции политической теории», существует общераспространенное мнение, согласно которому вся эта традиция была по большому счету ненаучной (если уж не совсем антинаучной) и что главная задача научной революции — порвать с прошлым³⁹. Этот настрой против традиции будет нами рассмотрен позднее, когда мы попытаемся оценить его значение для изучения политики. В данный момент нас интересуют взгляды Декарта на политику и особенно его советы относительно политических изменений. Гораздо проще и безопаснее, утверждает он, воссоздать основания

³⁸ Декарт Р. Рассуждения о методе. Рассуждение третье // Р. Декарт. Соч. в 2-х тт. — М., 1994. Т. 1. С. 264.

³⁹ Сама суть теоретического предприятия в том, что там и тогда, когда это кажется приемлемым, оно может высвободиться из уз традиционного взгляда на политическую жизнь. (Easton D. A Framework for Political Analysis. — Englewood Cliffs, 1965. P. VIII.)

Нет никакого сомнения в том, что разрыв с прошлым был особенностью всех великих теоретических инноваций, включая и те из них, которые относятся к политической теории. Однако не все так просто, о чем свидетельствует почтительное отношение Платона к традиции, уважение Аристотеля к своим предшественникам, восстановление Аристотелем основных аспектов классического политического знания. Наверное, Гоббс был первым автором, который выступал за разрыв в его современном понимании. Некоторые аспекты его усилий будут рассмотрены мной в грядущем эссе. См.: Wolin S. Hobbes: Political theory as Epic [в печати].

знания, чем решиться на то, что «обнаруживаются при малейших преобразованиях, касающихся общественных дел»⁴⁰. В современной политической науке данный взгляд получает следующий отзвук: «Политическая система — это случайность. Это случайность привычек, обычаев, предрассудков и принципов, которые прошли через долгий процесс проб и ошибок и бесконечного реагирования на изменяющиеся обстоятельства. Если система в целом хорошо работает, это счастливая случайность — наисчастливейшая судьба, которая только может ожидать общество [...]. Влезать в структуру и функционирование успешной политической системы — величайшая глупость из всех, на какие только способен человек. В силу того что запутанность системы выше нашего понимания, шанс ее улучшения минимален, тогда как опасность помешать ее функционированию и привести в действие последовательность непредвиденных последствий, способных повлиять на все общество в целом, велика»⁴¹.

На это можно возразить, что многие современные политические ученые не согласились бы с данной цитатой, посчитав ее чересчур радикальной, и указали бы на предпринимаемые ими усилия двигать в сторону реформ. Никким образом не желая умалить эти усилия, замечу, что большинство предложений реформ, выдвигаемых политическими учеными, касаются очень узкого круга альтернатив, основанных на убеждении в том, что система лишена глобальных недостатков, а если таковые и имеются, то это — приемлемые «издержки». Результатом становится торможение настоящего теоретического обсуждения свойств системы в целом. Следовательно, политические ученые предпочитают идти вслед за Декартом, восхваляя существующее положение вещей как «наиболее умеренное» или «наиболее отдаленное от крайностей», после этого они начинают отстаивать сложившийся порядок как «очевидный и истинный». На сегодняшний день это привело к известному всем отождествлению американской политической системы с «нормальной политикой» и к последующему эмпирическому поиску тех факторов, которые привели к ее возникновению. Здесь же обычно появляется общее объяснение, согласно которому система функционирует нормально, то есть стабильно, в силу того что она избежала крайностей, таких как «экстремизм» или «перенапряжение». Якобы Америке удалось избе-

⁴⁰ Декарт Р. Рассуждения о методе. Рассуждение второе // Р. Декарт. Соч. в 2-х тт. — М., 1994. Т. 1. С. 258.

⁴¹ Banfield E. C. In Defense of the American Party System // B. Seasholes (ed.). Voting, Interest Groups, and Parties. — Glenview, 1966. P. 130.

жать этих опасностей не благодаря совершенству ее институтов или граждан, но благодаря таким факторам, как отсутствие идеологических конфликтов и политических страстей, приличная степень апатии и невежество избирателей, политические партии, которые прекрасно умеют ускользать от необходимости ясного изложения четко определенных альтернатив, влияние перекрестного давления, фрагментирующего лояльность граждан и снижающего их интерес к поставленной «небольшим или плавным переменам», так как последние не являются разрушительными⁴², наконец, система, в которой власти удастся не подпускать к себе нищих, невежественных, девиантных и обделенных.

III. ПОСЛЕДСТВИЯ «МЕТОДОЛОГИЗМА» ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Сегодня, когда либеральный плюрализм подвергается все большим нападкам, очень просто отмахнуться от проблемы и объяснить факт наличия столь прекрасных отношений между современной политической наукой и американской политикой банальным неудачным стечением обстоятельств. Обвинять политическую науку в идеологической предвзятости не равнозначно объяснению того, почему это произошло, или того, влияет ли природа американской политической науки на то, что последняя оказывается постоянно подверженной искушению солидаризироваться с текущим положением вещей. Лишь при поверхностном взгляде на проблему можно сделать вывод о том, что состояние американской политической науки может быть улучшено благодаря простой смене идеологии. Есть вероятность того, что проблема уходит в самые корни американской политической науки и самого американского общества. Если дело именно в этом, то попытка вернуться к состоянию до бихевиоральной революции — простая ностальгия по временам *ante bellum*⁴³. Если такая попытка все же будет предпринята, существует вероятность того, что это в равной степени ударит как по политической науке, так и по политической теории.

Выявление корня столь масштабной проблемы вряд ли нам здесь будет под силу, однако мы вполне можем выдвинуть некоторые отно-

⁴² Braybrooke D., Lindblom E. A Strategy of Decision. — NY, 1963. P. 73.

⁴³ До войны (лат.). — Прим. ред.

сящиеся к этому предположения. Две цитаты из Токвиля дают нам возможность начать наше предприятие. Первая: «Однако в Соединенных Штатах почти невозможно найти человека, посвятившего себя занятиям фундаментальными теоретическими и абстрактными разделами человеческого знания». Вторая: «Демократия не только заставляет каждого человека забывать своих предков, но отгоняет мысли о потомках»⁴⁴. Все это можно описать как недоверие к теории и истории. Вместо того чтобы проследивать развитие этого недоверия, давайте посмотрим, как оно проявляется в современной политической науке, при этом давайте запомним, что эта политическая наука сегодня примечательна своим картезианским методологизмом и своими протестами против важности теории как направляющего начала для эмпирического исследования. Мы собираемся исследовать, не усугубила ли бихевиоральная революция (особенно в сфере образования) стародавнюю проблему Америки, ее подозрительное отношение к теории и человеческому прошлому.

Первый методологический шаг для картезианца — очистка «я» от всех мнений, приобретенных во время воспитания, образования и обыденного опыта. Современный методолог совершает тот же самый шаг очищения, с той лишь разницей, что он использует язык социальных наук для того, чтобы доказать себе необходимость максимально полного избавления от предвзятости и предубеждений, возникших вследствие принадлежности к классу, статусу, профессии, семье, вследствие религиозного воспитания или политических убеждений. Делая это, он совершает настоящий ритуал, заново воспроизводя архетипический американский опыт разрыва с прошлым. Если это звучит слишком эзотерично, тогда методолога можно считать иллюстрацией к замечанию Токвиля о том, что «Америка — это страна, где меньше всего изучают предписания Декарта, но лучше всего им следуют»⁴⁵.

Это предубеждение против традиции, культивирующееся во имя уничтожения предубеждений, проявляло себя уже неоднократно в течение недавних десятилетий как попытка свести на нет влияние «традиционной политической теории», как ее называют с обличительными интонациями. Некоторые изъявляли желание полностью убрать ее из программ по обучению политических ученых, другие предлагали заменить ее на более научную версию теории, иные же стремились изъять некоторые отдельные «суждения» из груды древ-

⁴⁴ Токвиль А. Демократия в Америке. — М., 2000. С. 340, 375.

⁴⁵ Токвиль А. Демократия в Америке. — М., 2000. С. 319.

ней литературы и подвергнуть их испытанию на предмет их действительности. Если мы оставим в стороне ту критику, которая направлена на теорию как таковую, то оставшееся представляет интерес, так как она возражает не против «теории», но против определенной теоретической традиции. Если сформулировать то же самое другими словами, то тревожащим в истории теории является то, что она целиком сводится к выявлению уже имеющегося: именно в этом суть любой традиции. Политическая теория была единственной дисциплиной в рамках американской политической науки, которой была свойственна данная особая черта. Более того, учитывая, что большая часть книг, составляющих традицию, являются либо книгами европейскими, либо книгами древними, нетрудно понять, почему она вызывает подозрение.

Такое же предубеждение проявляет себя в отношении тех традиционных форм знания, которые наследует методолог, когда выбирает путь стать исследователем политики. Будучи достаточно древней дисциплиной, политическая наука уже успела приобрести значительное количество знаний о законах, конституциях, институтах и неписанных практиках. Это унаследованное знание провоцирует на типично американскую и картезианскую реакцию: «Традиционные методы [политической науки] — т. е. исторические сочинения, описание институтов, правовой анализ, нещадно эксплуатировались последними двумя поколениями исследователей, сегодня все чаще очень многим (включая меня самого) кажется, что они могут дать нам только мудрость, но никак не науку или знание. Несомненно, мудрость может быть полезной для людей, однако для политической науки это явная неудача»⁴⁶.

Несмотря на то что противопоставление «политической мудрости» «политической науке», не может не вызвать некоторое удивление, такая оппозиция имеет одно достоинство: она поднимает вопрос о том, что такое политическая мудрость. Сформулированный таким образом вопрос не имеет ответа, однако его можно переформулировать так, чтобы он стал более полезным. Противопоставление политической мудрости политической науке касается двух различных форм знания. Научная форма касается поиска строгих формулировок, являющихся логически последовательными и эмпирически верифицируемыми. Такая форма имеет следующие преимущества: она компактна, изменяема и относительно независима от контекста. Политическая мудрость — это неудачное словосочетание, так как в соот-

⁴⁶ Riker W. The Theory of Political Coalitions. — New Haven, 1962. P. VIII.

ветствии с вышеприведенной цитатой речь идет не о том, *чем* она является, но о том, *в чем* она себя проявляет. Были упомянуты история, знание институтов и правовой анализ. Мы не нарушим суть этой цитаты, если добавим сюда также политические теории прошлого. Взятый в своей целостности, такой тип знания явно контрастирует с научным знанием. Это скорее форма размышления, чем исследования. Здесь есть что-то от логики, но еще больше от нелогичности и противоречивости опыта. По этой самой причине здесь есть подозрительное отношение к строгости. Политическая жизнь едва ли может быть ухвачена краткими гипотезами, она эфемерна, следовательно, имеющие смысл суждения о ней зачастую должны быть иносказательными и исполненными намеками. Контекст здесь играет огромное значение, так как события и действия происходят в конкретной обстановке. Следовательно, знание такого рода тяготеет к тому, чтобы быть исполненным намеков и поучений, а не явным и определенным. Вслед за Поланьи мы назовем его «имплицитным политическим знанием»⁴⁷.

Приобретение имплицитного политического знания — результат особого образования, именно здесь происходит пересечение с подходом политического методолога. Ментальность, нетерпимая к прошлому и к традиционной политической теории, одинаково не переносит требований имплицитного политического знания, которое требует знания не только прошлого, но и теоретической традиции. То знание, которого добивается методолог, согласно его же позиции, достаточно четко определяется через «ящик с инструментами» или «набор приемчиков». Однако приобрести знание о необходимых техниках не так-то просто, потому что это требует значительного «переоснащения». Требуется специальная программа по обучению особым методикам.

Что касается имплицитного политического знания, то оно, в свою очередь, обретается со временем, его обретение не зависит от особых программ, связанных с выбором тех или иных предметов, который в конце должен дать определенный результат. При всей верности афоризма о том, что тот, кто идет налегке, уходит дальше, некий, пускай и плохо собранный багаж все же требуется, так как путь исследования нуждается прежде всего в рефлексивности, то есть в таком размышлении, когда разум опирается на целый комплекс непреднамеренно возникающих эмоциональных восприятий и привлекает всевозможные источники культурного знания. Однако если путь

⁴⁷ Polanyi M. Personal Knowledge. — NY, 1964.

исследования трактуется узко как методологически верный «поиск» знания, то он со всей вероятностью может стать не поиском, но бегством от того скромного и мелочного жилища, в котором Декарт, конечно и буквально. Даже те, кто хотел бы заниматься исключительно «данными», определенно в курсе того, что данные исключительно стракций, а также что выбранные из феноменов элементы состоят из тончайших следов прошлых практик и смыслов, которые формируют коннотативный контекст действий и событий.

Установить коннотативный контекст существования некоего предмета изучения значит познать его опору, а познать его опору значит узнать, как действовать в этом пространстве. Знание такого рода не является пропозициональным, еще меньше оно является формализованным. Это знание, которое сообщает нам о том, что соответствует тому или иному предмету, также оно информирует нас, когда над этим предметом совершается насилие со стороны какой-то теории или гипотезы или когда, наоборот, какая-то теория верно ухватывает его суть. Соответствие может принимать различные формы, мы еще вернемся к его обсуждению, однако никак невозможно свести это соответствие к перечню наименований. Например, можем ли мы с точностью сказать, что нам не нравится в нижеприведенных суждениях? «Все интересные вопросы в нормативной политической теории по своей сути являются вопросами эмпирическими [...]». Однако существует *одна интересная проблема в политической теории*, которая является особенно нормативной. Это проблема оценки многообразия того, что можно считать желаемым [...]. Эту проблему можно назвать „проблемой полезности“ или, если использовать более современный язык, „проблемой динамического программирования“ [...]. Относительно этой сугубо нормативной проблемы за последние пятьдесят лет в политической теории был сделан больший прогресс, чем за все предыдущие две тысячи лет вместе взятые»⁴⁸.

Несмотря на то что данные утверждения могут показаться абсурдными, не так-то просто сформулировать, в чем именно их абсурдность; можно лишь отметить, что в данной цитате некоторые важные политические и теоретические вопросы были искажены до неузнаваемости. Однако в основе данных утверждений лежат некоторые показательные моменты особого отношения к знанию. Эти показательные моменты касаются контраста между методологическим под-

⁴⁸ Pool I. de Sola. The Public and the Polity // Pool I. de Sola (ed.). Contemporary Political Science. — NY, 1967. P. 23–24. (Курсив мой. — Ш. У.)

ходом к знанию и тех теорий, которые лежат в его основе, и того знания, которое характерно для имплицитного политического знания и связанных с ним теорий. Методологические предпосылки утверждают, что истинные суждения, продуцируемые научными методами, обладают целым рядом определенных черт: строгость, точность и измеримость. Связь между суждениями и присущими им чертами столь тесна, что возникает искушение считать истинным каждое суждение при условии обладания им свойств строгости, точности и измеримости. Что касается «фактов», составляющих те суждения, которым явно не хватает точности, измеримости или функциональной полезности, то они объявляются ложными, смутными, ненадежными или даже «мистическими». Однако на самом деле речь идет не о противопоставлении истинного и ложного, надежного и ненадежного, но о противостоянии истины, являющейся экономичной, воспроизводимой и хорошо транслируемой, и истины, лишенной этих черт. Методологическая вполне может обладать всеми этими свойствами в силу своего относительного безразличия к контексту; теоретическая истина, наоборот, не может обладать этими свойствами, так как факт ее укорененности в имплицитном политическом знании толкает ее в сторону того, что является скорее политически подобающим, нежели в сторону того, что является научно действенным.

Вопросы относительно соответствия, контекста и отношения к предмету рассмотрения касаются не каких-то излишних вопросов, но крайне насущных. Эти вопросы касаются тех ресурсов или их недостатка, к которым мы прибегаем, когда дело заходит о принятии решений, относительно которых у нас нет никакой уверенности. Что «относится» к тому или иному исследованию — это один вопрос, а как сделать выбор между двумя разными теориями или двумя разными методами — совсем другой. Однако то знание, которое необходимо для принятия таких решений, то есть имплицитное политическое знание, ставится под угрозу тем образованием, которое все больше распространяется среди политических ученых. Например, можно проследить последствия для имплицитного политического знания типичных усилий по повышению навыков владения студентом различными методами. Наш пример касается недавнего издания для студентов, посвященного исследованиям методом опроса. В духе *правил* Декарта авторы описывают свое издание как «учебник» или «руководство», «контрольный список» или перечень «того, что следует сделать, и того, чего делать не следует». Этот перечень призван способствовать укреплению «эмпирического духа» в политической науке. Будучи неудовлетворенными одним учебником тех-

нических инструкций, авторы ратуют за включение в образовательную программу практики проведения опросов. Учителя, обложившие двумя требованиями — обучением и участием в исследованиях, заверяют, что эти два требования совместимы, если студенты будут изучать методы опроса, участвуя в конкретном исследовании. Более статков «засидевшегося студента», навыки которого не соответствуют масштабу и значимости тех проблем, которые стоят перед эмпирической политической наукой. Лозунг «ресурсы должны быть усона «групповую активность и командную работу». Точно таким же образом провозглашается, что в рамках предлагаемого подхода «образовательные преимущества для студентов впечатляют», среди этих ingenium, черты которой созвучны актуальным проблемам: «Студенты получают возможность больше узнать о самих себе [...]. Слишком мало студентов получают возможность попытаться остаться нейтральными в момент изучения мнений, враждебных их собственным. Навыки такого рода особенно ценны для упрямых и невосприимчивых к чужому мнению студентов».

Несмотря на суть и особенности такого понимания образования, авторы настаивают на том, что новое поколение студентов сможет делать то, «чего не ожидали от прежнего поколения университетских студентов, то есть приобретать новое знание и одновременно постигать старое»⁴⁹.

Но может ли такое быть? Что касается постижения «старого» знания, то авторы оплакивают тот факт, что отделения политической науки обеднены «недостатком знания об исследовательских навыках» и что традиционный академический календарь не уделяет достаточно времени тому, чтобы студенты смогли обучиться «выборке, интервьюированию, кодированию, анализу и т. д.». Как в таких условиях студент сможет «постигнуть старое», когда императивы «нового» столь сильны, этот вопрос не обсуждается. В связи с этим хотелось бы привести куновское описание влияния на научное образование императива консолидировать научные достижения и зафиксировать кумулятивное знание. Он характеризовал получившееся научное образование как «узкое и суровое [...], вероятно, более суровое, чем любое другое, исключая, возможно, обучение ортодоксальной теологии». Такое образование не приспособлено для «формирования ученого,

⁴⁹ Backstrom C. H., Hursh G. D. Survey Research. — Evanston, 1963. P. XI—XV, 4, 13.

который легко открыл бы новый подход», однако оно прекрасно подходит для подготовки «нормального ученого», а также для собственного реформирования в случае, если в теоретическом понимании произойдет фундаментальная перемена. «Индивидуальная узость образования совместима с широкой взглядов сообщества в целом, которое может переключаться от одной парадигмы к другой, когда это требуется»⁵⁰. Насколько я знаю, политические ученые, в иных случаях цитирующие Куна с одобрением, постоянно отказываются признать следствия его анализа научного образования.

Несмотря на то что изобретение методов, равно как и изобретение теорий, требует большой креативности и заслуживает самых высших похвал, случается нечто важное и одновременно ироничное, когда происходит институционализация этого навыка в образовательную программу. Требования для использования теории или метода отличаются от требований к таланту того, кто их изобретает, однако технические навыки при этом могут быть одними и теми же. Декарт писал, что ребенок может быть так же талантлив, как и гений в применении правил математики, однако он нигде не писал, что ребенок сможет открывать новые правила. Все это так непросто в силу наличия элемента удачи в открытии, но еще и в силу загадочной проблемы личной одаренности изобретателя, а также в силу культурных условий изобретения⁵¹.

При таком повороте проблемы понятия тренинга, используемое современным методологом, приобретает особое значение. Идея тренинга предполагает целый ряд заранее решенных моментов: относительно того, какие технологии требуются; что первично, а что вторично для конкретных форм тренинга; а также о том, как следует себя вести прошедшему тренинг после его окончания. Что касается теоретизирования, то оно требует неких навыков, однако при этом никак нельзя кратко и просто перечислить эти навыки, степень их важности или потребности друг в друге. Последователи Кеплера могли снисходительно относиться к увлечениям учителя платонизмом и астрологией, равно как и почитатели Ньютона были не в восторге от его религиозных предпочтений, однако было бы неправильным игнорировать влияние этих паранаучных увлечений на формирование уважаемых теорий.

Обеднение образования за счет требований методологов представляет угрозу не только так называемой нормативной или тради-

⁵⁰ Кун Т. Структура научных революций. — М., 2003. С. 214.

⁵¹ Taton R. Reason and Chance in Scientific Discovery. — NY, 1962. P. 64ff.

ционной политической теории, но также и научному воображению как таковому. Оно угрожает той промежуточной культуре, которая питает всякую креативность. Эта культура — источник тех качеств, которые существенны для теоретизирования: игривость, вовлеченность, умение соотносить противоположности, удивление перед обилием и разнообразием взаимосвязи вещей. Эти свойства важны не только при сотворении новых теорий, они задействуются также всякий раз, когда разум человека соприкасается с паличным миром. Обедненный разум, неважно, насколько он эмпиричен по своей сути, видит мир обедненным. Такой разум не лишен способности к теоретизированию, однако его привлекают разные абстракции, которые, будучи примененными к наличному миру, совершают над последним насилие. Подумайте только, сколькими вещами необходимо пренебречь, какие манипуляции надо проделать с миром, чтобы получить возможность сделать следующее утверждение: «Теоретические модели необходимо проверять точностью их предсказаний, а не реалистичностью их предпосылок»⁵². На это возразят, что абсолютно все теории осуществляют некоторое насилие над эмпирическим миром. Такое возражение можно парировать так: ампутация необходима, однако лучше, чтобы она осуществлялась хирургом, а не мясником.

Следовательно, вовсе не достаточно повторять банальные вещи о том, что факты бессмысленны без теоретических концептов или что тот смысл, который факт получает за счет теории, приводит к тому, что эти факты оформляются используемой теорией. Этого недостаточно, так как чрезвычайно много зависит от того типа теории, которая используется, и от личных и культурных особенностей того, кто эту теорию использует. Вполне возможно, что это пагубное наследие пуританизма, заставляющее нас восхищаться «скудостью» наших теорий, хотя при этом мы должны быть в курсе, что конституция эмпирического мира зависит от богатства наших теорий, которые, в свою очередь, зависят от богатства разума исследователя. Озабоченность такого рода может стать тем моментом, который будет способен объединить научного теоретика и так называемого традиционного теоретика.

Когда ученый наблюдает некий факт, он «видит» его сквозь те концепции, которые обычно вытекают из теории. Как точно подметил один философ, факты «теоретически нагружены». Например, Кеплер наблюдал многие из тех фактов, которые наблюдали его предше-

⁵² Downs A. *An Economic Theory of Democracy*. — NY, 1957. P. 21.

ственники, но в силу того, что он видел их иначе, в науке началась новая эра⁵³. То же самое можно сказать и о Макиавелли, а также обо всех прочих ведущих теоретиках от Платона и до Маркса. Как говорил Токвиль, некоторые теоретики видят дальше, а некоторые видят иначе. Сложно не согласиться с Токвилем в том, что для теоретика нет ничего более сложного, чем факт⁵⁴, а также можно добавить, что важнейшим условием всякого теоретизирования является необходимость, чтобы факты не были однозначными. Если бы они были таковыми, то креативность и воображение играли бы небольшую роль и можно было бы говорить о теоретизировании как о банальной активности, как о «конструировании теории». Если бы факты просто «наличествовали» и ждали, чтобы их кто-то собрал и затем соотнес с теорией (или с суждениями, вытекающими из этой теории), в таком случае политический ученый мог бы спокойно сказать: «То, является ли суждение истинным или ложным, зависит от того, насколько сочетаются это суждение и реальный мир»⁵⁵. Несмотря на то что каждый готов признать то, что факты зависят от неких критериев отбора или придания им значимости, гораздо реже признается тот факт, что эти критерии являются фрагментами некой почти позабытой «нормативной» или «традиционной» теории.

В силу того что факты более многоаспектны, чем то предполагает концепция эмпирической теории, они гораздо более понятны для того наблюдателя, ментальные способности которого позволяют ему оценивать известный факт неожиданным образом. Как сказал один философ, «*один и тот же мир может быть сконструирован по-разному*. Мы можем говорить, думать и воспринимать его различными способами. Возможно, факты каким-то образом оформляются логическими формами языка, констатирующего факты. Все это может задавать ту „форму“, в понятиях которой мир может сгущаться для нас в различных формах»⁵⁶. Мы снова сталкиваемся с тем тезисом, что богатство наличного мира зависит от богатства наших теорий: «Наблюдатель, наблюдающий за чем-то, основываясь на некоторой парадигме, — это не тот человек, который видит и докладывает о том, что видят и о чем докладывают все остальные нормальные наблюдатели, это тот человек, который в знакомых вещах видит то, что в них

⁵³ *Hanson N. R. Patterns of Discovery.* — Cambridge, 1965. P. 5ff.

⁵⁴ Замечания Токвиля см.: *Tocqueville A. de. Oeuvres complètes.* — Paris, 1961. Vol. I. P. 12, 14, 222.

⁵⁵ *Dahl R. A. Modern Political Analysis.* — Englewood Cliffs, 1963. P. 8.

⁵⁶ *Hanson N. R. Patterns of Discovery.* — Cambridge, 1965. P. 36.

не увидел никто другой».⁵⁷ Мир должен быть дополнен, прежде чем он сможет быть понят и осмыслен.

Я попытался показать, что наш взгляд на мир зависит от тех ресурсов, которые при этом используются. Эти экстранаучные размышления можно проще выразить как запас идей, которые интеллектуально любопытный и широко образованный человек накапливает и которые формируют его догадки, чувства и восприятие. Они составляют источник его креативности. При этом они редко находят явное выражение в формальной теории. Находясь за пределами границ, очерченных методом, техникой и официальным пониманием дисциплины, они могут быть суммированы и классифицированы как метафизика, вера, историческая чувствительность или, если говорить более общо, как имплицитное знание. В силу того, что вышеперечисленные феномены очень напоминают «предвзятость», они приносятся в жертву при поиске объективности в социальных науках. Если бы только ученые свободно признали важность этих явлений⁵⁸; как сильно значимы эти творения человека для форм познания, для политической науки, которая занимается сложными отношениями в коллективной жизни, занимается теми объектами, которые столь живы в выражении своих нужд, надежд и страхов.

Не сомневаюсь, что мне возразят: если дисциплина хочет быть эмпирической, то ее представители должны уметь «обращаться» с информацией так, как это делают в других более успешных науках. Считать иначе, возразят мне, значит солидаризироваться с ересью, согласно которой философия и нравственное знание могут привести к лучшему эмпиризму. На это ответим следующим образом.

В истории политической теории исследователь может обнаружить постоянный интерес к феномену «коррупции». Однако сегодня мы едва ли имеем хоть какое-то представление о том, как нам обсуждать эту тему⁵⁹, за исключением тех случаев, когда она процветает

⁵⁷ Ibid. P. 30.

⁵⁸ См.: *Поппер К.* Логика и рост научного знания. — М., 1983. С. 60, 83.

⁵⁹ Исключением здесь будет Самуэль Хантингтон, см.: *Huntington S.* Political development and political decay // *World politics*. 1965. Vol. 17. P. 386–430. В качестве иллюстрации того, как сегодня принято рассматривать эти проблемы, см.: *Rogow A. A., Lasswell D. H.* Power, Corruption and Rectitude. — Englewood Cliffs, 1963. Данная работа критикует эпигramму Актона, она указывает на то, как предубежденность против власти привела к учению о разделении властей и как это последствие фрустрирует большинство. Также рассматривается то, как данная проблема может быть улажена за счет организационных и бюрократических мер.

в незападных обществах. При этом общепринят и задокументирован факт того, что «организованная преступность» оказывает значительное влияние, обладает большой властью, контролирует значительные богатства и демонстрирует многие из тех черт, которые обычно привлекали политического ученого, например, организация, власть, узлы родства, правила и консенсус. Несмотря на все возможности для изучения, ни один учебник об американском правительстве не уделяет хоть сколько-нибудь места организованной преступности в «системе», не было проведено никакого исследования «многовластия» или власти сообщества. Есть основания полагать, что такой пробел имеет непосредственное отношение к убеждению в том, что нравственное знание эмпирически излишне.

Или давайте рассмотрим еще один пример: можно подумать о том множестве отличных эмпирических исследований, которые так никогда и не состоялись в силу того, что современная политическая наука заменила древнюю идею «политического образования» на мягкую и конформистскую концепцию «политической социализации». Если бы вместо того, чтобы затуманивать взгляд исследователя утверждениями о том, что «поведение является политизированным в той степени, в какой оно определено соображениями тяги к власти или ущемления „я“ другими лицами»⁶⁰, мы бы всерьез восприняли старинную гипотезу, подобную той, что выдвигал Джон Стюарт Милль: «Если первым условием хорошего управления является нравственное и умственное развитие людей, составляющих общество, то высшая степень совершенства, доступная для какой-либо формы правления, состоит в том, чтобы способствовать нравственному и умственному развитию народа»⁶¹, то тогда мы бы были гораздо лучше осведомлены о важности эмпирических исследований по-настоящему основополагающих политических вопросов. Например, подумайте только о том, насколько эмпирически перспективно изучение нынешней структуры налоговых сборов, особенно в силу тех нравственных и политических следствий, которые эти сборы имеют для

⁶⁰ *Lasswell H. D., Kaplan A. Power and Society. A Framework for Political Inquiry. — New Haven, 1950. P. 145.*

⁶¹ *Милль Дж. С. Рассуждения о представительном правлении. — Челябинск, 2006. С. 33. Моя точка зрения не изменится, если политическая социализация будет определена как-то иначе на современный лад: обучающие «роли» или «готовность терпеть выходы (outputs), которые кажутся противоположными нуждам и потребностями человека» (Easton D. A Systems Analysis of Political Life. — NY, 1965. P. 272).*

гражданского образования. Структура налоговых сборов — это регистр силы и бессилия наших социальных, экономических и этнических групп; регистр того, насколько высоко мы ценим важность различных общественных занятий согласно единому общепринятому стандарту. Структура налоговых сборов это еще и система стимулов для того поведения, которое определяет, что является добродетельным, недобродетельным или нравственно нейтральным; эта структура тайно поощряет то поведение, которое иначе объявляется негодным, что потихоньку легитимирует данное поведение и влияет на то, что принято называть «добродетелью гражданина». Вряд ли можно себе представить более обширное пространство для бихевиоральных исследований — для таких исследований, которые способны дать важнейшее знание о качестве жизни в этой стране. Однако все это остается чистой возможностью в силу того, что наше обедненное понимание гражданской добродетели и образования толкает нас на пренебрежение исследованиями такого рода.

Наконец, нельзя не поинтересоваться, не получает ли политическая наука, выбрасывая «метафизические» и «нормативные» вопросы относительно справедливости во имя изучения «юридического поведения» и «юридического процесса», печальный результат: неспособность увидеть важнейшие феномены, подобные опасному увеличению числа *политических* процессов в сегодняшней Америке, и осмыслить то, какую угрозу представляют эти суды для будущего власти и легитимности всей страны.

Если присутствие или отсутствие нравственных и философских элементов влияет на тот процесс, посредством которого теории конституируют эмпирический мир, то, значит, личный выбор теоретика — серьезный фактор. Однако и в этом случае современное умонастроение упрощает важность процесса формулирования теории и тем самым затуманивает важность выбора среди множества конкурирующих способов выстраивания мира. Цитата следующего рода может показаться слишком экстремальной, однако она четко выявляет те представления о теории, которые разделяют представители бихевиоральной науки: «В докладе, озаглавленном „Система коммуникации и ресурсы в бихевиоральных науках“, Комитет информации бихевиоральных наук вырисовывает идеальную систему, способную обеспечить исследователей компьютероподобным коллегой, умным и всезнающим. Подобный коллега будет начитан, будет все помнить, будет синтезировать новые идеи, всегда будет доступен, а также будет чутко отзываться на нужды исследователя [...]. Основанная на компьютерных технологиях система будет способна давать ответ на ин-

дивидуальные запросы на информацию, факты и документы; она сможет проявлять инициативу, стимулировать исследователя, предлагая новые идеи, факты или относящуюся к делу литературу; она будет способна умно реагировать на работу ученого (анализировать ее логику, проследивать следствия работы, предлагать проверки); также она сможет распространять идеи и доносить отклики на работу из научного сообщества»⁶².

Однако если у нас есть основания допустить, что выбор теории или метода не может быть сравнен с выбором полезного друга, который, как учил Ницше, должен быть достоин того, чтобы быть вашим врагом, то в этом случае есть основания немного углубиться в этот вопрос. Когда мы выбираем теорию или метод, мы выбираем нечто важное, подобное «я», или же мы выбираем нечто безобидное, типа «интеллектуального конструкта» или «концептуальной схемы»? А может, что-то безличное, типа «серии логически согласованных, взаимосвязанных и эмпирически проверяемых суждений» или «обобщенной констатации взаимосвязи ряда переменных»?

Вне всяких сомнений, эти характеристики сообщают нам нечто о формальных свойствах теории, однако они обманчивы в своей скупости. Если мы слегка переформулируем вопрос, чтобы он звучал следующим образом: каковы человеческие последствия выбора теории, тогда становится ясным, что в этом выборе на кон поставлено гораздо большее. Выбор теории значим по двум основополагающим причинам: он стимулирует новые способы мышления, оценки, интуиции и ощущения; он требует принесения в жертву существующих привычных форм мышления, оценки и т.д. Первый момент очевиден, второй — нет. Это объясняется тем, что историю пишет победитель (закон подлости), поэтому издержки триумфа новой теории скрываются или окунаются в подобие якобинской но-стальгии.

История политической теории очень показательна в этом отношении, многие великие теоретики-новаторы были прекрасно осведомлены о выборе среди теоретических альтернатив. Они знали, что истинная драма теоретизирования заключается в необходимости выдвижения теории, которая не может быть согласована с господствующими ценностями и восприятиями мира. Когда Гоббс предупреждал читателей, что те будут «потрясены»⁶³ его теорией,

⁶² Newsletter of the American Political Science Association // Political Science. 1968. Vol. I. № 1. P. 25.

⁶³ Гоббс Т. О гражданине // Т. Гоббс. Соч. в 2-х тт. — М., 1989. Т. 1.

то он не просто констатировал очевидный факт того, что его взгляды на религию, власть, права и человеческую природу несовместимы с традиционными религиозными и политическими понятиями, он указывал на более основополагающий момент: до тех пор, пока его читатели не будут готовы пересмотреть или отвергнуть традиционные представления, они будут неспособны ухватить весь смысл теории, а сама теория не сможет стать силой, действующей в мире. То же самое имел в виду Платон, когда бросал вызов традиционным греческим ценностям и демократическому этосу Афин, а также Августин, когда пытался уничтожить классические понятия истории, политики, добродетели и религии. Среди недавних авторов никто не был столь же восприимчивым к эмоциональным и культурным потерям, связанным с приверженностью научному рационализму, как Макс Вебер.

Где же современный способ рассуждения не смог скрыть драму теоретизирования и тот выбор, с которым эта драма связана, он превратил ее в банальность. Теории уподобляются устройствам, которые «подключаются» к политической жизни, а так как все устройства изначально приговорены к устареванию, то, значит, «теории должны сгорать», оставляя лишь небольшое погребальное зарево, освещающее путь к «более научным теориям и более эффективным процедурам исследования»⁶⁴. Если бы принятие той или иной теории было аналогичным «испытанию идеи», тестированию гипотезы или выбору технологии, то здесь не было бы никаких возражений против такого мимоходного ее рассмотрения.

Теория как минимум притязает на наше время, внимание, энергию, навыки. Более того, принятие теории влечет за собой подчинение с серьезными последствиями как для того, кто ее принимает, так и для последователей, а также для того уголка мира, взгляд на который стремится изменить теория. Требуется определенная чувствительность, качество мышления и ощущения, которых не так-то просто достичь, так как это связано со способностью делать пронизательные суждения. Почему это так? Если отвечать кратко, то в политических и общественных вопросах мы думаем двумя способами: пытаюсь объяснить, понять или оценить, можно ставить вопрос: что это такое, — а можно иначе: что этому свойственно? В первом случае мы должны мыслить метафорически, например, Гоббс с его тезисом о том, что представление подобно посреднику, или современное понятие политического общества как системы ком-

⁶⁴ Apter D. The Politics of Modernization. — Chicago, 1965. P. X.

муникаций. Со времен Платона теоретики признавали плодотворность метафорического мышления, однако при этом они понимали, что в ряде критических случаев метафора может заводить в тупик, именно в силу того, что у нее есть свой нрав, приводящий ее к гротескным представлениям того объекта или того явления, которое она призвана представлять. Недавний пример ловушки такого рода — книга профессора Дойча «*Нервы управления*», которая ратует за концепцию коммуникативной системы как полезной и подходящей модели для политической теории. Доводы автора опираются на сочетание метафор, а их успешность зависит от смешения двух метафор. Первая метафора заключается в сравнении природы человеческого мышления и целенаправленного действия с функционированием коммуникативных систем, например, «проблема ценности» подобна «проблеме коммутатора», а «сознание» «аналогично» действию процесса обратной связи⁶⁵. Вторая метафора подразумевает проделывание обратной процедуры: коммуникативную систему можно рассматривать как человека. Человеческие качества, такие как спонтанность свобода воли и креативность могут быть встроены в машину, а затем появляется возможность выдвигать эмпирические предположения относительно общества — предположения, вытекающие из функционирования этой машины. Однако все доводы книги опираются, во-первых, на механизацию человеческого поведения, а во-вторых, на антропоморфизацию механических процессов. На основе таких допущений получаются гротескные результаты, например, внутреннее переустройство системы или личности, сокращающее целерациональную эффективность, которые описываются как «патологические» и напоминают то, «что некоторые моралисты называют „грехом“»⁶⁶.

Второй способ мышления подразумевает постановку следующего вопроса: что этому свойственно? Свойственность не может быть обличена в формулу. Это связано с тем, что она зависит от различных форм знания, которым нет предела. Эта зависимость коренится в основополагающем свойственном политической и общественной теории поиске «целостностей», сотканных из взаимосвязанных и взаимопроникающих областей человеческой деятельности. Вне зависимости от того, заключается ли основное теоретическое задание в объяснении или критической оценке, теоретик будет хотеть поместить выделенные «разметки» в человеческом мире и во

⁶⁵ Deutsch K. *The Nerves of Government*. — Glencoe, 1963. P. 94, 98.

⁶⁶ Deutsch K. *The Nerves of Government*. — Glencoe, 1963. P. 91–92.

плотить их в теоретическую форму. Например, какие аспекты той «разметки», которую мы называем «религией», оказывают существенное влияние на ту деятельность, которую мы называем «экономикой»? Волей-неволей политическая теория среди всего прочего является еще и суммой суждений, сформированных в уме теоретика, касающейся того, что важно, и включающей в себя серию разграничений относительно того, где начинается одна область и заканчивается другая. Это разграничение может касаться частного и публичного или того, что оказывается под угрозой (или того, что, наоборот, только усилится), если дела пойдут таким, а не иным образом. Может это затрагивать и то, какие практики, события и условия должны привести к каким последствиям. Сложность остается той же самой вне зависимости от того, направлено ли теоретическое усилие на описательное объяснение, критическую оценку или предписывающее решение. В силу своего расположения внутри целого одна область отделяется от другой и переходит в третью — например, где кончается забота о душе и начинается власть политического порядка над религией? В каком месте влияние технического образования сочленяется с вопросами этики и характера? Где начинаются автономные административные и юридические практики и где заканчивается «тайна государства», в какой мере стимул к крестовым походам исходил из религии, а в какой — из политических и экономических соображений?

Если, как утверждал Платон еще много лет назад, задача теории — определять то место, где проходит «реальный раскол» в вещах, и «избегать [как] разбиения реальности на слишком многие части», так и проведения ложных границ⁶⁷, тогда вопрос о том, что чему свойственно, становится решающим. Учитывая озабоченность теоретиков целостностями, учитывая взаимосвязанность человеческих сфер, а также те ценности и ожидания, которые люди вкладывают в эти сферы, и, наконец, тот ставящий в тупик факт, что человек один, а сфер его деятельности много, то теоретическое суждение, которое по определению должно разграничивать, может быть удержано от проведения недолжных установлений лишь при условии, что его цивилизует культура созерцания. Быть цивилизованным — это не просто умение быть восприимчивым к требованиям и особенностям многих сфер, но это, согласно стародавнему определению, еще и умение исполнять то, что подобает цивилизованному сообществу.

⁶⁷ Платон. Политик // Платон. Соч. в 4-х тт. — М., 1994. Т. 4. С. 9. 262 b — c.

IV. ПРИЗВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕОРЕТИКА

Если предшествующий анализ и имеет какие-то преимущества, то они заключаются в указании на то, что триумф методологов — это проявление кризиса политического образования и что основной жертвой всего этого является имплицитное политическое знание, которое столь существенно для вынесения суждений, при этом не только для суждений, касающихся адекватности и ценности теорий и методов, но и для суждений о природе и перипетиях политики. Именно в этом заключается призвание тех, кто сохраняет наше понимание теорий прошлых лет, кто обостряет наше видение тонкой, комплексной взаимосвязи между политическим опытом и политической мыслью, кто сохраняет память о мучительных попытках разума интеллекта вновь воспроизвести те возможности и угрозы, которые были связаны с политическими дилеммами прошлого. Обучая теориям прошлого, исторически ориентированный теоретик вовлекается в задачу по политической инициации; то есть по ознакомлению новых поколений студентов со сложностями политики и с попытками теоретиков найти им решения; по развитию способности к разграничивающим суждениям, которые обсуждались выше; по культивированию чувства «значимости», которое, что хорошо понимал Вебер, важно для научного открытия, но которое не может быть развито одними научными методами; по изучению путей, на которых открываются новые теоретические перспективы.

Для тех, кто занимается историей политической теории, вопрос призвания сегодня стал чрезвычайно актуальным. Его актуальность особенно видна после ознакомления с работами Куна, который описывает то, как в свете научных открытий рассматривается прошлое этих открытий⁶⁸. В годы формирования от студентов требуют штудирования учебников, а не ознакомления с творениями великих ученых прошлого. Особенность учебника, согласно Куну, в том, что он демонстрирует то, как великие достижения прошлого подготовили почву для нынешней стадии развития знания и теории. В результате все разрывы сглаживаются, отбрасываются, а неудачные теории провозглашаются ущербными; это происходит на фоне продвигаемой идеи о методологическом прогрессе.

То, как легко можно обеднить прошлое, представив его как продолжение настоящего, демонстрирует та стратегия, которую избирают социальные ученые, повторяя научные учебники в их описа-

⁶⁸ Кун Т. Структура научных революций. — М., 2003. С. 207–224.

нии Куном. «Как заметил давным-давно Аристотель, первый великий ученый-бихевиоралист»⁶⁹, «бихевиоральный уклон в политике представляет собой попытку в рамках современных форм анализа закончить ту миссию, которую начали еще классические политические теоретики», однако при этом признается, что классическая теория является «больше предписывающей, нежели описывающей»⁷⁰. Забытым в таком подходе оказывается то, что теории прежних лет читаются не потому, что они знакомы и поэтому подтверждают то, что происходит сегодня, но именно в силу того, что они странны и провокативны. Если читать Аристотеля как первого бихевиоралиста, тогда все, что он пишет, имеет лишь антикварный интерес, поэтому, если следовать этой логике, гораздо более плодотворным оказывается чтение современников.

От чтения Аристотеля нам следует ожидать возрастания политического понимания. От изучения истории политических теорий следует ожидать понимания исторического измерения политики. Культивация политического понимания обозначает появление более чутких к необыкновенным сложностям и ко всей драматичности истории утверждений, что политический порядок является наиболее всеобъемлющей ассоциацией и именно он максимально ответствен за поддержание физического, материального, культурного и нравственного благополучия людей. Политическое понимание также учит тому, что политический порядок выражается в своей истории; что прошлое давит на настоящее, формируя альтернативы и оказываясь вполне самостоятельной силой. Сегодня историческое измерение по большому счету игнорируется в пользу тех модусов понимания, которые по своей сущности не способны на то, чтобы опираться на историческое знание. Одна из наиболее бросающихся в глаза особенностей теории игр, коммуникативных моделей и механических систем состоит в том, что в каждом случае основополагающее понятие этих моделей лишено исторического измерения.

Опасность, нависшая над политическим пониманием, не снимается тезисами о том, что мы сможем найти более точные функциональные эквиваленты для устаревшего языка, или о том, что мы сможем перевести старые понятия в понятия, гораздо более подходящие

⁶⁹ Berelson B., Steiner G. Human Behavior. — NY, 1964. P. 13.

⁷⁰ Eulau A. // Pool I. de Sola (ed.). Contemporary Political Science. — NY, 1967. P. 7. См. также: Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. — М., 2002; Alker H. Mathematics and Politics. — NY, 1965. P. 6–8.

для эмпирических исследований. С незапамятных времен авторы писали о «бремени» правления, о «муках» выбора и «вине» тех, кому было поручено исполнять жесткие решения. Превращать эти проблемы в расчеты игроков или описывать их как «принятие решений» или «выходы» значит исказить обе стороны аналогии. Например, если бы в процессе игры «муки», «бремя» или «вина» были бы постоянными спутниками играющих, то был бы утрачен весь коннотативный контекст, окружающий игру, — никто не стал бы играть. Древний писатель Платон однажды заметил по поводу рисования: никто никогда не понял бы изобразительные техники художника, не имея предварительного знания о тех объектах, которые изображались. Но когда предпринимается попытка передать знание не за счет изобразительных техник, но за счет абстрактных знаков и символов, которые замещают хорошо известные объекты, то все зависит от того, есть ли правильное понимание того, что значат эти символы. Есть ли понимание, например, тех разграничительных суждений, которые отставляются в сторону, когда символ «входного сигнала» в равной степени используется для обозначения как протестов, связанных с защитой гражданских прав, так и делегации от Национальной стрелковой ассоциации, а также забастовки Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности? Есть ли понимание того, что различить эти «входные сигналы» позволяет лишь имплицитное знание, проистекающее из источников иных, нежели теория систем? Кроме того, можно ли будет как-то компенсировать тот факт, что в рамках теории систем есть возможность вести разговор обо всем политическом обществе, не упоминая при этом идею справедливости, за исключением того случая, когда в искаженном виде учитывается ее вклад в «поддержание системы»? Существует ли осведомленность о том, что при рассмотрении американского политического порядка в качестве *системы* появляется возможность избежать неприятного разговора о нем как об *imperium*, наделенном невиданной доселе властью. Если вопреки всему политический ученый скажет, что те исследования, которые упоминались выше, действительно требуют того знания, которое бы выходило за пределы формальных методов, то тем самым он угрожает попасть в порочный круг: методы его изучения предполагают ту глубину политической культуры, которую уничтожают его же методы образования.

Но что можно сказать о том призвании, которое заключается в создании и распространении политических теорий? Свидетельство существования призвания такого рода можно обнаружить в древнем понятии *bios theoretikos*, а также в реальных достижениях той традиции

авторов, которая простирается от Платона до Маркса. Как нам следует понимать эту традицию в свете ее причастности к призванию, которое имеет отношение как к вызову, связанному с ростом престижа науки, так и к современному состоянию политической жизни?

V. ПРИРОДА И РОЛЬ ЭПИЧЕСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

Далее я буду развивать тезис о том, что традиционная идея политической теории содержит в себе некоторые черты, которые позволяют отнести ее к разновидностям научной теории. Однако эти черты в силу их отношения к политике являются уникальными чертами именно политической теории. Для того чтобы выявить особую природу этого призвания, я назову его призванием «эпического теоретика» — словосочетание, которое, возможно, покажется претенциозным или вычурным, но которое было выбрано для того, чтобы привлечь внимание как к необыкновенному размаху теоретизирования такого рода, так и к его целям и стилю.

Претенциозность этого выражения может быть несколько уменьшена, если вспомнить схожее описание теории в работе Куна. Он использует фразу «экстраординарная наука» для описания того вклада, который был сделан великими научными новаторами. Главная идея Куна в том, что эти теории представляют собой разрыв с теориями старыми; они знаменуют собой новый взгляд на мир, включающий в себя новый набор понятий, а также новые когнитивные и нормативные стандарты. Если взять это за точку отсчета того, как думать о великих теориях, то одна из главных общих черт эпических теорий — это их размах. В акте мышления теоретик стремится переустроить весь политический мир. Он пытается ухватить существующие структуры и взаимосвязи и переинтерпретировать их новым образом. Подобно тому, как это происходит в случае экстраординарной научной теории, попытки такого рода оказываются связанными с новым взглядом на знакомый мир, новым взглядом, обладающим своими собственными когнитивными и нормативными стандартами⁷¹.

Вторая особенность эпической теории может быть ухвачена, если мы взглянем на теорию не только в свете ее формальных черт,

⁷¹ Здесь достаточно просто вспомнить долгое обсуждение познания у Платона или попытку Гоббса поместить политическую философию на новый, более научный базис.

но также в свете ее *структур намерений*. Структура намерений касается тех основополагающих устремлений, которые движут теоретиком, тех соображений, которые определяют то, как разворачиваются формальные свойства концепции, факта, логики и их взаимосвязи, с целью повышения общего эффекта. Используя слово «устремления», я пытался указать на то, что структурам свойственно значительное многообразие, но при этом я также пытался показать, что во всех них есть одна постоянная черта, которая может показаться наивной в наш век, когда все короли оказываются голыми. Все великие теоретики прошлого были подвижны «заботой об обществе» — качество, которое не было чуждым их поведению, наоборот, оно было основополагающим для самой идеи участия в разработке *политической* теории. Циничный «реалист» Макиавелли признавался: «Я люблю свою страну больше, чем свою душу»⁷². В своем диалоге «*Утопия*» Томас Мор, отвечая своему собеседнику, идеалистичному политическому мыслителю, которого звали Гитлодей, эмоционально описывал призвание теоретика: «Если нельзя вырвать с корнем ложные мнения, если не в силах ты по убеждению души своей излечить давно укоренившиеся пороки, то все-таки не надо из-за этого покидать государство»⁷³. Гоббс, которому совершенно не была свойственна романтизация человеческих мотивов, описывал себя как того, чья «искренняя боль за нынешнее несчастье отечества» вынудила его заняться теоретизированием⁷⁴. Похожие чувства в изобилие представлены, например, в сочинениях Платона, Августина, Локка, Руссо, Бентама, Токвиля и Маркса. Единодушие этих авторов заставляет предположить, что если бы Платон или Маркс сказал то, что постоянно повторяют современные ученые и что многие социальные ученые почти готовы повторить: что они не несут никакой ответственности за политические и общественные последствия своих исследований, то это выглядело бы скорее глупо, чем предосудительно. Заботы о *res publica* и о *res gestae* столь же неотъемлемы и естественны для призвания теоретика, насколько для врача таковой является забота о здоровье пациента. Такого рода забота об общих проблемам резко контрастирует с умственным настроением, согласно которому «превращение чего-либо в научную проблему — это первый шаг научного исследования, как таковой этот шаг должен определять прежде всего требования научной процедуры»⁷⁵.

⁷² Machiavelli N. Letter to Vettori, April 16, 1527.

⁷³ Мор Т. Утопия. — М., 1978. С. 159.

⁷⁴ Гоббс Т. О гражданине // Т. Гоббс. Соч. в 2-х тт. — М., 1989. Т. 1. С. 283.

⁷⁵ Sellitz C. Research Methods in Social Relations. — NY, 1963. P. 31.

В силу того что вся история демонстрирует, что политические общества страдали от насилия, жестокости и несправедливости (а также активно все это использовали) и что устремления человека часто герпели крах, нет ничего удивительного в том, что работа теоретика о *res publica* и об общем благе очень часто облекалась в форму критических и в буквальном смысле радикальных теорий. Понять, почему все обстояло именно так и почему это важно для современного призывания теоретика, поможет еще одно обращение к Куну. Он утверждает, что научные революции происходят, когда исследователи подумевые явления не могут быть согласованы с существующей теорией. Для того чтобы назвать тот или иной феномен аномалией, феномен этот должен быть в принципе объясним в рамках существующей теории; или, если сказать иначе, аномалия должна как-то соприкасаться с той проблемой, решение которой пытается найти существующая теория. Случай, когда возникает вопрос, который не считается важным в рамках данной теории и на который та не стремится ответить, не может считаться аномалией.

Концепция аномалии предполагает, что научный кризис происходит в тот момент, когда *внутри* теории что-то не так происходит. Когда природа не соответствует ожиданиям ученого, он реагирует на это пересмотром своих техник и теорий. Он считает, что «ошибка» именно в них, а не в самой природе. Влияние такой позиции на политическую науку становится важным, когда мы рассматриваем ту нередкую критику, которой подвергаются традиционные политические теории со стороны современных политических ученых. Они обвиняются в бесполезности для понимания электорального поведения, политической апатии, формирования важных в политическом отношении мнений и уровня того реального контроля, которым располагает электорат. «Если кто-то спросит: „Как мне узнать о том, какого рода люди чаще всего участвуют в политике и почему?“ Я посоветую ему начать с самых последних исследований и затем двигаться вглубь. При этом я серьезно сомневаюсь, будет ли для него полезно чтение Аристотеля, Руссо или „Федералиста“»⁷⁶. После такой критики можно сделать вывод о том, что традиционная политическая теория бесполезна, так как она не в силах объяснить то, почему политический мир таков, какой он есть. Другими словами, в этих теориях есть что-то ложное. Справедлива ли критика такого рода или нет, зависит от предварительного понимания намерений эпических тео-

⁷⁶ Dahl R. A. Modern Political Analysis. — Englewood Cliffs, 1963. P. VIII.

ретиков: ответом на что были его теории? Как мы уже отмечали ранее, когда что-то считается ложным, ученый ищет ошибку в теории, но никак не в мире. «Если есть кризис, то это кризис теории представительства»⁷⁷. Эпический представитель, но никак не самого представительства. Его заботит теоретик исходит из противоположного представления. Его заботит особый масштаб тех проблем, которые были порождены текущим положением вещей или ходом событий в мире, а не те проблемы, которые имеют отношение к недостаткам теоретического знания. Конечно, проблемы мира и проблемы теории взаимосвязаны, однако для эпических теоретиков на первый план выходят проблемы первого рода, от которых уже зависят проблемы второго рода. Главный опыт — это опыт наличия в политическом мире постоянных проблем, а не опыт каких-то сбоев в теориях о мире. Проблема возникает тогда, когда политическая жизнь воспринимается либо как угроза, либо как обещание. Большая часть важных теорий были ответом на кризис; они становились результатом убежденности в том, что политическое действие может уничтожить некоторые гражданские ценности и практики или же что оно может стать средством избавления от зла, такого как несправедливость или притеснение. Эти поляры могут быть проиллюстрированы разным отношением Берка и Пэйна к Французской революции или Токвиля и Маркса к событиям 1848 года. Идея здесь не в том, что теории приходят парами или что на «одно и то же» событие можно смотреть из разных углов и что это будет одинаково убедительно. Идея в том, что эпические теории проистекают не из кризисов техник исследования, но из кризисов в самом мире.

На языке теории кризис означает неисправность. Одна из форм неисправности становится результатом тех сил или обстоятельств, которые оказываются неподвластными контролю: например, чума, поразившая Афины во время ведения войны против Спарты; это несчастье, согласно Фукидиду, ослабило те конвенции, которые регулировали политическую жизнь Афин. Неисправности другого рода сродни тому, что Аристотель назвал случайными обстоятельствами, то есть это те обстоятельства, которые зависят от воли и сознательного выбора человека. Такие неисправности — результат разного рода «ошибок» или «оплошностей»: ошибки в *договоренностях, решениях, верованиях*. Эти три типа, очевидно, переплетены и взаимосвязаны: ошибочные убеждения могут привести к неправильным договоренностям и глупым решениям; немудрое решение, то есть реше-

⁷⁷ Pool I. de Sola (ed.). Contemporary Political Science. — NY, 1967. P. 55.

ние, которое оказывается не соответствующим ресурсам общества, может способствовать ложным убеждениям, таким как иллюзия всемогущества. Несмотря на свою очевидность, эти три типа ошибок могут помочь в прояснении основных, определяющих проблем традиционной политической теории. Было бы неправильно останавливаться на размытом тезисе о том, что действия теоретика стимулируются такого рода проблемами внутри мира, неправильно утверждать, что эти теоретики просто-напросто вынуждены заниматься тем классом проблем, относительно которых может быть сделано что-то. Самое главное, чтобы это была по-настоящему теоретическая проблема. Проблемы типа неэффективности работы почты или недостаточной действенности законодательных комитетов могут быть сведены к ошибкам в договоренностях (например, неправильное распределение административной власти) или к ошибочным убеждениям (например, что трудовой стаж — наиболее разумный критерий при определении председателей комитета) или к комбинации ошибочных договоренностей и ошибочных убеждений. Не отрицая практической важности этих проблем, можно сказать, что это не теоретические по своей природе проблемы, но практические: они касаются наиболее разумных средств для достижения целей, которые по большей части согласованы заранее. Точно так же вопрос о том, какое решение более подходит в данных конкретных условиях, — это дело практического разума и суждения, а не теории.

Однако частные договоренности, решения и убеждения приобретают теоретическую важность в том случае, если взглянуть на них с позиции «систематической ошибки». При таком взгляде договоренности или решения оказываются не произвольными следствиями системы, которая при их отсутствии работает без сбоев, не результатом персональных недостатков конкретного чиновника, но закономерным следствием обширного перечня недостатков, которые и далее будут приводить к все тем же результатам. Такая система будет принципиально неисправна. Примером того, о чем идет речь, является критика Платоном афинской демократии. Острие его критики было направлено не против конкретных мер, которые Платон не одобрял, и даже не против осуждения демократией Сократа⁷⁸. Скорее он стремился доказать, что ошибочная политика и ошибочные действия были просто обязаны повторяться в той или иной

⁷⁸ Если верить VII письму Платона, то он также осуждал правительство тридцати, в которое входили его родственники, за их угрозы в адрес Сократа. См.: Платон. Письма // Платон. Соч. в 4-х тт. — М., 1994. Т. 4. С. 475–504.

форме и повторение обусловлено тем, что вся политика была систематическим образом выстроена на ложных основаниях. Другой пример — Маркс. Его нападки на капитализм не сводились к утверждению о том, что тот обрекал рабочих к жизни на грани выживания, паразитировал на их труде и несправедливо обогащал тех, кто владел средствами производства. Вместо этого Маркс стремился выявить логику капитализма, которая делала несправедливость, отчуждение и эксплуатацию неизбежными, но никак не случайными.

Эта концепция *системных* ошибок объясняет то, почему многие политические теории содержат в себе радикальную критику. Создатели этих теорий пытались добраться до базовых принципов (в смысле точек отсчета), которые предопределяют ошибочность договоренностей и действий. Этим же импульсом объясняется то, почему политическая теория принимает вид символической картины упорядоченного целого. Теория стремится к целостности в силу того, что она предназначена быть дополнением или заменой другому систематически неисправному целому, к замещению которого она и призывает. Возможность того, что наличный мир — результат действия систематически неисправного целого, демонстрирует еще одно главное различие между эпическим политическим теоретиком и научным теоретиком. Несмотря на то что и тот и другой пытаются изменить взгляды человека на мир, только теоретик пытается изменить сам мир. Ученый вполне может приписывать бесстрашие, красоту, художественность своим теориям, здесь он мало отличается от иных творцов, однако ему придется признать, что на определенном этапе его теория должна пройти тест на принятие ее миром. Т. Г. Хаксли с грустью говорил о «красивых» теориях, которые были трагически погублены «маленьким неказистым фактом». Вопреки этому утверждению, Платон вызывающе спрашивал: «Если мы сможем додуматься, как построить государство, наиболее близкое к описанному, согласись, мы сможем сказать, что уже выполнили <...> требование, то есть показали, как можно это осуществить». Эпическая теория, кроме тех случаев, когда она намеренно используется для убийства уродливых фактов мира, иначе воспринимает факты, она отказывается признавать за ними роль арбитра. Факты никогда не смогут доказать вескость теории, так как факты в форме практик или действий «уже по самой природе <...> меньше, чем слово причастно истине»⁷⁹. Для Платона политические факты афинской демократии прекрасно согласовывались с теорией демократии, однако сама теория была систематиче-

⁷⁹ Платон. Государство // Платон. Соч. в 4-х тт. — М., 1994. Т. 3. С. 252.

Когда мы переключаем свое внимание на политическую жизнь в современных государствах, то она кажется гораздо более подходящей для методологического изучения и механистических моделей или теорий. В нашем политическом и общественном ландшафте преобладают огромные структуры, заранее определенный облик которых воплощает в себе многие из предпосылок и принципов методологизма. Они сформированы намеренно, протекающие в них процессы состоят из четко определенных «шагов», а их функционирование осуществляется за счет разделения специализированного труда, суммарный эффект которого кажется чудесным образом непропорциональным скромным талантам тех, кто их создает. Эти структуры проецируют регулярность и стабильность на основные измерения нашего существования, тем самым формируя условия, в которых методологическое исследование может с реальными надеждами на успех реализовывать свой поиск научно верифицируемого знания (что может быть более обнадеживающим, чем знание того, что политический и общественный мир были намеренно устроены так, чтобы производить регулярное и предсказуемое поведение?). Кроме того, учитывая, что эти организации — плод разума, а не мистических исторических сил, у нас есть все основания с гораздо большей, чем Гоббс или Вико, уверенностью повторять впервые сформулированный последним принцип: «мы можем их познать, так как мы сами их создали».

Тем не менее именно такое развитие событий предвидел (и опасался) величайший из современных философов метода Макс Вебер: мир холодной, грозной и почти стерильной реальности, в которой доминируют огромные безличные бюрократические структуры, сводящие на нет стремления тех героев, которые были описаны Вебером в его «Политике как призвании и профессии». Грядущий мир в его описании был миром, в котором будет властвовать «полярная ночь ледяной мглы и суровости»⁸⁰. В каком-то фундаментальном смысле наш мир в отличие от всех предыдущих превратился в плод сознательного замысла, плод теорий о человеческих структурах, сознательно созданных, а не исторически сложившихся. Но в каком-то ином смысле воплощение теорий в мире привело к возникновению мира, не восприимчивого к теориям. Гигантские рутинизации

⁸⁰ Вебер М. Политика как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные сочинения. — М., 1991. С. 705.

рованные структуры сопротивляются попыткам фундаментальных изменений, в то же самое время они производят впечатление своей неопровержимой легитимности, так как те рациональные, научные и технологические принципы, на которых они основаны, находятся в полной гармонии с эпохой, преданной науке, рационализации и технологии. Кроме того, это тот мир, который, как кажется, сделал эпические теории излишними. Как предвидел Гегель, теория должна отныне принять обличие «объяснения». Создается такое ощущение, что это самое подходящее время для полета совы Минервы.

Похоже, что сам мир утверждает то же, что и лидеры бихевиоральной революции: ненужность эпической теории. Однако единственная сложность заключается в том, что мир являет все новые знаки своего распада; наши политические системы не работают, в наших коммуникационных сетях царит какофония. Американское общество дошло до той точки, когда города становятся непригодными для обитания, молодежь утрачивает страсть, расы находятся в постоянных войнах друг с другом, а надежды, имущество и жизни молодых людей этого общества растрачиваются в постоянных иностранных авантюрах. Весь наш мир угрожает стать аномальным.

Однако среди этого хаоса официальная политическая наука демонстрирует самодовольство, которое сводит к минимуму даже ее способность к описанию окружающего мира. Можно понять, когда десять лет назад политический ученый утверждал, что лишь «фанатик» будет стремиться к «максимизации» политического равенства и народного суверенитета за счет других ценностей, таких как досуг, частная жизнь, консенсус, стабильность и статус. Однако сегодня позиция, подобная представленной в недавнем сборнике работ, зачитанных перед Американской ассоциацией политической науки (APSA) и затем опубликованных под его эгидой: «Наша дисциплина наслаждается новой согласованностью, приятным чувством единства и уверенной идентичностью, которая оказывается совместимой с быстрым ростом и здоровым внешним видом»⁸¹, имеет гораздо меньше оправданий. Поланьи замечает, что «это нормальная практика для ученых — не замечать те факты, которые кажутся несовместимыми с принятой системой научного знания, в надежде на то, что они окажутся ложными или излишними»⁸². С таким настроением американские политические ученые продолжают тратить гигантские силы на объ-

⁸¹ *Pool I. de Sola* (ed.). *Contemporary Political Science*. — NY, 1967. P. VII. Статьи Эксбтин и Даля исключены из сборника.

⁸² *Polanyi M. Personal Knowledge*. — NY, 1964. P. 138.

яснение того, как изобретательно работают различные организации во имя политической социализации наших граждан, а также во имя будущих граждан, а в это время толпы уничтожают целые кварталы городов, студенты сопротивляются установленным в кампусах правилам поведения и властям, а новое поколение ставит под вопрос весь перечень гражданских обязанностей. В то время как американские политические ученые трудолюбиво превращают тезис об «инкрементализме» в догму и превозносят его достоинства как по-настоящему «реалистичного» стиля принятия решения, всем очевидно, что общество страдает от болезней — упадок городов, возрастающий культурный и экономический разрыв между меньшинством и большинством, кризис образовательной системы, разрушение окружающей среды, борьба со всем этим требует принятия самых решительных и радикальных мер.

Посреди всего этого политический ученый с одобрением цитирует следующую фразу, характерную для современных социологов: «Утверждать, что существующий порядок является несовершенным в сравнении с альтернативными порядками, которые при тщательном анализе оказываются несбыточными, значит фактически утверждать, что существующий порядок совершенен»⁸³.

Это утверждение четко разводит политических ученых и методологов с примыкающими к ним эмпирическими теоретиками. Различие это пролегает не между теориями, являющимися нормативными, и теми, которые таковыми не являются; а также не между теми политическими учеными, которые имеют склонность к теоретическим размышлениям, и теми, которые ее не имеют. Скорее это различие проходит между теми, кто хочет принудить теорию опираться на факты, которые отбираются в соответствии с тем, что определяется функциональными требованиями существующей парадигмы, и теми, кто верит, что в силу того, что факты богаче теорий, задачей теоретического воображения является переутверждение новых возможностей. В рамках теоретического понимания основной пафос современной политической науки является не столько антитеоретическим, сколько направленным на обесценивание теории. Наиболее часто этот момент выражается в обеспокоенности бихевиоралистов, которые обнаруживают, что философия демократии предъявляет чрезмерные требования к «реальному миру» и, следовательно, задачей политической науки является предложение более реалистичной версии демократической теории. Так авторы *«Гражданской культу-*

⁸³ Цит. по: Wilkowsky A. The Politics of the Budgetary Process. — Boston, 1964. P. 178.

ры» признают возможность «объяснения» низкой активности политического участия со стороны граждан «дисфункцией демократии». Однако они предупреждают, что объяснение такого рода опирается на убеждение в том, что «реальность политической жизни должна быть изменена для того, чтобы соответствовать чьим-то теориям политики». «Чуть более простое и, наверное, более полезное занятие, — как они указывают, — вытекает из того взгляда, что теории политики должны выводиться из реальностей политической жизни». В силу того, что «стандарты теории были чрезмерно завышены», теория должна быть подкорректирована⁸⁴.

Может ли такое быть, что сова Минервы, проносясь в этих приятных многоголосных сумерках по миру, становящемуся все более согласованным, начинает сбиваться с курса и озвучивать «чрезмерно завышенные» требования и надежды? Впрочем, такое вполне может быть, особенно если мы вспомним, что, согласно греческой скульптуре, питомцем Минервы была визжащая сова, а визг — это звук как предупреждения, так и боли.

*Перевод с английского
Дмитрия Узланера*

⁸⁴ Almond G. A., Verba S. The Civic Culture. — Princeton, 1963. P. 475.

ИДЕОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА И ГУМАНИЗМ¹

Сегодня гуманизм понимается, с одной стороны, как противоположность науке, а с другой — жизни в гражданском обществе. Таким образом, предполагается, что социальные науки формируются естественной наукой, опытом жизни в гражданском обществе и гуманизмом; или что сфера социальной науки расположена в той области, в которой соединяются естественные науки, опыт жизни в гражданском обществе и гуманизм, по крайней мере, к этому они стремятся. Давайте рассмотрим, каким образом следует понимать это единение.

Из трех упомянутых элементов только естественные науки и гуманизм в академической жизни могут считаться легитимными. Наука и гуманизм не всегда и не во всем соглашаются друг с другом. Все мы знаем ученых, которые презирают и игнорируют гуманизм, а также гуманистов, которые презирают и игнорируют естественные науки. Для того чтобы понять этот конфликт, напряжение или различие между наукой и гуманизмом, на некоторое время нам следует обратиться к XVII столетию — веку, когда начала зарождаться современная наука. В то время Паскаль противопоставил дух геометрии (то есть научный дух) духу *finesse*². Мы можем охарактеризовать значение этого французского слова, обратившись к таким понятиям, как нежность, утонченность, такт, деликатность, восприимчивость. Научный дух характеризуется отстраненностью и прямолинейностью, которые проистекают из простоты или из упрощений. Дух изящности характеризуется привязанностью, любовью, а также широтой. Те принципы, к которым склонен дух науки, чужды здравому смыслу. Принципы, характерные для духа изящности, входят в область здравого смысла, тем не менее они едва заметны; их скорее ощущают, нежели видят. Они

¹ Перевод сделан по: *Strauss L. Social Science and Humanism // The Rebirth of Classical Political Rationalism. An Introduction to the Thought of Leo Strauss.* — Chicago — London, 1989. P. 3–12.

² Изыщества (фр.). — Прим. ред.

не располагают к тому, чтобы мы могли сделать из них предпосылки мышления. Дух изящности используется не мышлением, он необходим для того, чтобы одним взглядом охватить неосмысленное целое в его самых характерных чертах. То, что сегодня составляет контраст между наукой и гуманизмом, представляет собой более или менее основательную модификацию дистинкции, проведенной Паскалем между духом геометрии и духом изящества. И в том, и в другом случае дистинкция подразумевает, что в отношении понимания человеческих вещей дух науки имеет строгие ограничения — ограничения, которые преодолеваются путем определенно ненаучного подхода.

Каковы те ограничения, которые мы наблюдаем сегодня в рамках социальных наук? Социальная наука состоит из целого ряда специализированных дисциплин, которые все более специализируются. Сегодня не существует ни одной социальной науки, которая могла бы заявить, что она изучает общество как таковое, общественного человека как такового или такие целостные образования, существование которых мы подразумеваем, когда говорим, например, об этой стране — Соединенных Штатах Америки. Токвиль и лорд Брайс не являются представителями современной социальной науки. Время от времени та или другая специальная или специализированная наука (например, психология или социология) заявляет о том, что она является исчерпывающей или фундаментальной; но эти заявления всегда сталкиваются с последовательным и оправданным возражением. Сотрудничество различных дисциплин может расширить горизонты сотрудничества индивидов, но оно не может объединить сами эти дисциплины, оно не может придать их отношениям истинный иерархический порядок.

Можно сказать, что специализация целиком проистекает из следующей предпосылки: для того чтобы понять целое, необходимо проанализировать или разложить его на элементы, необходимо изучать эти элементы сами по себе и только затем необходимо реконструировать целое или заново составить его, начиная с простых элементов. Реконструкция подразумевает, что целое может быть схвачено разумом до того, как мы приступим к анализу частей. Однако если первоначальному схватыванию целого не хватает определенности или глубины, то как анализ, так и синтез будут направляться искаженным взглядом на целое — плодом плохого воображения, а не вещью во всей ее полноте. А те элементы, к которым приходит анализ, в лучшем случае будут частью элементов. Исклнчительное господство специализации означает, что к реконструкции даже нельзя приступить. Причину невозможности реконструкции можно обозначить следующим образом: целое, как известное заранее, является продуктом здравого

смысла: но сущностью научного духа или, по крайней мере, тем, как этот дух проявляет себя в рамках социальных наук, является недоверие к здравому смыслу или даже отказ от него. Понимание, с точки зрения здравого смысла, выражает себя в повседневном языке; ученым, который занимается социальными науками, создает или изобретает специальную научную терминологию. Таким образом, научная социальная наука приобретает особую абстрактность. Ничего неправомерного в абстракции нет, но то же самое нельзя сказать про абстрагирование от сущности. Социальная наука в той степени, в которой она является именно научной, абстрагируется от существенных элементов социальной реальности. Я привожу цитату одного философски подкованного социолога, который очень благоприятно расположен по отношению к научному подходу в социальных науках: «То, что социологи называют „система“, „роль“, „статус“, „ролевое ожидание“, „ситуация“ и „институционализация“, переживается индивидуальным актором на социальной сцене совсем в других понятиях». И это не равносильно тому, чтобы сказать, что граждане и социальные ученые подразумевают одно и то же, но по-разному. Так как «социальному ученому как теоретику приходится следовать системе понятий, полностью отличных от тех, которым приходится следовать акторам на социальной сцене [...], его проблемы проистекают из теоретического интереса, многие элементы социального мира, которые с научной точки зрения использовать можно, абсолютно не адекватны, с точки зрения актора, на социальной сцене, и наоборот». Социальный ученый, придерживающийся научных принципов исследования, заинтересован в исследовании закономерностей поведения; гражданин желает хорошего правления. Для граждан имеют значение ценности — ценности, в которые верят и которые ценят, более того, ценности, которые переживаются как реальные качества реальных вещей: человека, действий и мыслей, институтов, критериев. Социальный ученый, придерживающийся научных принципов исследования, проводит строгое разграничение между ценностями и фактами: он считает себя не вправе выносить какие-либо ценностные суждения.

Для того чтобы противостоять опасностям, связанным со специализацией, настолько, насколько этим опасностям вообще можно противостоять в рамках социальных наук, необходимо сознательное возвращение к мышлению с точки зрения здравого смысла — возвращение к точке зрения граждан. Мы должны определить целое, с оглядкой на которое нам следует выбирать темы исследований и осмысливать результаты этих исследований в контексте общих целей всего общества. Сделав это, мы поймем социальную реальность такой, какой она

видится в социальной жизни идущим и широко мыслящим людям. Другими словами, истинной матрицей социальной науки является мастерство жизни в гражданском обществе, а не общее понятие науки или научного метода. Социальная наука должна быть либо просто производной от мастерства жизни в гражданском обществе — в этом случае не будет большого вреда, если она не увидит леса за деревьями, — либо, если она не хочет забывать ту благородную традицию, из которой вышла, и если верит, что существует возможность просветить мастерство жизни в гражданском обществе, то она действительно должна видеть дальше него, но глядеть в ту же сторону, что и оно. То, чем занимается социальная наука, должно быть идентичным, по крайней мере вначале, тому, что составляет интерес гражданина или государственного служащего; следовательно, она должна говорить или учиться говорить на языке граждан или государственных деятелей.

С этой точки зрения, главной темой социальной науки в этом столетии и в этой стране будет демократия или, если быть более точным, либеральная демократия, особенно в ее американской форме. Либеральная демократия будет изучаться с постоянной оглядкой на существующие или возможные альтернативы, следовательно, особенно с оглядкой на коммунизм. Вопрос, поставленный коммунизмом, будет встречаться с сознательной, серьезной и безжалостной критикой. В то же самое время опасности, свойственные либеральной демократии, будут признаваться откровенно, так как друг либеральной демократии не является ее льстецом. Чувствительность к подобной опасности будет заостряться, а если нужно, то и пробуждаться. С научной точки зрения, на политически нейтральное — то, что свойственно всем обществам — надо смотреть как на ключ к политически актуальному — тому, что является отличительной чертой различных политических режимов. Но с противоположной точки зрения, которую я пытаюсь описать в общих чертах, упор делается на политически актуальное — на злободневные вопросы.

Следовательно, социальная наука не может удовлетвориться общими целями целых обществ в том их виде, в каком они по большей части понимаются в общественной жизни. Социальная наука должна прояснять эти цели, вычленять их самопротиворечие, равнодушие и стремиться к познанию истинных общих целей обществ. Следовательно, единственной альтернативой еще более специализированной, еще более бесцельной социальной науке является социальная наука, управляемая легитимной королевой социальных наук — традиционно известной под именем этики. Даже сегодня трудно, имея дело с социальными вопросами, постоянно избегать таких понятий,

как «человек с сильным характером», «честность», «доляльность», «гражданское образование» и т. д.

Это или что-то типа этого люди и имеют в виду, когда говорят о гуманистическом подходе в отличие от научного подхода к социальным феноменам. Мы все еще должны считаться с термином «гуманизм». Социальный ученый исследует человеческие общества или сообщества людей. Если он хочет оставаться верным своей миссии, он никогда не должен забывать, что имеет дело с человеческими вещами, с людьми. Он должен размышлять о человеке как о человеке. И он всегда должен иметь в виду тот факт, что сам он является человеком, и что социальная наука — это всегда своего рода самопознание. Социальная наука, являясь человеческим познанием человеческих вещей, включает в качестве своей основы человеческое знание о том, что составляет человечность, или скорее даже о том, что делает человека полноценным и цельным, то есть истинным человеком. Эквивалентом социальной науки у Аристотеля является свободное исследование человеческих вещей, а его «Этика» является первой фундаментальной и направляющей частью этого исследования.

Но если под социальной наукой мы понимаем познание человеческих вещей, не должны ли мы прийти к заключению, согласно которому освещенное веками разделение между социальной³ и гуманитарной⁴ науками должно быть отброшено? Наверное, мы должны еще на один шаг последовать за Аристотелем и провести различие между жизнью общества и жизнью разума и, следовательно, приписать изучение первого — социальной науке, а изучение второго — или определенного рода изучение второго — гуманитарной. Наконец, существует еще одна импликация термина «гуманизм» — противопоставление изучения человека изучению божественного. Предварительно я ограничусь замечанием, что гуманизм подразумевает следующее, моральные принципы более познаваемы человеком или вызывают меньше противоречий, чем теологические принципы, среди образованных людей.

С помощью размышлений над тем, что значит быть человеком, обретается большее осознание того, что является общим для всех людей, пускай и в различной степени, и тех целей, к движению по направлению к которым предрасположены все люди самим фактом того, что они являются людьми. Горизонты обыкновенного гражданства, как, впрочем, и любые другие, преодолеваются, а достигаются

³ Имеются в виду экономика, право, антропология, социология, политическая наука. — *Прим. ред.*

⁴ Подразумеваются литература, философия, история. — *Прим. ред.*

горизонты гражданства мира. Гуманизм как осознание отличительных черт человека, равно как и отличительных черт обязанностей и свершений человека, проистекает из человечности: из серьезной и беспокойности за человеческую доброту, а также за улучшение и открытие разума человека — смеси стабильного такта и безмятежности, с трудом завоеванной, — и последней по порядку, но не по значению, свободой от деградации или бесчувственности, в особенности вызванной тщеславием или притворством. Существует искушение сказать, что быть негуманным — то же самое, что быть необучаемым, то есть неспособным или нежелающим слушать других людей.

Тем не менее даже если было сказано все, что можно и нельзя сказать, то гуманизма было бы недостаточно. Человек, будучи, по крайней мере, потенциально цельным, является частью еще большего целого. Составляя своего рода мир и даже будучи этим миром, человек является лишь маленьким миром, микрокосмом. Макрокосм — то целое, которому человек принадлежит, не является человеком. Это целое или его истоки либо еще не является человеком, либо превосходит его. Человека нельзя понять с его собственной точки зрения, его можно понять только в свете того, что либо еще им не является, либо того, что превосходит его. Либо человек является случайным продуктом слепой эволюции, либо процесс, который привел к появлению человека и кульминацией которого он стал, был изначально направлен к появлению человека. Простой гуманизм избегает этого конечно-го вопроса. Человеческое значение того, что мы стали называть Наукой, состоит именно в этом — в том, что человек, или высшее, понимается в свете того, что человеком не является, или низшего. Простой гуманизм бессилен противостоять натиску современной науки. Именно с этой позиции мы можем начать заново понимать первоначальный смысл науки, современное значение которой является лишь ее модификацией: наука как попытка человека понять целое, к которому он принадлежит. Социальная наука как изучение человеческих вещей не может основываться на современной естественной науке, хотя она с полным правом может воспользоваться не только ее методами, но и результатами, но как сугубо второстепенными. Социальные науки должны рассматриваться как вклад в истинно универсальную науку, частью которой являются и современные естественные науки.

Если подвести итог, то рассмотрение социальной науки в духе гуманизма обозначает возвращение от абстракции и конструкции научной социальной науки к социальной реальности, означает новый взгляд на социальные феномены, прежде всего взгляд с точки зрения граждан и государственных деятелей, а затем с точки зрения граждан

мира, в двойном смысле слова «мир»: мира как человеческой расы и мира как всеобъемлющего целого.

Гуманизм, как я попытался его представить, сам по себе не является очень уж умеренным подходом. Но, глядя вокруг себя, я нахожу, что здесь и сейчас он представляет собой экстремистскую версию. Некоторые из вас могут подумать, что было бы более уместно представить среднестатистическое, а не эксцентричное мнение современного гуманистично настроенного социального ученого. Я тоже чувствую в этом необходимость, но я не могу с этим согласиться ввиду того, что среднестатистическое мнение очень нечетко. Следовательно, я опишу близкий мне крайний взгляд или, скорее, одно из его возможных выражений, которое настолько же хорошо, насколько и любое другое выражение крайности. Среднестатистический ученый, ориентированный на методы гуманизма, в наших целях может быть описан с помощью указания на то, что он находится где-то посередине между двух крайностей.

Тот гуманизм, к которому я теперь обращаюсь, обозначает себя как релятивистский. Гуманизмом его можно назвать по двум причинам. Во-первых, он считает, что социальные науки не могут строиться на основе естественных наук ввиду того, что первые имеют дело с человеком. Во-вторых, он не движим ничем, кроме открытости к человеку. Согласно этому взгляду методы науки — естественной науки — адекватны для изучения тех феноменов, к которым у нас есть доступ только извне и которые находятся на некотором отдалении от нас. Но социальные науки имеют дело с феноменами, суть которых на самом деле недоступна для отстраненного наблюдателя, но которые открывает себя, по крайней мере в некоторой степени, ученому, проживающему жизнь человека, которого он изучает, и понимающему жизнь актора с той точки зрения, которая отличается как от его собственной точки зрения, так и от точки зрения стороннего наблюдателя. Любые взгляды действующего человека определяются оценкой, или, по крайней мере, они друг от друга неотделимы. Следовательно, понимание изнутри обозначает принятие тех ценностей, которые являются общими в изучаемых обществах и среди индивидов, проживающих в этих обществах или в признании этих ценностей «сценически» истинными ценностями, или же в признании той позиции, которую рассматривают как истинную человеческие существа в качестве таковой. Если такое понимание практикуется достаточно часто и интенсивно, то приходит понимание того, что эти перспективы или точки зрения не могут критиковаться. Все позиции такого рода являются одинаково истинными и одинаково ложными: истин-

ными изнутри, ложными снаружи. Тем не менее, несмотря на то, что их нельзя критиковать, их можно понимать. Однако я имею столько же прав на свою точку зрения, сколько и любой другой человек или общество. И каждая перспектива неотделима от оценки, я как действующий человек, а не просто как социальный ученый вынужден критиковать взгляды других и их ценности, на которых основано их существование или которые они утверждают во вне. Это не ведет к моральному нигилизму, так как вера в ценности дает нам силу и направление развития. Равным образом мы не заканчиваем перманентной войной всех против всех, так как нам позволено «доверять разуму и столу переговоров во имя мирного сосуществования».

Давайте кратко рассмотрим эту позицию, которая на первый взгляд привлекает к себе внимание благодаря явной щедрости и несдерживаемой симпатии любому человеческому проявлению. Возможно, устаревшую разновидность релятивизма можно оспорить следующим способом. Давайте определим нигилизм как неспособность выступать за цивилизацию против каннибализма. Релятивист утверждает, что объективно цивилизация ничем не лучше каннибализма, так как можно предложить столько же аргументов за и против цивилизации, сколько и за каннибализм. Тот факт, что мы противостоям каннибализму, полностью обязан своим существованием нашему историческому положению. Историческая ситуация, приведшая к вере в цивилизацию, может уступить место исторической ситуации, которая приведет к вере в каннибализм. Ввиду того что релятивист не считает цивилизацию сущностно лучше каннибализма, он спокойно воспримет смену цивилизованного общества на общество каннибалов. Тем не менее релятивизм, который я сейчас обсуждаю, отрицает точку зрения, что наши ценности просто определяются нашим историческим положением: мы можем преодолеть наше историческое положение и понять совершенно другие точки зрения. Другими словами, нет никаких достаточных оснований быть уверенным в том, что англичанин не сможет стать японцем. Следовательно, наша приверженность определенным ценностям не может быть прослежена далее того решения или того выбора, который мы сами и сделали. Можно даже сказать, что в той мере, в которой мы все еще способны на то, чтобы размышлять о связи наших ценностей с нашим положением, мы все еще пытаемся избежать ответственности за наш выбор. Однако, если мы заявляем нашу приверженность ценностям цивилизации, сама эта приверженность позволяет нам и даже заставляет нас яростно противостоять каннибализму и предостерегает нас от того, чтобы мирно принять деградацию нашего общества по направлению к нему.

Выступать за свои убеждения — среди всего прочего означает защищать их от оппонентов не только делом, но и словом. Слова в оценках, которые мы ценим. Те, кто колеблется в своей преданности тем, чему отдать свои предпочтения, они не знают, должны ли предпочесть цивилизации каннибализм. Выступая для них, мы не можем допустить валидности ценностей цивилизации, ведь, согласно предпочтениям, не существует никакого способа убедить их в истинности этих ценностей. Следовательно, речь, призванная поддержать дело цивилизации, будет не рациональным дискурсом, а простой «пропагандой» — пропагандой, которая будет столько же легитимна и, вероятно, столь же эффективна, сколько и пропаганда в пользу каннибализма.

Такое понимание человеческого положения, как утверждается, достигается благодаря практике симпатического понимания. Считается, что только симпатическое понимание делает адекватной критику других точек зрения. Ту критику, которая не основывается ни на чем, кроме нашей преданности другим взглядам, и которая, следовательно, не отрицает право наших оппонентов на их убеждения. Другими словами, только симпатическое понимание позволяет нам по-настоящему понять характер ценностей и тот способ, каким они легитимно принимаются. Но что такое симпатическое понимание? Оно зависит от нашего собственного убеждения или оно от него не зависит? Если оно не зависит, то я, как человек, имею убеждения, но в другой своей стезе, там, где я социальный ученый, убеждения у меня отсутствуют. В этой своей второй стезе я, так сказать, полностью пуст и, следовательно, полностью открыт к восприятию и оценке любых убеждений и ценностных систем. Я следую процессу симпатического понимания для того, чтобы достичь ясности своих собственных убеждений, и это несколько не ставит их под угрозу, так как только часть меня вовлечена в симпатическое понимание. Однако это означает, что подобное симпатическое понимание является не серьезным или истинным, а, по существу, «сценическим», как оно само себя называет. Для того чтобы правильно понять систему ценностей определенного общества, нужно быть глубоко тронутым и поистине захваченным теми ценностями, которых придерживается то общество, которое мы исследуем, и полностью принять с оглядкой на всю свою жизнь притязание этих ценностей на то, чтобы быть истинными. Верное понимание убеждений других, следовательно, неизбежно связано с переутверждением своих собственных первоначальных убеждений. Кроме этого, из неизбежного разделения между серьезным пониманием и сценическим пониманием следует, что

лишь мои собственные убеждения, моя собственная «глубина» могут, вероятно, раскрыть для меня убеждения и глубину других человеческих существ. Следовательно, мое восприятие необходимо ограничено моими убеждениями. Универсальное симпатическое понимание невозможно. Грубо говоря, невозможно обладать пирожным и одновременно его есть; невозможно наслаждаться преимуществами универсального понимания и преимуществами экзистенциализма.

Вероятно, было бы неправильно утверждать, что все позиции целиком покоятся на убеждениях или в какой-то степени на определенной точке зрения. Мы все помним времена, когда большинство людей эксплицитно или имплицитно верили, что существует одна и только одна истинная система универсальной валидности и до сих пор существуют общества и индивиды, придерживающиеся такой точки зрения. Их позицию также необходимо попытаться понять симпатически. Разве не будет это суровым и даже неправильным лишать Библию и Платона той привилегии, которой щедро наделяется каждое дикое племя? И не приведет ли нас симпатическое понимание Платона к утверждению, что абсолютизм так же истинен, как и релятивизм, или что Платон был столь же прав в своем осуждении других ценностных позиций, как и релятивист, который никогда никого не осуждает? На это наш релятивист, убедившись, что в пользу такой позиции не существует никаких оправданий, кроме убеждений Платона, ответит, что, несмотря на то, что платоническая система является столь же истинной, как и любая другая, абсолютистские интерпретации Платоном своей ценностной системы точно так же, как и любые другие абсолютизмы, должны быть абсолютно и безоговорочно опровергнуты. Однако это означает, что взгляды Платона, как их понял релятивист, в том виде, в каком они открываются нам, если мы симпатически примем платоновскую точку зрения, были опровергнуты: мы увидели, что они покоятся на ложных теоретических посылах. Легитимность так называемого симпатического понимания с необходимостью заканчивается там, где рациональная критика раскрывает ложь той позиции, которую мы пытаемся понять симпатически; и возможность такой рациональной критики необходимо допускается релятивизмом, так как, по его утверждению, он отвергает абсолютизм на рациональной основе. Пример Платона вовсе не является исключением. Где вне определенных кругов современного западного общества мы находим те ценностные позиции, которые не опираются на теоретические предпосылки того или иного рода — предпосылки, которые утверждают, что они являются абсолютно и универсально истинными, и легитимность рациональной критики которых

не ставится под сомнение? Я опасюсь, что поле, на котором релятивисты могут практиковать симпатическое понимание, ограничивается сообществом релятивистов, которые понимают друг друга с большой симпатией, так как их объединяет одно и то же фундаментальное убеждение или скорее рациональное озарение истиной релятивизма. То, что утверждает себя как конечный триумф над провинциализмом, оказывается его самой яркой манифестацией.

Существует яркий контраст между явным смирением и скрытым высокомерием релятивизма. Релятивист с негодованием и призранием отрицает абсолютизм, свойственный нашей великой западной традиции — с ее верой в возможность универсальной и рациональной этики или естественного права; он обвиняет эту традицию в провинциализме. Его сердце отдано простым необразованным людям, которые берегут свои ценности без того, чтобы делать завышенные утверждения в свою пользу. Но эти простые люди не практикуют сценическое или симпатическое понимание. В отсутствии такового они не принимают эти ценности единственным легитимным образом, то есть не основанным ни на чем, кроме убеждения. Иногда они отрицают западные ценности. Вместе с этим они вовлекаются в неправомерную критику, так как валидная критика предполагает сценическое понимание. Следовательно, они столь же провинциальны, сколь провинциальны Платон и Библия. Единственными людьми, которые не являются провинциальными, являются западные релятивисты и их вестернизированные последователи в других культурах. Они одни правы.

Никто и не спорит, что релятивизм, если им руководствоваться, приведет к полному хаосу, так как говорить одновременно, что нашей единственной защитой от войны между обществами и внутри обществ является разум и что, согласно разуму, «те индивиды и общества, которые в своей системе ценностей считают, что они имеют право подавлять и завоевывать других», так же правы, как и те, кто любит мир и справедливость, означает апеллировать к разуму, уничтожая его.

Многие ученые, ориентированные на гуманизм, осведомлены о неадекватности релятивизма, но они боятся обратиться к тому, что называется «абсолютизмом». Им можно посоветовать склониться к умеренному релятивизму. Вопрос о том, имеет ли этот релятивизм солидную основу, на мой взгляд, является самым важным вопросом в современной социальной науке.

*Перевод с английского
Александра Павлова
и Дмитрия Узланера*

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ¹

Мнение² о том, что политическая теория находится на грани исчезновения, с ужасающей скоростью распространяется по цеху политической науки. Во главе профессиональных плакальщиков находится Альфред Коббан, как никто другой много сделавший для того, чтобы превратить суждение о том, что политическая теория находится в полнейшем упадке, в практически неоспоримое клише. Эссе Коббана уже почти десятилетней давности³ с очевидностью захватило умы внушительной части представителей политической науки, причем некоторые из них уже прибегли к похоронным метафорам, чтобы описать нынешнее состояние политической теории⁴. Я считаю, что подобное суждение в корне неверно и что длительное согласие с ним лишь скрывает тот факт, что сегодня делаются значительные усилия для восстановления политической теории в качестве исследовательской традиции. То, что Коббан описывает как упадок политической теории, есть, с моей точки зрения, кризис позитивистской политической науки. Он зафиксировал неизбежный упадок политической теории, ограниченной рамками дискурса позитивистской

¹ Перевод сделан по изданию: *Germino D. The Revival of Political Theory // The Journal of Politics. 1963. Vol. 25. № 3. P. 437–460. — Прим. ред.*

² Автор выражает благодарность фонду Рокфеллер и Колледжу Уэллесли за содействие.

³ *Cobban A. The Decline of Political Theory // Political Science Quarterly. 1953. Vol. LXVIII. P. 321–337.* Ту же тему Коббан развивает в своей книге «В поисках человечности». См. *Cobban A. In Search of Humanity. — London, 1960. P. 20–29, 229–245.*

⁴ Среди прочих см.: *Easton D. The Political System. — NY, 1953. Ch. 10; Robert A. Dahl. Political Theory // World Politics. 1958. Vol. XI. P. 89–102; Laslett P. Introduction to Philosophy // Politics and Society. — NY, 1956. Диагноз Даля и Ласлета — политическая теория «мертва».*

вселенной, в которой правит дихотомия «факт – ценность». Коббан упускает из виду тот факт, что политическая теория есть эмпирическая наука о правильном порядке в человеческом обществе и что теория никогда не может быть искуплена или интеллектуально легитимирована через потакание субъективным «ценностным» спекуляциям. Политическая теория сможет расцвести, подобно тому, как это было раньше, лишь через восстановление прочной онтологии и адекватной эпистемологии, – это потребует отказа от физикалистской интерпретации опыта, которая десятилетиями доминировала в политической науке. Масштабная философская трансформация такого рода уже полным ходом идет в нашей дисциплине. Имеющиеся уже сейчас результаты позволяют выдвинуть суждение о том, что наступает период, когда мы сможем стать свидетелями полноценного возрождения политической теории. Это сильное утверждение, но я не делаю его без достаточного на то основания.

МЕТАТЕОРИЯ

Прежде всего необходимо рассмотреть то, что Коббан и иные ученые считают предосудительным: метатеорией или теорией теории⁵. Невозможно ответить на вопрос о нынешнем состоянии политической теории без первоначального ответа на вопрос о ее природе. Тот факт, что данный вопрос является предметом постоянных разногласий между современными политическими учеными, делает вопрос погружения в глубины метатеории еще более насущной проблемой,

⁵ Коббан заявил, что он отказывается «на основе абстракций вырабатывать то, как нужно мыслить о политике», так как «те выводы, к которым мы придем, будут определены теми предпосылками, с которых мы начинаем, а мы вряд ли начнем с тех предпосылок, к которым не испытываем склонности. Cobban A. The Decline of Political Theory // Political Science Quarterly. 1953. Vol. LXVIII. P. 330. Безусловно, без использования подобных предпосылок не обойтись (мы лишь примем их без всякой критики, если притворимся, что избежали их). Именно поэтому нам следует с максимальной щепетильностью подвергать их открытому сознательному критическому исследованию.

Подобная враждебность к метатеории в нашей профессии на сегодняшней день очень распространена, ее мотивирует антитеоретический импульс к действию, к «занятию работой», к «прекращению несмолкаемой болтовни о том, что мы должны делать». Однако же, если та «работа», которую мы «делаем», по своей сути не верна, тогда все превращается в пустую трату времени.

которую нельзя отдавать на откуп веселому эклектизму из-за того, что различия в интерпретациях между теми авторами, которые используют термин «политическая теория» так, как если бы это был синоним идеологии, теми авторами, которые приравнивают его к научной методологии, и теми, кто рассматривает его как науку о принципах правильного порядка, — если брать три нынешних подхода, выявленных в огромном количестве существующей литературы, — столь обширны, что данные подходы просто не пересекаются.

Коббану есть что сказать полезного относительно метатеории. Под видом атаки на метатеоретическое предприятие, он на самом деле выражает очень важный принцип, который здесь крайне полезен: природа политической теории не может быть обнаружена вне ее истории. («К счастью нам не нужно изобретать политическую теорию, она была изобретена давным-давно. Если существует правильный способ рассмотрения ее проблем, то, как я думаю, нам следует быть достаточно скромными для того, чтобы считать, что это, скорее всего, тот путь, которым шли все величайшие политические мыслители прошлого»⁶.) Политическая теория — это человеческая деятельность, которая выделилась и развилась в особых исторических условиях. Следовательно, политическая теория не имеет никакой сущности в строгом, философском, смысле этого слова; это не реальность с онтологическим статусом. Это деятельность, которая через сочленение критически очищенных символов описывает и указывает на реальность в той степени, в которой та имеет какое-либо отношение к проблемам человеческого порядка в обществе.

Коббан прав в своем призыве к ученым изучать сочинения великих политических теоретиков прошлого с целью дойти до сути той метатеории, которая содержится в их исследованиях. Действительно, было бы самонадеянно и бессмысленно утверждать, что нам следует начинать с *tabula rasa*⁷, как если бы не существовало никакой традиции теоретического изучения политики⁸. Однако далее Коббан допускает ошибку: он не проводит должного различия между уровнями политической мысли. Существуют явные деления мыслителей по их ран-

⁶ Cobban A. The Decline of Political Theory // Political Science Quarterly. 1953. Vol. LXVIII. P. 330.

⁷ Чистая доска (лат.). — Прим. ред.

⁸ Самонадеянно и бессмысленно не в силу того, что традиция сама по себе ценна, но в силу того, что существует постоянство человеческой природы и вечный характер тех проблем, с которыми сталкивается человек в своем социальном существовании.

гу в зависимости от размаха тех проблем, к которым они обращаются, их отношения к собственному исследованию, а также критической изощренности используемых концептов. Есть большая разница между Платоном и Антифоном, Фомой Аквинским и Марсилием Падуанским, Руссо и Вольтером, Гегелем и Бёрком. Как я считаю, эта разница есть то, что отделяет настоящего политического теоретика от публициста. В этом суть того решающего различия, которое упускает Коббан.

Отказ признавать существование различных уровней политической мысли приводит Коббана к тому, чтобы подводить всех политический мыслителей, не исключая теоретиков, под категорию публицистов. Объединяющим принципом, который здесь используется, становится предполагаемый факт того, что «они все писали, имея в уме некую практическую цель», и были по своей сути «партийными людьми»⁹. Такие публицисты, как Бентам, Бёрк и Ласки, — наиболее часто цитируемые Коббаном примеры великих «политических теоретиков» — конечно, писали с определенной практической позиции. Они стремились прежде всего к тому, чтобы повлиять на ход событий путем отстаивания или, наоборот, противостояния определенным институциональным реформам, которые горячо обсуждались в их время. Разработка метафизических и антропологических принципов, на основе которых они выстраивали свои предложения для политического действия, была их вторичным занятием (как результат в плане метафизики их работы явно хромали). Я утверждаю, что порядок приоритетов у истинных политических теоретиков был обратным¹⁰.

⁹ «Совершенно очевидно, что все они писали, имея практическую цель в голове. Они писали для того, чтобы осудить или поддержать существующие институты, чтобы оправдать политическую систему или убедить своих сограждан изменить ее [...]. Я предполагаю, что политическая теория в прошлом была по своей сути практической. Политический теоретик в таком понимании был партийным человеком, а сами партийные люди не боялись приправлять свою практику элементами теории» *Cobban A. The Decline of Political Theory // Political Science Quarterly. 1953. Vol. LXVIII. P. 330.*

¹⁰ В своем «Введении в метафизику» Анри Бергсон объясняет, что первоначальная тенденция человеческой мысли — руководствоваться практической, а не теоретической ориентацией, и что требуются мощные усилия для того, чтобы обратить вспять эту установку и достичь по-настоящему теоретического взгляда. *Bergson A. Introduction to Metaphysics. — NY, 1912. P. 40.* Следовательно, стоит ожидать, что теоретики будут встречаться гораздо реже публицистов. (Я никоим образом не утверждаю, что публицисты не должны существовать, я просто утверждаю, что они не являются теоретиками.)

Таким образом, создатели великих научных трактатов, а не авторы знаменитых полемических работ должны считаться теми «парадигмальными мыслителями», которые снабдили нас «пробными камнями» (touchstones) (согласно Мэтью Арнольду¹¹), с помощью которых можно отличить политическую теорию от прочих форм мышления о политике, и которые должны выступать в качестве наших гидов в современной попытке политической теории открыть себя заново. Вряд ли кто-либо оспорит наше решение поместить на вершину списка великих политических мыслителей Платона, Аристотеля, Фому Аквинского, Макиавелли, Гоббса, Руссо и Гегеля. (Можно вполне обоснованно утверждать, что еще целый ряд фигур также достоин того, чтобы войти в этот славный перечень, однако вне всяких сомнений в этом кругу должны быть *по крайней мере* семь вышеперечисленных мыслителей.)

Следовательно, можно согласиться с Коббаном, что «если и существует правильный путь рассмотрения [...] проблем [политической теории], то это путь всех великих политических мыслителей прошлого». Однако же нам следует быть более разборчивыми в отношении рангов политических мыслителей, а также в вопросе вычленения тех мыслителей, которые могли бы выступить в качестве парадигмальных фигур.

Обладают ли эти великие политические мыслители общим видением задачи политической теории? Существует ли среди них *consensus magnus*¹² относительно природы и цели политической теории? Как мне кажется, подобный консенсус существует.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Именно грекам мы обязаны разделению между теоретической, практической и продуктивной деятельностью. Филологи утверждают, что

¹¹ См.: Arnold M. The Study of Poetry // Selected Essays of Matthew Arnold. — London, 1924. P. 1–37. Особенно см.: P. 11, 14. «Критики слишком уж утруждают себя выяснением того, что в самых абстрактных чертах составляет суть высокого качества поэзии. Гораздо лучше и проще обратиться к конкретным примерам: взять примеры поэзии высокого и самого высокого качества и сказать: суть высокого качества поэзии — то, что здесь выражается». Mutatis mutandis, то же самое может быть сказано о политической теории.

¹² Великое согласие (лат.). — Прим. ред.

слово «*theoria*» первоначально обозначало деятельность людей, называемых *theoroi*, они совершали «исследовательские визиты» на рынок или «зрителем». Глагол *theorin* обозначал рассматривать или «вникать в зрелище» в смысле наблюдения за ним в буквальном смысле этого слова¹³. С постепенным появлением метафизики сложилось к акту знания или внутреннего видения через «глаз разума».

Как сообщает нам Платон в диалоге «Государство», *theoria* — это то, чем занимается философ, когда разрывает свои цепи и ускользает из тьмы пещеры, чтобы «наблюдать» зрелище *agathon*. Посредством внутреннего созерцания *nous theoros* способен проникать сквозь покрывало видимости и приходить в своих суждениях о природе реальности к *episteme*¹⁵, как противоположности *doxa*¹⁶. От Аристотеля мы узнаем, что теоретическое знание является знанием во имя себя самого, а не во имя какой-то утилитарной цели и что *bios theoretikos*, то есть жизнь, сводящаяся к философскому созерцанию, есть высшая и самая достойная для человека жизнь. В отличие от цели практического знания, коей является действие, целью теоретического знания является понимание¹⁷.

Но как основатели политической науки понимали политическую теорию? Здесь следует упомянуть любопытный факт: ни Платон, ни Аристотель не пользовались особым термином «политическая теория», но всегда использовали выражение «политическая наука» (*episteme politike*). Как отметил профессор Лео Штраус, термин «политическая теория» не использовался для обозначения изучения поли-

¹³ Bill P. Notes on the Greek thedros and thedria // Transaction of the American Philological Association. 1901. Vol. XXXII. 196ff.; *Theoria* // Enciclopedia Italiana. См. также раздел о раннем значении понятия *theoria* у Карла Керкни: *Kerknyi C. The Religion of the Greeks and Roman.* — NY, 1962. P. 141–154. Он делает особый упор на те религиозные ассоциации, с которыми изначально ассоциировался данный термин у греков.

¹⁴ О том же самом предмете и более подробно см. статью Майкла Оукшота, включенную в это издание. — Прим. ред.

¹⁵ Научное знание.

¹⁶ Мнение.

¹⁷ См.: в особенности «Этику» и «Метафизику» Аристотеля. *Аристотель. Этика* // Аристотель. Соч. в 4-х тт. — М., 1984. Т. 4. Кн. I, VI, X; *Аристотель. Метафизика* // Аристотель. Соч. в 4-х тт. — М., 1976. Т. 1. Кн. первая (А). Гл. 2. Обратите внимание на то, что Коббану не удалось провести эти различия.

тики вплоть до XIX столетия¹⁸. Должны ли мы в силу этого последовать за Штраусом и утверждать, что и Платон, и Аристотель воспринимали изучение политики как практическую, а не теоретическую дисциплину? Это очень сложный вопрос, о чем свидетельствуют выдвинутые попыткой ответить на него теоретические проблемы у таких более поздних комментаторов, как Фома Аквинский и Иоанн Святой Фома¹⁹. Эта сложность обуславливается гибридной природой теоретического размышления о политической практике: политическая теория земноводна, она одновременно обитает как в пространстве теории, так и в пространстве практики.

Платон и Аристотель были осведомлены о том родстве, которое существует между *episteme politike* и теоретическим исследованием. В «Государстве» (258–260) Платон позволяет незнакомцу Элеату поразмыслить над этой проблемой и прийти к выводу о том, что «королевская наука» является разновидностью теоретического знания, предназначенного для того, чтобы «управлять», а также «судить». Аристотель, хотя и отказывался рассматривать *episteme politike* среди чисто теоретических наук, — в которые, по его мнению, входили только физика, математика и теология²⁰ — явно имел представление о том, что «главная наука» является не просто практической²¹.

¹⁸ Штраус Л. О классической политической философии? // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 61. См. также: Штраус Л. Эпилог // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000.

¹⁹ Иоанн Святой Фома (Иоанн Пойнсот) (1589–1644) — теолог. Обучался в университете Люве, в котором получил степень бакалавра теологии. В 1612 году он вступил в орден доминиканцев, приняв имя Иоанна Святого Фомы, под которым и вошел в историю. Его теологические и философские сочинения считаются одними из основных в традиции томизма. Кроме того, Иоанн Святой Фома признан одним из наиболее выдающихся интерпретаторов работ Фомы Аквинского. — Прим. ред.

²⁰ Конечно, политическая теория неминуемо опирается на психологию или философскую антропологию, которая у Аристотеля входила в состав физики. Каждая политическая теория должна опираться на учение о человеческой природе, а та, в свою очередь, является чем-то фиксированным, доступным для теоретического анализа, то есть в своей сущности она не может быть ни чем, кроме того, чем она является.

²¹ Этот тезис умело отстаивает сэр Эрнст Баркер в работе: Barker E. The Political Thought of Plato and Aristotle. — NY, 1959. P. 239. Баркер цитирует «Политику» Аристотеля (1279 b13 и 1338b) для явного подтверждения своей интерпретации.

Со всей очевидностью можно утверждать, что *episteme politike* в том смысле, в котором она дошла до нас в «Государстве» и «Законах» Платона, а также в «Этике» и «Политике» Аристотеля, не является таковым, предназначенным в первую очередь для влияния на практическое поведение человека. Ни Платон, ни Аристотель не сочиняли учебников практической политики внутри стен своей академии. Вместо этого они искали пути для «наблюдения» на политической деятельностью и для фиксирования всего, что представало их взору в качестве существенного для понимания данного феномена. Хотя они и преследовали свои интересы, им удалось создать по-прежнему спекулятивную и практическую науку, являющуюся одно исследование практической деятельности, то есть это теоретическая теория является формой того, что Маритен называл спекулятивно-практическим знанием, или, согласно выражению Иоанна Святого Фомы, политическая теория рассматривает «то, что является действием [...], не как действие, но как предмет для изучения и вопрос об истине»²².

Таким образом, термин «политическая теория» выглядит наиболее точным переводом классической *episteme politike*. Давайте иметь в виду, что первоначально «политическая теория» и «политическая наука» были синонимами друг друга. *Theoria*²³ была созерцательной деятельностью по исследованию тех принципов, которые составляли *episteme*²⁴. Наука была всего лишь формой передачи результатов теоретических исследований разума. Платон, Аристотель (и все великие мастера политической теории после них) были неспособны мыслить в терминах современного различения между политической теорией и политической наукой. Политическая теория была политической наукой, никакая наука не могла существовать без теории. Подобно тому, как мы часто говорим о теории либо как о процессе тео-

²² The Material Logic of John of St. Thomas. — Chicago, 1955. P. 33. (Q. I. Art. 4 Cursus Philosophicus Thomisticus). См. также относящиеся к данному вопросу разделы из работы Жак Маритена: *Maritain J. Degrees of Knowledge*. — NY, 1938. Интерпретация политики как спекулятивно-практической науки высказывается Фомой Аквинским в его комментарии к кн. I «Политики» Аристотеля. См. отрывок, начинающийся со слов «Sicut enim scientiae speculativae...» в: Aquinas Opera Omnia. — Paris, 1889. Vol. XXVI. P. 90; этот же отрывок воспроизводится в следующей работе: Aquinas Selected Political Writings. — Oxford, 1948. P. 198.

²³ Теория (лат.). — Прим. пер.

²⁴ Наука (лат.). — Прим. пер.

ретизирования, либо как о результатах этого теоретизирования, политическая теория может легитимно и уместно использоваться как синоним политической науки.

Подобно всякой иной науке, политическая теория претендовала на то, чтобы основывать свои выводы на *наблюдениях* за очерченным аспектом реальности. Или, если сказать то же самое иными словами, политическая теория основывалась на человеческом *опыте* и должна рассматриваться как *опытная наука*. Суждения политической науки должны были рассматриваться не как субъективное мнение очень оригинального философа, но как *объективно верифицируемые* посредством созерцательного повторения того опыта, к которому эти суждения относились. Политическая теория была наукой человека — антропологической наукой — и ее выводы основывались на наблюдениях за природой человека в ее постоянных и универсальных аспектах. Каждый человек был соучастником этой общей человеческой природы и потенциально был способен удостовериться в учениях политической теории, касающихся природы человека в политическом контексте, посредством упражнения своего разума через рациональное исследование различных измерений его собственного индивидуального опыта. Последнее слово важно: опыт был контролирующей инстанцией, но он также был многомерным, добавляющим к миру чувственных впечатлений реальность этического и метафизического переживания, то есть он подразумевал поиск истоков и целей человеческого существования. Каждый уровень опыта должен исследоваться тем органом, который лучше всего для этого подходит: феномен чувственного опыта должен исследоваться с помощью физических органов, однако этический и метафизический опыт может быть ухвачен лишь с помощью *nous*, или ока разума. Именно благодаря обладанию когнитивной способности *nous* человек способен заниматься теорией, то есть задавать вопросы «что?» и «почему?»; человек как единственное живое существо, обладающее данной способностью, является в высшей степени теоретическим животным, которое одно озадачено тайной существования.

Таким образом, нам удастся извлечь из первоначальных платонисто-аристотелевских формулировок некоторые отличительные черты политической теории и политического теоретика. Политический теоретик — тот тот, кто ищет прежде всего знания политической реальности во имя самого этого знания, а не во имя какой-то сиюминутной практической цели. При этом его знание вполне может быть использовано в качестве руководства для правителя или гражданина в их практических делах. Он основывает свое политическое зна-

ние на своем понимании сущностной природы человека, так как естественный политический порядок будет отражением порядка внутри души типичного человека. В соответствии со своим основанием на опыте пониманием человеческой природы, он будет конструировать модель парадигмального общества или наилучшего режима. Он станет исследовать отношение между «естественным» порядком и теми типами режимов, которые возникают в истории, устанавливая то, в какой степени последние отклоняются от этого порядка и игнорируют его принципы, и описывая или по крайней мере намекая на те последствия, которые ждут неестественную форму правления в силу ее собственного внутреннего беспорядка. Следовательно, политического теоретика характеризует: его теоретический настрой или «установка», тот круг проблем, с которым он имеет дело, факт того, что его исследование связывает политику с тотальностью человеческого переживания, а также его амбиция прийти к выводам, которые могут претендовать на статус знания, и, следовательно, иметь универсальную применимость для всех людей во все времена.

В рамках данной статьи придется довольствоваться не более чем краткими иллюстрациями, подтверждающими тезис о том, что политическая наука в духе своих греческих основателей смогла выжить и превратиться в исследовательскую традицию, нить которой протягивается и в Новое время. В соответствии с уже объявленным принципом обращения за ответом на вопрос «Что такое политическая теория?» к работам общепризнанных «вершин» истории политической мысли, дальнейшее обсуждение сведется к рассмотрению пяти оставшихся парадигмальных фигур, которые были упомянуты выше: Фома Аквинский, Макиавелли, Гоббс, Руссо и Гегель. Несмотря на явные различия в их философских антропологиях и вытекающих из них размышлений о лучшем режиме, все эти люди понимали политическую науку как опытную науку о порядке в человеческом обществе. Если переформулировать фразу Коббана, они все писали с теоретической целью на уме и со стремлением определить некоторые вечно верные принципы. Они все считали, что их суждения могут быть верифицированы во внутреннем опыте читателей, они искали скорее глубинное познание философствующего теоретика, чем многознание ученого-эмпирика или ноу-хау идеологически ориентированного социального инженера. Следовательно, единство политической теории как традиции исследования будет обретаться не столько в конечных выводах, сколько в том, какие вопросы задаются, каков настрой того разума, который их формулирует, и каков метод, используемый для их исследования.

Пресмственность платоно-аристотелевской концепции политической теории легко прослеживается в работах Фомы Аквинского, теоретические дары которого со всей силой раскрываются в его анализе природы закона в Вопросе № 90 (и далее) *Prima Secundae Partis* «Суммы Теологии», а также в его меньших трактатах, таких как «О правлении государей». В работах Макиавелли эта пресмственность гораздо менее очевидна. В основном это связано с тем, что в том, что касалось *suntit bonit*, или высшего блага для человека, он выступал против учения как классической, так и христианской политической теории. По сути, Макиавелли заменил добродетель властью или славой в качестве высшей цели человеческих дел и, таким образом, представил нам концепцию природы политики, которая находится в радикальной оппозиции к той, что мы находим у его предшественников. Однако же если мы отделимся от данных выводов и обратимся к рассмотрению его целей, методов и того круга проблем, который он рассматривает, то обнаружим, что он, по сути, продолжает ту самую традицию, против которой выступает. Во вступительном послании к своей главной работе «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» он провозглашает: «Я вложил все свои знания о делах этого мира, усвоенные мною благодаря длительному опыту и усердному чтению»²⁵. Иными словами, он декларировал сущность своего теоретического устремления, суть которого состоит в том, чтобы поместить политику в тотальность своего опыта и писать на максимально широком холсте. Мы слишком долго пренебрегали философской стороной сочинений Макиавелли. На самом же деле Макиавелли представил законченное учение о природе человека и тех целей, которые он преследует в обществе согласно своей природе.

В случае с Томасом Гоббсом мы явно находимся в присутствии мастера политической теории всех времен. Гоббс был настолько предан беспристрастному стремлению к знанию о политике, что появление «Левиафана» обрушило на него гнев не только роялистов, но и антироялистов Англии. («Я знаю, что тот, кто станет говорить об истинной природе человека, обретет значительно меньше благодарности, чем он того заслуживает», — размышлял он в посвящении к своему «Основу философии»)²⁶. То было примечательным дости-

²⁵ Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Н. Макиавелли. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. — М., 2002. С. 7. — Прим. ред.

²⁶ Гоббс Т. Основ философии // Т. Гоббс. Соч. в 2-х тт. — М., 1989. Т. 1. С. 70. Преданность Гоббса поиску философской истины как самоценному занятию

жением, иллюстрирующим как теоретик в противоположность публицисту зачастую идет против течения всех доминирующих мнений своего времени. Теоретик не есть тот человек, который потворствует массовым движениям, он находится в очень напряженных отношениях с окружающей средой, гораздо чаще являясь одиночкой, аутсайдером, чем человеком команды²⁷.

Гоббс предлагает нам беспрецедентную интерпретацию природы политики, опирающуюся на тезис о том, что избегание *summit*²⁸, насильственной смерти, а не преследование *summit bonum*²⁹ есть естественная цель человека. Во введении к «Левиафану» Гоббс обращает наше внимание на опытную основу притязаний своей политической теории на статус верифицируемого знания. Чтобы протестировать его взгляды, говорит он, «взгляните на самих себя». Универсальность природы человека делает возможным для тех, кто готов поучаствовать в интенсивном размышлении, протестировать предположения *episteme politike* Гоббса в своем собственном опыте.

Важность умения провести различие между теоретиком и публицистом (или идеологом) нигде так не ясна, как в случае с тем спором, который по-прежнему не утихает в отношении того, как следует правильно интерпретировать Руссо. Руссо, рассмотренный как производитель утопических схем для универсальной социальной революции, вполне правдоподобно превращается в отца эксцессов французской революции и, возможно, даже современного тоталитаризма. Однако же, если его работы понимаются из самих себя, тогда такая аргументация волей-неволей превращается в абсурд. Интеллектуальное исследование Руссо, рассмотренное в своих собст-

нигде не проявляется столь же четко, как в его чудесном послании к читателю, которое предваряет его «Основ философии»: «Пусть твое мышление (если ты желаешь серьезно работать над философией) вознесется над хаотичной бездной твоих рассуждений и экспериментов»; философия, или «стремление к мудрости», — высшее из наслаждений, «падкие на удовольствие люди» пренебрегают философией «только потому, что не знают, какое огромное наслаждение может доставить постоянное и мощное соприкосновение души с прекраснейшим из миров». Гоббс Т. Основ философии // Т. Гоббс. Соч. в 2-х тт. — М., 1989. Т. 1. С. 71–72.

²⁷ Вряд ли можно обнаружить политического теоретика в качестве председателя Национального исполнительного комитета рабочей партии или, например, в качестве обозревателя в «Национальном обозрении».

²⁸ Малое благо (лат.). — Прим. ред.

²⁹ Высшее благо (лат.). — Прим. ред.

венных терминах, становится памятником политической теории во всем ее величии.

В сочинениях Руссо наличествуют все необходимые элементы, которые вместе составляют теоретическую конструкцию. Его основной труд «Об общественном договоре» является не трубным призывом к немедленному социальному обновлению в глобальном масштабе, но спокойным, трезво написанным трактатом, написанным для разъяснения вечных «принципов политического права» (по словам самого Руссо). «Об общественном договоре» должна была быть, по словам самого автора, «книгой на все времена». Основная часть этого трактата посвящена описанию образцового общества, основанного на правильно понятой антропологии. Однако как всякий истинный политический теоретик он знал о существовании разрыва между политическим режимом в его теоретической чистоте и конкретными политическими сообществами в условиях реального исторического воплощения. Как Платон и Аристотель, он видел неизбежную необходимость в смягчении модели во имя исторического «реализма»³⁰; следовательно, он был способен предложить правящему классу Польши модель конституции, которая по своей федеральной структуре была очень далека от его собственной идеала, описанного в «Об общественном договоре».

Последний мастер теории и «пробный камень» великой политической теории, которые будут здесь рассмотрены — это Гегель и его «Философия права». Поистине если уж кто-нибудь и является теоретиком политической теории³¹, то это Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Никакой другой мыслитель никогда не утверждал с большей основательностью, что политическая теория является не субъективной идеологией, но опытной наукой, и что ее суть в том, чтобы понимать, а не в том, чтобы трансформировать, выявлять, а не воплощать мир политики. Несомненная верность Гегеля теории как таковой и его презрение к утопическому социальному проектированию ясно излагаются в предисловии к его вышеуказанному шедевру:

Итак, данная работа, поскольку в ней содержится наука о государстве, будет попыткой постичь и изобразить государство как нечто разумное в себе.

³⁰ Описывать политическую «теорию» как «идеалистическую», а политическую «науку» как «реалистическую», — конечно, нелепость, однако же эту дихотомию можно слишком часто даже сегодня встретить в кругах представителей политической науки.

³¹ В оригинале «political theorist's theorist». — Прим. ред.

В качестве философского сочинения она должна быть дальше всего от того, чтобы конструировать государство таким, каким оно должно быть; [...] его цель лишь показать, как государство, этот нравственный универсум, должно быть познано³².

Все это максимально далеко от того «партийного человека» Коббана, который пишет с целью агитации за социальную реформу, и максимально близко к духу правильно понимаемой политической теории.

ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Многие политические ученые сегодня утратили понимание того, каков исторический смысл понятия «политическая теория». Вместо того чтобы рассматриваться в качестве экспериментальной науки о правильном устройстве общества, политическая теория гораздо чаще отождествляется с идеологией. Курсы политической теории превратились в обзоры «истории идей», отражающих различное «состояние мнений» разных исторических эпох. Если мы взглянем на значение слова «идеология», то оно оказывается прямой противоположностью того, как политическая теория традиционно сама себя понимала. Идеология социально обусловлена, политическая теория же претендует на то, чтобы делать открытия, имеющие непреходящую ценность. Идеология является проекцией субъективных «ценностных суждений»; теория позиционирует себя как научное наблюдение за опытными фатами. Идеология — это ориентированная на действие система идей, используемая участниками в политической борьбе для критики или оправдания некоторой институциональной модели; теория — по преимуществу дело наблюдателя, который прежде всего стремится познать истину, а не определить направление политической деятельности. Идеология чаще всего продвигается в форме катехизиса для массового пользования;

³² Гегель Г. Ф. В. Философия права. — М., 1990. С. 54–55. Мимоходом стоит заметить, что интерпретация политической мысли Гегеля как изолированного оправдания предположительно «реакционного» Прусского государства (на самом деле, когда писал Гегель, Пруссия была относительно «прогрессивной» — однако это мало относится к сути проблемы), не говоря уже ничего о тех карикатурах на него как на предтечу тоталитаризма, — интересные симптомы того интеллектуального кризиса, который сделал проблему восстановления теоретической традиции насущной проблемой.

теория возникает в сложных трактатах, которые скорее всего будут читаться лишь узким кругом склонных к философствованию людей.

Столь далеко зашедшая трансформация понимания теории по сравнению с тем, как ее понимали серьезные политические мыслители ранее, могла произойти лишь после обширного и хорошо подготовленного покушения на само теоретическое предприятие. Истоки этого антитеоретического движения, стремящегося похоронить политическую теорию в том ее виде, как она развивалась в качестве исследовательской традиции, следует искать в интеллектуальном климате постреволюционной Франции. Антитеоретическая атака изнутри «социальных наук» была впервые предпринята Антуаном Дестютом де Траси, а затем Огюстом Контом. Траси, который создал в 1801 году термин «идеология» (хотя под ним он понимал научный метод поиска истоков идей, а не их непосредственное субъективное содержание), в конечном счете выводил все человеческие идеи из материальных нужд и интересов человека. Следуя эпистемологии Кондильяка и Гельвеция, Траси исповедовал радикальный «сенсуализм» и считал, что всякое мышление есть только чувство. Опыт сводился к чувственному опыту, а все суждения, относящиеся к иным измерениям опыта, провозглашались воображаемыми и нереальными, то есть результатом заблуждения. По сути отрицалась онтологическая реальность сферы внутренней жизни духа как таковой, все «идеи» были эпифеноменами природы, простым отражением естественных и биологических условий.

Идеология, или «*science des idées*», понималась Траси как полная противоположность того, что он называл метафизическим размышлением. Метафизика, писал он, на протяжении столетий была вовлечена в бесплодные попытки «определить начало и конец всего, выяснить истоки и назначение мира. Такова цель метафизики. Мы считаем ее искусством воображения, которое призвано удовлетворять нас, а не инструктировать»³³. Идеология была естественной наукой, цель которой состояла в открытии законов, определяющих происхождение и развитие идей. Ее следует рассматривать как раздел зоологии. «Незнание интеллектуальных способностей животного есть неполное знание животного. Идеология есть часть зоологии, ее изучение важно прежде всего в тех вопросах, которые имеют отношение к человеку». Интеллект человека должен наблюдаться и описываться «так, как наблюдают и описывают свойство минерала или овоща или примечательную особенность из жизни животного...»³⁴.

³³ Предисловие к работе: *Tracy A. D. Elemens d'Ideologie*. 5 vols. — Paris, 1817.

³⁴ Там же.

Сужение сферы опыта до сферы чувственного и последующее ограничение социальных наук до предпосылок, подлежащих верификации через чувственное восприятие, которое мы находим у Траси, было возведено Контом в ранг основополагающих догм позитивистской методологии. Подобно тому, как Траси изобрел идеологию-оружие, с помощью которого можно было ослабить политическую теорию, Конт изобрел термин позитивизм для того, чтобы заменить старое понятие *episteme politique*. Позитивистское течение мысли, возникшее в социальных науках в XX столетии, черпает свои истоки в плодородном разуме Конта. В своей работе «Discours sur l'Esprit positif» («Рассуждение о духе позитивизма») 1844 года Конт сообщает нам, что позитивистский или истинно научный метод анализа основывается на «реальном» опыте в отличие от «химерического» (то есть «метафизического»)³⁵. Позитивистские священники, хранители новых заповедей, отправляют в мусорную корзину все метафизические размышления, под эту категорию подпадают все прежние политические теории. Почти схожие выводы примерно в это же время были сделаны молодым Марксом, который утверждал, что всякий мнимый этический, религиозный и метафизический опыт был субститутот природы, продуктом «ложного» или отчужденного сознания. Действительно, тогда же, когда Конт публиковал «Рассуждение о духе позитивизма», Маркс писал в своей работе, которая ныне называется «*Nationalökonomie und Philosophie*»³⁶, что сама постановка вопросов об истоках и назначении человека и общества есть отражение иррационального и отчужденного социального окружения. В трансформированной среде окончательного коммунистического общества новому «социалистическому человеку» даже не придет в голову ставить подобные вопросы³⁷. Он поймет, что теория и практи-

³⁵ Согласно Конту, термин «позитивное» символизирует реальное как противоположность химерическому, полезное как противоположность паразитическому, уверенность как противоположность неуверенности, точность как противоположность размытости, организующее как противоположность разрушающему, относительное как противоположность абсолютному. *Meiner F. Verlag editor of Discours.* — Hamburg, 1956. P. 84ff.

³⁶ Вероятно, автор имеет в виду произведение Карла Маркса, получившее наименование «Экономическо-философские рукописи 1844 года». См.: *Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года* // *К. Маркс. Социология.* — М., 2000. — *Прим. ред.*

³⁷ См. великолепное издание ранних работ Маркса под редакцией Зигфрида Ландшута: *Landshut S. (herausg.) Die Friihsschrijten.* — Stuttgart, 1953. P. 246–248.

ка едины и что практическая деятельность, связанная с производством, одновременно и творит реальность, и является ею. Философы, как позднее писал Маркс в «Немецкой идеологии», до сих пор занимались лишь тем, что объясняли мир, теперь же пришло самое время им понять, что их задача — его изменить³⁸.

Влияние вышеуказанных доктрин на политическую мысль XIX века было колоссальным. За этот век политическая теория как исследование природы и целей политической деятельности, основанное на многомерной, а не физикалистской интерпретации опыта, была практически утеряна.

Политическая мысль стала все больше заниматься проблемами, имеющими отношение скорее к средствам, чем к вопросам целей. Последние принимались без всякого критического осмысления. Внутри политической науки взлет позитивистской методологии был столь стремительным, что на рубеже веков он стал доминирующим подходом среди европейских исследователей. Позитивизация американской политической науки была несколько запоздалой — лишь в 1920–1930-х годах позитивизм крепко утвердился в США³⁹. Вместе с этой переменой была переосмыслена и сама политическая «наука»; она стала обозначать нечто совсем иное, нежели *episteme politike* Аристотеля и других великих мыслителей. Отныне политическая наука моделировалась по образцу физики или биологии, она должна была выявлять причинные связи, знание которых затем позволило бы наблюдателю делать точные предсказания относительно политического поведения. Новая политическая наука, вооруженная опытным редукционизмом Траси и Конта, отказывалась считать наукой большую часть работ «великих»: их мысль была «метафизической», следовательно, неэмпирической, неverified, «бесмысленной» и нереальной. Действительно, понятие «опыт» в дискурсе позитивизма стало обозначать исключительно чувственный

³⁸ Джермино определенно ошибается. На самом деле афоризм, который, как считает Джермино, предложен Марксом в «Немецкой идеологии», составляет 11-й тезис марксова сочинения «Тезисы о Фейербахе». См.: Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. в 50-ти тт. 2-е изд. — М., 1955. Т. 3. — Прим. ред.

³⁹ Наилучшее краткое описание данного процесса — то, что содержится во вступительных главах монументальной работы Арнольда Брехта: *Brecht A. Political Theory. The Foundations of Twentieth-Century Political Thought*. — Princeton, 1959. Брехт симпатизирует этому развитию, однако четко перелагает позицию антибихевиоралистов — с этой задачей многие позитивисты явно не справляются.

опыт⁴⁰. Для позитивиста метафизические и этические суждения были «не годными для познания, они годились лишь для исповедания». Лишь те предположения являлись научными, которые могли быть верифицируемы через экспериментальный метод, противоположный опыту. Мир физически наблюдаемых «фактов» был реальным миром; наука не могла дать нам никакой информации о том, насколько обоснованными могут быть те или иные цели, разделяемые людьми, так как «мнения» последних о том, что такое благо, относятся к субъективным эмоциям, а не к объективным фактам. Если говорить словами Макса Вебера, исследования которого столько сделали для того, чтобы доказать неадекватность того понятия, за утверждение которого он боролся, высшим достижением социальной науки будет конструирование «науки, свободной от ценностей» (*wertfrei Wissenschaft*).

Торжествующая позитивистская ориентация не могла не уничтожить политическую теорию в том ее виде, в каком она была известна; во имя методологического «очищения» она не могла не свести теорию до приниженной роли служанки, до политической науки, понимаемой в бихевиоралистских терминах. Теория отождествилась с экспериментальной гипотезой, и только те предположения, которые могли быть протестированы в понятиях чувственного опыта, были приняты в святилище теории. Следовательно, могли существовать «теории» электорального поведения, принятия решений, социальных изменений и тому подобного, но не могло существовать теории принципов правильного действия в политике, так как все это не верифицируемо в категориях чувственного наблюдения. Раз-

⁴⁰ Двух цитат из целого моря источников будет достаточно для иллюстрации. Одна из Ричарда Шмидта, писавшего в Германии в начале века, другая из Рудольфа Карнапа, ключевого члена Венского кружка, который служил колыбелью логических позитивистов, чья позиция ныне столь влиятельна в социальных науках. Карнап писал примерно тридцать лет спустя после Шмидта в своей работе «Единство науки». Шмидт: «Новая политическая наука освобождает себя от спекулятивной точки зрения, откладывает метафизический вопрос об идее Государства в сторону и ограничивает себя миром опыта (*Erfahrungswelt*)». Schmidt R. Allgemeine Staatslehre. Vol. I. P. 117. Карнап: «Метафизические суждения — это все те суждения, которые претендуют на статус знания о чем-либо, что находится выше или по ту сторону от всякого опыта, например, о реальной сущности вещей самих по себе, об Абсолюте и тому подобном». Бесчисленное число суждений подобного рода можно обнаружить в сочинениях современных политических бихевиоралистов.

не стоит удивляться тому, что по мере того, как позитивистское понимание политической науки набирало популярность, политическая теория в ее традиционном понимании рушилась.

Однако не все социальные ученые были довольны сложившейся ситуацией. Некоторые из тех, кто принял базовые позитивистские установки, думали о необходимости восстановления в рамках политической теории важных и актуальных вопросов, которыми та занималась до своего «очищения». Первая попытка была сделана в Европе, где внушительная школа неокантианцев принялась настаивать на неизбежности ценностных суждений в научном исследовании и отнесении к ценности (*Wertbezogenheit*) фактических суждений. В США значимое движение в эту же сторону началось лишь после Второй мировой войны. Оно преследовало цель решить ту дилемму, которую перед ним поставило ослабление политической теории в условиях господства позитивизма.

Эта попытка может быть охарактеризована как спасательная операция изнутри самого позитивизма. Предложенное «решение» начинается с принятия догмы дихотомии «факт — ценность». Дэвид Истон, «Политическая система» которого внесла определяющий вклад в нынешнюю интеллектуальную расстановку сил, прямо утверждает, что он принимает «работающее допущение [...], общераспространенное в социальных науках» о том, что «ценности могут быть в конечном счете сведены к эмоциональным откликам, обусловленным тотальным жизненным опытом индивида». Факты и ценности являются «логически гетерогенными».

Фактическая сторона суждения относится к части реальности, следовательно, она может быть удостоверена ссылкой на факты. В этом смысле мы можем проверить его истинность. Нравственная же сторона суждения выражает лишь эмоциональный ответ индивида на наличие реальных или предполагаемых фактов... Мы можем сказать, что та сторона суждения, которая относится к фактам, является истинной или ложной, однако ценностную сторону суждения бессмысленно характеризовать таким образом⁴¹.

Принципиальное противоречие позиции Истона (которая может быть названа аксиологически-позитивистской) заключается в том, что, согласно ей, дихотомия «факт — ценность» не вынуждает политического ученого как «политического теоретика» избегать ценностных

⁴¹ Easton D. The Political System. — NY, 1953. P. 221.

суждений в беспощадной погоне за *wertfrei Wissenschaft*. Наоборот, полностью избавиться от бремени придавать когнитивный статус своим этическим размышлениям (это было необходимым условием в прежней допозитивистской модели). Теоретику следует стать «нравственным архитектором, пользующимся воображением». Иначе говоря, «нравственной теорией». Политическая теория, понимаемая как «нравственная аксиологическая позиция Истона была выражена Дуайтом Уэлдо, который, соглашаясь с представлением о том, что «ценность» является «позитивным или негативным предпочтением», одновременно настаивает на том, что «политическим теоретикам следует практиковать „нравственную архитектуру“ (*imaginative moral architecture*) и участвовать своим творческим воображением в построении утопии [...]». Кто же, как не политические теоретики должны проектировать пути организации политических аспектов нашей жизни»⁴².

Одновременно с Истоном (хотя Истон занимается этим более основательно) Альфред Коббан в своем вышецитированном эссе отстаивает тот же самый путь восстановления политической теории. Коббан строго отделяет политическую «науку» от «теории» («Задача науки показать, как все происходит и почему, через связь причины и следствия»). «Что я имею в виду, — писал он в статье 1953 года, — так это то, что в задачи науки не входит выдвижение этических суждений [...]». Сдругой стороны, политический теоретик самым существенным образом обеспокоен проблемой обсуждения того, что должно быть. Его суждения в своей основе являются ценностными суждениями»⁴³.

Единственная сложность предложенного решения заключается в том, что оно лишь увековечивает тот самый интеллектуальный кризис, для разрешения которого было предназначено. Чтобы ни вышло из этого аксиологического ревизионизма (а такие позитивисты, как Арнольд Брехт, не были расположены к тому, чтобы его принять⁴⁴),

⁴² Waldo D. «Values» in the Political Science Curriculum // R. Young (ed.). *Approaches to the Study of Politics*. — Evanston, 1958 P. 96—111. Особенно P. 111.

⁴³ Cobban A. *The Decline of Political Theory* // *Political Science Quarterly*. 1953. Vol. LXVIII. P. 335.

⁴⁴ См. его комментарий на работу Истона в сочинении «Политическая теория»: Brecht A. *Political Theory. The Foundations of Twentieth-Century Political Thought*. — Princeton, 1959. См. также: Easton D. *The Political System*. — NY, 1953. P. 502.

оно не может иметь потенциальный эффект восстановления политической теории, так как истинная политическая теория не имеет ничего общего с «проектированием» ценностей и конструированием утопии. *В качестве опытной науки политическая теория предпринимает попытку обнаружить место политической деятельности в структуре совокупной реальности.* Подобно своему бихевиоралистскому двойнику теоретик должен «тестировать» свои суждения отсылкой к «опыту», однако диапазон того опыта, который он охватывает, гораздо шире, чем опыт, ограниченный физическим ощущением тактильной видимостью. Можно пересмотреть работы политических теоретиков от Платона до Гегеля, но нигде не будет найдено ни единой ссылки на специфический термин «ценностное суждение» или на ту концепцию, к которой он отсылает, но лишь под другим названием. Эту же идею выразил один из ведущих представителей того, что можно условно называть «движением» за восстановление политической теории в качестве опытной, если не экспериментальной науки: термины «ценностное суждение» и «наука, свободная от ценностей» не были частью философского языка вплоть до второй половины XIX века. Понятие ценностного суждения (*Werturteil*) бессмысленно само по себе; оно обретает свой смысл в ситуации, в которой противостоит суждениям, касающимся фактов (*Tatsachenerurteile*). Эта ситуация была создана позитивистским убеждением в том, что лишь суждения, касающиеся фактов феноменального мира являются «объективными», тогда как суждения, касающиеся правильного порядка души и общества, являются «субъективными» [...]. Эта классификация имела смысл лишь, если позитивистская догма принималась в принципе⁴⁵...

Теоретик не волен выступать в пользу любых предпочтений, которые по каким бы то ни было причинам засядут в его воображении (или, если выражать то же самое на более изощренном языке, обладают для него эмоциональной притягательностью), так как свои выводы он делает из своего понимания той реальности, в которой сам участвует. Все великие политические теоретики прошлого согласились бы в принципе с томистской максимой о том, что *bonum et ens convertuntur*⁴⁶, они бы согласились, что ответ на аксиологический вопрос о том, что должно быть, содержится в ответе на онтологический вопрос о том, что существует в реальности⁴⁷.

⁴⁵ Voegelin E. The New Science of Politics. — Chicago, 1952. P. 11.

⁴⁶ Бытие и благо обратимы (лат.). — Прим. ред.

⁴⁷ Что не идентично вопросу о том, «что существует». См.: Hallowell J. H. The Moral Foundation of Democracy. — Chicago, 1954. P. 24–25: «Бытие и благо находятся

Когда теоретики предлагали свои суждения о наилучшей и «естественной» жизни человека в обществе, они, и это правда, говорили о том, что человеку «надлежит» делать, однако это «надлежит» не рассматривалось как субъективное предпочтение или «ценностное суждение», но как опытный факт, «надлежит» есть «ощущаемое напряжение между порядком бытия и поведением человека»⁴⁸. (Расхождения между различными политическими теоретиками касались их разного понимания того, что говорит опыт о самой онтологической структуре.)

Аксиологическая позитивистская позиция никогда не сможет преуспеть в спасении политической теории от забвения, к которому ее приготовил «ценностно-нейтральный» позитивизм. Если она и добьется чего-либо, так это превращения «политических теоретиков» в упрямых идеологов. Аксиологический подход, питающий надежду возродить политическую теорию, может лишь довершить ее разрушение. Если исследователь и впрямь примет догму о том, что всякое размышление о правильном порядке в обществе и психике является безнадежно субъективным, в конечном счете ничем, кроме отражения его уникального «жизненного опыта», то какое оправдание он как исследователь и честолюбивый ученый имеет для того, чтобы заниматься подобными размышлениями? Если он верит в то, что его выводы по данным вопросам имеют не больше оснований, чем его в конечной основе произвольные личные предпочтения, он как ученый оставит большую часть того, что составляло сферу политической теории, демагогам-экспозиционистам и сосредоточится на тех исследованиях, которые будут санкционированы профессией как именно научные. Именно по той причине, что превращение социальной науки в поле битвы различных субъективных ценностных систем (то есть идеологий) вызывало его беспокойство, Макс Вебер издал свой манифест в пользу «ценностно-нейтральной» социальной науки в пропитанной эмоциями университетской атмосфере Мюнхена после 1918 года⁴⁹. Конечно, ответ на затруднения политической теории, принесенные триумфом позитивизма, лежит не во внимании к соблазняющим голосам тех, кто утверждает, что политическая

друг с другом в гармоничных отношениях. Через знание того, чем мы являемся, мы обретаем знание того, что мы должны делать. Знать, кто такой человек, значит знать, кем ему следует быть и что ему следует делать».

⁴⁸ Voegelin E. The Nature of Law. P. 66 [неопубликованный трактат].

⁴⁹ Имеется в виду работа Макса Вебера «Наука как призвание и профессия». См.: Вебер М. Наука как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные произведения. — М., 1990. — Прим. ред.

теория должна стать открыто идеологической и субъективной. Ответ может лежать в том, чтобы поставить под сомнение саму позитивистскую догму. Именно эта догма в конечном счете с ее опытным редукционизмом является корнем вышеописанных затруднений

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Верно, что обзор истории политической мысли за последние сто пятьдесят лет должен большей частью представлять собой летопись стремительного упадка политической теории, с одной стороны, и процветания агрессивных идеологий — с другой. Как мы увидели, то, что осталось от теоретического устремления достичь отстраненного наблюдения за политикой, было выкачано все более ограничивающим позитивизмом, произошла концентрация политической науки на еще более узком перечне проблем и феноменов.

Однако, и здесь лежит мое главное разногласие с Коббаном и прочими авторами, пишущими об «упадке» политической теории, когда мы обращаемся к недавнему прошлому, особенно к годам, последовавшим после окончания Второй мировой войны, мы не можем не заметить противоположную тенденцию, которая должна быть описана как широкое и все более важное движение сопротивления доминирующей позитивистской ориентации. В рядах этих исследователей мыслители, которые, хотя они и придерживаются различных философских взглядов, объединены в своей преданности идее восстановления политической теории в ее традиционных объеме и глубине. Несмотря на то что просто невозможно должным образом рассмотреть и даже перечислить всех тех ученых, которые вносят существенный вклад в данное усилие по восстановлению, некоторые из них заслуживают особого внимания.

Вероятно, наиболее оригинальным и глубоким автором в этой группе является Эрик Фёгелин из Мюнхенского университета, который ныне участвует в издании пятитомного исследования, объединяющего политическую теорию с принципами философии истории. Фёгелин, будучи автором многочисленных книг и бесчисленного числа статей на немецком и английском языках, на сегодняшний день является одним из наиболее несправедливо игнорируемым политическим философом. Хотя было бы преждевременно оценивать его место в истории политической мысли, вполне возможно, что со временем Фёгелин будет оценен как величайший политический теоретик нашего столетия и один из величайших во все времена.

Фёгелин работал с необыкновенной эрудицией и впечатляющей философской стойкостью, чтобы доказать, что «политическая теория» и «политическая наука» не отличаются друг от друга, но неразрывно друг с другом связаны. Теоретическая деятельность *polis* приводит к формулированию суждений политической науки, которую следует понимать как науку о принципах правильного порядка в душе и обществе. Подобно Лео Штраусу, еще одной выдающейся фигуре в движении сопротивления, Фёгелин отдаст себе отчет в том, что для того чтобы сделать дальнейшее значимое теоретическое продвижение, необходимо восстановить то понимание *episteme politike*, которое было у классических мыслителей, то есть науки о правильном порядке. Большая часть его работы, вне всяких сомнений, будет раскрыта Коббаном, Истоном и прочими как «историцистское» бахтанье в источниках с целью избежать трудного задания по «созданию» конструктивной политической теории. В реальности же эта часть его сочинений совершенно необходима и является блестящей творческой новой интерпретацией основополагающих текстов, которые составляли *episteme politike* прошлого. Философ из Мюнхена спас философскую антропологию (или этическую теорию) и теорию правильного политического порядка (*ariste politeia*) Платона и Аристотеля, творчески применяя их прозрения к нынешним условиям; при этом он решительным образом пошел дальше греческих основоположников политической науки в рассуждении о третьем топосе классической «политической науки», то есть философии истории.

Опираясь на сырой материал, добытый Тойнби, Фёгелин обнаружил основные символические формы, преемственность которых составляет то, что мы понимаем под процессом истории на его существенном уровне, каждый из них он оценил с позиций строгих критических стандартов. Также он разработал метод глубокого и оригинального анализа структуры основного «опыта существования», который должен служить в качестве предпосылки любого правомерного теоретизирования относительно человеческой сути. Не исключено, что его рассмотрение требований, необходимых для участия в теоретическом споре, вполне может оказаться его наиболее важным вкладом в политическую теорию в данным решающий момент ее истории⁵⁰. Его детализированное опровержение распространенной идеи о том, что утопическая конструкция и политическая те-

⁵⁰ Суть этого рассмотрения отражена в его работе «Спор и существование» (Debate and Existence), прочитанной в Мюнхене, а также в университете Нотр-Дама, однако она, насколько я знаю, еще не опубликована.

рия имеют что-то общее⁵¹ — еще одна его выдающаяся заслуга перед политической теорией.

Еще одной ключевой фигурой современного движения сопротивления является Лео Штраус, блестящие исследования Гоббса, Макиавелли и проблем естественного права которого, похоже, останутся памятниками усердной учености на будущие десятилетия. Хотя Штраус и отвергает трансцендентный реализм Фёгелина и встает на позицию антропоцентрического, а не теоцентрического гуманизма (если воспользоваться полезным разделением Маритена), он напоминает Фёгелина в том, что ищет способы восстановить политическую этику в качестве объективной науки, доступной для человеческого разума. Штраус, подобно многим прочим политическим ученым, убежден, что подъем тоталитаризма раскрыл банкротство позитивистского учения. Этот подъем продемонстрировал, что, несмотря на все свое накопление фактической информации, позитивистская политическая наука оказалась беспомощной, когда дело дошло до важного вопроса выработки стандартов различения между справедливыми и тираническими режимами. Влияние профессора Штрауса было значительно и в том, что касается тех студентов, которые работали под его руководством, среди них можно выделить Гарри Джаффу и Вальтера Бернса, которых можно назвать выдающимися молодыми политическими учеными. Подобно Фёгелину, Штраус ищет пути возвращения к Платону и Аристотелю в качестве проводников (тем не менее он тоже осудил бы рабскую имитацию их учения — скорее речь идет о творческом применении их прозрений к современным проблемам).

Прочими значимыми фигурами в сегодняшнем возрождении политической теории в качестве исследовательской традиции являются те, кто должен быть упомянут, даже если у нас отсутствует возможность их здесь обсудить, — это Ханна Арент, Си Джей Фридрих, Джон Халлиуэл, Карл Ясперс, Бертран де Жувенель, Жак Маритен и Ивс Симон. Наверное, должен быть упомянут еще Майкл Оукшот, хотя ему свойственен больший, чем остальным из перечисленных скептицизм относительно пределов действия разума. Его блестящее, но все еще, к сожалению, игнорируемое исследование «Опыт и его проявления», аккуратно различающее между относительными «уровнями» человеческого опыта — для Оукшота это — практика, наука, история и (что утверждается в последней монографии) поэзия — есть

⁵¹ См. в особенности: *Voegelin E. Order and History*. — Baton Rouge, 1956, 1951. Vol. I. P. 187; Vol. III. P. 209.

Здесь напрашиваются два объяснения. Во-первых, находящееся в затруднении позитивистское большинство в политической науке не желает и не может распознать размах и важность движения сопротивления. В условиях, когда теория трактуется либо как бихевиористская методология, либо как ценностно-нагруженная идеология (что, как я попытался показать, безосновательно), позитивисты не способны в упор распознать истинную политическую теорию. Неаксиологические позитивисты рассматривают новую научную политическую теорию лишь как нечто большее, чем прежняя самоуверенная идеология, которая не удовлетворяет никаким научным или когнитивным требованиям. От аксиологической школы, выразители которой даже не упоминают представителей новой политической теории, стоит ждать только оценки этих работ как чрезвычайно «академических» и «историцистских». Для Коббана, который рассматривает политических теоретиков в качестве публицистов, выполняющих на Западе функцию поддержки демократической теологии⁵², для Уэлдо, который смотрит на них как на тех, кто кропает утопические

361

реформистские трактаты, новая политическая теория должна казаться не имеющей отношения к делу и трудно применимой для основных практических и идеологических задач, которые, как они считают, должна выполнять политическая наука. Политическая теория всегда казалась таковой тем, кто предпочитал проводить все свое время в пещере политической борьбы. Вторая причина для такого еще пока приглушенного восприятия новой политической теории — любопытная неспособность со стороны некоторых из тех, кто сопротивляется (или восстанавливает политическую теорию), понять размах своего влияния, а также осознать, что другие ученые, с которыми у них есть разногласия по ряду вопросов на самом деле в более глубоком смысле сотрудничают с ними в их общем деле⁵³.

Подобно всем известному фениксу, политическая теория сегодня восстает из пепла после своего разрушения. Вместо присоединения к упованиям тех, кто уже расписывает план проведения ее похорон, нам следует радостно отмечать ее возрождение. Однако подобное празднование может быть еще пока преждевременно, так как успех движения по воссозданию не гарантирован.

Мотивация в пользу сохранения табу на метафизику еще слишком сильна: встреча с фундаментальными проблемами существования, которые не исчезают после своего официального запрета, причиняет слишком много дискомфорта. Кроме того, метафизическое и этическое знания являются в гораздо меньшей степени точным и определенным, чем знание, полученное из чувственного опыта. Позитивисты правы, когда утверждают, что метафизические суждения гораздо труднее подвергнуть «интерсубъективной верификации», они правы, когда указывают на то, что даже среди величайших теоретиков существуют споры по самым фундаментальным проблемам, а также есть разные прочтения многомерного опыта.

Теоретическая деятельность трудна — это правда, но то знание, которое отыскивается, столь важно, что эта трудность не должна препятствовать его поиску. Альтернативой политической теории является обезглавленная наука политики⁵⁴ — наука, которая знает сред-

⁵³ Например, согласно Лео Штраусу, «Сегодня политическая философия пребывает в состоянии распада и, вероятно, разложения, если не исчезла вообще». *Штраус Л. Что такое политическая философия? // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 16.* Штраус не одинок среди «восстановителей», кому не удастся должным образом оценить достижения своих коллег — политических теоретиков.

⁵⁴ В оригинале «science of politics». — *Прим. ред.*

ства и методы, но ничего не знает о целях. Без полноценно развитой политической науки мы заблудимся в джунглях необоснованных мнений о целях политической жизни, оставленные на милость идеологам. Не только для профессионального политического теоретика, но и для любого вдумчивого человека попытка восстановить политическую теорию в наше время — задача первостепенной важности.

Закончить здесь значит закончить на не теоретической ноте. Ведь теорией следует заниматься лишь ради нее самой. Грустно, что в нашей технологически ориентированной культуре радость *bios theoretikos* столь мала даже среди мнимых (*soi-disant*) интеллектуалов. Пришло время обратиться внутрь себя и вновь ощутить все величие такой жизни.

Перевод с английского
Дмитрия Узланера

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМА ИДЕОЛОГИИ¹

Вот уже почти на протяжении целого столетия в западной концепции политической теории господствуют философские методы, аргументы и допущения. В этом эссе мне хотелось бы привлечь внимание к некоторым практическим последствиям такого понимания политической теории и предложить альтернативный подход.

Когда студенты знакомятся с политической теорией — в вузах или с помощью учебников, — им дают на откуп целый ряд тезисов, которые, как предполагается, помогут им в размышлениях о предмете, заставят принять правила, соответствующие аналитической или лингвистической философии².

Так, им советуют обращать особое внимание на точные определения, на связь и соотношения между понятиями, создавать абстрактные модели или формулировать общие правила, придерживаться принципа логической последовательности, находить универсальные

¹ Перевод сделан по: *Ashcraft R. Political Theory and the Problem of Ideology // The Journal of Politics. 1980. Vol. 42. № 3. P. 687–705.*

² Большая часть работ по политической теории, особенно тот их сегмент, который посвящен «эмпирической теории», оперирует понятиями сциентистской методологии. Какие-то аспекты тех вопросов, которые будут обсуждаться здесь, было необходимо формулировать совсем в ином ключе, если бы в фокусе моего внимания находился именно этот блок теорий. Тем не менее, когда мы будем говорить о самостоятельных философских вопросах эпистемологии и о важности для политической теории исторических и социологических данных, аргументы, здесь приводимые, будут приемлемы и для сциентистов. Для более подробного изучения данной темы, а также того, как соотносятся два главенствующих ныне подхода, см. мою работу: *Ashcraft R. On the Problem of Methodology and the Nature of Political Theory // Political Theory. 1975. № 3. (February). P. 5–25.*

условия и т.д.³ Иными словами, ожидается, что с помощью политической теории или будет добыто знание тех принципов, которые «универсально применимы ко всем людям и всем временам»⁴. Политическую теорию начинают определять с помощью «вневременной истины» или «непреходящей проблематики человеческого существования»⁵. Чем более абстрактны, универсально применимы утверждения какой-либо теории, тем больший почет оказан ее авторам в учебниках по истории науки. Методологически приверженцы этой точки зрения настаивают на том, что «единственное абсо-

- 3 Мыслители должны «ориентироваться на современные течения в философской науке, которые придают значение четкому определению смыслов и внятным формулировкам». *Штраус Л.* Введение в политическую философию — М. 2000; *Pennock J. R.* Political Science and Political Philosophy // *American Political Science Review*. 1951. № 45. P. 1082. Изучение политики — это «в первую очередь и в конечном итоге философия». *White A. K.* The Nature and Status of the Study of Politics // *Philosophy*. 1950. № 25. P. 292; *Sabine G.* What is a Political Theory? // *Journal of Politics*. 1939. № 1. P. 1–16; *Quinton A.* (ed.). *Political Philosophy*. — Oxford, 1967. P. 1–3; *McCloskey H. J.* The Nature of Political Philosophy // *Ratio*. 1964. № 6. P. 50–62; *Plamenatz J.* Man and Society: In 2 vols. — NY, 1963; *Hacker A.* Political Theory: Philosophy, Ideology, Science. — NY, 1961; *Germino D.* Modern Western Political Thought. — Chicago, 1972; *Parekh B. C.* The Nature of Political Philosophy // *B. C. Parekh, P. King* (eds.). *Politics and Experience*. — Cambridge, 1968. P. 153–207; *Gould J. A., Thursby V. V.* (eds.). *Contemporary Political Thought*. — NY, 1969. P. 2–3; *Field G. C.* What is Political Theory? // *Proceedings of the Aristotelian Society*. 1954. № 54. P. 145–166; *Smith D. G.* Political Science and Political Theory // *American Political Science Review*. 1967. № 51. P. 734–746; *Greaves H. R. G.* Political Theory Today // *Political Science Quarterly*. 1960. № 75. P. 1–16; *Weldon T. D.* Political Principles // *P. Laslett* (ed.). *Philosophy, Politics, and Society*. — NY, 1956. P. 22–34; *Wolin S.* Politics and Vision. — Boston, 1960; *Raphael D. D.* Problems of Political Philosophy. — NY, 1970.
- 4 *Germino D.* The Revival of Political Theory // *Journal of Politics*. 1963. № 25. P. 441–444. Под политической мыслью понимается «совокупность содержащихся в классических теориях универсальных идей». *Bluhm W. T.* Theories of the Political System. — Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. P. 13. Исследователь политики «стремится делать универсально применимые выводы». *Sanderson J. B.* The Historian and the «Masters» of Political Thought // *Political Studies*. 1968. № 16. P. 45.
- 5 *Thomson D.* (ed.). *Political Ideas*. — NY, 1966. P. 9ff.; *Strauss L., Cropsey J.* (eds.). *History of Political Philosophy*. — Chicago, 1963. Preface; *Germino D.* Beyond Ideology: The Revival of Political Theory. — NY, 1967. P. 9; *Hacker A.* Political Theory: Philosophy, Ideology, Science. — NY, 1961. P. 17; *White A. K.* The Nature and Status of the Study of Politics // *Philosophy*. 1950. № 25. P. 299.

лютное основание для рациональной оценки» политической теории заключается в том, чтобы она «не содержала утверждений, противоречащих друг другу»⁶. Одним словом, как отмечает Джон Поккок, «то, что история политической мысли превращается в философию, — ныне явная тенденция»⁷.

Подобное «философское» доминирование проявляет себя не только во вступительных статьях к учебникам и не только в недвусмысленных ответах на вопрос «что такое политическая теория», но и в бесчисленных книгах и журнальных эссе, посвященных идеям отдельных мыслителей.

Вследствие этого вряд ли кого-то удивит, что в качестве ценностных норм, с помощью которых определяется значимость политических теорий, сейчас используются логические последовательности или абстрактные рассуждения. Согласно этому критерию, например, Гоббс и Гегель в шкале политической философии находятся достаточно высоко, в то время как Локк, Милль или Руссо получают довольно низкий балл. Аргументы таковы: теории последних испещрены логическими противоречиями, двусмысленностями и неясными рассуждениями⁸. Довольно самоуверенно исследователи политической теории увидели себя в роли исторических миссионеров, а свою задачу — в том, чтобы, распутав логический беспорядок в трудах мастеров прошлого, показать нам, что написали бы эти мыслители, будь они «истинными» философами⁹.

Вряд ли следует говорить, что история не должна рассматриваться как какой-то полезный инструмент для подобного «археологического» исправления прошлого. А ведь на одну статью, где автор пытается показать, что Гоббс хотел доказать своей «исторической» аудитории, приходится тридцать статей, которые говорят нам о том, что их авторы сами хотели бы услышать от Гоббса — об «обязанностях»,

⁶ *Sabine G.* What is a Political Theory? // *Journal of Politics*. 1939. № 1. P. 12; *Gould J. A., Thursby V. V.* (eds.). *Contemporary Political Thought*. — NY, 1969. P. 2; *Raphael D. D.* *Problems of Political Philosophy*. — NY, 1970. P. 7ff.

⁷ *Pocock J. G. A.* The History of Political Thought: A Methodological Enquiry // *P. Laslett, W. G. Runciman* (eds.). *Philosophy, Politics, and Society*. Oxford, 1962. P. 187.

⁸ *Sabine G.* A History of Political Theory. — NY, 1961. P. 456, 474, 519, 530, 532–533, 537; *Bluhm W. T.* *Theories of the Political System*. — Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. P. 443; *Germino D.* The Revival of Political Theory // *Journal of Politics*. 1963. № 25. P. 448.

⁹ *Plamenatz J.* *Man and Society*: In 2 vols. — NY, 1963. Vol. 1. P. IX–XII; *Quinton A.* (ed.). *Political Philosophy*. — Oxford, 1967. Introduction; *Weldon T. D.* *Political Principles* // *P. Laslett* (ed.). *Philosophy, Politics, and Society*. — NY, 1956. P. 23.

например, или «естественном законе». Вот и получается, что в большинстве случаев студент почерпнет больше исторической и социологической информации из романа или пьесы, «современной» определенному политическому мыслителю, чем найдет во вторичных источниках.

Можно привести много примеров. Моя цель, однако, состоит не в том, чтобы просто установить, каково реальное, фактическое значение философского подхода для изучения политической теории. Она скорее заключается в том, чтобы показать необходимость видеть во всех этих положениях и правилах не простые описания из уст специалистов, но и некий операциональный код, который говорит, как обучать политической науке и как о ней писать.

Если исходить из этого, то, как мне кажется, получится, что современная философская доминанта имеет два важных и поддающихся описанию следствия. Во-первых, она отражает и усиливает отрыв политической теории от социально-исторического контекста, в рамках которого та зарождалась. Во-вторых, она отделяет политическую теорию от тех политических целей, которые и сделали ту или иную теорию узнаваемой политической силой в обществе.

Здесь хотелось бы подчеркнуть следующее: я не столько интересуюсь самым философским подходом к изучению политической теории, сколько критикую те практические последствия, которые этот подход за собой влечет. В сжатом виде суть проблемы выглядит так: существует множество политических проблем, а также целые области социального бытия, которые благодаря доминированию этого подхода остались вне поля зрения западных ученых и на которые поэтому не обращают никакого внимания студенты, изучающие политическую науку. Небезынтересно также то, как люди теперь *организуют* свое мышление и какие структурные ограничения это накладывает на труды по политической теории в целом.

Некоторые толкователи и преподаватели политической теории легко допускают, что, в каком-то смысле, исторический контекст и политические убеждения изучаемого мыслителя могут дать точку опоры в понимании его идей. Но дело в том, что даже если подобная уступка — искренняя, она не становится главным принципом в политической деятельности этих ученых и не формирует на самом деле их представление о политической теории. Вот иллюстрация — отрывок из работы по истории политической мысли, где говорится о том, какое «внимание» будет уделено «истории»:

«В последующих главах мы будем исходить из того, что политическая теория — это часть философского и научного знания [...] вне зависимости от того, когда и где она была сформулирована. Поэтому

целый ряд мыслителей, от Платона до Милля, будет изучен без внимания к тем реалиям, которые окружали их, когда они писали свои труды»¹⁰.

Многие идут по этому пути, сознательно отрицая важность исторических данных, ибо ищут прозрачную, универсальную правду. Даже удивительно, что нашлись такие специалисты, которые отметили: курс истории политической мысли «настолько абстрактен и аналитичен, что можно вообще усомниться в том, существует ли история — кажется, будто есть просто парочка авторов там и сям»¹¹. На самом деле, большинство исследователей мнит себя непредвзятыми участниками «исторического» исследования политической философии, и если они вследствие этого пишут такую «историю» политической мысли, которая никоим образом не базируется на истинной истории, они делают это с верой в то, что «политическая философия — дисциплина неисторическая», а «между философскими и историческими вопросами лежит фундаментальное различие»¹².

Как политическая теория не рассматривается в своем историческом изменении, так же не берется в расчет и измерение собственно политическое.

В предисловии к работе «Современная западная политическая мысль» Данте Джермино пишет: «Я умышленно не уделяю много внимания тем идеям, которые напрямую касаются ежедневной политической борьбы», потому что «перед исследователем политической теории и философии стоят иные задачи»¹³. К этой точке зрения присоединяется и Штраус, добавляя, что «обучение классике не может иметь немедленного эффекта» в нашем обществе¹⁴.

¹⁰ Hacker A. Political Theory: Philosophy, Ideology, Science. — NY, 1961. P. 12; Plamenatz J. Man and Society: In 2 vols. — NY, 1963. Vol. 1. Introduction.; Germino D. Modern Western Political Thought. — Chicago, 1972. P. VIII.

¹¹ Crick B. Philosophy, Theory and Thought // Political Studies. 1967. № 15 (February). P. 51; Morgenthau Hans J. Reflections on the State of Political Science // Review of Politics. 1955. № 17. (October). P. 444–448.

¹² Штраус Л. Политическая философия и история // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 102–103; Sabine G. What is a Political Theory? // Journal of Politics. 1939. № 1. P. 10.

¹³ Germino D. Modern Western Political Thought. — Chicago, 1972. P. VVI; Germino D. Beyond Ideology: The Revival of Political Theory. — NY, 1967. P. 227; Bluhm W. T. Theories of the Political System. — Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. P. 3.

¹⁴ Strauss L. On a New Interpretation of Plato's Political Philosophy // Social Research. 1946. № 13 (September). P. 332.

На самом деле за этой довольно широко распространенной точкой зрения скрываются серьезные опасения, что политическая философия, вовлеченная в «ежедневную политическую борьбу», станет коррумпированной, деградирует до формы «политической пропаганды»¹⁵, — следовательно, думают сторонники этой позиции, необходимо как можно шире «развести» политическую философию и «политическое памфлетирование»¹⁶.

Опять-таки все признают, что политическая теория может служить (и в прошлом служила) орудием или ориентиром для практических действий политических групп, партий и классов. Но до сих пор признание этого факта — чистая формальность, она осталась где-то на периферии научной литературы, не проникая в центральное ядро размышлений о политической теории. Так, несмотря на то что Шелдон Уолин и допускает, что «каждый труд по политической философии является до какой-то степени трактатом о времени», он не применяет этот тезис в качестве ведущей предпосылки в *своих собственных* рассуждениях (к примеру, в работе «Политика и Предвидение»)¹⁷. Поступи он таким образом — и он ясно это осознает, — это знаменовало бы ни много ни мало «крупную трансформацию [...] политической философии» и всего нашего взгляда на традиции политической мысли¹⁸. А ведь именно эту «крупную трансформацию» во взглядах на политическую теорию, утверждаю я, и стоит развить, а затем довести до конца сегодняшним студентам, штудирующим политическую науку.

¹⁵ *Germino D.* Modern Western Political Thought. — Chicago, 1972. P. VIII; *Germino D.* The Revival of Political Theory // *Journal of Politics*. 1963. № 25. P. 439ff.; *Germino D.* Beyond Ideology: The Revival of Political Theory. — NY, 1967; *Parekh B. C.* The Nature of Political Philosophy // *B. C. Parekh, P. King* (eds.). Politics and Experience. — Cambridge, 1968. P. 160ff; *Bluhm W. T.* Theories of the Political System. — Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. P. 15; *Field G. C.* What is Political Theory? // *Proceedings of the Aristotelian Society*. 1954. № 54. P. 146.

¹⁶ *Catlin G. E. G.* Political Theory: What is It? // *Political Science Quarterly*. 1957. № 72 (March). P. 1–29; *Strauss L., Cropsey J.* (eds.). History of Political Philosophy. — Chicago, 1963. Preface. Иная точка зрения — это взгляд Альфреда Коббана, согласно которому политическая теория должна находиться в близком контакте с практикой, тогда как ее «академизация» свидетельствует об ее упадке, — является редким исключением в литературе. См.: *Cobban A.* The Decline of Political Theory // *Political Science Quarterly*. 1953. № 68 (September). P. 321–337.

¹⁷ *Wolin S.* Politics and Vision. — Boston, 1960. P. 25.

¹⁸ *Ibid.* P. 194.

Рассматривая собственно политическое измерение политической теории, мы пришли к сердцу проблемы. Потому как, что бы ни говорили о презрении историков к истории политической мысли, это презрение ничто по сравнению с их неприязнью (и даже омерзением) к утверждению: «Политика — это идеология». Политический мыслитель в качестве идеолога воспринимается ныне в образе преданного идее партизана, который только и стремится к тому, чтобы продвигать интересы определенной партии или класса, защитника (или критика) существующего порядка распределения общественной и политической власти в обществе¹⁹. Я не намерен здесь исследовать несостоятельность этих определений; скорее я хочу привлечь внимание к тому, как современные политические мыслители их используют для определения того, что можно считать «политической теорией», а что нет.

Сегодня сторонники преобладающей точки зрения в политической науке рассматривают идеологию как эмоциональный внеэрациональный феномен. На практике (к примеру, когда мы анализируем труды «великих» политических мыслителей), идеология может показать, что мыслители эти в общем-то тоже были людьми. Иначе говоря, тот факт, что в их политической философии присутствуют идеологические элементы, показывает, что они тоже — «создания, подверженные эмоциям и движимые желаниями»²⁰. Естественно, эта характеристика — вовсе не та причина, по которой мы изучаем их наследие. Мы читаем их по более серьезным причинам, мы верим, что пусть та или иная теория все же запятнала себя идеологией, мыслитель все-таки был способен «возвыситься над ареной партизанской борьбы» в поисках истины²¹.

Очень увлекательно наблюдать за тем, как авторы, пишущие подобным образом о политической теории, скользят по краю пропасти, даже не вглядываясь в нее. Сэйбин, к примеру, утверждает, что и Платон, и Аристотель выражали мнение определенного класса в Афинах, хотя поступали так, «безусловно, без намеренной цели становиться глашатаями данного класса»²². Заявление это, как можно подумать,

¹⁹ *Hacker A. Political Theory: Philosophy, Ideology, Science.* — NY, 1961. P. 5; *Friedrich C. J. Man and His Government.* — NY, 1963. P. 89.

²⁰ *Ibid.* P. 4.

²¹ *Germino D. Beyond Ideology: The Revival of Political Theory.* — NY, 1967. P. 9–13; *Parekh B. C. The Nature of Political Philosophy // B. C. Parekh, P. King (eds.). Politics and Experience.* — Cambridge, 1968. P. 160.

²² *Sabine G. A History of Political Theory.* — NY, 1961. P. 124.

должно было подтолкнуть Сэйбина — или хотя бы кого-то из тысяч его читателей — задаться вопросом, что значило бы рассматривать философию Платона в рамках анализа классовых отношений в Афинах. Какие серьезные отличия от существующих интерпретаций наследия Платона вытекали бы из подобного прочтения²³? Не менее интересно было бы изучить выводы из «намеренной» версии «непреднамеренной» идеологичности философии Платона и Аристотеля, причем не только для того, чтобы лучше понять значение их оригинальных идей, но и чтобы попробовать выработать более изысканное понимание идеологии. Сэйбин, конечно, не преследует ни одну из этих целей. Когда он действительно сталкивается с проблемой идеологии, как в случае с «Двумя трактатами о правлении» Локка, его комментарии не умны и даже абсурдны. Так, он рассматривает первый трактат как «неотъемлемую часть времени» и часть идеологического мышления, и *по этой причине* не видит в нем вневременного «значения», в то время как второй трактат видится ему непревзойденной, серьезной философской работой, благодаря чему этот трактат и считается классикой политической теории²⁴. Определенно, одна часть книги возвышается над партизанской борьбой, а другую Сэйбин даже не анализирует. Воистину, для оправдания такого подхода потребовалось бы даже больше дополнительных аргументов, чем было эпициклов²⁵ в птолемеевой астрономии.

Приведем другой пример. Вместо того чтобы рассматривать политическую теорию Джона Стюарта Милля так, как это делает профес-

²³ Недавно на эту тему была написана работа: Wood E. M., Wood N. *Class Ideology and Ancient Political Theory*. — Oxford, 1978. См. также: Winspear A. D. *The Genesis of Plato's Thought*. — NY, 1940.

²⁴ Sabine G. *A History of Political Theory*. — NY, 1961. P. 523. Морис Крэнстон также отмечает, что этот труд одновременно является и «полемическим трактатом», и «философским произведением», ибо он не только исторически специфичен, но и может считаться воплощением «принципов универсальной валидности». Но Крэнстон не пишет, на основе чего и в отношении каких разделов произведения проводятся такие разграничения. См.: Cranston M. *The Politics of a Philosopher* // *The Listener* № 5, 1961 (January). P. 18.

²⁵ Во II веке н. э. в рамках господствующей в то время геоцентрической модели мира, утверждавшей, что в центре Вселенной находится Земля, для того чтобы объяснить неравномерное движение Солнца, Луны и других планет, использовалось понятие эпициклов (дополнительных окружностей, описываемых планетой возле основной орбиты). Полностью отказался от эпициклов Иоганн Кеплер (1571–1630), открывший законы планетных движений. — *Прим. ред.*

сор Пламенац, видя в ней теорию бедного философа, которого «часто сбивала с толку путаность собственных мыслей» и который «не осознавал недоказанность своих же заключений» и аргументы которого, казалось, всегда выходили из-под контроля, придерживаясь иного подхода, изучая новые проблемные области, можно было бы обнаружить что-то важное для понимания мыслей Милля и сформировать свои собственные суждения о природе политической теории²⁶.

Почему, к примеру, Милль настаивал на том, чтобы «О свободе» и другие его работы были изданы еще и в дешевом варианте, чтобы быть доступными читателям из рабочего класса? Чего он хотел добиться своими рассуждениями о политических изменениях в обществе и что мы могли бы узнать, рассматривая его теорию именно таким образом, об отношениях интеллигенции, рабочего класса и о той роли, которую интеллектуалы сыграли в политических и социальных преобразованиях?

Эти вопросы, мне кажется, стоит задавать не только потому, что с их помощью можно по-иному взглянуть на «великие» теории прошлого, но еще и потому, что допущения, аргументы, теоретические проблемы, вытекающие из этого подхода, имеют большое политическое значение для современного общества. Возможно, бдительное внимание к отношениям между политическим теоретизированием и политическими реалиями современности вынудили бы мыслителей и исследователей поднимать подобные вопросы в рассуждениях о том, как они сами представляют политическую теорию²⁷. Иными словами, вопросы, связанные с проблемой «политической теории как идеологии», не только дают основу для изучения прошлого политической теории, но и выносят на повестку дня важные проблемы, связанные с практикой современной политической теории. Я еще вернусь к вопросу о том, как идеология связывает прошлое

²⁶ *Plamenatz J. The English Utilitarians. — Oxford, 1958. P. 122–123, 135.*

²⁷ Раз я поднял эту тему, отмечу, что для меня той теорией, которая перебрасывает мостик между пониманием политических теорий прошлого и возможными политическими проблемами настоящего, является марксизм. Эту связь, конечно, можно изобразить в терминах веберовской социальной науки при условии, что четко прописаны тезисы о «значимости» культурно-детерминированных «практических ценностей-интересов» в формировании позиции индивида. Хотя сам Вебер в своем исследовании не преследует этой цели, исходя из собственной методологической практики, позже многие поступают именно так. В немарксистской литературе эти вопросы лучше всего освещены в работе Карла Мангейма. См.: *Мангейм К. Идеология и утопия. — М., 1994.*

и будущее политической теории, а сейчас о другом. Не нужно специально исследования, чтобы увидеть, как редко эти вопросы вообще обсуждают. Действительно потребовались бы «масштабные изменения» в современном учебном процессе и писательской практике, чтобы сделать эти вопросы действительно важными для студентов, изучающих политическую науку.

Для тех, кто сейчас стоит на защите традиций политической теории, как правило, «идеология» — сродни первородному греху; может быть, мы все «запятнаны» им в какой-то степени, но все же нужно настаивать на том, что не все великие мыслители были радикально охвачены этим грехом, — хотя бы в качестве акта веры в этих мыслителей²⁸. С учетом всех тонкостей, важна тонкая сущностная грань, отделяющая политического мыслителя от идеолога. Эндрю Хакер, к примеру, допускает, что «все политические теоретики — неизбежно идеологи». Но затем он начинает утверждать (не объяснив, на чем основывается его деление и как можно отыскать критерии для его применения), что только те личности, которые «преодолели испытание идеологией», чего не смогли сделать остальные, могут «легитимно называться теоретиками»²⁹. Замени мы в этом предложении «теоретика» на «философа», оно отразило бы и точку зрения Штрауса. Уолин тоже пишет, что когда философы выражают свои идеи в рамках «главствующей идеологии», они сразу же выпадают из сонма философов³⁰.

Вот как с этой сложностью справляется Сэйбин. В «Истории политической теории» он нередко без колебаний отзывается о либерализме как о теории, которая отражает «интересы индустриального среднего класса»³¹. Можно было бы предположить, что эта мысль побудит самого Сэйбина пристальнее взглянуть на связь между собственной «либеральной» политической теорией и «интересами ин-

²⁸ См.: Штраус Л. Естественное право и история. — М., 2007; Germino D. Modern Western Political Thought. — Chicago, 1972. P. VIII; Germino D. The Revival of Political Theory // Journal of Politics. 1963. № 25. P. 446–449.

²⁹ Hacker A. Political Theory: Philosophy, Ideology, Science. — NY, 1961. P. 4, 6. Так, теоретики политики должны свергнуть тиранию идеологических категорий, чтобы восстановить традицию «политической философии». Wolin S. Politics and Vision. — Boston, 1960. P. 358; Germino D. Beyond Ideology: The Revival of Political Theory. — NY, 1967. P. 228; Bluhm W. T. Theories of the Political System. — Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. P. 15.

³⁰ Wolin. Politics and Vision. 194.

³¹ Sabine G. A History of Political Theory. — NY, 1961. P. 674; cf. 703, 737, 741.

дустрального среднего класса». Но его благополучно спасает от этого вмешательство Джона Стюарта Милля. Последний — один из «великих» — создал «расширенную» форму либерализма, и тем самым спас свою теорию от муты идеологического «бытия». Теперь Сэйбин может приступить к обсуждению либерализма конца XIX и XX столетий — он определяет его как свод «...общих принципов социальной философии, которые нельзя, однако, привязать к идеологии какого-либо класса»³². То, что политическая философия исторически «работала» как идеология и что великие философы проявляли какие-то качества идеологов, может быть правдой; тем не менее исследователи упорно настаивают на аналитическом разделении политической теории и идеологии³³. Эта «философская» граница проведена четко, но настолько же слабо защищена, как и та, что делит политическую теорию и историю.

На самом деле между двумя этими границами в исследовательской литературе есть некая взаимосвязь. Довольно часто можно услышать утверждения, что именно те мыслители укоренены в политических дискуссиях и «вершат» историю, чьи труды являются образчиками политической идеологии. Эти мыслители — «второстепенные» авторы, партизаны, бойцы на политической арене своего века. Именно по этой причине, то есть по причине их исторической укорененности, они «в большей степени представители» столетия, чем те великие философы, теории которых выше и партизанской борьбы, и истории³⁴. Большинство политических мыслителей, по Хакеру, на-

³² *Sabine G. A History of Political Theory.* — NY, 1961. P. 674, 725, 741. «На раннем этапе, — заявляет Сэйбин, — английский либерализм был в буквальном смысле политическим движением среднего класса; оно отразило попытку промышленников завоевать властные позиции, которые бы соответствовали их растущей значимости в экономике. Так, «в период от Локка до Милля индивидуализм общественно-политических теорий зависел не столько от логики, сколько от созвучности интересам породившего их класса». *Sabine G. A History of Political Theory.* — NY, 1961. P. 531, cf. 674–725.

³³ *Sabine G. What is a Political Theory?* // *Journal of Politics.* 1939. № 1. P. 9, 14; *Parekh B. C. The Nature of Political Philosophy* // *B. C. Parekh, P. King (eds.). Politics and Experience.* — Cambridge, 1968. P. 160; *Strauss L., Cropsey J. (eds.). History of Political Philosophy.* — Chicago, 1963. Preface; *Germino D. The Revival of Political Theory* // *Journal of Politics.* 1963. № 25. P. 439; *Germino D. Beyond Ideology: The Revival of Political Theory.* — NY, 1967. P. 9, 11, 28–29.

³⁴ *Germino D. Beyond Ideology: The Revival of Political Theory.* — NY, 1967. P. 11, 28–29; *Germino D. The Revival of Political Theory* // *Journal of Politics.* 1963. № 25. P. 446–448;

столько «вульгарно идеологизированы», что их теории можно принимать только в рамках социальных проблем, о которых они пишут. Все эти мыслители были по праву «преданы безвестности»³⁵. В лучшем случае они могут заслуживать звания «младших» авторов. И вот получается, что кроме избранной горстки великих философов, ко-
 торые удостоились чести быть названными таковыми, практически вся политическая мысль, согласно изложенному выше, похоже, ра-
 ботала на уровне идеологии — это важный момент, к которому я вер-
 нусь позднее.

Сейчас же я хочу только отметить связь между теми тезисами, ко-
 торые связывают исторически-укорененную политическую теорию
 с идеологией, и теми, которые связывают великих философов с вне-
 исторической философией. Очевидно, что, придерживаясь подоб-
 ных структурных рамок и рассматривая политическую теорию в ка-
 честве философии, мы не обнаружим в литературе о политической
 теории большой любви к вопросу идеологии.

Если эту литературу рассмотреть более тщательно и попробовать
 найти причины такого систематического пренебрежения к «пробле-
 ме идеологии», обнаружится весьма интересный парадокс. Сущест-
 вует фундаментальное и молчаливое допущение, что политическая
 теория «упала» до уровня идеологии — это и есть основное аргумен-
 тационное орудие тезиса, что политика *должна* рассматриваться как
 философия. Согласно Штраусу, например, «корень наших проблем»
 лежит в том, что «начиная с XVII столетия философия стала оружи-
 ем» в политических конфликтах между группами и классами. Имен-
 но эта «политизация философии» и несет ответственность за упадок
 политической теории в современном мире³⁶. Заключение Штрауса

Thomson D. (ed.). *Political Ideas*. — NY, 1966. P. 9; Sanderson J. B. *The Historian and the «Masters» of Political Thought* // *Political Studies*. 1968. № 16. P. 51; Hacker A. *Political Theory: Philosophy, Ideology, Science*. — NY, 1961. P. 17.

Political Theory: Philosophy, Ideology, Science. — NY, 1961. P. 6.

- ³⁵ Hacker A. *Political Theory: Philosophy, Ideology, Science*. — NY, 1961. P. 6.
- ³⁶ Штраус настаивает на том, что классики политической мысли были способны «работать» с политической борьбой и производить теоретическое реше-
 ние для этих конфликтов, причем отнюдь не в «партизанской» манере.
 Штраус Л. О классической политической философии // Л. Штраус. Введение
 в политическую философию. — М., 2000. С. 62. Согласно Джермино со времен
 французской революции и до XX века мы наблюдали восхождение идеологии
 и закат политической теории. См.: Germino D. *Beyond Ideology: The Revival
 of Political Theory*. — NY, 1967. P. 15; Germino D. *The Revival of Political Theory* //
Journal of Politics. 1963. № 25. P. 449–456.

таково: «То, что изначально было политической философией, стало идеологией». Эта «трансформация» составляет «ядро современного кризиса западной цивилизации» и является многократно повторяющейся темой работ Штрауса³⁷.

Подобная точка зрения, без сомнения, оказывала свое влияние на политическую мысль, хотя трудно сказать, насколько широко выводы Штрауса разделяли те, кто в иных отношениях не идентифицировал себя с его специфическими аргументами и особым подходом к политической теории.

Конечно, существует всеобщее единодушное мнение, что политическая теория пришла в упадок или «угасла»³⁸. Говорят, что на протяжении целого столетия не появлялось ни одного великого политического мыслителя. И если это так, получается, что политическая философия опустилась до некой более низкой, второстепенной формы. Но до чего же, предполагает Штраус, как не до идеологии она опустилась? Более того, «самая большая забота» в современном мире, если выразить ее в конкретных практических терминах, — это «конфликт между либеральной демократией и коммунизмом»³⁹. Вряд ли нужно специально подчеркивать, насколько этот взгляд распространен в западной политической науке.

Штраус и другие утверждали также, что среди современных исследователей политической мысли распространен историцизм, и как следствие этого политическая философия уступила место истории политической теории⁴⁰. Это предположение, если рассматривать его

³⁷ *Strauss L. Political Philosophy and the Crisis of Our Time* // G. J. Jr. Graham, G. W. Carey (eds.) *The Post-Behavioral Era*. — NY, 1972. P. 218. См. цитату из Уолина в сноске 27. *Strauss L. The City and Man*. — Chicago, 1964. P. 2, 7–8; *Strauss L., Cropsey J. (eds.). History of Political Philosophy*. — Chicago, 1963. Preface.

³⁸ *Штраус Л. Что такое политическая философия?* // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000; *Cobban A. The Decline of Political Theory* // *Political Science Quarterly*. 1953. № 68 (September); *Wolin S. Politics and Vision*. — Boston, 1960; *Greaves H. R. G. Political Theory Today* // *Political Science Quarterly*. 1960. № 75; *Partridge P. H. Politics, Philosophy, Ideology* // *Political Studies*. 1961. № 9 (October). P. 217–235.

³⁹ *Штраус Л. Эпилог* // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000; *Штраус Л. О тирании*. — СПб., 2006; *Strauss L. The City and Man*. — Chicago, 1964. P. 1–3; *Germino D. Beyond Ideology: The Revival of Political Theory*. — NY, 1967.

⁴⁰ *Штраус Л. Что такое политическая философия?* // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000; *Штраус Л. Естественное право*

вместе с отсылками к идеологическому противостоянию между либерализмом и коммунизмом и отсутствию «великой» политической философии в XX веке, может привести к выводу, что в наше время правят бал второстепенные мыслители, жадные до современного исторического момента и по самое не могу вовлеченные в политическую борьбу, в которой, в свою очередь, противоборствующие идеологии полностью определяют рамки политического мышления.

Взгляд Шелдона Уолина на упадок политической теории добавляет картине новое измерение. Главная идея Уолина заключается в том, что «смысл политики потерян». «Политическое», как его видит Уолин, было «заменено „общественным“»⁴¹. «Упадок политических категорий и рост социальных, — утверждает Уолин, — являются отличительными чертами нынешней ситуации: политическую философию затмили другие формы знания»⁴². Эта ситуация объясняется историческим выходом на арену либерализма, который структурировал политику вокруг приоритета экономических интересов.

То, что политика стала «базироваться» на экономических запросах, «ускорило ее упадок», ибо «роль и статус политической теории были узурпированы теорией экономической». Экономика, утверждает Уолин, «обеспечивает всеобъемлющую основу для рассмотрения социальной активности», как результат того, что «либерализм произвел на свет особый метод мышления, согласно которому общество, а не политический порядок имеет господствующее значение»⁴³.

Иными словами, упадок политической теории связан с подчинением философских задач политическим и экономическим интересам групп и классов, поддерживающих развитие либерализма⁴⁴. По мне-

и история. — М., 2007; *Strauss L. On a New Interpretation of Plato's Political Philosophy // Social Research. 1946. № 13 (September). P. 330; Lippincott B. E. Political Theory in the United States // Contemporary Political Scienc. UNESCO. 1950. P. 208–223; Miller E. F. Positivism, Historicism, and Political Inquiry // American Political Science Review. 1972. № 66 (September). P. 796–817.*

⁴¹ Wolin S. *Politics and Vision*. — Boston, 1960. P. 288–290, 353.

⁴² Ibid. P. 292.

⁴³ Ibid. P. 292, 302, 308.

⁴⁴ В то время как основные черты этих отношений ясны, язык, используемый авторами, туманен. Так происходит потому, что им никак не удастся выработать точное понимание, с какими социальными группами и каким историческим контекстом соотносятся те или иные политические идеи. Наиболее прозрачные, но одновременно и самые простые положения мы находим у Сэйбина (см. сноску 30). Что касается упадка политической философии, Партридж, к при-

нию Сэйбина, Уолина и Штрауса, экономические интересы и высказанные защитниками этих интересов тезисы сформировали наше мнение о политике. Какая-либо критика доминирующей концепции по этой причине подразумевает критику основных положений либерализма. При этом очевидно, что западная политическая теория не ставит и не поставит под сомнение основные постулаты либерализма⁴⁵.

Более того, Уолин, Штраус, Сэйбин и другие не дают нам никаких ориентиров: как заменить, сместить интересы, классы, партии или тезисы, которые формируют структуру современного «отпадения» или «ухода» от традиционной политической философии. Из их работ не становится ясно, что должна сделать с политикой политическая теория (в том виде, в каком понимают ее они) и что вообще должно быть предпринято. На уровне практики Политическая наука редуцирована до «мышления» на языке философии. Вместо того чтобы обратиться к политической критике либерализма (которая направлена на базовые экономические и политические допущения и институты), современные политические мыслители апеллируют к «философской» традиции, которая, по их собственным расчетам, была разрушена и размыва этими допущениями и практиками. Работая внутри такого замкнутого круга, многие западные авторы стали невольными (в разной степени) защитниками либерализма как политической идеологии в противовес марксизму. При этом они критикуют либерализм как философское направление и культурную традицию за те ценности, на которые он опирается (наука, естественное право, релятивизм, etc.), но отмечают, что ценности изначально присущи либерализму как политическому явлению.

Парадокс, таким образом, заключается в следующем: базовые социальные / исторические условия, которые оказывают влияние

меру, утверждает, что «главный фактор, влияющий на характер современной политической мысли», — общий консенсус в отношении принципов и институтов либерального (демократического) общества. См.: *Partridge P. H. Politics, Philosophy, Ideology // Political Studies*. 1961. № 9 (October). P. 222.

⁴⁵ Как пишет Уолин, к примеру, «частная собственность на средства производства и частная собственность в целом перестали быть основополагающими темами политической науки». См.: *Wolin S. Politics and Vision*. — Boston, 1960. P. 356; *Germino D. Beyond Ideology: The Revival of Political Theory*. — NY, 1967. P. 42. Этот вопрос я рассматривал более глубоко в докладе «Предпосылки современной политической теории» (посвященном ежегодной конвенции Ассоциации западной политической науки. Сиэтл, Вашингтон, 23–25 марта 1975 года).

на деятельность современных политических мыслителей, ими осознаются. Однако это осознание не руководит ими в преподавании или написании трудов. На преподавание и книги вообще не смотрят через призму ценности, пользы, не считают, что политическое теоретизирование в реальности является частью современной идеологической политики. Напротив, политической теории учат и о ней пишут так, как будто она в гораздо большей степени является философией, нежели идеологией. И при этом преподаватели, авторы и исследователи политической теории знают, что, согласно собственным стандартам, они вовсе не практикуют политическую философию в стиле Платона и Гоббса: они — как раз те самые «партизаны», вовлеченные в политику в том мире, в котором руководят идеологические конфликты.

Теперь нам легче увидеть, почему философия завоевала такую популярность в исследовательской литературе. Оказывается, она предлагает путь отступления, побег от необходимости признания политической важности идеологических разногласий, — оно обязательно привело бы к необходимости пересмотреть нынешнее представление о политической теории. И, конечно, ирония заключается в том, что это философское отступление к прошлому имеет смысл только тогда, когда путь отступления ведет через внутренне осознаваемые обстоятельства настоящего. Более того, «упадок» политической теории точно так же является и признанием того, что современным политическим мыслителям не удалось «выйти за рамки» партизанской борьбы и проигнорировать исторические факторы⁴⁶.

Получается, что мы являемся свидетелями спектакля о том, как личности, запутавшиеся в дебрях идеологии, провозглашая себя

⁴⁶ Штраус проводит связь между «упадком политической философии» и тем фактом, что «политическую философию заменила история политической философии». См.: *Strauss L. The City and Man*. — Chicago, 1964. P. 7–8. «Изучение мыслителей прошлого становится чрезвычайно важным для живущих в период упадка». *Strauss L. On Collingwood's Philosophy of History // Review of Metaphysics*. 1952. № 5 (June). P. 585. Этот «интеллектуальный упадок» можно рассматривать с позиций политической практики. Арнольд Рогоу, к примеру, делает такое наблюдение: скудость современной политической теории можно объяснить провалом либерализма в попытках выдать адекватные решения для современных проблем в обществе. Иными словами, современная политическая теория — отражение мыслей «огромного количества реформаторов, лишившихся своих иллюзий». *Rogow A. Comment on Smith and Apter: Or, Whatever Happened to the Great Issues? // American Political Science Review*. 1957. № 51 (September). P. 771.

жертвами неких сил истории (которые действуют и спустя три столетия, даже сейчас определяя нашу современную ситуацию), советуют нам подняться до высочайшего мира абстрактной философии, чтобы разобраться с «политической теорией». Можно только гадать, как долго продлится эта пьеса о самообмане и когда философское понимание политической теории будет подвергнуто хоть какому-то рода критике.

Как я уже говорил, утверждение, что политическая теория — это ветвь философии, должно рассматриваться только при условии понимания того, как сильна ее «оторванность» от первостепенных ценностей либерализма, а также того, что раскритиковать либерализм как *политическую* теорию, так и не удалось. Отчасти эта неудача является результатом того, что критика потребовала бы ясно осознать, что идеология — это способ творить политическую теорию (и, следовательно, признать необходимость «ухода» от философии в качестве рабочей дефиниции), а отчасти потому, что существующая политическая (теоретическая) альтернатива либерализму — марксизм — считается неприемлемой. И, наверное, с учетом этих условий вовсе не удивительно, что разочарованные либералы (а это извечная «проблема» западного мира) обратились к великим философам прошлого в поисках утешения. Несмотря на это, современные политические мыслители не достигли успеха ни в своей попытке выйти за рамки партизанской борьбы, ни в попытке убежать с арены идеологических дебатов.

На нескольких оставшихся страницах я хотел бы бегло обозначить еще одно направление — альтернативу современной политической теории. Что могло бы случиться, спросим мы, если бы великие политические мыслители считались настолько же глубоко укорененными в своем времени, в политической и идеологической борьбе, как и мы сами? Чтобы обрисовать эту картину, нам нужно было бы узнать очень много в детальных подробностях: о природе проблем тех времен, характере аргументов, социальном языке, принятом участниками политических конфликтов, равно как и получить полную биографическую и другую историческую информацию о конкретных политических мыслителях. Иными словами, нам необходимо было бы серьезно разобраться в том историческом контексте, внутри которого зародилась некая политическая теория.

Означает ли это, что политическая теория однажды редуцирует до поиска исторической информации как таковой? Или что побег от философских абстракций превратится в бегство к тривиальности исторического прошлого и станет способом избежать столкновений с политическими проблемами настоящего? Ответ, очевидно, — нет.

Однако реальные сложности, по-моему, заключаются в самой формулировке проблемы. Штраус предположил и, как мне кажется, наиболее убедительно сформулировал тезис, что между созданием политической теории и изучением политической теории как объекта должно быть проведено четкое разграничение⁴⁷. При этом Штраус предостерег, что «существование фундаментального различия между философией и историей — различие, благодаря которому философия гибнет или остается на плаву — может в *современной ситуации* привести с пути истинного, а то и просто быть опасным для философии»⁴⁸. Несмотря на то что для Штрауса существует «философское» разграничение, которое подчиняет историю философии, в современном мире он видит серьезные практические причины, чтобы политическая философия была представлена с помощью «чтения старых книг», то есть как историческое изучение классических философов⁴⁹. Выводы Штрауса о том, что кризис великой политической философии «создает совершенно новую ситуацию для политической философии», разделяются учеными повсеместно, — пусть они и не рассматривают те предпосылки, которые эту ситуацию сформировали⁵⁰.

Важно то, что эта «исключительно новая ситуация» характеризуется еще и тем, что «смешение философских и исторических вопросов» стало некой «неизбежной» отправной точкой, когда мы начинаем говорить о политической теории⁵¹.

Штраус стремится использовать «историю» в качестве средства по восстановлению славы классической философии и «выхода

⁴⁷ Штраус Л. Политическая философия и история // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 102–103.

⁴⁸ Strauss L. On a New Interpretation of Plato's Political Philosophy // Social Research. 1946. № 13 (September). P. 332. (Курсив мой. — Р. Э.)

⁴⁹ Strauss L. Persecution and the Art of Writing. — Glencoe-Illinois, 1952. P. 157. Cf. 154. «Изучение мыслителей прошлого — единственный практический способ, с помощью которого люди, живущие в эпоху интеллектуального кризиса, могут открыть должное понимание фундаментальных проблем». См.: Strauss L. On Collingwood's Philosophy of History // Review of Metaphysics. 1952. № 5 (June). P. 585.

⁵⁰ Штраус Л. Политическая философия и история // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 103.

⁵¹ Там же. С. 120–121; Strauss L. On Collingwood's Philosophy of History // Review of Metaphysics. 1952. № 5 (June). P. 585; Strauss L. Persecution and the Art of Writing. — Glencoe-Illinois, 1952. P. 157.

за рамки» исторических ограничений мышления «в современной ситуации»⁵².

Моя схема, однако, видит в наличии «исключительно новой ситуации», включая политизацию философии и ее подчиненность экономическим интересам, хорошую платформу для обращения к политическим теориям прошлого и утверждает, что тот, кто обращается к политической философии, действительно может руководствоваться практическими мотивами⁵³.

⁵² Он не предлагает каких-либо указаний, как этого можно добиться, или критериев, — помимо самой задачи — которые можно использовать, чтобы отличить его труды от работ «исторически-ограниченных» авторов. На самом деле, именно потому, что Штраус так хорошо осознает, в какой степени сам подчинен «историческому духу времени», и потому еще, что его взгляды полемически адресованы современникам, стремлению Штрауса к «преодолению» недостает достоверности, которое может быть «обеспечено» авторам, притворившимся полностью равнодушным к своему времени. Для более глубокого анализа этой темы (как на примерах трудов Штрауса, так и других современных политических мыслителей) см.: *Gunnell J. G. The Myth of the Tradition // American Political Science Review. 1978. № 72. P. 122–134; Gunnell J. G. Political Theory: Tradition and Interpretation. — Cambridge, 1979.*

⁵³ Штрауса интересует то, что он считает «философским» противоречием в рамках историцизма, хотя даже он сам признает, что это противоречие обусловлено исторической ситуацией. См.: *Штраус Л. Политическая философия и история // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 102–121.* Этот подход к пониманию политической теории может придавать «значимость» именно масштабам оторванности политической теории от политической практики. Однако Штраус настаивает, что, тогда как «всякое политическое действие, в отличие от политической философии, направлено на конкретные ситуации и поэтому должно основываться на ясном понимании ситуации, составляющей предмет заботы». *Штраус Л. Политическая философия и история // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 106.* И эта информация «предоставляется» как раз историческим подходом к пониманию политики — политическая философия ставит вопросы, никак не связанные со «временем и местом».

Все это должно привести нас к следующему выводу, что «наивысшим предметом политической философии является философская жизнь», то есть «жизнь, которая посвящена размышлению». *Штраус Л. О классической политической философии // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 63.*

Иными словами, политическую теорию в качестве идеологии (а идеология является образующей характеристикой нашей исторической ситуации) можно воспринимать либо как факт, над которым остается только сокрушаться (так и поступают современные философы), либо как отправную точку в трактовке политической теории. Во втором случае мы сможем перебросить мостик между исторической ситуацией и развитием идеологических схем (либерализм, марксизм), их ролью в качестве теоретического ответа на политические проблемы современного общества.

При этом мы должны точно и ясно высказать и осознанно защищать: а) способ, которым прокладываются эти идеологические связи между прошлым и будущим; б) природу политических целей и мотиваций, при условии, что существуют разные пути, которыми можно проложить эти связи; в) некоторые ориентиры, согласно которым методы, аргументация и философские основания, поднятые мыслителями на защиту своих позиций, могут быть оценены другими.

Что касается последнего, я выступаю за важность исторического подхода к политической теории на основании того, что политический характер теоретизирования невозможно «укоренить», если это делается не через призму истории. Нужно ставить вопросы: что собой представляют «заинтересованные группы» в данном политическом конфликте? О чем, собственно, ведется спор? Как распределены экономические, социальные, политические ресурсы в обществе? И так далее. Одним словом, для того чтобы высказать аргумент, что некая политическая теория — идеологична, требуется достаточное количество эмпирических (исторических) данных.

Философский подход к политической теории не предусматривает возможность обеспечить доказательность такого аргумента⁵⁴. Только исторический подход раскрывает для нас специфику контекста и показывает некую шкалу теоретических выборов, согласно которой мыслитель разрабатывал свою систему и в рамках которой теория оказывает политическое влияние на своих последователей и критиков, только исторический подход, *возможно*, приведет к выводу (и, *возможно*, докажет его), что некая политическая теория — это идеология.

Исторический подход к политике далек от того, чтобы быть просто «исторической любознательностью», — он является первым и не-

⁵⁴ Как утверждает Штраус, существуют «универсально значимые критерии, не требующие исторического доказательства или недоступные для него». Штраус Л. Политическая философия и история // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 11.

обходимым шагом к тому, чтоб показать важность политического контекста в интерпретации политических теорий. Более того, раз уж подавляющее большинство мыслителей низведены до идеологии, серьезная попытка заняться историческим контекстом вокруг кого-то из них возымеет, в конечном итоге, общий эффект на изменение понимания политических теорий.

Вместо того чтобы кричать об универсальных ценностях, вневременных истинах и «объективности», обоснованной непроверенными философскими и эпистемологическими допущениями, те, кто учит политике и пишет о ней, будут вынуждены столкнуться лицом к лицу со все возрастающей грудой исторических сведений, с учетом которых их тезисы будут становиться все более сомнительными. Мне кажется, в конце концов философский подход к политике растворится в собственной пустоте.

Даже если бы он был верным, даже если бы в его защиту высказывались громкие аргументы, осознанное признание того, что исследователи политической теории сами являются ее частью, — ведь они собирают свидетельства, формулируют аргументы, выдают практические императивы для своих последователей, — такое признание наверняка явило бы собой уход от нынешних мистификаций, с помощью которых философы скрыли истинную природу, смысл и цели политической теории.

*Перевод с английского
Елены Кухарь*

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КУДА ИДЕТ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ?¹

ВВЕДЕНИЕ

Переоценка и пересмотр ценности того, что мы унаследовали от ныне живущих и уже умерших мыслителей, происходящие время от времени, всегда совершаются с позиций нашего времени и случая. Мы осуществляем пересмотр в свете тех проблем, с которыми сталкиваемся и которым решаемся придавать особое значение. И делаем мы это с чувством того, где мы как исследователи политической теории были и куда надеемся пойти. Моя цель в данном случае состоит в том, чтобы сказать что-нибудь о том, где мы были, где мы находимся сейчас и куда мы могли бы пойти еще.

Давать какую-либо разновидность прогноза относительно будущего направления и состояния политической теории всегда опасно, потому что предсказания об изменениях человеческих мыслей, действий и практик печально известны своей ненадежностью и почти всегда попадают пальцем в небо. Нужно быть гегельянцем, чтобы оценить суть гегелевского предупреждения об опасностях, присущих попыткам выйти за пределы мира, с которым знакомы и в котором проживают люди: «Что же касается отдельных людей, то уж, конечно, каждый из них сын своего времени; а философия есть также время, постигнутое в мысли. Столь же нелепо предполагать, что какая-либо философия может выйти за пределы современного ей мира, сколь нелепо предполагать, что индивид способен перепрыгнуть через свою эпоху, перепрыгнуть через Родос. Если же его теория в самом деле выходит за ее пределы, если он строит мир, каким он должен

¹ Перевод сделан по: Ball T. Reappraising Political Theory. Revisionist Studies in the History of Political Thought. — Oxford, 1995. P. 39–61. Перевод выполнен в рамках исследования, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (проект 08–03–00 295а).

быть, то этот мир, правда, существует, но только в его мнении, в этом податливом материале, позволяющем строить что угодно»².

Это то предостережение, к которому серьезно отнеслись мудрые и благоразумные.

Вопреки предупреждению Гегеля существует и другое изречение, которое можно было бы применить к настоящему случаю: дураки стремятся туда, где ангелы (и даже Гегель) боятся ступить. Итак, отталкиваясь от того, что кто-нибудь мог бы посчитать бесполезной затеей, я предлагаю действовать следующим образом. Будучи убежденным в том, что прошлое и настоящее могут быть лучшими проводниками (хотя и не обязательно предсказателями) в будущее, я начну восстанавливать некоторые из шагов, сделанные политической теорией и ее критиками на протяжении последних трех десятилетий³. Во-вторых, сказав что-то о том, откуда мы пришли, я хочу сказать, где, как я думаю, мы стоим сейчас. И, в-третьих, я хочу отважиться на небольшое число поверхностных догадок, о том, куда нас можно было бы направить.

Перед тем как начать, мне следует сказать, что я не заявляю о своих правах или претензиях говорить за кого-то, кроме самого себя. Многие, возможно, даже большая часть, из моих коллег политических теоретиков рассказали бы историю по-другому и некоторые — штраусианцы, скажем, или марксисты, или постмодернисты — без сомнения, возразят относительно того, что мне придется говорить. И их возражениям, конечно, следует придавать значительный вес. Но я предлагаю взять на вооружение мои слова именно так, как понимаю их я, и говорить автобиографически там, где кажется подходящим так поступать.

ТАКИМИ МЫ БЫЛИ

С середины 1950-х до 1970-х годов или приблизительно в это время было *de rigueur*⁴ праздновать (если вы были «бихевиоралистом») или сокрушаться (если вы были «теоретиком») по поводу упадка политической теории⁵. В 1953 году Дэвид Истон провозгласил конец политической теории такой, какой она была, и в известном смысле, что могло бы

² Гегель Г. В. Ф. *Философия права*. — М., 1990. С. 19.

³ Имеется в виду период приблизительно с 1965 по 1995 годы. — *Прим. ред.*

⁴ Обязательно (*фр.*). — *Прим. ред.*

⁵ Cobban A. The Decline of Political Theory // *Political Science Quarterly*. 1953. № 68. P. 321–337.

вызвать румянец смущения даже на щеках Герберта Уэллса, предсказавшая структурой и надлежащим упорядочиванием «государства», надарства и заключил в скобки, если совершенно не стал сторониться, любые чисто нормативные интересы. Впредь «политическую систему» нужно было сократить и рассматривать в правильной перспективе, как одну из нескольких «подсистем», каждая из которых имела свои собственные отличительные «входы» и «выходы»⁶. Не приходилось и говорить, что этот язык был весьма далеким от тех идиом, с помощью которых привыкли разговаривать политические теоретики.

Истон, разумеется, был не единственным критиком нормативной, или (как иногда называли) традиционной политической теории. Вскоре появился настоящий хор критиков⁷. К их голосам добавились те, кто праздновал конец идеологии, по крайней мере, на Западе⁸. Главные социальные проблемы, как казалось, были разрешены или были, во всяком случае, на пути к тому, чтобы стать разрешенными. Считалось, что широко распространенный нормативный консенсус насквозь пропитал западные демократии и, в частности, Соединенные Штаты. Американские историки, приверженцы этого консенсуса, показали, что дела всегда обстояли таким образом и что мечты, схемы и теории «утопических» мыслителей и идеологов были обязаны потерпеть крах в по своей сути прагматической культуре⁹. Политическая теория, не способная (или не желающая) отказаться от интереса, по крайней мере ученого, ко всему неортодоксальному и утопическому, была заклеена именно по этой причине. Среди первых, кто заметил, если вообще не отпраздновал, смерть утопического мышления, были, что и неудивительно, сами политические теоретики¹⁰.

⁶ Easton D. The Political System. — NY, 1953.

⁷ См., наприм: Dahl R. Political Theory: Truth and Consequences // World Politics. 1956. № 11. P. 89—102. Для общего представления о более ранних дискуссиях и более современного обзора, см., соответственно: Euben J. P. Political Science and Political Silence // P. Green, S. Levinson (eds.) Power and Community: Dissenting Essays in Political Science. — NY, 1970. P. 3—58; Gunnell J. G. Between Philosophy and Politics: The Alienation of Political Theory. — Amherst, 1986.

⁸ Shils E. The End of Ideology? // Encounter. 1955. № 5. P. 52—58; Bell D. The End of Ideology. — NY, 1960.

⁹ См.: Hofstadter R. The Progressive Historians. — NY, 1969. P. 444—466.

¹⁰ Shklar J. After Utopia. — Princeton, NY, 1957; Kates G. Utopia and its Enemies. — NY, 1963.

В этом климате Питер Ласлет параспев произнес: «На данную минуту так или иначе политическая философия мертва»¹¹. (Это достаточно курьезный вид смерти, но в этом случае политическая теория является курьезной разновидностью призвания.) И даже те, кто не хотел писать ее некролог, не хотели бы стенать по поводу шаткой позиции политической теории. Шелдон Уолин предупредил «Политику и предвидение» горестной жалобой об уже почти свершившейся смерти: «Сегодня во многих интеллектуальных кругах имеет место явная враждебность и даже презрение к политической философии в ее традиционной форме. Моя надежда состоит в том, что эта книга, если и не задержит тех, кто страстно желает отделаться от того, что остается от традиции политической философии, то сможет, по крайней мере, преуспеть в прояснении того, что представляет собой то, от чего мы откажемся»¹².

А что представляет собой то, от чего должно отказаться, согласно последующему мнению Уолина, что является дорогой бисеринкой, ценность которой не может воспринять только самая настоящая свинья.

Однако не все комментаторы были столь пессимистично настроенными. Некоторые, такие как Исайя Берлин и Джон Пламенатц, считали, что политическая теория могла бы не умирать, по крайней мере, до тех пор, пока ее источник — политика — жив. Вместе с тем оба предварили свои рассуждения извинениями, призванными однако подтвердить их точку зрения. В 1960-е, всего лишь четыре года спустя после появления некролога Ласлета, Пламенатц писал: «Даже в Оксфорде, который, возможно, больше чем какое-либо другое место в англоязычном мире является домом политической теории или философии, часто говорят, что предмет мертв или его значение, к сожалению, понизилось. Мне посчастливилось иметь профессиональный интерес, допуская, что сей предмет все еще жив и, вероятно, останется таковым, как и любой другой предмет, постольку, поскольку человек продолжает быть спекулятивным и деятельным животным. Я не думаю, что я предвзят; я не думаю, что мне необходимо быть таковым. Важность предмета кажется мне такой очевидной, а основания ставить его под сомнения столь путанными, что я не считаю себя защитником напрасного и трудного предприятия»¹³.

¹¹ *Laslett P. Introduction // P. Laslett (ed.) Philosophy, Politics and Society. — Oxford, 1956. P. VII.*

¹² *Wolin S. Politics and Vision. — Boston, 1960. V.*

¹³ *Plamenatz J. The Uses of Political Theory // Political Studies. 1960. № 8. P. 37.*

Приблизительно в то же самое время и в том же духе Исая Берлин начал с вопроса свое эссе о судьбе политической теории, возмевшее большое влияние. «Существует ли, — спрашивал он прямо, — еще такой предмет, как политическая теория?» Перед тем как ответить утвердительно, Берлин озвучил обычное подозрение в отношении столь непосредственной постановки отправного вопроса: «Задавать подобный вопрос, а его подозрительно часто задают в англоязычных странах, значит ставить под сомнение само право этого предмета на существование: вопрос этот наводит на мысль, что политическая философия — какой бы ни была она в прошлом — сегодня уже мертва или находится при смерти»¹⁴. Берлин и Пламенатц продолжали отрицать, что политическая теория мертва или даже находится при смерти.

Кто тогда прав — те, кто предупреждал о смерти или, во всяком случае, о надвигающейся кончине политической теории, или те, кто считал, что политическая теория не умерла или могла бы и не умирать? Я хочу сказать, что каждый по-своему был полностью прав. Парадоксально, но политическая теория в некоторых своих аспектах умерла или умирала, и, однако, она могла бы и не умирать.

Мы можем разрешить парадокс, если начнем проводить (и позднее отзывать) временное различие между первопорядковым и второпорядковым теоретизированием. Первopядковoe теоретизирование возникает в связи с деятельностью, спровоцированной устройством чьего-либо общества¹⁵. Поскольку люди живут вместе в сообществах, неизбежно будут возникать фундаментальные вопросы. Ни одно сообщество не может долго существовать, не задавая и не отвечая, по крайней мере, предварительно, на вопросы следующего рода. Для начала существуют вопросы о справедливости и честности в распределении обязанностей и ресурсов. Кто кому должен и в каком порядке? Вопросы о должностях и о полномочиях; вероятно, должны возникать также вопросы: кто должен решать вопросы, касающиеся всех, — все члены сообщества или лишь немногие? Если последние, то какие именно, как и кем они должны быть выбраны? Кроме того, существуют вопросы, требующие проведения концептуальной и одновременно политической демаркации: с помощью каких критериев мы будем проводить различия между политическими или публичными проблемами и непolitическими или приватными? Эти вопросы, в свою очередь, вызывают вопросы об основаниях и оправдании: откуда происходят вы-

¹⁴ Берлин И. Существует ли еще политическая теория? // И. Берлин. Подлинная цель познания. — М., 2002. С. 81.

¹⁵ См.: Оукшот М. Рационализм в политике. — М., 2002.

шеупомянутые критерии и на каком основании они могли бы быть оправданы (или, если того требует ситуация, подвергнуты критике)? Или рассмотрим вопросы о наказании: что мы будем делать с инакомыслящими или отклоняющимися от нормы членами нашего общества — терпеть, изгонять или казнить? А затем, конечно, существуют вопросы о степени и пределах обязательства: имеет ли каждый здоровый гражданин обязательство сражаться и, возможно, умирать за государство, если выживание государства, как покажется, потребует этого?

Список можно было бы продолжить, но суть дела, наверное, является достаточно ясной: вопросы, которыми интересуется политический теоретик, — это в точности те вопросы, которые должно задавать и на которые должно пытаться отвечать любое цивилизованное сообщество. Величайшие политические мыслители — какой-нибудь Аристотель или, скажем, Гоббс — попытались разработать теории, на основе которых такие вопросы могут быть заданы, сформулированы или переформулированы и в рамках которых, быть может, на них можно дать ответ ясным, полным и систематическим образом¹⁶. Но какими бы великолепными или заурядными ни были умы тех, кто бьется над вопросами о надлежащем упорядочивании общества, остается фактом, что политическое мышление или теоретизирование является *в этом смысле* важной, в действительности необходимой деятельностью. Поэтому Пламенатц и Берлин были правы, когда говорили, что политическая теория, понятая как первопорядковое теоретизирование, могла бы и не умирать, а более современные комментаторы совершенно правы, считая ее необходимой¹⁷.

Напротив, большинство из того, что принимается за политическую теорию в академическом мире, сразу же можно бы быть обозначить как второпорядковое теоретизирование. Оно состоит в значительной степени, хотя никоим образом и не исключительно, из деятельности по изучению, преподаванию и комментированию классической политической мысли. Если первопорядковое теоретизирование почти бессмертно, то второпорядковое теоретизирование, в сущности,

¹⁶ Политические теоретики не согласны по поводу того, существуют ли «вечные вопросы» или эти вопросы меняются на протяжении времени. Моя собственная точка зрения состоит в том, что вопросы сами меняются, отчасти из-за того, что понятия, конституирующие моральные языки или идиомы, в которых формулируются вопросы, имеют исторически изменчивые значения. См.: Ball T. Transforming Political Discourse. — Oxford, 1988.

¹⁷ MacIntyre A. The Indispensability of Political Theory // D. Miller, L. Seidentop (eds.) The Nature of Political Theory. — Oxford, 1983.

смертно. Оно может умереть или исчезнуть или, по крайней мере, оказаться несостоятельным, обесцененным или игнорируемым, как это случалось на многих факультетах политической науки в период расцвета бихевиорализма. Политическая теория, как она практикуется на факультетах политической науки, была предана своего рода заточению или живой смерти — самое худшее, что могло произойти. Многих из тех, кто практиковал второпорядковое теоретизирование, заставили чувствовать себя нежелательными и некоторых даже поощряли искать себе единомышленников в более подходящем окружении, предоставляемом факультетами философии и истории.

Таким образом, возвращаясь к парадоксу, сформулированному ранее, — как могла бы политическая теория быть мертвой и живой одновременно — мы можем теперь понять, что парадокс был только мнимым и что его разрешение в действительности очень простое. Те, кто, как Ласлет, провозгласили смерть или неизбежную гибель политической теории, говорили о ней как о специализированной политической дисциплине на факультетах политической науки, другими словами, как о второпорядковом теоретизировании. И они, по крайней мере, были, по-видимому, правы, утверждая, что политическая теория в этом смысле находилась в смертельной опасности, если уже была мертва. Однако Берлин и Пламенатц были не менее правы, утверждая, что политическая теория, понятая как первопорядковое теоретизирование, не была ни мертвой, ни умирающей, и вообще не могла быть таковой. Эта политико-теоретическая деятельность в действительности является необходимой.

Однако вышло так, что все сообщения о смерти (академической или второпорядковой) теории на практике оказались преждевременными, если, возможно, вообще полностью неподтвержденными. К середине 1970-х академические политические теоретики могли цитировать высказывание Марка Твена, прокомментировавшего свой собственный некролог. «Сообщения о моей смерти, — Твен телеграфировал своему обезумевшему от горя издателю, — были значительно преувеличены». Что произошло? Как и почему этот академический Лазарь воскрес из мертвых?

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Несколько объяснений, которые тем не менее являются неполными и неудовлетворительными, помогают истолковать возрождение — в действительности изумительное восстановление — академической

политической теории примерно к концу 1970-х¹⁸. Часто предлагаемое объяснение состоит в том, что политическая теория преуспевала, когда и потому, что на долю ее смертельного врага — бихевиорализма — выпали тяжелые времена. Хотя адекватная история «поведенческой революции» — и большая история политической науки, которая является ее важной частью, — все еще ожидает того, чтобы быть написанной, она как минимум должна будет включать объяснение восхождения и гибели своих философских оснований¹⁹. Несмотря на то что бихевиоралисты имели обыкновение проводить резкое различие между философией и наукой, отказываясь от первой в пользу последней, бихевиорализм был на самом деле глубоко зависим от особой философии — позитивизма. Именно из позитивизма — или, как его в большинстве случаев называют, логического позитивизма или логического эмпиризма — бихевиорализм заимствовал многие из своих ключевых категорий и различий²⁰. Для бихевиоралистов это заимствование приняло три важные формы.

Во-первых, в качестве объяснения значения логический позитивизм различал три вида суждений: синтетические суждения об эмпирических фактах («Кошка на коврике» было моим любимым); аналитические суждения о логической необходимости («Все холостяки неженатые мужчины»); и последняя, вмещающая все остальное, категория нормативных высказываний, которая не описывает ни некоторое состояние мира, ни состояние логически необходимых истин, но служит только для того, чтобы выражать установки, чувства, предпочтения или ценности. Во-вторых, эта теория значения, в свою очередь, обеспечивает основание для эмотивистской теории этики, которая полагает, что этические высказывания являются когнитивно пустыми и бессмысленными; они являются только (в ярком, если не слегка непристойном термине Айера) «эякуляциями», которые ничего не выражают, а, возможно, сберегают субъективные предпочтения или состояния сознания говорящего. Так, высказывание «воровство неправильно» вообще ничего не говорит ни о мире,

¹⁸ См.: *Barry B. The Strange Death of Political Theory // Government and Opposition. 1980. № 15. P. 276–288; Miller D. The Resurgence of Political Theory // Political Studies. 1990. № 38. P. 421–437.*

¹⁹ См.: *Farr J. Remembering the Revolution: Behaviouralism in American Political Science // J. Farr, J. S. Dryzek, S. T. Leonard (eds.) Political Science in History: Research Programs and Political Traditions. — Cambridge, 1995. Ch. 8.*

²⁰ *Euben J. P. Political Science and Political Silence // P. Green, S. Levinson (eds.) Power and Community: Dissenting Essays in Political Science. — NY, 1970.*

ни об отношениях логического вывода, но только выражает необходимость, позитивизм предоставил критерии для разделения между наукой и ненаукой²¹. Наука не говорит о каком-либо особом предмете, но говорит о значении и методе. Наука о политике может существовать столь же обоснованно, как может существовать наука химии или физики, при условии, что ее суждения являются когнитивно значимыми (т. е. синтетическими) суждениями об удословляемом эмпирическом факте и что ее объяснения соответствуют требованиям дуктивно-номологической модели. Согласно последней можно сказать, что мы объяснили некоторый феномен X, если и только если суждение, описывающее X (экспланандум), выводимо в качестве заключения из посылок, содержащих один или больше общих законов, наряду с суждениями о начальных условиях (эксплананс).

Философский позитивизм, так сказать, служил нормативной и регулятивной функцией для бихевиорализма, поскольку именно позитивизм определял для бихевиоралистов, что есть наука и что политической науке нужно сделать, если она желает стать таковой. Во-первых, политическая наука должна проводить различия между фактами и ценностями. Во-вторых, ей следует быть эмпирической, вместо того чтобы быть нормативной. И, в-третьих, она должна быть объяснительной в вышеупомянутом смысле. Все подлинные научные объяснения, согласно позитивистским критериям объяснительной адекватности, зависят от открытия и развертывания вечных универсальных законов. Так как большая часть традиционной политической теории не соответствовала позитивистским критериям когнитивной значимости и объяснительной адекватности, она была отвергнута как ненаучная или, в лучшем случае, как донаучная, и поэтому ей было предопределено в свое время оказаться устранимой.

Однако в руках бихевиоралистских критиков скальпель позитивистов обрезал оба пути, поранив и тех, кто им пользовался. Вскоре стало ясно, что практически все, что считалось эмпирической или научной политической наукой, не соответствовало тем позитивистским критериям, на основании которых политическая теория была подвергнута критике и отвергнута как бессмысленная из-за своей нормативности. Не потребовалось никакого большого семантического мастерства, чтобы показать, что ценности скрываются в тени даже наиболее обеззараженных научных суждений: фактически не существ-

²¹ См., например, Moon J. D. The Logic of Political Inquiry // F. I. Greenstein, N. W. Polsby (eds.). Handbook of Political Science (Reading, Mass., 1975).

вовало никаких нормативно нейтральных или нетеоретических дескриптивных суждений (или, как ранее обозначили их позитивисты, протокольных предложений)²². Еще хуже то, что не нашлось никаких законов политического поведения. Ни один из них — даже чаще всего расхваливаемые законы, предложенные Михельсом и Дюверже, — не мог бы подойти под образец позитивистских критериев²³.

Тем временем в философии науки критики позитивизма одержали победу и к середине 1970-х почти все стойкие позитивисты признали поражение. Когда в 1977 году интервьюер спросил Айера, какими были основные недостатки позитивизма, он ответил: «Ну, я полагаю, что самым важным из недостатков было то, что почти все в нем было ложным»²⁴. Среди многих ложных утверждений, которые сделал позитивизм и которые заимствовал бихевиорализм, была часто слышимая избитая история про то, что нельзя выводить «должное из сущего». Однако как оказалось, не только возможно, но и на самом деле очень просто выполнить этот предположительно невозможный трюк²⁵.

Поведенческая политическая наука была обязана своим существованием одному конкретному виду философии науки, а поэтому на ее судьбу с неизбежностью неблагоприятно повлиял упадок позитивизма. Тем не менее было бы ошибочно или, во всяком случае, предвзято и упрощенно говорить о том, что возрождение академической политической теории может быть исключительно объяснено идущими на спад успехам философского позитивизма и сопутствующего заката бихевиорализма.

Другой фактор, который должен фигурировать в нашем объяснении, — это то, что Аласдэр Макинтайр назвал «концом конца идеологии»²⁶. С середины 1960-х, равно как и сегодня, стало очевидным, что идеология не закончилась и что она, по всей видимости, и не должна была закончиться. Напротив, новые политические движения — среди студентов, чернокожих, женщин, антивоенных активистов и других — поднимали новые вопросы и формулировали новую повестку дня. Это первопорядковое теоретизирование, несмотря на свою сбивчивость

²² *Taylor C. Neutrality in Political Science // Philosophy, Politics and Society. — Oxford, 1967. P. 25–57.*

²³ *См.: Farr J. Resituating Explanation // T. Ball (ed.) Idioms of Inquiry. — Albany, NY, 1987. P. 45–66.*

²⁴ *Magee B. (ed.) Men of Ideas. — NY, 1978 P. 131.*

²⁵ *См.: Anscombe G. E. M. On Brute Facts // J. J. Thomson, G. Dworkin (eds.). Ethics. — NY, 1968; Searle J. R. Speech Acts. — Cambridge, 1969. Ch. 8.*

²⁶ *MacIntyre A. Against the Self-Images of the Age. — Notre Dame, 1971. Ch. 1.*

и корявость, проходило на улицах и в аудиториях²⁷. От Движения за свободу слова в Беркли в 1964 году до *les événements* мая 1968 года в Париже (которое почти свергло голлистское правительство) старые постулаты, включая сам тезис о конце идеологии, были поставлены под сомнение и разоблачены как по своей сути «идеологические». В 1972 году издатели знаменитой серии «Философия, политика и общество»²⁸, выходящей под редакцией Питера Ласлета, признали, что «мы никогда не были правы, размышляя с помощью таких патологических метафор, и, во всяком случае, ясно, что они более не применимы. Ныне общеизвестно, что доминировавшие во времена, описанные в нашем первом введении [в 1956. — *Прим. ред.*], оба интеллектуальных движения, позволявшие социологам говорить о «конце идеологии» и философам говорить о «смерти политической теории», сами были масками сомнительных идеологических позиций»²⁹.

Любому объяснению возрождения политической теории также пришлось бы включать истолкование политических следствий отдельной концепции отношения между социальной наукой и политической практикой — не в абстрактном, но (используя фразу, некогда часто бросаемую против академических политических теоретиков) в реальном мире. Война во Вьетнаме, которая не была объявлена, была достаточно реальной. Это была война, в которой не только сражались Г. I³⁰, но, что более важно, война, которая управлялась экспертами. Критики называли их новыми мандаринами, а защитники — интеллектуалами-защитниками. Их притязание на экспертизу имело основание в инструменталистской и позитивистской позиции социальной науки и в ее отношении к политической практике³¹. Надеж-

²⁷ Miller J. *Democracy is in the Streets*. — NY, 1987.

²⁸ «Философия, политика, общество» — известная серия, посвященная проблемам политической философии, издаваемая в Британии с 1956 года. Бессменным редактором каждого тома являлся Питер Ласлет — историк социальной мысли и представитель аналитической политической философии. О знаменитости и представительстве аналитической политической философии. О знаменитости серии говорят имена авторов, публиковавшихся в рамках проекта: Исайя Берлин, Джон Ролз, Герберт Харт, Ральф Дарендорф, Джон Поукок, Майкл Оукшот и др. — *Прим. ред.*

²⁹ Runciman P. W. G. Laslett P., Skinner Q. (eds.). *Philosophy, Politics and Society*. — Oxford, 1972. P. 1.

³⁰ Г. I. — традиционная аббревиатура, которой обозначаются рядовые солдаты вооруженных сил США. — *Прим. ред.*

³¹ См.: Ball T. *American Political Science in its Postwar Political Context* // J. Farr, R. Scidelman (eds.) *Discipline and History*. — Ann Arbor, 1993. P. 207–222.

де установления позитивистской науки о политике, диктовавшейся стремлением, происхождение которого может быть возведено к Сен-Симону и Конту в XIX столетии, был нанесен решительный, если не смертельный, удар опытом Соединенных Штатов во Вьетнаме.

Но что это имеет общего с растущими успехами академической политической теории? Как раз следующее: Вьетнам заново поднял и вывел на передний край именно те разновидности нормативных вопросов, которые политическая теория, как предполагалось, должна была поднимать: вопросы о правах и обязанностях граждан, о чьих-то обязательствах сражаться за государство, о справедливых (и несправедливых) войнах, об активном и пассивном сопротивлении и других подобных проблемах³².

Поскольку история имеет некоторую связь с биографией и наоборот, я хотел бы сделать короткую паузу для автобиографического отступления о том, как я стал академическим политическим теоретиком. Говоря прямо, я начал заниматься этим родом занятий не столько из-за того, что я был без ума от философии или истории идей, но из-за войны во Вьетнаме. С 12 лет до предпоследнего курса я был уверен в том, что хотел быть физиком, и мое образование было ориентировано именно на достижение этой цели. Мой интерес к истории и философии был в большой мере ограничен историей и философией науки. Я называл себя позитивистом, считал Рассела и Айера своими героями и с чувством некоторого превосходства относился к тем недалеким умам, которые возделывали не столь возвышенные вертограды. Короче говоря, я был невыносимым.

Но какое значение имеет война! Перспектива того, что придется делать выбор между отъездом во Вьетнам, отъездом в Канаду и отправкой в тюрьму, замечательно концентрирует ум. Чем больше я узнавал о войне, тем больше я верил, что была выбрана неверная стратегия ее ведения, поскольку войну эту невозможно было выиграть изначально. Кроме того, в ней приходилось сражаться бедным, чернокожим и необразованным, немногие из которых имели студенческие отсрочки. То, что я, тогда будучи студентом в Университете Калифорнии, имел такую отсрочку, казалось нечестным перед их лицом. Признавая эту проблему, Служба воинской повинности согласилась покончить со студенческими отсрочками и ввести лотерейную систему. Тем временем я думал, что мог бы помочь, исправив нечестность посредством поступления на военную службу; но это

³² См.: *Walzer M. Obligations.*—Cambridge, 1970; *Walzer M. Just and Unjust Wars.*—NY, 1977.

сделало бы меня соучастником в войне, которая казалась явно несправедливой. Никогда раньше не сталкиваясь с глубокой моральной дилеммой, я имел немного (если вообще какие-либо) ресурсов, которые мог использовать. Что мне следовало делать? Где лежат мои обязанности? Следует ли мне поддерживать мое правительство, даже когда я считаю его политику ошибочной и неправильно направляемой или, еще хуже, явно несправедливой? Существует ли нечто вроде обязанности сопротивляться? Я не знал, что делать или даже как начать думать о таких волнующих вопросах.

Итак, сдерживая свою гордыню, я записался на семинар по политической теории (предмет, о котором я слышал раньше, но выбросил из головы, как не относящийся к области моих интересов), на котором должны были обсуждаться и дебатироваться эти вопросы. Мы читали «Антигону» Софокла, «Апологию» и «Крития» Платона, Кальвина, Лютера и Локка, Торо, Толстого, Ганди, Камю и Мартина Лютера Кинга (который в то время еще был живым человеком, а не мирно упокоившимся мучеником, каким он видится нам сегодня). Наши дискуссии на семинаре — и вне семинара, во время коротких ночных часов — имели особую необходимость для многих из нас. Этот семинар и эти дискуссии не позволили мне принять решение относительно того, как мне поступать, хотя они и помогли прояснить размышления, в итоге повлиявшие на принятое мною решение³³. Как оказалось, мой интерес к политической теории здесь не заканчивался; он рос, углублялся и становился моим призванием и работой всей жизни.

Но достаточно автобиографических отступлений. Я упоминаю мой собственный опыт только потому, что он не был, как я подозреваю, уникальным, как и не были таковыми опыты, не относящиеся к возрождению политической теории на протяжении 1970-х. В дополнении и в близкой связи с антивоенным движением существовали более ранние и действовавшие согласованно движения за гражданские права и за права женщин³⁴. Политическая теория процветала в той степени, в какой она имела дело с реальными политическими проблемами и такими движениями, которые поднимали эти проблемы и обращались к ним. Однако, придавая особое значение роли подобной внеаудиторной деятельности, я не намереваюсь отрицать или наговаривать на важность того вклада, который был сделан в рамках академической среды.

³³ Остальные мои друзья приняли другие решения. Имена двух моих друзей теперь выгравированы на Вьетнамском мемориале в Вашингтоне.

³⁴ Evans S. Personal Politics. — NY, 1979.

Политическая теория получила заметную поддержку в начале 1970-х публикацией «Теории справедливости» (1971) Джона Ролза. В отличие от тех, кто приписывают ему одному возрождение политической теории, я не хочу преувеличивать важность Ролза, хотя он был и остается значительной фигурой. Однако я убежден, что его размышления о справедливости были особенно важными и привлекательными для тех, кто вложил свою жизнь, размышляя и принимал участие в антивоенном движении и в движении за гражданские права. Несмотря на свой потрясающий абстрактный формализм («исходное положение», «занавес неведения» и прочее), теория Ролза была тем не менее близко связана с миром реальной политики. Она, не соглашаясь на компромиссы, имела дело с неотложными вопросами о правах, обязанностях и долге, с оправданием гражданского неповиновения. А своим совершенно оригинальным исследованием *справедливости, относящейся к связи поколений*, он обращался к проблемам только что возникшего движения в защиту окружающей среды³⁵. Хотя (или, возможно, потому что) теория Ролза стала объектом большого критического исследования, комментирования и попыток опровержения, ее публикация и восприятие оказались важным фактором в возрождении политической теории в рамках академической среды³⁶. Значение совершенно иного сорта должно быть приписано историческим исследованиям Питера Ласлета, Джона Поукока, Квентина Скиннера, Джона Дана и другим среди так называемых «новых историков» политической мысли, а также критической теории Юргена Хабермаса и возродившейся Франкфуртской школе, роли Рональда Дворкина и других исследователей в возобновлении интереса к философии права, проведенным Мишелем Фуко важным исследованиям институтов (тюрем, клиник и психиатрических лечебниц) и других способов, с помощью которых конституируются и дисциплинируются современные мужчины и женщины.

Возрождению политической теории, которое началось в начале 1970-х, также помогло появление новых журналов, специализирующихся в этом предмете. Первым из них был *Interpretation*, журнал с определенно штрауссианским уклоном, который начал издаваться

³⁵ Ролз Д. Теория справедливости. — Новосибирск, 1995. Ср.: Sikora R. I., Barry B. (eds.) *Obligations to Future Generations*. — Philadelphia, 1978; Partridge E. (ed.) *Responsibilities to Future Generations*. — Buffalo, NY, 1981; Wenz P. S. *Environmental Justice*. — Albany, NY, 1988. Ch. 11.

³⁶ См.: Нозик Р. Анархия, государство и утопия. — М., 2007; Barry B. *The Liberal Theory of Justice*. — Oxford, 1973; Daniels N. (ed.) *Reading Rawls*. — NY, 1975.

в 1970 году. Год спустя, в тот же самый год, когда была опубликована «Теория справедливости» Ролза, за ним последовал *Philosophy and Public Affairs* — журнал, посвященный высказыванию публичных восторгов, которые часто имеют важное философское измерение. Издатели нового журнала писали, что *Philosophy & Public Affairs* основан на убеждении, согласно которому философское исследование этих вопросов может внести вклад в их прояснение и разрешение. Журнал приветствовал философские дискуссии о существующих юридических, социальных и политических проблемах, так же как и о более абстрактных вопросах, возникновению которых они способствуют. Кроме того, он предполагал публиковать исследования по моральной и интеллектуальной истории таких проблем. Цель этого нового журнала, заключали его издатели, состояла в том, чтобы применить «особые методы» философии «к проблемам, которые касаются всех и каждого»³⁷.

В 1973 году к этим новым журналам присоединился *Political Theory* — журнал, посвященный той разновидности политической теории, которая создается не философами, а теми, кто трудится на факультетах политической науки. Если просмотреть оглавления прошлых номеров этого журнала, то можно увидеть, как политическая теория начинала оживать и меняться с начала 1970-х. Первые номера были посвящены в значительной степени, хотя и не исключительно, анализу таких политических понятий, как «власть», «свобода», «равенство», «интересы» и даже самого понятия «политика». К середине 1970-х интерес переключился на Ролза и справедливость, Хабермаса и критическую теорию, Маркса и неомарксизм, а также другие темы. Один из возможных подходов к пониманию ситуации состоит в том, что к середине 1970-х или около того теоретики прекратили играть роль ручной прислуги, истолкователей понятий или «подмастерья» для большой дисциплины политической науки и что политическая теория находилась на правильном пути развития собственной идентичности.

Но этот прорыв был не признан и не оценен на многих факультетах политической науки. В 1982 году в редакционной статье тогдашнего издателя *Political Theory* Бенджамина Барбера приводилось скорее раздражительное наблюдение, что политическая философия продолжает процветать в рамках дисциплины политической науки, в отлучении которой эта дисциплина остается необычайно неблагодарной. «Уже на протяжении нескольких лет на встречах Американской ассоциации политической науки количество секций, посвященных

³⁷ Cohen M. *Philosophy and Public Affairs*. 1973. № 1. P. 1.

политической теории, вдвое превосходит все остальные, и всякие другие занимающиеся теорией подгруппы [...] продолжают размножаться [...]. В то же время политическая теория, как кажется, потеряла свои точки опоры с уменьшением членства в профессиональных ассоциациях и в связи с потерей ощущения своего назначения, последовавшего за гибелью позитивистского проекта, как его понимали в начале 1960-х. Дисциплина политической науки служила бы себе хорошо, если бы обратила внимание на обнаруживаемые все более многочисленные сообщения, которым она должна была оказывать почтение по своему предназначению»³⁸. Какие точно сообщения были обнаружены в возрастающем числе, Барбер не сказал. Но можно было прийти к заключению, что политическая теория вернулась и была более смелой и популярной, чем когда-либо.

УСТРЕМЛЯЯСЬ В БУДУЩЕЕ

В полном соответствии с критериями Барбера академическая политическая теория продолжала процветать на протяжении 1980-х и не показывает никаких признаков ослабления в последнее десятилетие XX столетия. Этот поворот судьбы, без сомнения, является полностью закономерным, и он долго запаздывал. Однако данный поворот к процветанию и респектабельности также представляется проблематичным в некоторых отношениях и по ряду причин, которые мне трудно сформулировать удовлетворительным образом. Не имея лучшего способа сказать это, позвольте мне быть резким в высказывании сильного и растущего подозрения: вновь обретенная гордость политической теории может предвещать упадок. Действительно, я вижу, что политическая теория следует почти той же траектории, которой следовала поведенческая политическая наука с середины 1950-х до начала или середины 1970-х. Не является совершенно невозможным то, что политическая теория не могла бы встретить похожую судьбу. Несколько знаков, как мне кажется, являются слишком явными, чтобы их пропускать.

Первое основание для опасения следует видеть в том, что политическая теория во все большей степени изолируется от своего предмета, который она, надо полагать, разделяет с политической наукой, то есть от политики. Второй и близко связанный признак имеет дело с растущей специализацией и профессионализацией политической

³⁸ Barber B. R. Political Theory. 1982. № 10. P. 491.

теории. Третий опасный сигнал можно заметить в растущей озабоченности политических теоретиков вопросами метода и техническими приемами. И четвертый признак различим в нашей склонности к занятию методологическими и /или метатеоретическими диспутами. Мы, говоря короче, становимся тем видом созданий, который сами однажды критиковали. Позвольте мне еще чуть-чуть сказать о каждой из этих тревог.

Лучшие и самые глубокие политические теории были близко связаны с политикой и, как правило, порождены кризисом. Кризисы и в сегодняшнем мире существуют в изобилии. Однако если принять оглавления нескольких следующих один за другим номеров журнала *Political Theory* в качестве указания на то, в каком направлении развивается или могла бы развиваться политическая теория, то остается только удивляться тому, как мало политического остается в политической теории. Даже самый внимательный читатель мог не подозревать, что существовал мир вне этих страниц, страдающий от проблем, беспрецедентных по своему масштабу и своим трудностям. Никто бы не знал, например, что существует экологический кризис глобальных распределений, который поднимает волнующие вопросы о правах и обязанностях в отношении будущих поколений³⁹. Вместо этого можно было прийти к заключению, что существует нечто, названное кризисом «конституции субъекта» или «тела» и «желания». Странные эгоцентричные кризисы для странных эгоцентричных времен. Посреди реального разрушения — экономического, экологического, этического — мы занялись деконструкцией. Не нужно быть штраусианцем, чтобы сказать о большей части современной академической политической теории то, что Лео Штраус однажды высказал о поведенческой политической науке: «Про нее можно сказать, что она играет на лире в то время, когда Рим горит. Ее извиняют два обстоятельства: она не знает, что играет на лире, и не знает, что Рим горит»⁴⁰.

Несомненно, изоляция политической теории от политики в значительной степени обусловлена динамикой профессионализации в американском академическом сообществе. Политическая теория показывает все признаки того, что она прекращает быть призванием

³⁹ Единственное исключение — короткая заметка Бэндмана. См.: *Bandman B. Do Future Generations have the Right to Breathe Clean Air?* // *Political Theory*. 1984.

№ 10. P. 95–102.

⁴⁰ Штраус Л. Эпилог // Л. Штраус. Введение в политическую философию. — М., 2000. С. 161.

и быстро становится «профессией» со всеми вытекающими отсюда последствиями, такими как разделение труда, специализация функций и тому подобное. Уже мы — теоретики — имеем «наши» специализированные организации — группа оснований политической мысли и конференция по изучению политической мысли — и увеличивающийся список «наших» журналов, включая *History of Political Thought*, *Journal of Political Philosophy* и *Studies in Political Thought*. Мы имеем также свои секции и круглые столы в Американской ассоциации политической науки и другие профессиональные собрания. Такая специализация не является абсолютно плохой вещью. Она имеет свои преимущества, но также, что не менее важно, и свои недостатки. Профессионализация немного похожа на переезд в пригороды: хотя шансы быть ограбленным понижаются, снижаются и шансы встретить новых людей, а выше становится вероятность общаться только с себе подобными. Довольно скоро пригород становится собственным маленьким замкнутым миром — надежным, безопасным, знакомым, дружелюбным и чрезвычайно предсказуемым.

В 1969 году Шелдон Уолин критиковал бихевиоралистов за их «методологизм», то есть за их озабоченность усовершенствованием методов измерения, статистических методик и т. п., в то время как они быстро расправлялись с настоящими политическими проблемами⁴¹. Теперь, четверть века спустя, та же самая критика могла быть без труда обращена против многих политических теоретиков. Мы, конечно, не делаем измерений (хотя некоторые из нас, видимо, ведут внимательный подсчет посещениям секций по политической теории в Американской ассоциации политической науки), но мы по необходимости интерпретируем тексты. А поэтому некоторые из наших методологических диспутов склонны по понятным причинам бушевать вокруг методов и технических приемов «чтения» или текстологической интерпретации⁴². Исторические «контекстуалисты» ведут диспуты с «текстуалистами» различной принадлежности, в то время как постмодернисты превращают все — войны, революции, гендерные отношения — в «тексты», которые подвергаются деконструкции. В последнее время позиция постмодернистов, как кажется, приобрела определенный вес. Некоторые приветствовали такое развитие событий, тогда как другие, включая меня, имеют много сомнений

⁴¹ Wolin S. Political Theory as a Vocation // The American Political Science Review. 1969. № 63. P. 1062–1083.

⁴² См.: Ball T. Reappraising Political Theory. Revisionist Studies in the History of Political Thought. — Oxford, 1995. Ch. 1.

и замечаний. Первая точка зрения хорошо представлена Уильямом Коннолли, очень компетентным бывшим издателем *Political Theory*. Он с гордостью указывает на «молодых ученых, которые представляют экзотический импорт такой, как [...] деконструкция, диалогический анализ, генеалогия или интертекстуальность так, как будто эти подходы являлись частью дебатов, проходивших в том или другом месте»⁴³. Но, как оказывается, это «место» не имело прямого отношения к политике, оно было ограничено все более вырождающейся, преувеличивающей собственную важность и поглощенной своими интересами академической средой.

Постмодернизм и другие виды «экзотического импорта», конечно, не лишены достоинств, но им также не приходится испытывать недостатка и в критиках. Джон Сёрл, например, сказал о деконструкции, что «это разновидность философии, которая могла бы дерьму дать плохое имя»⁴⁴. Не нужно быть столь недоброжелательным, как профессор Сёрл, чтобы иметь замечания об этом специфическом импорте. Можно даже оценить его первоначальную привлекательность, по крайней мере, во Франции, где система *lycée* диктовала не только то, из чего состоит подлежащий изучению канон, но и что «означает» каждый из составляющих его текстов предложение за предложением и слово за словом. Если как учащемуся мне бы говорили под страхом провалить экзамен на степень *baccalauréat*⁴⁵, что существует один и только один способ читать и интерпретировать Руссо или Бальзака, или Виктора Гюго, тогда я тоже поднял бы восстание. И если бы мне преподавали так, как когда-то преподавали студентам французского университета, что «структура» *fait tout*⁴⁶, то есть что значение (и много еще чего) было структурно (пере) определено, тогда я, несомненно, занимался бы деконструкцией и говорил бы о «свободной игре означающих» и т. п. Но я не француз, равно как не получил я и французского образования. Не являлись таковыми, раз уж на то пошло, и большинство самозваных постмодернистов среди американских политических теоретиков. Вот почему их подход к политической теории обладает эфемерными, легковесными качествами, которые делает такую теорию идеальной для эзотерической академической оранжереи, но в мире, полном реальных политических проблем, от этих качеств ей немного пользы. Со своей стороны

⁴³ Connolly W. E. *Political Theory*. 1989. № 17. P. 4.

⁴⁴ Searle J. On Deconstruction // *New-York Review*. 1983. № 30. P. 74-79.

⁴⁵ Бакалавр все (фр.). — Прим. ред.

⁴⁶ Отдывать за все (фр.). — Прим. ред.

я признаю, что постмодернизм или, по крайней мере, та его версия, которая пересажена в американскую академическую среду, производит на меня необыкновенно неземное, но не сказать, что основательное или антиполитическое, впечатление. И действительно, представляется, что существует особый вид интеллектуального аутизма, вследствие которого люди, страдающие склонностью к фантазированию, могут отбросить дисциплину и заново сотворить мир по собственному подобию. Их логику, кажется, можно свести к такому краткому силлогизму: в моей власти интерпретировать тексты как мне нравится; весь мир — текст; следовательно, мир в моей власти. Совершенно точно! А еще если бы желания были лошадьми, то нищие могли бы ездить верхом.

Однако здесь не место критиковать постмодернизм, постструктурализм, деконструкцию или какую-либо другую отдельную точку зрения. Моя цель здесь состоит не в том, чтобы сказать, куда политической теории не следует идти, но куда она могла бы и, возможно, куда ей следовало бы идти, когда мы готовимся вступить в XXI век. Поэтому я хочу закончить на позитивной ноте, сделав короткий набросок трех возможных и дополнительных путей, по которым мы могли бы последовать в следующее столетие.

Во-первых, я убежден, что политическая теория может и что ей следует вернуться к своей законной роли. Эта роль состоит не в подражании самой последней причуде из Франкфурта или Парижа, но в использовании всех доступных источников при пересмотре, оценке, критике и, быть может, порой понимании устройства чье-либо общества. Так получилось, что нам, исследователям политической теории, особенно повезло в том, что мы обладаем удивительно широким и богатым разнообразием источников. Я убежден в том, что самым величайшим из этих источников (и я хорошо осведомлен относительно аргументов против этого спорного заявления) является сама традиция западной политической мысли. Со всеми своими изъянами и недостатками, это самый ценный из тех источников, которые нам приходится использовать.

Если вы спросите, почему пользуются таким испорченным источником, я могу только ответить: потому что нет никакой другой — и определенно никакой более совершенной — альтернативы. Не существует никакой архимедовой точки вне нашего мира, никакого картезианского *cogito*, никакой выделенной позиции идеального наблюдателя, из которой можно было воспринимать и выносить решения о нашем мире и о действиях и практиках его обитателей. Мы можем только работать с теми (и над теми) материалами, которые уже

имеются под рукой. По иронии судьбы, скажем еще немного, когда некоторые жители Запада все больше игнорируют, отрицают и оговаривают свое наследие, многие незападные люди страстно желают присвоить то, что могут, из нашей традиции индивидуальных прав, свободы слова, прессы, собраний и т. п. Без сомнения, им придется чему-то научиться у нас, но также, я думаю, нам придется многому научиться у них и у их стремлений, и у их установок в отношении политической теории, которой они придают столь безотлагательное и огромное значение.

Это приводит меня к моему второму подающему надежды пути в будущее. В остальном благожелательный читатель мог бы согласиться с тем, что, скажем, китайцы сталкиваются с кризисами, заслуживающими теоретической рефлексии, но наша ситуация — иная. Отказываясь от удобного, но сомнительного допущения, что мы являемся столь демократичными, какими мы можем быть, остается некоторое количество кризисов, которые академические политические теоретики до сих пор не смогли признать как заслуживающие теоретического внимания и толкования. Один упоминавшийся ранее кризис, представляющий собой взаимосвязанную серию актуальных и потенциальных бедствий, проходящих под именем экологического кризиса, поднимает большую массу вопросов, которым мы пока уделили недостаточно внимания. Он ставит вопросы о том, кто мы есть и каково наше место в порядке природы; о наших обязательствах в отношении других людей, включая членов других культур и будущие, еще пока не рожденные поколения; о наших концепциях частной собственности и выгоды; и о сильных сторонах, недостатках и ограничениях наших институтов и моральных, политических, экономических и религиозных традиций, которые мы унаследовали у уже давно умерших мыслителей. И нам необходимо это делать не только потому, что данные вопросы интересны немногим чудаковатым теоретикам, но потому, что они представляют большую важность для всех нас как моральных агентов, как граждан и как политических исследователей⁴⁷. Это самое настоящее «первопорядковое» теоретизирование.

Мой третий путь в будущее касается последней из этих ролей. Если сказать просто, то вопросы политической теории являются слишком важными, чтобы быть оставленными для тех, кто называет сам

⁴⁷ См.: Goodin R. E. *Green Political Theory*. — Cambridge, 1992; Wenz P. *S. Environmental Justice*. — Albany, NY, 1988; Eckersley R. *Environmentalism and Political Theory*. — Albany, NY, 1992.

себя или условно определяется как политический теоретик. Нам — теоретикам — не следует полагаться на мудрость или на инсайт. Если мы хотим говорить осведомленно и вмешиваться разумно в кризисы нашего времени, то нам будет необходима, по крайней мере, некоторая из способностей к восприятию тех из наших коллег политических исследователей, которые условно определяются как эмпирические политические ученые. Мы — и я не пользуюсь местоимением непроизвольно — отчаянно нуждаемся в талантах друг друга, методических приемах и способностях к восприятию. Но если мы хотим сблизить наши позиции, то нам следует преодолеть некоторые застарелые препятствия, многие из которых являются наследием бихевиорализма и антибихевиоралистской реакции. Легко и без усилий не переброшишь мосты через давно проложившие свои русла потоки. Но позвольте мне предложить один возможный способ перекрыть шум воды, а может быть, даже навести мосты через давнюю границу между двумя лагерями, у которых намного больше общего, чем можно было бы подумать при других обстоятельствах.

Обычное предметное разделение труда приписывает теоретикам задачу обнаружения и истолкования идей, идеалов и убеждений и оставляет эмпирическим исследователям задачу описания и объяснения действительного поведения политических агентов. Разделение труда означает, что существуют две совершенно обособленные области — область мышления, или «теории» и область действия, или «поведения», каждая из которых может быть охарактеризована без отсылки к другой. Но эта картина является, очевидно, ложной. Агент, который придерживается определенных убеждений, не отделен от агента, который действует. Фактически его или ее действия даже нельзя описать без отсылки к его или ее убеждениям, и наоборот. Поэтому надежда разработки науки о политическом «поведении» была совершенно столь же незаконнорожденной, сколь и обособленной была «история политической мысли». И это, как мы столь часто видим, является истиной более легко признаваемой, если мы обратимся к прошлому. Как напоминает нам Аласдэр Макинтайр, не должно быть двух историй — одна история политического и морального действия, а другая история политического и морального теоретизирования — поскольку не существовало двух прошлых — одного, населенного только действиями, и другого — теориями. Каждое действие является носителем и выражением более или менее теоретически нагруженных убеждений и представлений. Каждое отдельное теоретизирование и каждое выражение убеждения является политическим и моральным действием. «Но в силу привычки со-

временных академических кругов отделять историю политических и социальных изменений (изучаемых под одними рубриками в департаменте истории одним множеством исследователей) от истории философии (изучаемой под совершенно другими рубриками совершенно другим множеством исследователей) получила распространение идея независимости, с одной стороны, самой по себе жизни идей, с другой стороны, бездумных политических и социальных действий»⁴⁸. Таким образом, «идеи» или «убеждения», изучаемые теоретиками, и «поведение», изучаемое политическими учеными, являются не двумя разными вещами, но одним и тем же.

Позвольте мне представить короткий пример того, как это могло работать на практике. Рассмотрим понятие интереса, которое (возможно, вместе с властью) является, конечно, одним из центральных понятий в социальных науках вообще и в политической науке в частности. Политические и другие социальные ученые и историки обычно объясняют, почему кто-то действует так, как он действует (или действовал) на основании того, что ему приходится или он стремится удовлетворять определенные интересы. Но то, что действующее лицо принимает в качестве собственного интереса, зависит от убеждений в том, что является и что не является хорошим, или в том, что выгодно для него или для нее. То, что некто считает собственным интересом, находится в зависимости от его или ее идей относительно того, в чем состоит человеческое процветание и что требуется, чтобы его достигнуть. И эти убеждения могут быть обоснованными или необоснованными, правомерными или неправомерными: то есть некто может придерживаться ошибочных убеждений относительно того, что находится (и что не находится) в его интересах. (Это, конечно, не вызовет изумления у всякого, кто читал и размышлял над диалогом между Сократом и Фрасимахом в Первой книге «Государства» Платона.) Однако, ошибочно или нет, политические деятели интерпретируют свои ситуации в свете этих убеждений и идей и действуют соответственно. Социальный ученый, в свою очередь, интерпретирует или объясняет это поведение, отмечая, что действующее лицо имело определенные интересы, то есть придерживалось определенных убеждений о том, что хорошо для него или нее, и действовало на основании этих убеждений⁴⁹. Тем самым «идеи» или «убеждения» неотделимы от «поведения», и наоборот. Неправильно, конечно, считать, что первые принадлежат к компетенции политического

⁴⁸ Макинтайр А. После Добродетели. — М., 2000. С. 87.

⁴⁹ См.: Ball T. Interest-Explanations // Polity. 1979. № 12. P. 187–201.

теоретика, а последние — к сфере интересов политического ученого. Отнестись к этой взаимозависимости с пониманием значит, возможно, проложить путь к примирению между политической «теорией» и политической «наукой».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ

В таком случае позвольте мне в этом же духе завершить свою мысль, повторив, а затем отказавшись от введенного мною ранее различия между перво- и второпорядковым теоретизированием. Это различие проводится стандартно между теми, кто *делает* политическую теорию, и теми, кто просто изучает или говорит о ней. В наиболее простой форме оно равнозначно вариации в стиле старого уже ставшего избитым изречения: *«Те, кто может, делают; те, кто не может, учат»*. В своей более изощренной форме перво- и второпорядковое различие проводит разграничение между действующими лицами и наблюдателями или, говоря иначе, между отдельным предметом и его исследованием учеными. Даже при таких условиях это более изощренное суждение о различии совершенно не отдает должное тому, чем мы занимаемся или пытаемся заниматься как изучающие политическую теорию. А почему? Потому что, я уверен, различие проводится в неправильном направлении. Релевантное различие находится не между перво- и второпорядковым, но между первостепенным и второстепенным теоретизированием. Мы являемся не только учеными и студентами, изучающими политическую теорию, но и гражданами, интересующимися и беспокоящимися по поводу государственного устройства и мира, в котором мы живем. Поэтому мы имеем основание думать критически и систематически, короче говоря, теоретизировать о мировых проблемах, возможностях и перспективах. Эта профессия, или призвание, в которой нам необходимо добиться впечатляющих успехов, чтобы отличиться или, по крайней мере, делать выпавшую нам работу столь хорошо, как только можно. Поэтому мы имеем основание не просто имитировать или рабски копировать, но использовать, присваивать и просить совета у мышления первостепенных теоретиков. И мы делаем это не потому, что мы «второпорядковые», но потому, что являемся второстепенными и пытаемся делать лучше. Я поспешу добавить, что это не означает, будто кто-то должен соглашаться с теми, у кого он присваивает их размышления. Отнюдь нет. Можно научиться большему у первостепенных мыслителей, с которыми расходишься во взглядах, чем

у мыслителей, которые просто одобряют или закрепляют то, в чем некто уже убежден. Вот почему консерваторам следует читать Маркса, а марксистам следует читать Бёрка. И вот почему, что не менее важно, «эмпирическим» политическим ученым следует принимать во внимание то, что приходится говорить «нормативным» теоретикам, и наоборот.

Я полагаю, эквивалент этому можно получить, заимствуя введенное Уэнделлом Берри различие между двумя типами обучения: «узнаванием о» и «узнаванием от»⁵⁰. Современное образование в значительной своей части озабочено «узнаванием о», то есть получением информации. Однако же образование в целом — и изучение политической теории, в частности, — не сводится к получению информации, к «узнаванию о» том или ином предмете. Оно, что более важно, является разновидностью обретения знания — в борьбе с альтернативными подходами и их критическом освоении, усложняющем и обогащающем взгляд человека на мир и на собственное место в нем через сомнение в общепринятых допущениях и концептуальных схемах. И это, конечно, должно быть прежде всего среди оснований для периодического пересмотра ценности интеллектуальной традиции, чье значение всегда под вопросом и открыто для разнообразия различных интерпретаций и оценок.

*Перевод с английского
Олега Игнатова*

⁵⁰ *Berry W. The Loss of the University // Home Economics: Fourteen Essays. — San Francisco, 1987. P. 79.*

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

БОЛЛ ТЕРЕНС — политический ученый. Докторскую степень получил в университете Калифорнии, Беркли. Преподавал в Мичиганском университете и Государственном университете Аризоны. Развивает «ревизионистский» подход к истории политической теории, полагая, что идеям всех великих мыслителей можно придать современное звучание. Автор книг «*Civil Disobedience and Civil Deviance*», «*Transforming Political Discourse*» (1988), «*Reappraising Political Theory, Political Ideologies and the Democratic Ideal*» (1995).

ГАННЕЛ ДЖОН — профессор политических наук Рокфеллер колледжа университета Олбани. Сфера научных интересов Ганнела покоится в области политической теории. Особое внимание он уделяет проблемам философии социальных наук, истории политической науки и истории политической теории XX века. Автор книг «*The Descent of Political Theory: The Genealogy of an American Vocation*» (1993), «*The Order of Discourse: Philosophy, Social Science, and Politics*» (1998), «*Imaging the American Polity: Political Science and the Discourse of Democracy*» (2004).

ГРИВЗ Г. Р. Г. — профессор факультета политической науки Лондонской школы экономики и политических наук. Исследовал деятельность Лиги наций в качестве инструмента и актора международного правительства. Кроме проблем мировой политики занимался общими вопросами политической теории. Автор книг «*The League Committees and World Order*» (1931), «*The Foundations of Political Theory*» (1958).

ДАЛЬ РОБЕРТ АЛАН (род. 1915 году) — стерлинг-профессор политической науки в Йельском университете, последний президент Американской ассоциации политической науки. Один из самых известных ученых современности, развивающих эмпирический подход политической теории. Получил прозвище декан американских политических теоретиков не потому, что написал большое количество знаковых работ, но и потому, что большинство наиболее именитых поли-

тических ученых США обучались у него. Автор книг «О демократии» (2000), «Демократия и ее критики» (2003), «Polyarchy: Participation and Opposition» (1972), «On Political Equality» (2006).

ДЖЕРМИНО ДАНТЕ — адъюнкт-профессор управления и международных отношений в университете Виргинии. После того как ушел в отставку постоянно проживает в Голландии и сотрудничает с Амстердамским университетом. В своих многочисленных книгах Джермино пытается очистить политическую теорию от «примеси идеологии». Автор книг «Beyond Ideology» (1967), «Modern Western Political Thought» (1972).

ДОЙЧ КАРЛ (1912–1992) — чехословацко-американский социальный и политический ученый. Основное внимание Дойча фокусировалось на вопросах войны, мира, национализма, сотрудничества и коммуникации. Именно ему принадлежит первенство в использовании количественных методов и системного анализа в политических и социальных науках. Автор книг «Nationalism and Social Communication» (1953), «Tides Among Nations» (1979).

ИСТОН ДЭВИД (род. 1917) — канадский политический теоретик. Преподавал на факультете политической науки в университете Калифорнии, Ирвин. Оригинальное применение системного подхода в политической науке позволило сформулировать ему теорию существования политической системы. Также придерживался идей «позитивистского аксиологизма». Кроме того, Истону принадлежит авторство определения политики как «авторитарного распределения ценностей». Автор книг «A Framework for Political Analysis» (1965), «A Systems Analysis of Political Life» (1965).

КАТЛИН ДЖОРДЖ ЭДВАРД ГОРДОН (1896–1979) — английский политический ученый и философ. Преподавал в Корнуэльском университете, а также в учебных заведениях Канады и США. С его именем связано парадигматическое изменение, которое произошло в американской политической науке в первой четверти XX века. Суть движения — постановка вопроса о соотношении науки и политической теории. Автор книг «Principles of Politics» (1930), «The Story of Political Philosophers» (1930).

КОББАН АЛЬФРЕД (1901–1968) — профессор французской истории Лондонского университета. Совместно с французским историком

Франсуа Фюре отстаивал «ревизионистский взгляд» на французскую революцию 1789 года. Коббан считал, что революция не изменила структуру французского общества, так как Франция долгое время оставалась по преимуществу сельской страной, а индустриальная революция произошла лишь в XIX веке. Однако французская революция была политическим событием, имевшим важные социальные последствия. Автор книг *«Rousseau and the Modern State»* (1964), *«France of the Republics 1871–1962»* (1965).

Оукшот Майкл Джозеф (1901–1990) — английский философ. Преподавал в Лондонской школе экономики и политической науки. Помимо непосредственных занятий философией, Оукшот проявлял интерес к политической мысли, религии, философии образования, а также к эстетике. На сегодняшний день его рассматривают как одного из самых влиятельных консервативных интеллектуалов XX столетия. Автор книг *«Рационализм в политике»* (2002), *«What is History, and other essays»* (2004).

СПЕНС ЛАРРИ Д. — адъюнкт-профессор политических наук в университете Беркли, Калифорния. Докторскую степень получил в том же университете. Автор книги *«The Politics of Social Knowledge»* (1978).

Сэйбин Джордж Холланд (1881–1960) — политический теоретик, профессор философии и вице-президент Корнуэльского университета. Считал, что западная политическая теория имеет два источника, которые определяют две ее основные темы: тема свободы, огромное внимание которой уделяет англо-саксонская традиция, и тема равенства, на которой делает акцент континентальная традиция французской философии. Автор книг *«Social studies and objectivity»* (1941), *«Democracy and preconceived ideas»* (1945), *«A History of Political Theory»* (1950).

Уолин ШЕЛДОН (род. 1922) — политический теоретик, адъюнкт-профессор Принстонского университета. Уолин — защитник радикального подхода к теории демократии. Последняя, с точки зрения Уолина, является не формой правления, а формой политического суждения, которое необходимо очистить от искажений, налагаемых на нее либеральным государством. Автор книг *«Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought»* (1960, 2004), *«The Berkley Student Revolt: Facts and Interpretations»* (1965), *«Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism»* (2008).

Фёгелин Эрик (1901–1985) — политический философ. Образование получил в Венском университете, в котором защитил диссертацию и занимал пост адъюнкт-профессора политической науки, пока не эмигрировал в 1938 году. В Соединенных Штатах Америки Фёгеллин преподавал в Луизианском университете, а также в Институте Гувера при Стэнфордском университете. Развивал оригинальный подход к истории идей, а также к философии истории. Автор книг «*New Science of Politics*» (1953), «*Order and History*» (1956–1985).

Штраус Лео (1899–1973) — политический философ. Эмигрировав из Германии в Лондон, а затем в США, Штраус обосновался в Чикагском университете. Считал, что высшую точку политического философствования представляют собой «древние» — Платон и Аристотель, а в сочинениях «современных» — Макиавелли, Гоббса, Руссо и Ницше — политическая философия лишь деградировала. Автор книг «*Введение в политическую философию*» (2000), «*О тирании*» (2006), «*Естественное право и история*» (2007).

Эшкрафт Ричард (1938–1995) — профессор политической науки в Университете Калифорния в Лос-Анджелесе, член исполнительного комитета политической теории в 1989–1994 годах. Согласно Эшкрафту, политическая наука должна рассматриваться сквозь призму ее служения либеральной или радикальной политике. Автор книг «*Revolutionary Politics & Locke's Two Treatises of Government*» (1986).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В XX ВЕКЕ

Сборник статей

Под редакцией
Александра Павлова

Выпускающий редактор серии *Е. Попова*

Корректор *Е. Макеева*

Оформление серии *В. Коршунов*

Верстка *С. Зиновьев*

Подписано в печать 8.08.2008. Формат 70×100 1/16.

Усл. печ. л. 33,6. Тираж 1000 экз. Заказ № 1365

Издательский дом «Территория будущего»
125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, 12/1, стр. 1

Отпечатано в гуп ппп «Типография „Наука“»
121099 Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 5-91129-022-7



9

785911290221